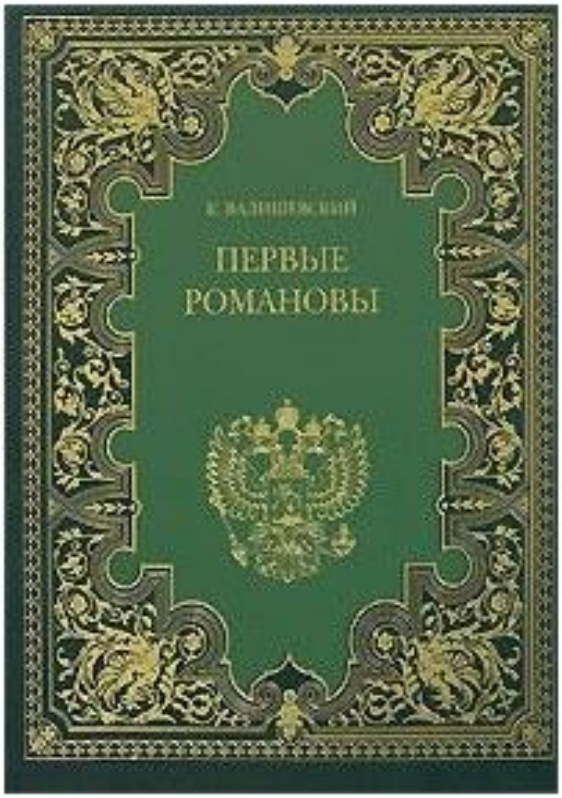
К. ВАЛИШЕВСКИЙ
ПЕРВЫЕ
РОМАНОВЫ

Казимир Валишевский

Первые Романовы

Казимир Валишевский

Историческое сочинение «Первые Романовы» польско-французского историка Казимира Валишевского на сегодняшний день является одним из наиболее увлекательных изложений истории России в период становления династии Романовых, созданных историком-иностранцем.

Текст произведения представлен в новой редакции и в современной орфографии.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая здесь работа заканчивает собою общий обзор начального периода истории современной России и должна служить как бы введением к моим прежним сочинениям. Она завершает собою также цикл монографий, более детальных, хотя, конечно, и неполных, в которых я пытался изложить русскую историю в течение трех веков, от Ивана Грозного до Екатерины Великой.

Мне уже заметили, одни в виде порицания, другие в виде похвалы, что на этом длинном пути я часто делал отступления, так сказать, шел зигзагами. Причину этого я уже объяснял, но и теперь считаю своим долгом опять извиниться. Я делал, что мог и как мог. Двадцать лет тому назад я не располагал теми источниками, которые позволяли мне потом приступить к исследованию этих отдаленнейших эпох прошедшего, к тому же недостаточно исследованного. Начиная с конца и рисуя моим читателям сначала обольстительный образ Екатерины, я однако был чужд всякой задней мысли. Если кто, предполагая противное, хотел сделать мне комплимент, то я его не заслужил.

Обнародование моего предыдущего сочинения, посвященного смутной поре конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков, случайно совпало со взрывом нового революционного кризиса. Другое совпадение (а я о нем совсем и не думал), придаст этой работе вид кажущейся современности. В 1913 году династия Романовых будет праздновать трехсотлетие своего воцарения. Чтобы возбудить и привлечь наше внимание, первые шаги этого знаменитого дома не нуждаются в таких ссылках.

В эпоху его выступления совершились события, которым еще и до сих пор не перестают обусловливать внутреннюю и внешнюю жизнь великой северной империи. По меткому выражение Ключевского, современный русский человек, подходя к этому периоду национальной истории, испытывает такое впечатление, как будто бы читает свою автобиографию.

В семнадцатом веке мы имеем все еще Московское государство, но уже его эксцентрическое ядро на финской земле начинает расти и распространяться по всем направлениям, начинает создаваться та великая, огромная Россия, которую мы знаем. В этом семнадцатом веке оканчивается дело «великих собирателей земли русской». Наследники распавшейся монархии первых Рюриковичей снова захватывают вместе с древнею столицею, Киевом, значительную часть наследия Владимира. В течение своей вековой борьбы с Польшею за владение этими областями и за гегемонию в славянском мире, новая зарождающаяся Россия берет решительный перевес над своею западною соперницею и в то же время достигает на востоке берегов Тихого Океана. Она переходит окончательно в ряды великих европейских и азиатских держав.

Исполняя подобную задачу, стремясь отчасти облегчить ее, оправляясь после недавних погромов, упрочивая наиболее важные учреждения, развивая свою политическую мощь, древне-московское государство попутно освобождалось от некоторых слишком архаических черт седого прошлого. Оно вступает в сношения с западною цивилизациею, претворяет в себе ее первоначальные элементы и так сказать предвосхищает и подготовляет во многих пунктах реформаторскую деятельность Петра Великого.

В то же самое время замечаются глубокие изменения в социальной и экономической

жизни, обнаруживающие характерные черты современного режима. Старинная аристократическая форма управления страною уступает место все возрастающей дифференциации социальных классов. Правящее «боярство» теряет одну за другою свои привилегии и свою политическую диктатуру, претворяясь в новый привилегированный класс дворян с более широкою и существенно демократическою базою. Зарождающаяся промышленность дает толчок возникновению третьего сословия. Но, подчиняясь невольно противоречию, составляющему исторический закон этой парадоксальной судьбы, демократическое движение повело совсем не к эмансипации, а к политическому и экономическому порабощению заинтересованных классов. Обращение дворянства в роль правящего класса повлекло за собою превращение свободных крестьян в крепостных. Политическое же влияние, приобретенное новым привилегированным классом, имело тенденцию превратиться во власть бюрократическую. Расцвет буржуазии был остановлен экономическим режимом, который в интересах государства возложил на нее все тягости барщины. Государство, в свою очередь, стремится основать свое всемогущество и свою силу не на свободном развитии, а на возможно полном порабощении всех классов.

Целый ряд потрясающих драм сопровождал эту эволюцию: борьба церкви со светскою властью, сопротивление клнсервативных инстинктов новым веяниям, борьба совести за свою свободу, ряд кровавых войн, бунтов и возмущений. Именно в эту эпоху, дойдя до своего апогея, своеобразная казачья вольница совершает свои последние великие подвиги, и в ту же пору родился из моря крови раскол к той интенсивной жизни, которая воодушевляет его и в наши дни.

На этой сцене, полной трагических событий, появляются актеры, достойные предназначенной для них роли. Наряду с патриархом Никоном, мощною личностью и творцом церковной реформы, достигает почти эпического величия, выступая на защиту прежних верований, простой поп Аввакум. А сколько еще других фигур ярких, характерных, героических или трогательных стоят рядом с ними: Стенька Разин, атаман возмутившихся донских казаков, колеблющийся между завоеванием Москвы и Тегерана, Богдан Хмельницкий, глава восставших днепровских казаков, пытавшийся восстановить для себя старинное киевское княжество, и совершенно в других рамках, в недрах родившегося раскола святая, блаженная, по выражение Аввакума, Федосья Морозова.

Михаил Феодорович становится робким основателем династии, но ему помогает, разделяя с ним власть, его отец, невольный монах, импровизированный патриарх и регент на правах отеческого авторитета, являясь чем-то вроде московского Ришелье – фигура чрезвычайно интересная. За ними же следует второй Романов, отец Петра Великого, на которого нельзя не обратить внимания, как на одного из наиболее высоконравственных монархов всех времен и народов.

К этим интересным фактам необходимо прибавить еще один. В XV и XVI столетиях лишь намеченные, стертые в XVII веке европейской культурой, характерные черты московского типа теперь, как раз накануне своего исчезновения, достигают своего полного развития, так что их можно уловить и запечатлеть.

Между тем даже в России эта эпоха до сих пор не явилась предметом какой-либо цельной работы, за исключением общей истории Соловьева, которая теперь во многих отношениях устарела, да и, по политическим мотивам, автор ее не мог произвести достаточно тщательного исследования. Такое же исключение представляет собой и недавно опубликованная третья часть курса истории Ключевского, мастерский труд,

ограничивающийся однако общими положениями и предполагающий основательное знакомство с предметом. Даже царствование Алексея ожидает своего историка после труда Берга, появившегося в 1831 году и не имеющего уже научного значения.

Наш труд и должен восполнить этот пробел. Я не осмеливаюсь сказать, что он будет восполнен целиком, но все-таки надеюсь, что мне здесь удалось не без некоторой пользы дать несколько общих взглядов и определенных данных.

Что касается частностей, то русская литература собрала для этой эпохи достаточно материала в виде монографий и обнародований различных документов. Я использовал их, стараясь их дополнить по мере сил. Так как история России сталкивается во многих местах, особенно в Украйне, с историей Польши, то я должен был черпать материал и в польских источниках и даже в малорусской литературе, обогащенной недавно важными работами Грушевского, ставшими частью доступными и европейской публики благодаря немецкому переводу.

Вновь приношу свою благодарность всем тем, кто на протяжении двадцати лет старались помочь выполнение моей задачи. Почти в то самое время, как я оканчивал свою работу, отошел в вечность Иван Иванович Щукин, мой друг или скорее почти сотрудник, поскольку я очень часто и всегда с пользою для себя прибегал к помощи его богатой библиотеки и его обширной эрудиции.

И с чувством глубокой скорби выражаю я последнюю дань признательности на его преждевременную могилу.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА

Глава первая

Основатель династии. Михаил Феодорович

I. Первый Романов

Восшествие на трон первого Романова, положившее конец Смутному времени, послужило блестящим опровержением народной пословицы, по которой для приготовления заячьего рагу необходим заяц. История, кажется, не знает другого примера образования политического влияния при подобных условиях. Перед нами дворянская фамилия, хотя популярная, но не очень древняя, и пережившая целый ряд испытаний; отец нового государя находился несколько лет в опале и испытал ряд самых удивительных приключений. Он был пострижен в монахи в монастыре, превращенном в тюрьму. Он был, наконец, заложником в руках поляков. Перед нами и его мать, также вынужденная принять схиму, вместе со своим сыном жертва всех бедствий внешней и гражданской войны, гонимая с места на место и думающая только о том, чтобы ее и сына оставили в покое…

И из всего этого на заре семнадцатого века в московском государстве, доведенном до крайней нищеты, и создались национальная династия и сильная власть.

Дело походило на безумное пари. Я уже указал в одном из предыдущих сочинений,[1] вследствие какого стечения обстоятельств оно состоялось. Теперь я постараюсь показать, как оно было выиграно.

Один голландец, живший в то время в Москве, выражал уверенность, что у Михаила было одно средство, чтобы удержаться на троне, а именно: подражать Грозному и «купаться в крови по горло». Однако он ошибался.

Первый Романов напротив был мягким и безобидным правителем.

Он, впрочем, и не думал вовсе быть государем. Сначала он положился на своих окружающих, т. е. на родственников своей матери, Салтыковых, и на саму царицу Марфу. Первые представляли собой пособников очень сомнительного качества. Способные только на интриги, заботясь лишь о захвате мест и богатства, они чуть ли не с первых шагов вносили в дело смуту и опасность. Мать уже по одному тому, что была матерью, оказалась более полезной.

Она положительно вырвала своего ребенка у авантюристов-избирателей, желавших «упокоить его на ложе трех недавно убитых царей»; с такою же энергией она потом защищала его против принятия на себя риска управления. Судя по дошедшему до нас портрету, ее суровые очи под густыми бровями, большой властный орлиный нос и тонкие губы указывали на наличность своевольного характера. Изгнание, монастырская жизнь, долгие лишения, беспрестанные заботы и жестокие обиды еще более закалили и ожесточили ее темперамент. Она начала с того, что смело положила свою руку на сокровищницу прежних цариц. Она воспользовалась этой добычей, чтобы окружить себя людьми, послушными ее словам, всегда бдительными шпионами и преданными воинами. Так, во всеоружии, пошла она навстречу событиям.

Все это еще не было правительством, как и установление новой династии. Собор, т. е.

учредительный и избирательный сейм, соединил на время в своих руках всю власть за отсутствием другого органа. Ее и не отнимали у него. В 1615 году по неизвестным нам причинам лишь изменился состав Собора, посредством новых выборов. Потом был распущен в свою очередь и этот второй Собор, были созваны другие в промежутки, до сих пор еще точно не определенные, но по-видимому почти не нарушавшие в первые годы нового царствования фактической беспрерывности участия Собора в управлении.[2]

Практика парламентского режима не выработала здесь никакого точно определенного принципа, и хотя условия, принятые Михаилом, и расширяли в некоторой степени компетенции «избранников народа», однако по своей неопределенности допускали всякие компромиссы.

Восстановленный совет бояр, Дума, функционировала наряду с собором, играя в эту минуту слишком неблагодарную роль, чтобы стать предметом вожделений.

Естественный порядок деятельности здесь часто нарушался. Так, в 1614 году Дума, орган скорей административный, передала выполнение выработанных в отношении к казакам мер Собору, органу уже законодательному, который не участвовал в выработке решения! Немного позже англичане, обратившись к Думе за разрешением некоторых коммерческих привилегий, получили, однако, ответ, что такие вопросы не могут быть впредь разрешены «без представителей всего Государства».

Нам неизвестны точно условия конституционного договора с Михаилом. Однако более чем сомнительно, чтобы этот документ содержал в себе оговорки подобного рода.

……..

Следуя традиции, преемник Михаила, Алексей еще продолжал созывать Соборы и даже поручал им выполнение текущих дел, но уже при Михаиле, в 1642 году, когда собрание высказалось в громадном большинстве за окончательное присоединение Азова, захваченного казаками у татар, царь принял в конце концов противоположное решение.[3]

Здесь были необходимы выдающиеся государственные люди для того, чтобы разобраться в сложных фактах, явившихся последствием крайне сложного кризиса. А приближенные Михаила были, напротив, люди грубые, невежественные, в корне деморализованные, необузданные и спорщики. Между ними постоянно разгорались споры и раздоры, даже в присутствии государя, и после взаимных оскорблений они обыкновенно переходили к драке. Государь не принимал однако никаких мер для смягчения этих варварских нравов. В присутствии всего двора из-за какого-то ложного обвинения против князя Гагарина по приказанию царя простой секретарь (дьяк) Думы дал пощечину дворянину Леонтьеву. За проступок подобного же рода другой дворянин, Чихачев, получил ряд палочных ударов.

Такие люди не были созданы для того, чтобы направить свое отечество по новому пути. Удивительно, что Марфа, ее сын и те, что служили при них правительством, могли при подобной обстановке справиться с трудностями момента.

Они были ужасны.

II. Наследие Смутного времени

Преодоленный лишь наполовину, долгий кризис поверг страну в состояние анархии и ужасающей нищеты. Разграбленные деревни, разрушенные города, социальные классы в полном разложении; всюду хаос и запустение. В течение десяти лет крестьяне и горожане

не переставали убегать из своих разрушенных жилищ, оставляя поля необработанными, и великое переселение все еще продолжалось. Хотя неприятельские войска и были отброшены, но вся страна подвергалась еще нападениям отдельных шаек, польских партизан, казаков и мародеров.

Марина и Заруцкий еще держались, и я уже указывал на то, как они продолжали еще преследовать свои несбыточные мечты и свою безумную авантюру до июня 1614 года.[4]

Даже после захвата этой парочки и после смерти сына Марины нельзя еще было сказать, что смута подавлена и что ослушники всякого рода, восставшие против всякого проявления политического или социального порядка уничтожены. Они продолжали бороться под предводительством других популярных и смелых начальников: Захария Заруцкого, Янко Баловня и др. Изгнанные из центральной области, они хозяйничали в северных областях, от Холмогор до Архангельска, от Ваги до Каргополя, совершая там самые ужасные грабежи, увеличивая число самых гнусных эксцессов. Так, они набивали порохом рот и уши своих жертв и подкладывали туда огонь. И истощив все усилия, Собор в сентябре 1614 года не придумал другого средства, как послать для увещания этих разбойников нескольких священников! Баловень исполнился новой смелости, отступил к югу и угрожал некоторое время Москве.

Не было войска; то, которое изгнало поляков, представляло собой лишь милицию, всегда готовую разбежаться на следующий день после победы. Из нее уже не оставалось ни одного человека. Не было денег для улучшения военной организации, уже слишком архаической, находившейся в полном разложении. Любопытно следующее, и в этом обнаруживается, насколько сильны некоторые традиции даже там, где их менее всего можно было ожидать: чтобы пополнить недостачу в государственном казначействе, Собор и Дума не нашли ничего лучшего, как испросить прибавления в области доходов потреблении спиртных напитков. Было увеличено число кабаков, и государственный фиск ревниво оберегал там право своей монополии.

Но для того чтобы пить водку, расточаемую даже официальными Ганимедами, необходимо было иметь, чем за нее платить. И когда выяснилось, что этот род промышленности не даст достаточно много прибыли, в 1615 и 1616 годах Собор учредил чрезвычайную подать, носящую название «пятины». Это был налог на доход в размере 20 %. Еще добавили подать в 120 рублей за соху, представляющую собою земледельческую и податную единицу, размер которой очень трудно учесть. Мы к ней еще вернемся. Одна фамилия, Строгановы, крупные торговцы и не менее крупные собственники, должна была уплатить 56 000 рублей, громадную сумму по тому времени. Впрочем, они были единственными богачами в целом государстве.

Не одни только Заруцкий и Баловень угрожали Москве. Поляки были уже выгнаны из Московского государства, но Владислав оставался еще избранным царем Москвы и не отказывался от своих прав. С другой стороны, шведы обосновались уже в Новгороде, и брат Густава-Адольфа, принц Филипп, заставил себя признать там государем, высказывая при этом явное намерение присоединить все остальное к этой части распавшегося государства. Наконец, отец Михаила оставался еще в плену.

Первою заботою новых правителей явилось заключение мира с Польшею и освобождение Филарета. Однако достигнуть этого было далеко не легко. Денис Аладьин, посланный с этою двойною целью 10 марта 1613 года в Варшаву, очутился в затруднительном положении, не зная, с кем и от имени кого ему действовать. Король

Польский признавал царем лишь своего собственного сына. Сам Михаил даже присягал этому государю! Для того чтобы освободить Филарета, Аладьин предложил обмен пленными, но в московских тюрьмах не оказалось ни одного поляка, так как почти все были задушены!

Сигизмунд даже не соблаговолил отвечать на эти предложения. Польский сенат оказался более сговорчивым. Ему также было над чем призадуматься в финансовом вопросе: польским войскам очень мало или почти ничего не платили, и они потому занимались добыванием себе жалованья на собственных же землях, с помощью грабежа и хищения.

Но у короля оставались еще личные средства, на которые возможно было нанять наемников, и благодаря этому враждебные действия приняли, когда возобновились, благоприятный оборот для московского государства. Здесь особенно сильно чувствовалось полное истощение, а плохое состояние военного дела усугублялось еще плохим подбором командовавших лиц.

Главную оборону страны составляли укрепленные города, но они оставались почти без всякой защиты. Летописи Углича, например, говорят о сломанных мостах, пробитых башнях, засыпанных рвах; из числа гарнизона шесть артиллеристов умерло от голода; ни пороха, ни хлеба, и почти полное отсутствие жителей.

Командование передавалось, кому попало: два князя, Андрей Хованский и Иван Хворостинин, спорили о местничестве при распределении обязанностей, и из-за споров забыли о неприятеле.

В июле 1613 года неприятель подошел к Можайску и Калуге, где герой войны за независимость, знаменитый князь Димитрий Пожарский заболел от истощения, померявшись силами со знаменитым Лисовским. Переходя с места на место с фантастическою быстротою, делая до 150 верст в день, проходя, как тень, между Можайском и Вязьмою, потом между Владимиром и Муромом, и тотчас же между Тулою и Серпуховом, неуловимый со своею горстью неутомимых кентавров, этот партизан передал потом свое имя банде, прославившейся на германских полях во время тридцатилетней войны.

Враждебные действия и с той и с другой стороны не привели ни к какому решительному результату, – тогда перешли к переговорам. В Варшаве появились новые московские посланники с доверительными грамотами от Собора, причем в них подпись Михаила красовалась на четырнадцатом месте наряду с именами бояр. Дошли даже до этого! Если бы посланные рискнули произнести имя царствующего государя, против этого протестовал бы сам Филарет: не он ли был сам уполномочен Собором для того, чтобы добиться согласия Сигизмунда на царствование его сына? Посланные апеллировали к воле Бога, решившего дело иначе.

– Ну, вот еще! – возразили им поляки, – это донские казаки задумали создать себе государя из вашего поповича!

– А что за царь был бы ваш Владислав? – заметили москвичи. – Он думал управлять нами посредством кожевника, Федьки Андронова.

– А вы решили его заменить мясником Мининым.

Напрасно посланник императора, Эразм Ганделиус, старался взять на себя посредничество. Император сам не решался признать соперника Владислава и, когда другие московские посланники заявились в Вене, их отослали обратно с письмом, обращенным к одним только боярам. В нем имя Михаила даже не упоминалось.

Эти посланники во время их миссии наводили ужас и были предметом насмешек всей

Германии: в Гамбурге они покушались на невинность одной англичанки из хорошего общества; в Гааге, в гостях у казначея, они пытались растлить его дочь. В Вене император, оскорбленный другими выходками подобного же рода, приказал отобрать от них дарованные им золотые ожерелья, украшенные его портретом.[5] В июне 1616 г., после новых многочисленных попыток, предпринятых во всех европейских дворах, щедрая раздача соболей, частью которых милостиво согласились воспользоваться советники Матфея, доставила даже самому ловкому из московских дипломатов, Лукьяну Мясному, лишь словесные обещания: Император не будет помогать Польше и предложит ей даже заключить мир.

Лишь Голландия, только что окончившая войну, оказала надоедливым ходатаям гостеприимство, за которое те отплатили, как мы видели, только одними гнусными поступками. Англия обещала свою поддержку против Швеции, но ставила взамен этого довольно неопределенные условия: свободное плавание по Волге для торговли с Персией, по Оби, для поисков пути в Индию и Китай, право свободной эксплуатации Новой Земли и позволение заниматься горным промыслом в бассейне Сухоны… Не захотела и Турция напустить татар против поляков, так как она была занята походом на Персию, а татары ей жаловались, что донские казаки получают из Москвы подмогу провиантом и деньгами для постоянных набегов на Азов. Только одна Персия, желая добиться прощения за ее недавние связи с Мариной и Заруцким, вняла призыву и торжественно раскрыла свою сокровищницу в распоряжение «Белого Царя». Но из ее серебряных слитков удалось лишь получить 7 000 рублей.

Этого было недостаточно для продолжения войны на два фронта. Здравый инстинкт советников Михаила побудил их сначала покончить с самым страшным из обоих противников, с которым приходилось сражаться.

III. Мир со Швецией

Густав Адольф, подходя к положению с той же верностью взгляда, не колебался по поводу той пользы, какую он мог извлечь из положения. До избрания Михаила он делал вид, что поддерживает притязания брата. После этого события, продолжая военные действия, даже лично предводительствуя при взятии Гдова (в сентябре 1614 г.) и подготавливая осаду Пскова, он тем не менее дал своим уполномоченным приказание заключить договор с новым царем: он решил удовольствоваться одною Балтийскою империей. В июле 1615 года, лишившись под стенами Пскова лучшего из своих генералов, Еверта Горна, он ускорил переговоры, окончательно состоявшиеся в Дедерине под Хвостовым, причем посредниками явились английский агент Джон Мерик с голландскими послами.

Один из последних, Антоний Гетеерис, оставил нам мрачное описание состояния страны: в пустынной равнине кучи пепла указывали места сожженных деревень, кое-где лишь попадались полуразрушенный монастырь или изба, вход в которую был закрыт целою кучею мертвых тел…

Как и всегда, при встречах подобного рода, между московитами и западными людьми соглашению предшествовал ряд праздных разговоров и оскорбительных речей. Опираясь на трактат, передававший Швеции Карелию в обмен на отряд вспомогательного войска, отданный царю Шуйскому, шведы требовали возвращения этой области.

– Но ваши солдаты изменили нам!

– Вы им не платили!

– Молчи, Яков Делагарди, ты получил деньги, но ты положил их в карман.

Эти и без того затруднительные переговоры, прерванные после подписания простого перемирия, затем продолжавшиеся при помощи переписки и вновь возобновленные в Столбове, осложнились еще притязаниями Москвы на военную помощь со стороны Швеции против Польши. Наконец, 27 февраля 1617 г. был подписан вечный мир. Добившись вместо желанного союза восстановления Новгорода и отказа Филиппа от наследия Рюрика, московиты дешево отделались от большой неприятности. Они уступили только свои весьма сомнительные права на Ливонию и Ингрию и несколько местностей: Ивангород, Ямбург, Орешек, Нотебург, Кексгольм (Шлиссельбург). Но зато, как это указал Густав-Адольф в своем торжествующем письме к матери, эти места представляли собою ключи к Балтийскому морю, те самые пункты, для захвата которых, одним веком позже, должен был напрочь свои усилия Петр Великий.[6]

Основываясь на праве взаимной торговли, шведы, кроме того, снова открыли свои старые конторы в Новгороде, Пскове и Москве, уступив в свою очередь те же привилегии московитам в Ревеле и распространив их на Выборг и Стокгольм.

В этот союз вошел таким образом Новгород, отказавшись, без большего труда, от своей мечты об автономии, в которую сумели внести некоторое разочарование шведы. Всеобщая амнистия, дарованная городу, и торжественное перенесение в его стены чудотворной иконы Божией Матери, взятой из соседнего монастыря в Тихвине, освятили восстановление прежнего порядка.

Англия совершила неудачный торг в таком договоре. Когда Джон Мерик потребовал уплаты за свои добрые услуги, ему указали, что дорога в Персию по Волге несколько ненадежна из-за разбойников, что путь в Индию и Китай по Оби недоступен из-за льдов, загораживающих почти постоянно эту реку, и что кроме того Китай небольшая и небогатая страна.[7]

И этот честный посредник должен был удовольствоваться золотым ожерельем, из которого не был вынут царский портрет, и мехами, среди которых, наряду с очень редкими соболями, было обидное количество сибирских белок.

Но еще меньше мог поздравить себя с таким событием другой противник Москвы.

IV. Перемирие с Польшею

Польша между тем упустила драгоценное время. В ноябре 1616 года одному из ее лучших полководцев, Александру Госевскому, удалось снять блокаду со Смоленска, заставив при этом быстро отступить московских воевод Михаила Бутурлина и Исаака Ногожева, но вотированная сеймом отправка большой армии в поход оставалась лишь в проекте ввиду отсутствия достаточных средств. В апреле 1617 года Владислав, рискнув выступить по дороге в Москву с каким-нибудь десятком тысяч войска, должен был вернуться в Варшаву для получения подкрепления, и только в сентябре появился снова под стенами Дорогобужа. Среди его приближенных находилось несколько выдающихся москвитян, – Михаил Шеин, князь Георгий Трубецкой, – и присутствие их, без сомнения, побудило местного воеводу, Ивана Ададурова, сдать город и присоединиться к польскому царю со всею местною знатью.

В свою очередь и Вязьма открыла ему ворота, и Владислав тотчас же послал в Москву

манифест о своем скором прибытии, вместе с патриархом Игнатием – поставленным первым Лжедмитрием (плохая рекомендация!), который должен был благословить его на коронование.

Посылая такого рода заявление, Владислав не принял во внимание двух препятствий, которые могли встать на его пути: зимы, которая вскоре должна была прекратить военные действия, и недостатка денег, не позволявшего возобновить их ранее июня следующего года. Можайск и Борисов были эвакуированы к тому времени приказом из Москвы. Там царила страшная паника, и доступ в столицу, казалось, был открыт. Но у Владислава было слишком мало людей с собою; он хотел подождать прибытия 20 тысяч казаков, которых вел к нему малорусский гетман Конашевич, испытанный вояка. Взяв приступом переход через Оку и расстроив попытку московского гарнизона помешать его соединению с поляками, храбрый солдат совершил все, что мог, но в это время первые холода суровой зимы дали снова себя почувствовать.

Владислав не потерялся, и Москва уже думала, что возобновляются страшные дни Тушина. Польский король расположился лагерем в том самом месте, где разбил свою палатку второй Лжедмитрий. Но положение не было таким же. Поляки могли тогда войти в Кремль без выстрела, они казались все же лучше Тушинского Вора. Владислав же видел необходимость осады, и полная неспособность находящихся под его командою воинов к этому виду операций обнаружилась. Неудачные наступления, суровое время года и неповиновение войск быстро пробили дорогу к новым переговорам.

Когда поляки, желая всячески отклонить затруднение, вызываемое титулами, стали называть Михаила: «кого вы называете теперь вашим царем», соглашение быстро состоялось. Москве был большой расчет пойти на соглашение.

Столица твердо держалась, но члены сейма в Польше были расположены к голосованию за выделение больших субсидий. Конашевич и его запорожские казаки протестовали против мира, донские высказывали желание их поддержать, наконец, повешенный вместе со своею матерью сын Марины, как рассказывали, вышел из могилы, после чудесного спасения, и получил приют у Киевских монахов.

Правда, 15 февраля 1619 года в деревне Деулине, по соседству с Троицей, не могло состояться соглашение по поводу условий прочного мира, – было лишь заключено перемирие на четырнадцать с половиною лет. Могло показаться, что Москва заплатила за него очень дорого; со Смоленском, Белым, Дорогобужем и доброй дюжиной других местечек она отдавала всю линию своей защиты на западной границе. И такою ценою она даже не добыла отречения Владислава от титула, оспариваемого им у Михаила. Но на деле Польша потеряла значительно больше: для нее была потеряна последняя возможность использовать спор, тянувшийся с шестнадцатого века с ее соседкою, за гегемонию в славянском мире.

Теперь уже становилось ясным, что раз Владислав отступил из Москвы, не добившись наследия Рюрика, Варшава станет однажды добычею других претендентов, которых он оказался не в силах отразить.

Это отдаленное последствие ускользало от предвидения деятелей этой эпохи, потому что они не замечали настоящей причины странных поворотов счастья, постоянно мешавших в этом трагическом поединке одной из соперничавших держав собрать плоды самых решительных удач, а с другой стороны дававших возможность ее конкуренту оправиться после самых тяжких поражений.

Они никак не могли учесть значения сил, пущенных в данном случае в ход: с одной стороны молодой народ, плохо еще установившийся, но в полном росте, в полном соку, и, как по темпераменту, так и по привычкам, прошедший самую суровую дисциплину и принесший самые тяжелые жертвы; с другой стороны нация преждевременно состарившаяся и как бы зачахшая в удушливой атмосфере политической борьбы, где вся ее энергия и все способности совершенно односторонне гипертрофировались, и вместе с мужественной решимостью исчезло и сознание долга.

1 июля на маленькой речке Поляновке закончился обмен пленными, воротивший Польше лишь несколько калек и отдавший Москве отца ее государя. 14 того же месяца, идя пешком впереди праздничного экипажа, – саней, на которых, несмотря на время года (таково требование этикета), восседал Филарет, – Михаил вернул торжественно в столицу освобожденного «заложника».

Что делать с этим священнослужителем? История не дает прецедента такого отца, в клобуке, и коронованного сына. К счастью, после смерти Гермогена, которого поляки будто бы уморили голодом, патриарший престол оставался свободным: Игнатий не принимался в расчет. И Филарет сделался патриархом. Он не получил никакого религиозного воспитания, и вкусы его были довольно светскими. Но даже на Западе в эту эпоху не считались в подобных случаях с такими препятствиями, и Филарет мог идти по стопам Ришелье, хотя и не обладая тем же гением, но вдохновляемый тем же честолюбием. Церковь и государство одинаково нуждались в главе, и последнее не менее первой выиграло от этого события.

Глава вторая

Реставрация

I. Двуглавое правительство

Двуглавый орел, принятый Московскими царями после брака Ивана III с последнею из Палеологов, получил в этот момент совершенно другое, непредвиденное, символическое значение. Имея одного лишь царя, государство тем не менее управлялось двумя государями, и отношения, установившиеся с первого же часа между отцом и сыном, поддерживались очень мирно к общему их благополучию.

Семейный принцип, так сильно развитый в этой среде и представлявший, несмотря на некоторые эксцессы, особенно ценную моральную связь, устранял всякий конфликт. У Филарета было то, чего недоставало Михаилу, чтобы фигурировать с некоторым достоинством в роли управителя, или даже пытаться фигурировать в качестве такового: честолюбие, любовь к власти, жизненная опытность, определенное уменье схватывать вещи благодаря той же опытности и чувство авторитета. Бразды правления совершенно естественно перешли в те руки, которые были всего более способны их держать.

Необходимо решительно отбросить возникшую по этому поводу гипотезу о государственном перевороте.[8] Свидетельства эпохи положительно противоречат этому.[9] Тут даже не существовало никакой возможности узурпации власти. Начиная со смерти «Грозного», благодаря неизбежным ограничениям, которые самый способ восшествия на престол доставил его преемникам, прогрессивное ослабление самодержавия клонилось чуть не к полному от него отречению. Этой фикции абсолютного самодержавия совершенно парадоксально противополагалась такая же фикция свободных учреждений, возникших в эпоху смуты.

И последняя фикция создала между ними пропасть, которую не были в состоянии восполнить ни Собор, ни Дума. В самом деле, необходимо было вновь создать правительство, и так как Михаил и не думал взять на себя подобную задачу, за нее взялся Филарет, подготовив почву для своего внука.

Отношения сына к отцу, отличавшиеся большою нежностью и принявшие характер почтительного уважения, были особенно кстати в данном случае.[10] Они позволяли им даже официально сообща управлять. Отец участвовал в большинстве решений. Если какое-либо из них не встречало его предварительного согласия, оно или отменялось, или исправлялось.[11] Когда Филарет отсутствовал, Михаил сначала всегда спрашивал его мнения, постоянно сообщая ему обо всех текущих делах. «Как ты об этом думаешь?» писал тогда патриарх, «по-моему»… И данное им указание исполнялось.

Даже в официальном протоколе удваивалась верховная власть и титул «великого государя» – соответствующий «Его Величеству» – одинаково прилагался и к отцу и к сыну. Иностранные посланники представляли им обоим свои верительные грамоты и свои подарки на основании церемониала, установленного еще Борисом Годуновым в эпоху его

власти. А между тем Ришелье так и не смог добиться этого от своего равнодушного государя. Несмотря на изоляцию, в которой обреталась в эту эпоху Москва, нет никакого сомнения, что пример всемогущего кардинала отчасти способствовал установлению этих отношений. Моральная непроницаемость народов, даже наименее поддающихся внешним влияниям, никогда не бывает безусловной.

А вдовствующая царица! После нового появления на сцену ее мужа, которого она уже потеряла и не была в состоянии снова заполучить, роль ее оказалась сыгранной. Если бы они не были по жестокой игре судьбы, перевернувшей все их существование, монахом и монахиней, Филарет отправил бы ее в терем. Став теперь патриархом, он послал ее в монастырь. А вместе с ней пали и ее докучливые родственники, которых она выдвинула вперед, хотя они и более старались защищать завоеванные места свои. Немилость, постигшая Салтыковых, была ускорена скандальною интригою, которой они лишили Михаила невесты, выбранной им. Оказывается, сын даже не мог жениться без вмешательства отца.

II. Брак Михаила

Этот эпизод рисует собою интересную картину нравов этой эпохи. В 1616 году молодой царь остановил свой выбор на Марьи Ивановне Хлоповой. Семья этой избранницы принадлежала к ряду приверженцев Романовых. Уже было отпраздновано обручение, и по господствующему тогда обычаю будущая царица переменила свое имя на имя Анастасии, напоминавшее жителям московского государства дорогую им память о первой жене Грозного, как вдруг указом об изгнании несчастную молодую отправили в Тобольск вместе с некоторыми ее родственниками.

В чем была ее вина? Она вдруг заболела, сделалась, по свидетельству придворных врачей, неспособной «служить радостям государя», т. е. виновной, раз Провидение считало ее достойной подобной немилости. По тогдашним воззрениям, болезнь считалась Божиим наказанием.

Таково было положение вещей, когда Филарету, вернувшемуся в Москву, вздумалось самому взять на себя разбор дела. Подвергли допросу духовника невесты, и он засвидетельствовал ее полную невинность; другие же указания дали повод патриарху заподозрить неправильность диагноза, по которому осудили царицу. Впрочем, он удовлетворился лишь полуреабилитацией. Хлопову перевели из Сибири, где ей пришлось подвергнуться самым суровым лишениям, в Верхотурье, где она получала на прокормление по десяти копеек в день, а потом отправили в Нижний Новгород.

У отца были другие виды на женитьбу сына. Начиная с 1621 и по 1623 год, он возобновил в Копенгагене и в Стокгольме попытки, в которых в прошлом не было ровно ничего утешительного, и только ряд неудач в этом направлении заставил его вновь заняться этим браком, заключенным и расторгнутым в его отсутствие. Розыск показал, что Салтыковы воспользовались простым расстройством желудка, причиненным невесте царя обильно принятой пищей. Один из них, Михаил Михайлович, только что поссорился с одним из дядей молодой девушки. Как он, так и его братья, подверглись в свою очередь конфискации имущества и ссылке. Но и Хлопова не осталась в Нижнем Новгороде, благодаря настоянию царицы Марфы, употребившей всю свою энергию и влияние для защиты своих родственников против худшего наказания, которым для них было бы торжество их жертвы.

Таким образом, семейная идея властно восторжествовала над всеми прочими расчетами.

В сентябре 1624 г. Михаил женился на княжне Марии Долгорукой, но потерял и эту подругу спустя несколько месяцев и повел на следующий год к алтарю дочь одного дворянина темного происхождения, Евдокию Стрешневу.[12] Она вскоре подарила ему сына Алексея. Таким образом, право наследства было упрочено за новою династией. Но само наследие все еще являлось ненадежным. Правда, от поляков временно избавились, но зато передали им ключи от дома, и у этих соседей, ставших еще более грозными, уже намечалась очень опасная для Москвы перемена царствования. Обуреваемый религиозными сомнениями и чувством ревности, Сигизмунд очень слабо поддерживал предприятия своего сына. Он постарел, и его здоровье быстро клонилось к упадку. Не было никакого сомнения в том, что, наследуя своему отцу, Владислав, как человек воинственный и честолюбивый, страстно любящий ремесло солдата, которому он предавался еще с ранней поры, и очень мало религиозный, не преминет отплатить за свои прошлые неудачи. Стараясь женить Михаила в Швеции или в Дании, Филарет, планировавший непрочную еще судьбу молодой династии, мечтал не только повысить ее престиж, но и заручиться опорой против нового врага. Он совершенно справедливо полагал, что московское государство, оставшись одиноким, не может противопоставить ему достаточных сил. Потерпев неудачу в области подобных брачных комбинаций, он все же не оставлял надежды хоть на политический союз, и вполне основательно мог льстить себя надеждой, что встретит в этом отношении меньше препятствий. И в этом споре, ополчавшем друг на друга обе половины славянского мира, сама судьба наталкивала противников на призыв иностранца, и этот иностранец, через сто пятьдесят лет, в самую решительную минуту в самом деле вмешался в их спор – чтобы неправильно его решить.

III. Дипломатическая кампания

И чужеземец был далеко не прочь вмешаться в такое дело. Борясь в Польше и Германии против католической коалиции, Густав-Адольф дважды, в 1626 и 1629 г., не брезговал явиться в Москве умиротворителем. Если он и не думал о русской армии, то все же хотел по крайней мере присоединить к своим знаменам некоторое количество казаков для борьбы с бандою Лисовского, оказывавшего большие услуги имперцам. Посланники шведского короля сильно торопились с заключением союза. Но Москва, отказавшись принять участие в борьбе, раздиравшей всю Европу, сама отказалась от счастья. Как только она отказалась нарушить перемирие с Польшею и открыто вмешаться в военные действия, Ришелье сейчас же создал образец «скрытой войны», вмещавшей в себе массу удобств и выгод.

У московского Ришелье, пытавшегося идти подобным же путем, не хватало для этого смелости и решительности. Увильнув сначала от этих предложений, он в 1631 году был склонен принять их, однако Густав-Адольф тогда уже заключил договор с Польшею. Тем не менее переговоры продолжались. Швеция уполномочивала для них поочередно случайного дипломата, московита Александра Рубеца или Рубцова, попавшего к ней на службу после одиннадцатилетнего плена в Польше; потом одного немца, Иоганна Мюллера, который был первым ее постоянным резидентом в Кремле. Отказываясь до сих пор от предлагаемого союза, здесь однако не теряли времени: деятельно готовились к войне и уже говорили о том, что ее необходимо объявить Польше немедленно. Мюллер ответил на это предложением двух шведских полков и просил изволения набрать несколько других среди днепровских

казаков. В свою очередь Густав-Адольф рад был воевать под сурдинку. Однако было уже слишком так распоряжаться чужим добром. Днепровские казаки зависели от Польши, которая едва могла держать в руках это буйное братство, все же удерживая его от покушений на измену. Шведские и московские вербовщики были выпровожены, рискуя своею жизнью в подобных попытках, а немного спустя смерть победителя при Люцене положила конец всему предприятию.[13]

Но и стучась при этом в другие двери, московская дипломатия не была удачливее. Еще до Деулинского перемирия она вытянула из Англии заем в 100 000 рублей, превратившийся в 20 000 благодаря мошенничествам посредников. А в 1623 году она хвастливо заявляла, что вовлечет своих кредиторов в обширную антипольскую коалицию, в которой должны были участвовать вместе со Швецией и Данией также Нидерланды, но добилась в результате лишь града унизительных насмешек.

Эта дипломатия шла еще ощупью и легко сбиваясь с плохо проторенных путей. Так, в 1615 году, посылая во Францию Ивана Кондырева, она думала снискать помощь правительства Кончини против Польши и Швеции. Но ни маршал Анкрский, ни его преемники даже не подумали отвечать на подобное предложение; сам Ришелье нисколько не торопился, и только в 1623 году первый француз, предназначенный для вручения слов Всехристианнейшего короля отдаленному северному двору, получил верительные грамоты. То был барон Людовик Де-Курменен из Гааги, сын губернатора Монтаржи. Будучи сначала пажем, потом метрдотелем Людовика XIII, начиная с 1621 года посылаемый для различных поручений в Данию, Германию, Пруссию, этот молодой дипломат – ему было в это время всего тридцать семь лет – кончил плачевно. Страстно честолюбивый он мечтал о месте шведского посланника, которого не получил, ударился в интриги, близкие к государственной измене, и кончил на эшафоте. В Москве он сыграл довольно жалкую роль. Ришелье был не прочь соединить против Польши, союзницы императора, с враждебным им лагерем и московское государство. Но французский посланник неловко ввязался в детский спор об этикете и сделал еще более неудачный шаг, показав, что ему диктовало предложения духовное лицо. Казалось, он исключительно имел в виду организовать исповедание католического культа в столице православия. У него было на уме нечто совершенно другое, но, оскорбляя с одной стороны весьма законную обидчивость, он с другой стороны натолкнулся на стену предрассудков, рутины и частных интересов, обрекавших его миссии на неизбежное крушение.

Ришелье шел всячески навстречу союзникам, которых надеялся заполучить к себе против австрийского дома. Взамен оборонительного и наступательного союза, он требовал лишь экономических сделок, одинаково выгодных обеим сторонам. С одной стороны, Франции улыбалась дорога в Персию, зато московское государство получит возможность непосредственно пользоваться французскими товарами, в которых оно начало понимать толк, тогда как посредники английские, голландские или брабантские наживали на их цене значительные куртажи.

К несчастию, московские купцы все держались за свою персидскую монополию, от которой впрочем не имели большой выгоды, а с другой стороны, коммерческие соперники Франции, вступив в отчаянную борьбу, все соединились против общего врага для защиты приобретенного ими положения. Нидерланды предупредительно согласились бойкотировать польский порт Данциг, они были готовы торговать преимущественно с Архангельском, и польский король потеряет в год до 100 000 экю. Против этой комбинации поднялась

английская монополия, но Курменена тем не менее не выпроводили.

Одно время, за неимением лучшего, был уже на пути к осуществлению союз с Данией, и оба правительства уже готовы были обменяться грамотами, как в дело опять вмешался этикет. Ссылаясь на привилегию, приобретенную его шведским соседом острием меча, датский король требовал, чтобы и его имя было написано в трактате прежде имени царя. Это затруднение окончательно сгубило союз, уже наполовину заключенный, и царь, гордясь своим величием и не желая уступить такому ничтожному государю, остался лицом к лицу с «венгерским королем», т. е. сделался жертвою простой мистификации. Этим «венгерским королем» был Бетлен Габор. В Москве не имели точных сведений о путаных спорах этого претендента с австрийским домом, как и о том, выйдет ли он победителем из борьбы, и потому оказали пышный прием обоим его посланникам, случайно бывшим французами: Шарлю де Талейрану, маркизу Асседевильскому, и Жаку Русселлю. Но, постоянно ссорясь друг с другом и обвиняя один другого, они сами дискредитировали свое дело. Маркиза водворили в Костроме, где Габор не мог уже оказать ему никакой помощи, так как скоро умер. Ришелье, казалось, остался равнодушен к авантюре, которой он, быть может, и был чужд, граф Суассонский, желая выручить пленника из этого скверного положения, не был в состоянии в 1632 году придумать другого средства, как просить вмешательства Карла I и Генриха Нассаусского, но и старания последних при посредстве другого француза, Гастона Шаронского, тоже остались без всякого результата. Только в 1635 году добилось лучшего успеха посольство Людовика XII.

Но Москва все еще не имела союзника в борьбе, которую она должна была считать близкой и неминуемой. Даже от Турции она не могла ничего ожидать. Осман II предложил ей в 1621 г. действовать сообща против Польши, но Филарет не считал себя достаточно подготовленным. Страна после перенесенных страшных испытаний была еще настолько слабой, что даже крымские татары разоряли безнаказанно мелкими отрядами юго-восточные области. Тогда Осман сам предпринял уже один неудачную кампанию. На возвратном пути он был убит своими же янычарами, и Порта, погрузившись в омут внутренних беспорядков, некоторое время оставалось бессильной.

Из Европы московское государство таким образом еще раз было отброшено в Азию. Но и в Персии Аббасу приходилось по временам жаловаться на обращение с его послами. Хотя в Кремле и считали нужным терпеть некоторых иностранцев, их всегда считали или шпионами, или заложниками. На этот счет ни принимались никакие обоюдные отношения. В 1620 году совершенно случайно, посланник царя в Тегеран, Тюхин, услышал в своем присутствии оскорбительные отзывы о своем государе. И ему по возвращении дали за это семьдесят ударов кнутом, жгли его тело раскаленными щипцами, и он должен был считать себя счастливым уже тем, что на всю жизнь был брошен в сибирскую тюрьму.[14]

Тем не менее царь и шах оставались добрыми друзьями, и в 1625 году посланник Аббаса, Руссан-бек, вызвал в Москве целую бурю радости, привезя с собою если не средства победить Польшу, то по крайней мере залог такой победы: хитон Господень, найденный в Грузии! Так как подлинность реликвии была доказана происшедшими вокруг нее чудесами, то в Москве надеялись получить от щедрого дарителя более существенную помощь. Но увы! вместо нее князь Григорий Тюфякин привез с собою лишь – прекрасную персиянку, спрятав ее в чемодане.

Тогда в Москве окончательно убедились, что в предстоящей борьбе придется рассчитывать лишь на свои собственные силы, и потому там ясно сознали полную

необходимость основательной реорганизации всего военного дела.

IV. Опыт военной реформы

Архаическая как по способу набору рекрутов, так и по своему снаряжению, масса польской армии, состоявшая исключительно из конницы «посполитного рушения», все же заимствовала более выработанные способы боя, взятые из иностранных образцов, или выработанные на месте.

Еще начиная с Батория, придумавшего тактику, доказавшую свое превосходство даже в борьбе со шведами, эту кавалерию сверх того подкрепляла пехота, набранная по большей части в Германии или Венгрии, обученная и вооруженная по европейски и все более и более многочисленная. К чести царствования первого Романова нужно отнести и то, что он вдохновился этим примером и взял на себя инициативу в создании новой русской армии с 1626 по 1632 г.

В то самое время, как им были посланы вербовщики на запад для найма 5000 человек пехоты, для приглашения на царскую службу литейщиков пушек и для закупки оружия, московские солдаты методически обучались иностранными инструкторами. В этом новоиспеченном войске уже фигурировали в первый раз местные всадники, вооруженные по германскому образцу, и местные стрелки, обученные по способу, практикуемому в полках наемной шотландской пехоты.[15]

Известно, что во Франции первый опыт организации постоянной армии относится к эпохе Карла VII и уже в XII в. замечается тенденция на западе не брать к себе иностранных наемников. Вступив на путь прогресса, Москва все же, как видно, отстала и, как и во Франции, ее попытка натолкнулась на большие денежные затруднения. Так, в один год от сентября 1632 года до сентября 1633 г. иностранные наемники поглотили 430606 рублей, тогда как для контингента почти в двадцать раз большего из туземной милиции издержки равнялись лишь пятой части этой суммы.[16]

Усилия делались чрезвычайные, хотя они и не были немедленно же вознаграждены. Народ, от которого их требовали, казалось, был создан для бесплодных жертв и долготерпения. В том то и состоит заслуга Михаила и его преемников, что они не отошли от раз принятого пути, несмотря на самые расхолаживающие неудачи. Настойчивость среди превратностей судьбы составляла половину гения Петра Великого: его дед, хотя и более скромный, тоже не поддался неудачам, способным обескуражить самых сильных людей.

Впрочем ни он, ни Филарет, не были в состоянии учесть истинную цену произведенного им нового военного улучшения. Новизна его заставила их ошибиться насчет его значения.

Сначала боясь помериться с Польшею, они теперь стали страстно желать войны с нею и, несмотря на целый ряд одновременных дипломатических неудач, шесть лет от 1626 до 1632 для них были наполнены каким то лихорадочным ожиданием стечения благоприятных обстоятельств для объявления задуманной войны.

По какому-то странному настроению, обличающему как слабость мысли обоих правителей, так и силу их иллюзий, событие, доставившее им этот благоприятный случай, именно первоначально и наполнило их душу страхом. В апреле 1632 года умер Сигизмунд, и хотя Владислав и имел полную возможность неоспоримо наследовать ему, но призрак выборов, предписанных конституционным уложением страны, неизбежное установление

междуцарствия, рост сопровождающей его обыкновенно анархии – все, казалось, обеспечивало успех неожиданному нападению. Быстро был созван собор. Он тоже был убежден в необходимости войны и новую армии призвали немедленно доказать свою пригодность.

Но и в самом Московском государстве было немало непорядков. Призванные исполнять главное начальство над армией, князья Димитрий Черкасский и Борис Лыков поступили так же, как это сделали восемнадцать лет тому назад Хованский и Хворостинин. В Москве потеряли ровно два месяца, чтобы уладить их ссору, но не достигнув ничего, стали искать им преемников и остановили свой выбор только в августе на Михаиле Шеине и на Артемии Измайлове. Шеин уже прославился защитою Смоленска против поляков,[17] и был поэтому назначен занять снова это место. В войске, находившемся под его начальством, было 32970 человек и сто пятьдесят восемь пушек, 3667 человек германской или шотландской пехоты и 3330 человек московской пехоты, снаряженной по германскому образцу.[18] К нему должно было подойти значительное подкрепление из милиции, сконцентрированной в Можайске и в других местах.

V. Смоленская катастрофа

Кампания началась блестяще. Захватив последовательно Серпейск, Дорогобуж, Стародуб и другие места, Шеин и Измайлов осадили в декабре Смоленск.

Однако польский комендант не уступал по мужеству и по упорству своему московскому предшественнику и так долго выдерживал осаду, что Владислав успел за это время добиться избрания, употребить на быстрое вооружение сбережения, оставленная его отцом, вообще отличавшимся бережливостью, и явиться с 23000 армией на помощь осажденным, продержавшимся уже восемь месяцев.

Шеин был храбрым солдатом, но весьма посредственным генералом. Когда польская армия стала маневрировать с целью выбить его из занятой им удобной позиции, он не был в состоянии противопоставить ей никакой оборонительной тактики. В первые дни сентября он допустил ее захватить высоты и господствовать над ним, а в конце месяца она взяла в тылу московского войска Дорогобуж, где у Шеина был обоз. Через еще несколько дней Шеин был уже окружен и остался без провианта и фуража, в то время как польская артиллерия обстреливала его лагерь метким навесным огнем. Это был настоящей прообраз будущих событий при Ульме и Седане.

Развязка впрочем наступила не быстро: восточная медлительность затягивала дело и с той, и с другой стороны. Но в то время как поляки, подражая эпическим военным хитростям Илиады, употребляли переряженных посланцев для сообщения с осажденными, москвитянам стала давать себя знать плохая дисциплина их чужеземных наемников. Шотландец Лесли убил перед всем советом офицеров из пистолета другого полковника, англичанина Сандерсона. Новая военная организация на опыте обнаруживала серьезные недостатки.

В середине января 1634 г. Шеин вступил в переговоры с поляками и капитулировал 19 февраля на условиях, предложенных ему его противниками. Они были суровы и унизительны, но совершенно соответствовали обычаям эпохи, не представляя ровно ничего бесчестного для страны, где существует пословица: «стыд не дым, глаза не выест» и где

власти, подчиняя своих подданных унизительному обращению, совсем не развивали у них особенной чуткости в этом отношении. Побежденные оставили врагу весь свой боевой материал вместе со знаменами и торжественно повергли его к стопам победителей.

Филарет уже не был свидетелем поражения, хотя болезнь, обуревавшая его еще до смерти, случившейся 1 октября 1633 года, несомненно находилась в связи с разочарованием, в которое его повергло крушение его смелых планов. Напрасно Шеин ждал обещанного ему подкрепления из Москвы, а Михаил выказал непомерную строгость к старому генералу. Не считаясь с его старыми заслугами, он приказал его схватить и осудить на смерть вместе с Измайловым, а его подчиненных щедро угостить ударами кнута и подвергнуть изгнанию.

Эти репрессии были совсем не справедливы уже, потому, что как ни плачевна была катастрофа, она не имела тех последствий, которых боялись. Еще один раз Польша выказала то радикальное бессилие, в которое ее повергло разложение ее политического организма, бессилие, мешавшее ей собирать плоды побед, доставляемых ей пережитками ее военных доблестей. Победители утомились раньше побежденных, и Владислав, вместо того чтобы идти на Москву, принялся за переговоры.

Договор был заключен в Поляновке, как раз в том месте, где раньше был освобожден Филарет; 17 мая 1634 года согласились на этот раз на условиях вечного мира и в вознаграждение за одну из самых решительных удач, известных в военных анналах истории, Владислав удовольствовался лишь третьестепенным местечком Трубчевском, которое было прибавлено к его прежним приобретениям.

Так как Турция обнаруживала в это время агрессивные стремления, он почитал уже за счастье, что ему таким образом удастся направить на нее все свои силы, а так как финансы его истощились, то ему было в высшей степени приятно получить 20 000 рублей из московской казны. Эта сумма не была упомянута в трактате и король, постоянно нуждавшийся в деньгах, мог употребить их на свои личные издержки. Эти условия содержали вместе с тем его отказ от притязаний на московский трон, после целого ряда тщетных просьб о том, чтобы Михаил сам перестал приписывать себе титул «государя всея России». Пусть он ставит, «своей России», говорили совершенно справедливо поляки, так как, присоединив к Белоруссии также Краснороссию, и Малороссию, они наследовали почти целиком вотчину Ярослава и Владимира. Не добившись этого, они довольно бесчестно отказались от возвращения оригинала другого трактата, по которому в 1610 году Жолкевский добыл Владиславу корону, носимую теперь Михаилом. Бумага эта пропала, уверяли они. Таким образом ядро новых близких конфликтов продолжало быть налицо.

В данную минуту в Москве склонялись однако к тому, чтобы избегать всяких конфликтов в области внешней политики, где она пользовалась такою ничтожною удачею. В этой стране уже хорошо освоились с политикой сосредоточивания своих сил. Обострялись отношения с Турцией, благодаря казакам и татарам, сторожевым псам, которых трудно было держать на привязи.

С той и другой стороны сваливали ответственность друг на друга и одинаково плохо верили один другому. К этим иррегулярным войскам относились как к разбойникам, засыпая их однако субсидиями и поощрениями. Донские «бандиты» очень плохо понимали подобную дипломатию и в июне 1637 года, когда для улажения дела условились пригласить представителей обеих стран, они быстро положили конец переговорам, умертвив турецкого посланника, Фому Кантакузена, и захватив Азов после отчаянной рукопашной битвы.

Занятый в это время войною в Персии, султан Мурад принялся тем не менее мстить за

это оскорбление, науськав, в свою очередь, крымских «бандитов», которые, начиная с сентября этого года, предавали огню и мечу всю московскую Украйну. В мае 1641 года преемник султана, Ибрагим, явился под Азовом с огромною армией, но позорно отступил после двадцати четырех штурмов, отбитых горстью казаков, которым помогали их жены. Тогда опять произошла та же комедия; геройские защитники получили из Москвы поздравления и подарки, но как было упомянуто выше, несмотря на единогласное решение Собора, было постановлено в Кремле эвакуировать это место. Это и было исполнено.

На это решение повлияли известия из Польши. Они заставляли опасаться, что, хотя диадема Рюрика и защищалась, несмотря на катастрофу в Смоленске, с успехом против Владислава, все же она сидит не особенно крепко на голове Романовых.

VI. Появление новых претендентов

Уже в 1619 году поляки упоминали с задней мыслью о сыне Марины, спасенном от смерти. Посланный в Варшаву в 1643 году, под предлогом урегулирования границ, князь Алексей Львов получил поручение собрать об этом сведения и разоблачить субъекта, который, пробыв долго у днепровских казаков под именем Димитрия, пробрался потом в Польшу, выдавая себя за сына царя Василия Шуйского. В Москве ходили слухи, что другая такая же загадочная личность уже пятнадцать лет держится в запасе поляками в качестве предполагаемого претендента и живет в иезуитском монастыре в Бресте.

Объяснения, данные на этот счет Львову, были мало успокоительны. Предполагаемый сын Василия, говорили ему, втерся в дом государственного казначея, Яна Даниловича, велевшего его после опроса избить кнутом и выгнать, причем было неизвестно, что сталось с этим авантюристом. Ученик же брестских иезуитов был простым крестьянином, которого ради простой шутки прозвали царевичем, и он совсем и не думал воспользоваться этим титулом. Продолжая настаивать, посланец получил сведения, что этого крестьянина некоторое время величали сыном Марины. Затем он узнал еще более, обратившись к первому воспитателю мнимого царевича, игумену монастыря в Пинске, Афанасию Филипповичу, будущему ревнителю православия, приявшему потом за него венец мученичества. Воспитанника, отнятого у него иезуитами, по его словам, звали Яном Лубою. Его отец, подляхский дворянин, умер в Москве, во время польской оккупации и, приведенный в Польшу, был принят лиговским канцлером, Львом Сапегою. Мальчик был очень красив и в самом деле предназначен играть роль претендента.

Дело становилось серьезным, и Львов стал энергично настаивать, чтобы мнимый царевич или был выдан ему, или немедленно казнен в Польше. После целого года утомительных переговоров он должен был удовлетвориться выходом, призванным дать повод к новым осложнениям: Лубу прикомандировали к польскому посольству, которое должно было ехать в Москву, и Львов был убежден, что самозванцу уже оттуда не удастся вырваться.

Он не принял в расчет энергии посланника Гавриила Стемпковского, который, ссылаясь на очевидную невинность своего протеже, человека ограниченного и совсем несклонного к приключениям, был готов защищать его в случае необходимости, даже с оружием в руках. Михаил и его советники совсем не думали доводить дело до подобной крайности, так как их втянули в новую и очень неприятную распрю, а вмешательство Польши только увеличило бы смуту. Они снова необдуманно увлеклись химерой семейных связей на западе, которая, начиная с Бориса Годунова,[19] являлась источником стольких неприятностей. Даже память о

них вызывала неприятные чувства. Принужденный сам удовольствоваться для себя более скромными связями, сын Филарета задумал найти более блестящую партию для своей старшей дочери, Ирины, и снова обратил свое внимание на Данию.

VII. Обручение царевны

В 1641 году Михаил принимал датское посольство, во главе которого стоял сын короля Христиана IV. То был принц лишь полуцарственного происхождения, происшедший от морганатического брака этого государя с графинею Монк. Тем не менее к нему в Москве отнеслись как к сыну королевской крови, решив, что он подходящая партия для Ирины. Принц Вальдемар даже и не мечтал жениться в московском государстве. Он преследовал лишь интересы коммерческого характера, но его искания в этом отношении были отклонены ввиду неудачи, испытанной недавно при аналогичной сделке. Настоятельная нужда в финансах заставила Михаила заключить договор с одной голштинской компанией, которая, за ежегодный взнос 600 000 экю, получила ту привилегию торговли с Персией, которой так тщетно добивалось столько других соискателей. Но она обанкротилась и прекратила платежи. Вальдемар воротился домой ни с чем, но следом за ним были посланы самые искусные дипломаты, которых только можно было найти в Кремле, чтобы добиться согласия Христиана на брак принца с царевной.

Ввиду рисовавшейся блестящей перспективы, король мог считать себя только польщенным подобным ходатайством, но условия предлагаемого брачного союза показались ему неприемлемыми. Вальдемару предлагали переменить веру и по тому приему, который им был сделан, посланники могли понять, как глубоко они оскорбили чувства этого принца, преданного протестантизму. У послов был приказ отказать ему показать «личность», т. е. портрет Ирины. Известно, что в московском государстве этой эпохи, как и теперь еще водится на востоке, супруг может видеть супругу в первый раз, только переступив порог брачной спальни. Московиты этой эпохи вообще не соглашались позволять рисовать или раскрашивать свои изображения из опасения колдовства. Однако в данном случае никто и не поинтересовался «личностью» царевны.

Михаил заупрямился и при посредстве маклера, жившего несколько лет в московском государстве в качестве коммерческого агента Дании, Петра Марселиса, пошел на уступки: Вальдемару обещали в приданое Суздальское и Ярославское княжества и свободу в деле религии. Христиан, желая устроить сына, польстился на приманку, но на этот раз заупрямился уже сам молодой принц. Все, виденное им в Москве, совсем не прельщало его вернуться туда, а тем более устроить себе в этой стране постоянное местопребывание. Марселис убеждал его изо всех сил, говоря, что все обойдется благополучно. Он, мол, отвечает своею головою.

– На что мне твоя голова? – возразил ему Вальдемар.

Однако он должен был уступить отцовской воле и, получив самые формальные уверения в уважении к его вере, также как и обещание соорудить храм, в котором он мог бы свободно исполнять предписания протестантизма, он в декабре 1643 года явился на границе своего нового отечества со свитою в триста человек. Он мог лишь похвалиться оказанным ему приемом; только на одной станции любители экзотической роскоши похитили украшения с его кареты. Не успел он водвориться в Кремле, как патриарх Иосиф (преемник Филарета после Иоасафа) поднес ему еще более неприятный сюрприз, просто-напросто пригласив его

приготовиться войти в лоно «истинной церкви». Вальдемар указал на условия, заключенные в Копенгагене. Пришлось вмешаться Михаилу. Правда, уговор гласил, что принц сохранит на этот счет полную свободу действий, но отец последнего уже успел написать, чтобы сын его подчинился воле будущего тестя. А воля последнего и заключалась в том, чтобы жених Ирины перешел в православие.

Вальдемар тем менее был склонен последовать такому аргументу, что ему был на руку всякий предлог порвать ненавистный для него союз. Тщетно ему расхваливали прелести царевны. Он мог убедиться в этом только, став ее мужем, и должен был верить на слово, что невеста отменно прекрасна и по своему образованию совсем не походит на других русских девушек. Никогда она не упивается допьяна. Скромная и разумная во всем, всю жизнь она ни разу не была пьяна!

Несмотря на все эти лестные перспективы, мятежный жених боролся пять месяцев, желая добиться отставки. Потеряв, наконец, терпение, он в мае пытался бежать, пробивая себе дорогу со шпагой в руке, но был только избит, убив одного стрельца. Христиан IV снарядил после этого два последовательных посольства, чтобы или добиться совершения брака соответственно уговору, или возвращения принца, но и они не имели лучшего успеха. В дело вмешалась и Польша, боясь распри с Данией, сблизившей бы Москву со Швецией, тщетно также, и Вальдемар пошел на уступки. Он согласился на то, чтобы его дети сделались православными, и обещал соблюдать православные посты настолько, «насколько ему позволит его здоровье». Михаил не хотел ничего слушать и до самой смерти так и не уладил этого дела.

12 июля 1645 года Михаил скончался от разрыва сердца. Единственному, оставленному им сыну, Алексею, было шестнадцать лет.

Царствование первого Романова нельзя причислить к блестящим эпохам истории русской нации, и его личность не фигурирует в ней с особенным блеском. Тем не менее это царствование, благодаря главным образом Филарету, оберегавшему страну от непоправимых катастроф и ведшему ее по пути лучшего будущего, знаменует собою период возрождения, значение которого не оценено достаточно и до сих пор. Оно было во всех отношениях эпохою реставрации.

VIII. Реставрация

Такое определение не преувеличено. Правление Михаила или скорее Филарета, так как и после смерти отца сын лишь шел по его стопам, обозначает прежде всего решительный возврат к традиции в вопросе о верховной власти. Впрочем, аристократия уже была не в состоянии разделять с царем власть по старой официальной формуле, уже достаточно поколебленной Грозным. После опричнины,[20] Смутное время довело боярство до полного упадка. Среди фамилий, которые могли еще предъявлять свои права на соучастие в правлении, Романовы не имели соперников, Годуновы находились в ссылке, Шуйские и Мстиславские исчезли путем истребления, самые энергичные среди Голицыных только что погибли. Кроме того, события конца шестнадцатого и начала семнадцатого века только ускорили эволюцию, которую можно было предвидеть в этой сфере с самых древних времен. А в середине пятнадцатого века она уже ясно вырисовывалась в недрах образующегося московского государства. Рядом с первыми «собирателями земли русской», их некогда свободные сотоварищи, князья и бояре, не имели уже средств для восстановления прав,

постепенно утраченных вместе с их самостоятельностью и состоянием. Последнее уменьшалось благодаря раздроблению наследий, а первую они не могли стойко защитить. Их вотчины, постоянно становились все меньше, вассальные клиенты, когда-то составлявшие их силу, оставляли обедневших сеньоров. За отсутствием майоратов, великий князь московский стал скоро один владеть значительным количеством земель и, распределяя их между своими слугами (служилыми) в виде пожизненных владений чего-то вроде уделов (поместий), один он располагал средствами заставить признать свой авторитет, стараясь, естественно, чтобы у него не было никакого соперника.

Для этих служилых людей вопрос о поместьи, забота добыть и сохранить за собою благоволение их распределителя, царили надо всяким другим интересом. В самый разгар недавнего кризиса обедневшие князья и бояре старались поправить свое положение, навязав хартию Шуйскому. Но, запершись в Москве благодаря восстанию низов, лишенные власти поляками и, наконец, окончательно побитые казаками, они уже были не в состоянии бороться. Честь изгнания поляков и подавления народного бунта выпала на долю хозяев поместий и жителей городов.

Выдвинутые таким образом вперед, оба эти класса могли бы в свою очередь противопоставить всемогуществу государя страшный противовес. Но не говоря уже о том, что кризис, разоряя их, обессилил их временно, они были разъединены, даже враждовали друг с другом. Городскому населению приходилось всегда жаловаться на воевод и старост, теснивших их и ужасно эксплуатировавших. Они могли находить защиту от них лишь у царя, а эти угнетатели выходили как раз из служилых людей.

Благодаря всем этим причинам, молодая династия Романовых, несмотря на свое происхождение и шаткое видимое положение, могла не только поддержать, восстановив вполне, незыблемость самодержавного принципа, но еще и усилить его. Не будучи в состоянии противостоять против растущего превосходства Романовых, старая аристократия могла лишь утешаться ревнивым и угрюмым обереганием единственной оставшейся ей привилегии, брошенной ей как кость голодной собаке – а именно, считаться друг с другом из-за старшинства и первенства. Поэтому, как раз накануне своей отмены, местничество[21] достигло необыкновенного развития.

Мы уже видели, как во время конфликта с Польшею, претензии на право главноначальствующего в двух случаях повредили военным действиям. В присутствии государя, вышедшего из второстепенной фамилии, они были причиною постоянно дерзких, но и постоянно бесплодных споров. И такой характер и остался за ними.

Так однажды на придворном обеде один из Романовых, дядя правящего царя, уступил первое место Мстиславскому, а второе место у него уже оспаривал Лыков.

На другое утро, когда государь принимал одного иностранного посланника, рынды, обязанные стоять с топорами у трона, отсутствовали из-за подобного же спора, и метрдотель скорее бы согласился дать отрубить себе руку, чем фигурировать в процессии вместе с камер-лакеем, которого он считал недостойным подобного ранга.[22]

Чтобы прекратить такие выходки, даже кроткий Михаил не колебался сам прибегать к кнуту, но, соблюдая фамильные интересы, бояре охотно предпочитали смерть оскорблению подобного рода, в силу царящих принципов распространявшегося на все их родство.

Привыкшие к ударам кнута, они боялись гораздо более другого наказания, считавшегося самым строгим из числа употребляемых обыкновенно государем. Виноватый в нарушении правила местничества выдавался сопернику «с головою». То была совершенно детская

церемония: обидчик должен был в сопровождении провожатого отправиться к обиженному. Приведенный к нему, он отвешивал глубокий поклон, и уезжал, не имея права сойти с коня или сесть в колымагу во дворе посещаемого им дома, причем вся эта процедура сопровождалась самою грубою бранью.

На деле государи поощряли эти наглые выходки. В них их естественные противники употребляли в дело все то, что им оставалось от прежней силы и престижа. Тяжелое положение Михаила заключалось в другом. Аристократия разлагалась, да и в целой стране было положительно нечем жить. Споря о местах, князья и бояре делали упущения в командовании армиями и в начальстве над крепостями, порученными им, а случалось и так, что не над кем им было командовать. В области Новгорода в 1626 году было еще 2 752 человека способных носить оружие, но в Ладоге их оставалось едва 289, в Порхове всего только 75 и 70 в Старой Русе.

Не было ни солдат, ни денег. Для производства набора и сбора податей, наложенных Собором, были посланы во все стороны бояре с писцами и контролерами или дозорщиками. Они были уполномочены переписать подданных годных для службы и расследовать положение плательщиков податей, упорядочивая распределение поместий и устанавливая правильную раскладку налогов. Увы! всеобщий беспорядок, подкупность, приставленных к этому делу чиновников и истощение страны обратили в ничто эти попытки, сделали недействительными расчеты и самые суровые репрессивные меры. Так, один сборщик, посланный в Белозерскую область, оправдывался следующим образом: побивая кнутом чуть не до смерти упорных должников, он некоторое время держал их начеку, но уже ничего не мог поделать, когда появились поляки, даже кнут не давал уже ровно никаких результатов.[23]

Почти в таком же положении находилась Франция после религиозных войн.

До приезда Филарета правительство Михаила было бессильно бороться с такими трудностями. Но в этот момент, к счастью, почувствовался импульс, более энергичный и более искусный, в области внутренней политики.

IX. Реорганизация администрации

Уже в июне 1619 года Собор должен был принять ряд важных решений: установление нового инвентаря земель, обремененных налогами, чтобы собрать более или менее оправдываемые опустошениями войны недоимки; меры для возвращения бежавших плательщиков (тяглых), преследование за злоупотребления властью, совершенные «служилыми людьми» в качестве чиновников всякого рода. Создание специального департамента прошений (буквально, жалоб против сильных людей, «приказа, что на сильных людей челом бьют») – кажется явилось результатом этой инициативы.

В то же самое время сознали необходимость установить правильную государственную роспись доходов и расходов, и Москва таким образом получила свой первый бюджет.

По поводу же злоупотреблений чиновников было приказано сделать розыск в связи с одновременно выплывшей задачей фундаментальной реорганизации всей провинциальной администрации. Слабость контроля свыше и отсутствии внизу сильных местных коллективов отдавали беззащитных, ими управляемых, людей полному произволу представителей центральной власти, изощрявшихся в невероятных выходках насилия. Как впрочем и во Франции, да и в других странах Европы, несмотря на уже ярко выраженную централизацию, административная организация не отвечала никакому однообразному типу.

Чтобы уменьшить злоупотребления, Иван IV дал полномочие иным обществам самим избирать себе правителей.[24]

Но этот зародыш самоуправления не имел общего применения. В силу ли своей беспечности, или по недоверию, общины местами сами уклонялись от этой своей пользы и, отдав среди кризиса главенство военной диктатуре воевод, избранные власти почти отсутствовали, особенно пострадала их уголовная юрисдикция, выполняемая губными старостами.

Отсюда усилились беспорядки и лихоимство, особенно в отдаленных местах. Так, в Мангазее в Сибири двое воевод, Андрей Палицын и Григорий Кокорев, запятнали себя целым рядом гнусностей, причем один из них отличался тем, что прикарманивал подати, собираемые под аккомпанемент палочных ударов, а другой заставлял своих подчиненных пьянствовать ежедневно в его собственном кабаке. В 1621 году был послан общинам циркуляр, запрещавший вымогать магарычи и неправильную барщину, но результат можно было заранее предвидеть, и в 1627 году поворот в сторону политики «Грозного» усилил власть губных старост, так что в их руках теперь сосредоточилось постепенно все местное управление.

К несчастию помощь со стороны заинтересованного населения отсутствовала еще. Некоторые области и города, как и раньше, мешкали приступить к подобной организации, другие гнушались ее, утверждая, как это было с Дмитровом и Кашином в 1644 году, что администрация воевод лучше. На деле, собственно говоря, свободный выбор властей был почти фиктивным в большинстве случаев, отчасти потому, что центральная власть вмешивалась и нарушала принцип этого института, отчасти потому, что сами избиратели были неспособны им воспользоваться. Такое явление имело место и в более близкую от нас эпоху, и в конце концов воеводы одержали победу. Во всех странах, где пустил корни деспотизм, он достигает наибольшей силы и прочности существования, отнимая у подчиненных вкус к свободным нравам, как и необходимое умение воспользоваться последними.

Центральная администрация не могла похвастаться последовательностью в этом отношении. Ей самой было необходимо реорганизоваться, и хотя Михаил и Филарет во многих отношениях столкнулись с совершенно новым положением дел, они тем не менее не замышляли сыграть в этой сфере роль новаторов. Обычною их заботою являлось привести все в порядок, и им казалось наиболее отвечающим этой цели приложение старых формул даже там, где они видели развитие в политической, экономической и социальной жизни страны. Они совсем не коснулись Приказов, удовольствовавшись лишь умножением числа этих учреждений путем их расчленения и специализации их в каждом отдельном департаменте той или другой группы дел. Эта мера увеличила кадр чиновников, уже установленный ранее.

Таким образом, впрочем, и в наши дни еще, в других странах, зарождаются новые министерства.

Но какова бы ни была административная организация Московского государства, местная или центральная, она, сохраняя как организация фискальная классовый характер, породила и другие затруднения. Классы чувствовали на себе общее расстройство. С этой стороны задача разрешения кризиса сводилась к двум различным целям; к правильному распределению территориальных назначений между «служилыми людьми» и к установлению правильных отношений между этими владельцами земли и работниками на

этой земле – крестьянами. Большое число служилых не имело с момента кризиса никакого надела; большое число надельных земель было обращено в пустыню, что для их владельцев было равносильно их отсутствию; наконец большое число казенных земель и других, подчиненных цензу, «черных земель», произвольно были обращены в свободное владение.

Вот на этот-то последний пункт, особенно, конечно, чувствительный с точки зрения интересов государства, и были главным образом обращены усилия Филарета. Известно, как в Швеции, почти в ту же эпоху и при почти тождественных обстоятельствах, «редукция», внезапно произведенная Карлом XI, привела в борьбе, разгоревшейся по этому поводу между государем и дворянством, к временно полному триумфу абсолютизма. Не приняв такой насильственной формы, труды московской ревизии, произведенной от 1629 по 1636 г. и кончившейся изданием постепенно принятых мер (Поместное Уложение), однако имели аналогичную цель.

X. Социальная и экономическая эволюция

Результаты получились не совсем удовлетворительные. Еще в 1633 году дворяне московской области заявили, что не в состоянии «служить» против поляков, – одни, потому что не имели земель, другие, хотя и владели землями, но не находили в достаточном количестве крестьян для их обработки. Но каково должно было быть их достаточное количество? На этот счет получалась огромная разница благодаря противоречивым оценкам. Пятнадцать на долю среднего размера, объявлял Собор в 1633 году; пятьдесят! возражали им заинтересованные лица на собрании в 1664 г. В ожидании, когда спор будет окончен, был издан закон 1642 года, по которому возобновился кодекс 1550 года, направленный против служилых людей, которые, желая освободиться от своих обязательств, добровольно обращали себя в крепостных!

Обусловливая существеннейшим образом его экономическое положение, вопрос о рабочих руках имел для этого класса огромную важность, но в этом было заинтересовано не менее того и государство, так как оно не могло быть обслужено, если его слугам нечего было есть. Безжалостный закон о рабстве, крепостное право, был результатом этой дилеммы.[25]

Некоторые крестьяне, кажется, с этой поры потеряли право добровольно покидать земли, на которых они были водворены, сделавшись таким образом glebae adscripti, рабами на деле, если не по названию. Другие продолжали продавать свой труд собственникам по собственному выбору, хотя невозможно определять с юридической стороны, основания этого различия. Как и в предыдущем веке,[26] этот факт создался целым рядом сложных причин, среди которых – главное место занимали денежные отношения действующих сторон. До Бориса Годунова крестьянин, оставивший землю, обработанную им для другого, уже мог быть приведен к нему силою, если до того, как уехать, он не позаботился уплатить авансы или другие долги собственнику. Во время же смуты, благодаря нищете, произведенной ею, эти случаи стали умножаться и в то же время участились захваты крестьян одного собственника другим. Часто, желая укрыться от ответственности, земледельцы, побуждаемые жаждой перемены мест, давали себя похищать. Совершенно естественно, что обиженные собственники имели право требовать назад то, что они считали своим имуществом, и вначале неограниченное, потом урезанное в 1597 г., снова

расширенное в 1615 г. и в 1637 г. к выгоде определенных категорий заинтересованных лиц, это право, таким образом признанное законом, было обобщено в 1641 г., но ограничено периодом в пятнадцать лет.

Было ли это то крепостное право, какое мы знаем? Безусловно нет, как и то, что Борис не закрепил его путем изданного им указа 1597 г., который, хотя и служил объектом особенной ненависти, но преследовал совершенно иные цели. Остались крестьяне, свободно располагавшие своим трудом по истечении срока временно ими заключенного контракта или за отсутствием контракта, вписанного в Писцовые Книги. Но постепенно собственники взяли себе привычку отказываться подписывать контракты, если они не были заключены на вечные времена, и ввиду общей нужды эта привычка обратилась в правило.

Оброчные крестьяне «черных земель» временно избавились от этой западни, но вскоре громадное количество всевозможных податей разредило этот элемент, и круговая ответственность общин, та круговая порука, которая еще в наше время возбуждает столь справедливые нарекания, привело к тому, что вызвала среди них общее движение под знаком «спасайся, кто может». Но куда можно было спастись? Удавалось лишь убежать к соседнему собственнику, всегда готовому поймать перебежчиков в петлю рабства по контракту.

В то же время увеличивались случаи уступки и продажи безземельных крестьян. Закон не легализировал эти акты, но он разрешал собственнику земли, на которой крестьянин был убит другим владельцем, требовать возмещения натурою, голову за голову, и можно себе представить, каким произвольным толкованиям подвергался этот узаконенный компромисс, сначала в обычаях, потом в законодательстве страны, где, смешиваясь с интересами государства, выгода охотников за рабочими руками требовала больших уступок.

Эти факты, вместе с их последствиями, не свойственны исключительно московскому государству, история этой страны от шестнадцатого до семнадцатого столетия воспроизводит по большей части те экономические и социальные явления, которые дали на западе, после вторжения варваров, аналогичные последствия. В этом отношении средние века просто лишь чрезвычайно долго продолжались в империи царей. И эта особенность представляет собой не единственное явление, возбуждающее удивление историка.

Наряду с таким положением крестьян, толкавшим последних к тяжелому будущему, в силу государственной необходимости, в нашем современном мире заменяющей древний фатум, – выросла также потребность обратить внимание реставрирующего правительства на условия жизни городского населения. Юридически, в первой половине семнадцатого столетия, сельчане и посадские кажутся смешанными до такой степени, что их было почти невозможно отличить одних от других: движение и тех и других из города в деревню и обратно, от торговли и промышленности к полевым работам или в другом направлении, было свободно, – и одно только распределение налогов устанавливало между ними чувствительное различие. Крестьянин платил за обрабатываемую им землю, а горожанин – за дом или за занимаемый им двор. Но во многих городах в эту эпоху не было посадских. В Алексине, например, в 1650 г. воевода мог указать лишь одного жителя такого рода, да и тот уже умер.

Еще ужаснее, чем деревни, города ощутили на себе влияние Смутного времени и, прибавляя к создавшемуся положению нищеты и ужаса свое разрушающее действие, последние усилия умирающей фискальной системы, умножающиеся злоупотребления жадной и продажной администрации, умножение монополий и привилегий, довели городское население, даже в самой Москве, до 33 %.

Продолжая еще несколько колебаться и испытывая некоторое раскаяние, Михаил и Филарет должны были все же остаться верными политике паллиативов, которые в обмен на очень проблематичные, как это указывает контракт, заключенный с Гольштинской компанией, выгоды, – отдавали страну на эксплуатацию иностранцам и тем ставили препятствие ее свободному развитию. В принципе обращение к этим экзотическим пособникам имело свое оправдание: они единственные в то время были способны оценить или даже открыть источники, которые были недоступны туземцам или даже не подозревались ими. Но в самом управлении протежируемых таким образом предприятий господствовали ничем не оправдываемые порядки. Одна оружейная фабрика, существовавшая в Туле с шестнадцатого века, уполномочила в 1632 г. голландца Винниуса, ставшего позже компаньоном Марселиса, устроить там отливку пушек и ядер. Оба эти иностранца тотчас же выписали из-за границы огромное количество литейщиков. В 1630 г. другой иностранец, Фирмбранд, фабрикант бархата, был уполномочен набрать на западе годных для этого рабочих. В 1631 году дали субсидии англичанину Франку Гловеру на устройство фабрики бриллиантовых и золотых вещей, где участвовал, случайно, один только русский, Иван Мартынов.

Таким образом покровительством пользовались военные мастерские и мастерские по приготовлению предметов роскоши, а после смерти Филарета, соблюдавшего на этот счет некоторую предусмотрительность, широко и нерасчетливо открылись двери вторжению западничества, больше эксплуататорского, чем на самом деле продуктивного или полезного. Михаил окружает себя врачами, аптекарями, окулистами, алхимиками, фабрикантами музыкальных инструментов чуть не всех стран. Одному голландскому мастеру, Мельхарту, он заплатил 2 676 рублей за музыкальный инструмент, «заставляющий петь птиц». И хотя швед Кристлер принялся строить каменный мост через Москву реку, а его соотечественник Коэт заслужил одобрение устройством стеклянного завода, как и Фирмбранд, устроивший дубильню шкур, хотя даже русский Христофор Головьев занимался с некоторым успехом работами по гидравлике – все же официальное предпочтение отдавалось рабочим по металлу и искателям драгоценных минералов. Тщетно англичанин Картрайт делал изыскания в окрестностях Москвы; в 1642 году германские изыскатели также потерпели фиаско в окрестностях Твери, и хотя участие в этом принял русский, Борис Репин, но ничего не было сделано для того, чтобы эти экзотические предприятия имели значение.

Города оставались почти чужды развивавшемуся таким образом промышленному или торговому движению, и правительство, не пытаясь их приобщить к нему, совсем не заботилось о том, чтобы дать прочное существование неустановившимся элементам, составлявшим их население. Когда в Москве основалась довольно многочисленная иностранная колония и стала процветать, ее промышленная и коммерческая монополия подвергалась лишь самой слабой конкуренции со стороны свободных деревень (слобод), очень увеличившихся в числе, благодаря ничем не оправдываемым привилегиям, на земле монастырей.

Эти последние были вторым убежищем, которым отдавали даже предпочтение ушедшие из податных обществ; часто и сами склонные к подобным занятиям, последние очень страдали от этих побегов. Произошло то, что деревни, свободные от податей, «белые», как их тогда называли, прямо способствовали уничтожению податных или «черных» деревень и городов, подпавших под ценз. Купив себе двор «черной» деревни и поселившись там, обитатель «белой» деревни вносил в это новое местопребывание свой личный статут и

«обелял» приобретенное им жилище. С него тогда снималась та часть налога, которой он подлежал, и переносилась на основании круговой поруки на другие дворы общества.

А вот еще черта, ярко рисующая печальное положение общества, вынужденного прибегать к таким мерам.

Читатели, следившие за автором исследования, уже знакомы с телесным наказанием, носившим название правежа и практиковавшимся в этой стране по отношение к должникам: так назывались удары палками по голеням, производимые по несколько часов в день и в течение нескольких недель перед зданием суда. И вот неоднократно бывали случаи, когда даже состоятельные должники предпочитали скорее подчиниться подобному наказанию, чем исполнить свои обязательства. В 1628 году в дело вмешался закон, ограничивавший одним месяцем употребление правежа, причем вознаграждение кредитора уже производилось теперь из имущества задолжавших ему лиц.

Правительству Михаила и Филарета пришлось заняться мелочами хозяйственной жизни страны, вплоть до проверки, в 1626 г., веса и качества калачей, назначенных к потреблению. Но с этой эпохи московская политика стала слишком экстенсивной для того чтобы удовлетворять даже элементарным потребностям интенсивной культуры в постоянно расширяемых границах слишком обширной территории. В то самое время, когда она уступала Польше некоторые из своих наиболее населенных областей, которыми она владела, империя царей взамен этого аннексировала в Азии 140 000 квадратных лье пустырей, причем казаки заходили все дальше, достигая границ Китая в своих смелых набегах. Отброшенная с запада сопротивлением более высокой цивилизации, Москва распространила на восток свою колонизаторскую силу, но, как и должно было ожидать, элементы культуры, заносимой ею в сибирские тундры, были очень сомнительного качества, и колонии, созданные на окраинах империи, сделались заодно, как аренами смелых предприятий, так и школою самых прискорбных пороков.

Грубые и полудикие колонизаторы этой эпохи, в суровой борьбе, в которой они ежедневно ставили на карту свое существование, находясь в постоянном опьянении неограниченной властью, проводили в жизнь некоторые обычаи, которые до сих пор еще тяготеют над судьбами их страны.

Путешествуя два раза по московскому государству, в 1634 и в 1636 гг., Адам Ельшлегер (Олеарий) вынес впечатление, что побывал в совершенно дикой стране. Он был поражен дешевизною продуктов; курица в России стоила две копейки, десяток яиц копейку. Приехав в столицу на Пасхе, он был свидетелем благочестивых и милостивых деяний государя, который до заутрени посетил тюрьмы и раздавал заключенным крашеные яйца и бараньи тулупы. Но в то же время он видел кабаки, переполненные пьяными посетителями, мужчинами и женщинами, светскими и духовными, предававшимися разгулу и разврату. На улицах валялись пьяные, и каждое утро на них подбирали множество трупов. Пожары происходили чуть не каждую минуту и их даже не тушили, разбивая лишь топорами соседние дома, чтобы огонь не мог дальше распространиться. Таким образом разрушались целые кварталы. Было, правда, нетрудно отстроить их вновь, так как на особом рынке продавали уже готовые дома, которые можно было поставить на место в течение нескольких дней.

Эти дома представляли собой просто лачуги, и в окружавших их старых садах Олеарий не видел следа заботливой культуры, ни цветов, ни овощей. У одного только царя было несколько футов земли с посаженными на них розами, привезенными из Готторпа, и

Голландцы только что успели ввести в употребление салат и спаржу. Жители московского государства ели все, что попало, не заботясь о комфорте или об изяществе. Грубость нравов, как и распущенность и противоестественные пороки, считались среди них заурядным явлением.

Не оставляет ли эта мрачная картина некоторых просветов? Ученый немецкий наблюдатель, как кажется, не открыл ни одного. А между тем уже одно его присутствие в Москве, куда он был приглашен в качестве посланника европейской культуры, должно было служить ему доказательством и убедить его в том, что варварство, печальные стороны которого он отмечал не без некоторого преувеличения, являлось лишь пережитком отдаленного прошлого.

XI. Прогресс

Почти вслед за Ельшлегером занимался в Москве в 1637 году переводом одной большой латинской космографии, другой иностранец, Иоганн Дорн при помощи одного туземца, Богдана Лыкова.

Сам Филарет присутствовал в Чудовом монастыре при открытии греко-латинской школы, порученной известному исправителю священных книг, Арсению Глухому. И в то время уже, под влиянием свойственного этому народу постоянного перехода к крайностям, первые проблески культуры создали у тех, кто пользовался ее плодами, необдуманное и ничем неоправданное презрение ко всему, что составляло национальное наследие страны. Таков был известный Иван Хворостинин, неясный силуэт которого я имел уже случай нарисовать. [27] Если можно было извинить этого либерала семнадцатого века за то, что он смешал доброго и кроткого Михаила с деспотом, – раз Филарет держал бразды правления, такая ошибка была возможна, – но слишком сильное презрение этого человека к людям и порядкам его страны делает его гораздо менее симпатичным.

Призванный ко двору после нескольких лет заключения в монастыре св. Кирилла, он мог увидеть по своему собственному примеру, что времена, когда Грозный совершал свои лютые кары, отошли в далекое прошлое.

Прошлое безусловно еще упорно держалось, вызывая реакцию совершенно противоположного характера. В 1627 г. скромный пионер цивилизации, Лаврений Тустановский, по прозвищу Зизаний, вызвал против себя нападки за то, что толковал в своих книгах такие явления, как затмение солнца, землетрясения и кометы, стараясь дать им естественное объяснение. За элементарные объяснения законов движения созвездий, почерпнутые им из книг, он был обвинен в ереси, так как всякий добрый христианин должен был знать, что ангелы управляют движением созвездий. Национальная литература не обогатилась еще, однако, другими произведениями, чем эти наивные и грубые опыты политической полемики и религиозной догматики, в которых черпали свое вдохновение князь Курбский и его современники.

У большинства их последователей, в изучаемую нами эпоху, грубость стиля соответствовала бедности мысли. Самый плодовитый из них, князь Семен Шаховской, являлся как в прозе, так и в стихах лишь невозможно напыщенным декламатором. Стремясь исключительно подыскивать звучные фразы, совершенно лишенные смысла, он в то же время обнаруживает свою неспособность привести какой-либо ценный довод в своем письме к шаху Аббасу, чтобы побудить его принять крещение, или дать полезные сведения в

оставленных им мемуарах. Ничего более ценного в литературном и историческом отношениях не представляет собой и официальная хроника «Смутного времени», начатая в царствование Михаила и известная под названием «Рукописи патриарха Филарета». Более интересны описания путешествий в Палестину и Персию московских купцов Гогары и Котова. Гогара был мало образован и очень наивен; поднеся свою бороду к восковой свече, зажженной от чудесного огня Иерусалимского храма, он трижды убедился в том, что не испытывает от того никакого ущерба. Из Иерусалима этот наивный паломник пробрался в Египет, где был сильно поражен видом пирамид. Восторженное отношение к его рассказам доказывает уже само по себе то любопытство, которое родилось в среди его окружавшей, и которого не были уже в состоянии сдержать умственные рамки старого московского государства.

На некоторое время еще страна эта должна была остаться заключенною морально в узкую сферу религиозных идей и интересов. Самыми крупными учеными этой эпохи являлись исправители священных книг. Но из усилия, направленного в эту сторону, среди другого грозного кризиса, должен был пробудиться национальный дух, благодаря эмансипаторской мощи, которая бессознательно была внесена этой работой, пробудив в среде преданий и рутины сознание необходимости и значения критики, этого великого орудия всех побед современного мира.

Первые проявления этой эволюции были несчастливы. Задача исправления священных книг находилась здесь в связи с темным началом в Москве книгопечатания. Единственная московская типография, разрушенная во время польской оккупации и восстановленная Михаилом, совершенно естественно была использована вначале для печатания трудов по литургии и обучению вере. Во время этой работы приходилось исправлять многочисленные ошибки, внесенные в тексты невежественными или небрежными переписчиками. Чтобы направлять работы этой ревизии, Михаил назначил в 1616 году знаменитого архимандрита Сергия-Троицы, Дионисия, еще недавно сыгравшего роль героя и снискавшего благодаря этому престиж и безграничный авторитет.[28] Но народное непостоянство, являясь беспощадным разрушителем самых великолепных апофеозов, коснулось и знаменитого монастыря и его благородных героев. Очень святой человек, Дионисий был по-видимому очень посредственным администратором и на другой день после великих испытаний, где восторжествовала его доблесть, ежедневные запросы жизни обнаружили его слабость. Он не умел заставить себе повиноваться. Привыкнув не считаться с его приказаниями, под предлогом того, что он сопровождал их неизменно словом «пожалуйста», его подчиненные дошли до того, что стали публично оскорблять его и, не зная удержу, использовали приобретенную им популярность для самых гнусных издевательств. Монахи этого монастыря занимались захватом чужого имущества, лихоимством и всякого рода насилиями. Служители святого места занимались вооруженным грабежом.

От этого должна была пострадать репутация архимандрита, обвиненного вскоре в ереси при выполнении своих новых функций, и, осужденный к уплате 500 рублей, которых он не был в состоянии заплатить, выставленный на правеж, брошенный в темницу с цепью на шее, он испытал все горести незаслуженной немилости. Особенно его обвиняли в том, что в стихе «Гряди Господи и благослови воду Духом Святым и огнем» – в молитве о благословении воды – он уничтожил два последних слова. Ремесленники, употреблявшие огонь в своем ремесле, упрекали его, что он хочет отнять у них кусок хлеба, и в то время как во дворе патриаршего дворца временный управитель престола, Иона, Крутицкий

митрополит, бражничал со священниками, несчастного архимандрита били кнутом, а взбунтовавшиеся кузнецы швыряли в него камнями.

Все это происходило до возвращения Филарета. Так как с появлением будущего патриарха совпало присутствие в Москве иерусалимского патриарха, Феофана, в этом деле наступил поворот. Узнав об этом инциденте, восточный первосвященник подтвердил, что спорные слова не находятся в греческих текстах. Положение тотчас же меняется, следует созвание Собора и полная реабилитация Дионисия.[29] Но исправление священных книг должно было вызвать позже еще большую бурю; поднявшиеся таким образом споры не исчерпаны и до сих пор; здесь отдаленное начало того религиозного конфликта, который занимал и еще до сих пор занимает такое значительное место в истории России.

Глава третья

Отец Петра Великого

I. Восшествие на престол Алексея

По числу и по обширности трудов, реализованных или близких к реализации, по проблемам, если не разрешенным, то поставленным по крайней мере на очередь, по созданным или ускоренным движениям в сфере политических, социальных и религиозных отношений, – это царствование является одним из самых памятных в истории России. Оно стушевывалось в глазах непосредственного потомства пред ярким блеском того, что следовало за ним, но в наши дни более внимательное рассмотрение фактов дало возможность установить более правильный исторический взгляд на них, и признать, что по отношению к массе элементов, приготовленных заранее к плодотворной жизни, дело Петра Великого, чрезмерно ускоряя роды, явилось во многих отношениях лишь болезненным и вредным абортом, последствия которого чувствует современная Россия и до сих пор.

С середины семнадцатого столетия необходимость обновляющих мер, проявляясь во все более и более многочисленных и настойчивых требованиях и все усиливающихся бунтах, вызвала здесь значительную законодательную деятельность. Наряду с проблемами экономического и юридического характера были поставлены и другие, нравственного или религиозного характера, давшие сильный толчок предпринятому исправление святых книг и реформе ритуала. Связанный с вопросом о национальном единстве, как и с не менее щекотливым вопросом об отношениях церкви к государству, раскол ввел в эту сферу совершенно новый порядок. И в то же самое время восстание польских казаков увеличило всеобщее тяготение украинского населения к московской орбите и прельстило Москву мыслью восстановить древнее русское наследие.

Лицо, игравшее главную роль в этих событиях, и эпоха, в которую они происходили, заслуживают несомненно внимания.

По своей доброте, кротости, способности сильно привязываться к своим приближенным Алексей походил на своего отца. Но у него был более живой характер, более крепкий темперамент, и он получил воспитание, более соответствующее его положению. Воспитанием его руководил с тринадцати лет боярин Борис Иванович Морозов.

Потеряв свою мать вскоре после смерти отца, молодой царь оказывал полное доверие своему воспитателю, и ему он был обязан во многих отношениях. Морозов был человек интеллигентный, ловкий, достаточно образованный для того времени, но не умевший, к сожалению, ни подняться над ролью фаворита, ни сдержаться, чтобы не злоупотреблять своим положением. После Морозова самым влиятельным лицом из приближенных нового государя был думский дьяк, Назар Чистый, бывший до того ярославским торговцем, оба они подчинялись влиянию голландского купца, Винниуса. То был первый иностранец, влиявший на дела страны.

Находясь в такой компании, Алексей не рисковал сойти с пути, по которому Михаил, увлекаемый неудержимыми течениями, уже сделал несколько робких шагов.

По свидетельству одного современника,[30] восшествию на престол Алексея предшествовал созыв избирательного Собора. Это указание трудно согласовать с известным фактом принесения присяги подданными нового царя тотчас после смерти его предшественника.[31] Может быть речь идет о фиктивном избрании, для которого недавние события послужили необходимостью, доставив даже его формулу.

Алексей, или скорее его воспитатель, начал свое управление прекращением дела принца Вальдемара и несчастного Лубы. Первый получил возможность уже в 1645 году отправиться в Копенгаген, а польские послы получили разрешение увезти с собою другого, обещав только заключить его на всю жизнь в крепость.

Этим однако не было еще покончено ни с претендентами, ни с поляками. Посланный в Москву Владиславом, в 1646 году, красноречивый и уступчивый киевский кастелян, Адам Кисель, напрасно сравнивал Москву и Польшу с двумя ливанскими кедрами, вышедшими из одного и того же ствола. Замаскировывая более глубокий антагонизм, в котором было поставлено позже на карту будущее обеих стран, спорный вопрос о титулах поддерживал между ними глубокую вражду. И в то же время еще более страшная для Польши, чем для Москвы, опасность конфликта с Портою препятствовала единственному пункту соглашения, который мог бы их соединить против общего врага: против татар.

Вскоре, между тем, Москва была снова поглощена внутренними неурядицами. Русские купцы все более и более протестовали против иностранных конкурентов, которые, пользуясь общим разложением, подкупили влиятельного дьяка, Петра Третьякова, переманили на свою сторону даже Морозова, и захватили в свои руки всю оптовую и розничную торговлю страны. Ментор Алексея показал вид, что признает законными эти требования, и обложил двойною пошлиною захватчиков, но этим добился лишь соответствующего повышения цен предметов потребления. Пытаясь, с другой стороны, уврачевать бедствие сельских или городских обществ, он возбудил новое недовольство. Чтобы облегчить тяготевшие над ними налоги, он не нашел другого средства, как установить новый налог на табак и увеличить налог на соль, после чего, по его словам, в ближайшем будущем последует уменьшение других податей.

Курители и нюхатели табаку, которым еще недавно отрубали носы, могли теперь свободно позволять себе это удовольствие, заплатив за него очень дорого, но налог на соль вызвал тотчас же большое недовольство. Соленая рыба была главною пищею как у низших, так и у высших классов местного населения. И в 1648 году пришлось отменить эту меру.

В начале 1647 года Алексей решил жениться, и по этому случаю Морозов снова вооружил против себя общественное мнение. Сначала как будто произошло повторение дела Хлоповой. Двести молодых красавиц были по обычаю собраны из всех мест империи и представлены на выбор государя. Он остановился на дочери бедного дворянина, Евфимии Всеволожской. К несчастью испытанная ею радость вызвала у нее обморок. У нее заподозрили падучую болезнь и сослали в Сибирь со всеми родными. Говорили, что Борис Иванович был не чужд этому событию. Будучи вдовым и проектируя для себя второй брак с дочерью Ильи Милославского, он мечтал стать зятем своего государя, назначив ему в жены вторую дочь этой темной и малоизвестной личности. Он довел интригу до благополучного конца, но вызвал всеобщее неодобрение.

Происходя из фамилии литовских перебежчиков, Илья Данилович был выдвинут дьяком департамента иностранных дел, Иваном Грамотиным, у которого он был слугою; его дочери, если верить Коллинсу, продавали на базаре грибы, собранные в лесу. Будучи бедняком,

Милославский думал лишь воспользоваться своим новым положением для быстрого обогащения, разделяя доходы со своими самыми близкими родственниками, – судьею Областного департамента (Земского приказа), Леонтием Плещеевым, и управителем артиллерийского департамента, Петром Траханиотовым. Это послужило толчком для народного волнения, несколько напоминавшего собою начало мятежей, в которые была вовлечена Франция около того же времени.

II. Московская Фронда

Буря разыгралась совершенно некстати. Польша испытала в это время страшные поражения в своих стычках с казаками, и вмешательство Москвы сделалось необходимым. Но оно было замедлено внутренним кризисом, причем совпадение это возможно не было случайным.[32]

Так как многочисленные жалобы против Плещеева оставались безрезультатными, то 29 июня 1648 года недовольные воспользовались процессией, в которой царь сопровождал патриарха, чтобы непосредственно обратиться к нему со своей жалобой. Прогнанные, они бросились в Кремль, куда быстро вошел Алексей, который вдруг увидел себя окруженным толпою. Среди черни, купцов, ремесленников в этой толпе были и «служилые люди». Августейшие телохранители, состоявшие из стрельцов, полусолдат, полумещан, почти не получавших жалованья, не выказали большей стойкости перед этим наступлением, чем на другом конце континента гражданская гвардия перед баррикадами, которыми почти в то же время покрылся Париж.[33]

Как и в Париже, и в Москве бунтовщики не нападали еще на государя; но, бросившись к дворцу Морозова, они его разграбили или скорее совсем разрушили. Бросаясь на драгоценные вещи, они их не брали себе, но ломали на куски, топтали ногами или бросали в окна с криками: – вот наша кровь! Когда, окончив эту первую процедуру, они бросились разрушать самый дом, Алексей велел объявить им, что здание принадлежит ему. Тогда они удалились, умертвив трех слуг всемогущего фаворита, скрывшегося в покоях своего зятя.

Менее удачливый Чистый не ускользнул от их возраставшего гнева. «Вот тебе за соль!» – кричали они, награждая его ударами, потом, бросив на кучу навоза, покончили с ним. Плещееву и Траханиотову удалось найти себе убежище, но опьяненная толпа, разграбив их жилища, явилась на следующий день перед царским дворцом, требуя выдачи как их, так и Морозова.

Бунт, видимо, разрастался, столица горела со всех четырех сторон, и эти пожары грозили ей полным уничтожением.

Оставшись без защиты, Алексей должен был войти в переговоры со своими взбунтовавшимися подданными. Он обещал сослать своего зятя, выдал толпе сначала Плещеева, тотчас же разорванного на куски, потом Траханиотова, которому отрубили голову. Наконец и сам царь стал просить со слезами пощады, обязуясь клятвою уничтожить монополии, улучшить финансовое управление и дать стране «справедливое правительство». Раздача денег и милостей стрельцам, как кажется, более существенно помогла восстановлению порядка, но эти бунты, переносясь в провинцию, поддерживали еще некоторое время тревожное настроение.[34]

Положение второго представителя династии Романовых среди всех этих испытаний

вызвал спор, который еще и теперь далеко не исчерпан. Платонов думал, что ему удалось разрешить его посредством документа, найденного в рукописях С.-Петербургской Публичной библиотеки, но это лишь свидетельство современника, может быть хорошо осведомленного о событии, но заметно причастного к делу бунтовщиков.[35] По этой версии Алексей просил у «мира» помилования Морозова. Мир или русская коммуна, имеющая очень смутные границы и очень изменчивый вид, очень легко подвергается произвольным толкованиям относительно своих исторических функций. Но во всяком случае его очень трудно отождествить с толпою поджигателей и убийц. Молодой царь капитулировал перед бунтующей толпою и, конечно, сильно уронил этим свой авторитет, но все-таки спас самое существенное, хотя и ценою плачевных уступок. Это кажется вне сомнения. Что же касается деталей, то благодаря скудости и путаницы в источниках, даже самая дата событий еще не установлена, но наиболее вероятным началом мятежей является 2-е июня.[36]

Следует также упомянуть объяснение Олеария, говорившего, что жители московского государства, привыкшие к тирании, могут многое вытерпеть; но если насилие превосходит всякую меру, они возмущаются и делаются тогда страшными, пренебрегая всякою опасностью и становясь способными к самым гнусным насилиям и к самой ужасной жестокости.

Это замечание еще и теперь не потеряло своего значения.

Сосланный в монастырь св. Кирилла, Морозов даже в этом отдаленном изгнании, все еще некоторое время пользовался довольно значительным влиянием, но вскоре должен был отойти на задний план благодаря появлению на сцене другого фаворита, призванного сыграть в жизни Алексея и в истории его царствования гораздо более значительную роль. Начиная с 1646 г. молодой царь подпал под влияние одного старого монаха, которому он в это время поручил митрополию в Новгороде. Наступил канун великой церковной реформы и великого религиозного кризиса семнадцатого столетия.

III. Церковный реформатор Никон

Родившись в «страшный год», 1605-ый видевший триумфальный въезд в Москву Лжедмитрия со своею польскою свитою, будущий патриарх происходил от бедных финских крестьян деревни Вельдеманово Нижне-Новгородской волости. В соседней деревушке, Григорове, вскоре родился и самый страшный противник, вставший позже на пути Никона: то был поп Аввакум, представляющий собой самую оригинальную и самую мощную фигуру этой эпохи.

При крещении Никон получил имя Никиты. Его отца звали Миною. У него рано оказалась мачеха, Ксения, кажется, самая злая из всех мачех. Одно время даже сама жизнь несчастного ребенка висела на волоске.[37] Однако он научился, неизвестно каким образом, читать и писать, и это преимущество дало ему убежище в монастыре св. Макария на Желтых Водах. Но когда ему минуло двадцать лет, его родители заставили его жениться и доставили ему приход, откуда быстро распространился слух о его знаниях и энергии, и он был переведен в Москву. Тоскуя по монастырю или обуреваемый честолюбием и неспособный примириться с узостью горизонта; он решается бросить карьеру, закрывавшую, как известно, для белого духовенства православной церкви доступ к высшим церковным должностям. Будучи уже отцом троих детей, он соглашается со своею женою расстаться

дружелюбно, и в то время как она приняла схиму в монастыре св. Алексея в самой Москве, он надел рясу и принял имя Никона, ища себе место аскетического убежища на берегах Белого моря.

В 1643 году мы его находим уже игуменом Кожезерского монастыря (Новгородской епархии, Каргопольского уезда), а в 1646 году, отправившись в Москву по делам своей общины, он обратил на себя внимание Алексея. Оставленный царем, он становится архимандритом монастыря св. Спасителя, где находились могилы фамилии Романовых, и каждую пятницу имел счастье служить заутреню в часовне государя, с которым долго потом разговаривал.

Таким образом между этими двумя людьми завязались отношения, из которых позже должна была создаться единственная по своей оригинальности глава национальной истории. И Алексей сначала поручил тому, кого он уже начал называть «своим особенным другом», должность, позволившую в предшествовавшем веке сделать карьеру фавориту Ивана IV, Адашеву: прием прошений. Потом, когда и Новгород стал в свою очередь волноваться народным движением, царь послал Никона в этот город.

Будучи митрополитом и облеченный к тому же очень обширною властью, Никон оправдал доверие государя. Он развил замечательную деятельность. Когда наступил голод, он стал раздавать в архиепископском дворце пищу и деньги; создал богадельни, улучшил режим в тюрьмах. Не упуская из-за этого управления своей епархией, он принялся за ритуальную реформу: ввел в соборе св. Софии греческое пение, набрав для него певчих в Киеве. Нововведение снискало себе такую славу, что сам царь захотел послушать это пение и, восхищенный им, по совету своего духовника, Бонифатьева, приказал столичному клиру последовать этому примеру.

Патриарх Иосиф сильно сопротивлялся новшеству, и все осталось на время в прежнем положении, но то была лишь отсрочка. Административная и юридическая реформа, обещанные бунтовщикам 1648 года, приняла более благоприятный оборот.

IV. Новое Уложение

По соглашению с клиром, боярами и членами Думы почти на другой день после событий, обагривших кровью столицу, Алексей приказал пересмотреть и сызнова исправить существующие законы.

То была почти повсюду главная задача века. Москва опередила в этом отношении Францию Людовика XIV и Кольбера, где лишь в 1663 году приступили к «составлению французского права».

Программа проектируемой работы была следующая: выбрать из апостольских правил и отцов церкви, как и из законов, обнародованных греческими императорами, т. е. Номоканона, статьи, «пригодные для царского правосудия», сверить указы прежних государей и решения бояр с постановлениями древних уложений; составить для непредвиденных всеми этими текстами случаев новые постановления, применимые ко всем подданным империи без различия положения.

Выполнение этой задачи было поручено комиссии из пяти членов. Работа ее должна была быть поданной на одобрение Собора. Разумное и в то же время либеральное это дело могло бы служить примером в России, как и в других местах, для законодателей более близких к нам. Это была во всяком случае почти та же программа, которая была принята

позже Людовиком XIV, против воли Кольбера, желавшего умалить значение парламента.[38]

Комиссия под председательством князя Никиты Одоевского принялась за работу 10 июля 1648 года, а 1 сентября следующего года в свою очередь собрался Собор и заседал без перерыва семь месяцев. Этот Собор, кажется, был разделен на две палаты: верхнюю, в которой участвовали под председательством государя патриарх, духовный собор и Дума, и нижнюю, где заседали уполномоченные низшего класса «служилых людей», а также низшего клира и московской буржуазии. Точное число депутатов остается неизвестным, но, составляя представительство по крайней мере ста двадцати городов с их уездами, оно, кажется, превышало цифру триста тридцати шести, подписавших принятый проект. Не умевших при этом писать было больше половины: последних заменяли при этой формальности их коллеги.[39]

В противоположность тому, что наблюдалось в большей части собраний того времени, «служилые люди» не занимали в нем господствующего положения, а третье сословие составило до восьмидесяти девяти выборщиков, хотя некоторые важные города, как например Кострома, Серпухов, Нижний Новгород и Рязань, даже не доставили полного представительства на Собор.[40]

Участие Собора в выполнении этой работы дало повод к спору; некоторые историки даже доходят до полного отрицания его.[41] Вот как по-видимому происходило дело в действительности: так как редакционная работа оставалась в руках одних только членов комиссии, то представители вмешивались в нее, сначала обсуждая статьи, представленные на их рассмотрение, потом представляя по поводу их записки, с которыми комиссия не могла не считаться. Действительно, из сорока статей XIX главы нового уложения семнадцать представляют собой слово в слово почти текст этих замечаний. Некоторые из них, а именно сорок вторая XVII главы даже указывают на этот источник. Наконец несколько членов Собора были приняты в состав комиссии и приняли таким образом прямое участие в ее работе.[42]

Это сотрудничество продолжалось до апреля 1649 года. Обнародованное в мае того же года Уложение было переведено на различные языки, в том числе на французский в 1688 г. Текст был найден в 1767 году во время созвания знаменитой «Законодательной Комиссии» Екатерины. Он хранится в московской Оружейной Палате. Наружный вид этой рукописи чрезвычайно оригинален: она представляет собой свиток толщиною от 22 до 26 сантиметров и, развернутая представляет собой ленту в 30 метров длиною, состоящую из 959 листов пергамента, приклеенных один к другому.

По своей основе эта работа не имеет ничего общего с судебниками (сводами судебного производства пятнадцатого и восемнадцатого веков), ни даже с гражданскими и уголовными «Ordonnances», в которых исчерпывалось творчество французских законодателей этой эпохи и которое представляет собой опять-таки только кодексы судебного производства. Заключая в себе почти тысячу статей, Уложение 1648–1649 годов содержит в себе полное изложение законодательства того времени в области политического, гражданского и уголовного права. Оно пользуется прежде всего и очень широко древними русскими законами, юриспруденцией, установленной решениями бояр в приказах (указные статьи) и обычным правом. Уложение дополняет эти данные многочисленными заимствованиями из византийского права и литовского статута 1588 года. Оно подвергает наконец все это органической переработки путем введения значительного числа новых законов, из которых некоторые имеют характер огромных социальных реформ.

Византийское и литовское право особенно отразилось на уголовной части кодекса, сообщив ему большую суровость. Смертная казнь в Уложении предусмотрена не менее шестидесяти раз, и эта тенденция, развиваясь в течение этого века, должна была вызвать такое положение, когда каждое государственное преступление должно было наказываться таким именно образом. В дальнейшем мера эта применялась в случае запоздания в исполнении полученного приказания, за взятку и наконец за ошибки аптекарей в отпуске доз медикаментов!

Вмешательство Собора и особенно «служилых людей» закрепляется двенадцатью статьями XI главы, по которой отменен пятнадцатилетний срок (урочные лета) для розыска беглых крестьян, т. е. всякое ограничение действующего на этот счет законодательства.

Работа эта имеет еще до сих пор ценность не только историческую, так как и до сих пор еще действуют некоторые из этих положений, войдя в свод законов 1833 года. Тем не менее это далеко не кодекс в том смысле, как мы его понимаем теперь. Как в основе, так и по форме она грешит недостаточной систематизацией. С другой стороны, несмотря на свои реформаторские тенденции, она не создала ни новых принципов, ни даже новых юридических отношений. Уложение это имело главным образом своею целью консолидацию и координацию; но принятые им классификации страдают часто отсутствием точности, и с этой точки зрения современный ему французский кодекс стоит неизмеримо выше, подтверждая мнение Лависса о «способности французского ума создавать законы».

Кладя в основу своего труда окончательное прикрепление крестьян к земле, как следствие вышеприведенной меры; запрещение клиру приобретать вотчины, как прибавление к целому ряду запрещений, издававшихся начиная с 1580 года; установление «монастырского приказа», т. е. уничтожение юридической автономии, приобретенной раньше церковью, и целый ряд мер, предназначенных обособить и фиксировать городское население, как класс строго определенный, – русские законодатели 1648–1649 гг. следовали современному движению умов, не без некоторого пристрастия к наиболее протежируемому в это время классу, каким было меньшинство в Соборе. Служа главной пружиной политической системы того времени, «служилые люди» сумели использовать свое положение.

Как и во всем образовании московского законодательства, обычай играет в этом Уложении главную роль. Большое число с виду новых распоряжений представляло собою лишь освящение принципов, уже давно проводимых на практике, как это имело например место с жестоким наказанием фальшивых монетчиков. В течение ста лет преступников этого рода наказывали, вливая им в глотку расплавленный свинец. Обычай даже брал верх над писанным законом. Так, запрещение, специально направленное против обычая подачи жалоб детьми на родителей, даже после 1649 года оставалось мертвою буквою. И значительно позже, мы все еще встречаем контракты, заключенные между собственниками и свободными крестьянами.

И однако эта страна, столь богатая парадоксальными странностями, не обнаруживает и следа уважения, царящего в других странах, к обычному праву. Анкеты per turbas по поводу местных обычаев, столь часто встречающиеся в древней Франции, здесь совершенно неизвестны. Правительство здесь терпит и покровительствует обычаю постольку, поскольку он соответствует его интересам; в противном случае оно не колеблется противопоставить ему меры по своему выбору. Тем не менее оно старается прислушиваться в законодательной эволюции к голосу своих подданных, выраженному путем прошений, и равновесие таким

образом восстановляется, так как окончательно принятые решения стоят по большей части на границе между обычным правом и правом в собственном смысле этого слова.

Не со вчерашнего только дня было испробовано в России примирение абсолютной власти с участием народа в деле законодательства.

Еще с другой точки зрения Уложение 1648–1649 гг. показывает общую тенденцию семнадцатого века регулировать во всем национальную жизнь, подчинить все ее функции определенному регламенту, чину, по местному выражению. Одна из самых существенных реформ нового кодекса явилась результатом этой задачи, соединившись при этом с соображениями фискального характера. Это отмена закладничества (глава XIX, статья 13). Так назывался способ, посредством которого, отдавая себя в залог (в заклад) члену неподатного сословия, отдавая предварительно свою свободу в его пользу, люди, подлежавшие цензу, ускользали в большом количестве от своих обязанностей по отношению к фиску. Собственники, крестьяне, купцы, ремесленники заменяли одно обложение другим, губя в то же самое время других незаконной конкуренцией. Запрещение этого было ответом на давно уже выраженные жалобы; но оно же вызвало волнения, с которыми пришлось столкнуться Алексею, и которые увеличивают число странных аномалий, которые приходится отметить в прошлом этой страны. В других местах бунты производились обычно под знаменем свободы. А тут участники боролись за право сделаться снова рабами. Такой парадокс объясняется однако тем, что приходилось выбирать между двумя видами рабства, из которых выбирался наименее тяжкий.

Вдобавок, та же тенденция выразилась в законодательстве путем обнародования уголовного и коммерческого уставов, в центральной администрации посредством более правильного распределения дел между различными приказами, в провинциальной администрации посредством урегулирования отношений между воеводами и автономными должностными лицами; в финансовой области установлением списков (писцовых и переписных книг); в церковной жизни посредством исправления книг, подчинения монастырей епархиальному начальству и разграничения епархий. Но уже Уложение 1648–1649 гг. старается установить точную классификацию социальных элементов посредством определения штрафов за оскорбление чести, колеблющихся, смотря по классам, от 1 до 50 рублей. Это был странный тариф, где крупные собственники, крупные промышленники, а особенно поставщики серебра для империи, Строгановы, составляли особенную, протежируемую группу; за их оскорбление приходилось платить 100 рублей.

Соответствовал ли новый кодекс, таким образом составленный, той задаче, которая официально была ему поставлена? Увы, подчиненный, как и все другие труды этого царствования, принципу, которым вдохновлялась вся его политика, государственной необходимости и объединяющим и централизирующим тенденциям, этот идеал более высокой справедливости привел во многих отношениях к совершенно противоположному результату: уложение окончательно разрушило все прежние опыты административной или юридической автономии, и как в гражданской, так и в церковной области, создало благоприятную почву для московской «волокиты».

Это было, правда, в то время, когда и во Франции Кольбер высчитал, что волокита кормит семьдесят тысяч офицеров!

Страна несомненно прогрессировала, но в смысле того особенного прогресса, по которому она пошла в век Петра Великого и Екатерины Великой, и в котором руководящим началом служило всепоглощающее могущество государства и его деспотическая власть.

Народные массы по-видимому вполне сознавали подобный факт, так как новое законодательство встречено было без всякого энтузиазма. В течение тех же 1648–1649 гг. не исчезли симптомы народного недовольства. Закладчики вызывали своим сопротивлением карательные меры, и бунты участились в разных пунктах русской территории. В Сольвычегодске едва не убили сборщика податей, в Устюге бросили в реку воеводу, Михаила Милославского, родственника самого царя. Всюду грабежи и убийства, следствие и виселицы.

В самой Москве Морозов, возвращенный из изгнания, вызвал новые обвинения. Царь, утверждали, лишь наружно заменил его Ильей Милославским, да и тот не лучше. Были жалобы и на нового камергера при личности государя, Феодора Ртищева. Его упрекали в исключительном пристрастии к чужеземной науке и в основании школы, где киевские монахи своим преподаванием насаждали одну лишь ересь.

Нужно было как-нибудь умудриться, чтобы успокоить бурю и удовлетворить столичных купцов, так как они особенно сильно волновались. Кстати последовавшая в январе 1649 года смерть Карла I дала повод к мере, разрушавшей торговлю англичан лишь в одном Архангельском порту за то, что они дерзнули на жизнь своего государя. Привилегия английской компании приходила к концу. Сильные репрессии успокоили Москву. Зато на шведской границе бунт обратился в настоящее восстание.

V. Бунты в Пскове и Новгороде

Столбовский трактат налагал на заключивших его взаимное обязательство выдавать перебежчиков той и другой стороны, если они находились за вновь установленными границами. Москвитяне, жившие в областях, уступленных Швеции, должны были тотчас же оставить их массами. Статья о выдачи нашла тут самое бесчеловечное приложение, и Алексей согласился в 1650 г. освободиться от нее за 20 000 рублей и за 14 000 четвертей ржи, который должны были быть взяты из казенных магазинов в Пскове. К несчастию, магазины оказались пустыми, и коммерческий агент, Феодор Емельянов, должен был прибегнуть к быстрым закупкам, которые, внезапно подняв цену на хлеб, заставили кричать о перекупной системе. Этого было достаточно для того, чтобы взбунтовать население, еще совершенно не привыкшее к московской дисциплине и все еще сохранявшее воспоминание о старых свободах. И вот, когда в феврале 1650 года явился шведский агент, Нумменс, для получения денег и обещанного хлеба, на него напали, ограбили его, грозили, что бросят в реку, в прорубь, потом посадили в тюрьму и окружили стражею, готовою ежеминутно пустить в дело кнут. В то же время была послана депутация в Москву, так как всюду царило убеждение, что царь не был причастен к действиям Емельянова. Он, говорили, действует лишь по приказу Милославского, замышлявшего отдать страну во власть немцев. Вместе с этой ненавистной семьею сделалась также предметом самых оскорбительных обвинений царица Мария Ильинишна.

Под влиянием крайнего возбуждения, которое передавалось по соседству, Новгород пошатнулся в свою очередь. За отсутствием представителя от Швеции, взбунтовавшиеся жители принялись за датского посланника Краббе. С ним тоже обошлись не мягко, обвиняя его как вымогателя тех же 20 000 рублей, назначенных для подкупа иностранцев. Когда осмотр его имущества не дал ожидаемого результата, защитники угрожаемого отечества стали вознаграждать себя, вымещая свою досаду на некоторых из наиболее богатых своих

сограждан, устроив им форменный грабеж. На другое утро в земской избе создалось революционное правительство, и воеводе, князю Феодору Хилкову, после некоторой попытки сопротивления, пришлось искать убежища во дворце митрополита, в Софийском дворе, который был взят.

Наши сведения по поводу этого эпизода темны и противоречивы. Митрополитом тогда был Никон. Он оставил нам рассказ об этой драме в письме к Алексею; но данные в нем сведения подозрительного свойства, так как, очевидно, автор желал в нем выставить лишь на вид свою личность и свою роль. Документ тем не менее довольно любопытен; он указывает на то, что будущий патриарх страдал галлюцинациями, быть может в действительности, но умел он их использовать очень ловко; он рассказывал, что в соборе Св. Софии ему являлись видения, предсказавшие ему сбывшиеся позже события. Изображение Христа, вдруг оживившись, ниспустило на его голову корону мученика. Вторжение толпы в жилище патриарха было по-видимому вызвано худо рассчитанною суровостью энергичного митрополита. Вступившись за пристава нового правительства, который был арестован и побит кнутом, толпа кинулась во внутренность дворца, и Никон, избитый в свою очередь, закиданный каменьями, должен был слечь в постель, харкая кровью, если верить его словам, и ожидая смерти. Очень сильный, он недолго чувствовал последствия такого обращения, а с другой стороны бунтовщики, по соглашению с Псковом, поспешили послать в свою очередь в Москву послов для оправдания своего поведения.

Алексей применил в этом случае политику, воспоминания о которой должны бы были сохранить самые его отдаленные преемники: он воздержался от крутых мер и проявления непримиримости. Лично приняв посланцев взбунтовавшегося города, он удостоил их длинным ответом, в котором, как казалось, лишь защищался. В то же время он направил в Новгород не отряд войска для подавления восстания, а простого парламентера с небольшой охраной. Он вошел даже в переговоры с одним из вожаков бунта, Федькою Негодяевым, и по его настоянию послал Никону строгое послание, в котором упрекал последнего в нововведениях по литургии, которые вызвали озлобление населения.

Такой ход увенчался полным успехом. Федьке удалось ввести в город небольшой отряд князя Ивана Хованского, и тотчас же царь переменил тон, приказав наказать различными карами некоторых из бунтовщиков. Они были применены так быстро, что некий Фома Меркурьев был осужден за участие в восстании как раз в то время, когда выслушивал с другой стороны благодарность за защиту воеводы и митрополита.

Оставалось еще покончить и с Псковом, архиепископ которого разделил участь Никона, в то время как несчастного Нумменса подвергли пытке, а в представителей царя, Хованского, а вслед за ним и в Волконского, стреляли из пушек. Тут положение оказалось сложнее. Жители города вскружили себе головы разными фантастическими выдумками; один из них, побывав на шведской территории в Нейгаузене, говорил, что видел над входными воротами в городе изображение царя на коленях перед королевою Христиною; другой привез из Польши новость, будто бы Алексей убежал в сопровождении лишь трех преданных ему лиц, спасаясь от бояр, восставших против его власти, но он собирается вернуться с целою армией казаков, чтобы обратить в бегство Хованского.

В этом городе, некогда республиканском, и еще сохранившем симпатии к идеалу, взлелеянному на лоне соседней великой республики, – эти басни так соответствовали направленно умов, что однажды инсургенты чуть не написали Владиславу IV, прося его вмешательства. Одумавшись, они все же упорно держались против Хованского до самого

июля, когда, после угрозы двинуть большое войско, Москва направила в Псков новое посольство из священников и монахов под начальством коломенского епископа Рафаила. Открыв ворота Хованскому и выдав зачинщиков, мятежники получат полное прощение, так обещали им.

Они еще не делали попытки в этом направлении, а Собор, собравшийся в столице, уже высказался за смягчение мер: достаточно будет, если город заявит о своем повиновении, тогда Хованский с солдатами удалится немедленно. В августе заключили договор в этом смысле и епископ Коломны, объявив всеобщую амнистию, предоставил крупным горожанам города, более всего пострадавшим при бунте, отомстить за себя собственными средствами. Позже только Алексей просил королеву Христину прислать своих делегатов присутствовать при казни нескольких лиц, на которых особенно жаловался Нумменс. И таким образом в Пскове воцарился порядок.

Одно время поколебленный, во время кризиса, авторитет новгородского митрополита вышел победителем, и подготовил для церкви один из наиболее прекрасных триумфов, одержанных ею в ее вековой борьбе со светскою властью.

VI. Апофеоз московского патриархата

Алексей стал себя упрекать за то, что не подчинился авторитету и осуждал поведение человека, которому само небо ниспослало благость пророческих видений. Он призвал его в 1651 году в Москву и всецело покорился ему. Царь имел страсть к религиозным церемониям, где находили себе полное удовлетворение его мистические наклонности и его любовь к искусству, которые Никон сумел удивительно использовать. Он привел государя в восторг двумя религиозными торжествами, по случаю перенесения в Успенский собор останков патриарха Гермогена и патриарха Иова, двух мучеников эпохи Смутного времени, погребенных – один в Чудовом монастыре, а другой в Старице. Затем пришла очередь мощам св. Филиппа. Манифестация еще более важная! Этот святой погиб в неравной борьбе с Грозным. То было публичное покаяние светской власти перед противником: в России последовали примеру императора Феодосия, собравшего с благоговением останки Иоанна Златоуста. Удивительная прелюдия к последовавшему затем извинению.

Алексей покорно подчинился этому плану: Феодосий написал извинительное письмо святому, оскорбленному его матерью; царь сделал то же самое, замаливая подобным же образом преступление своего прадеда по матери. Его переписка с новгородским митрополитом дает нам любопытное свидетельство того состояния подчинения и нравственной слабости, которые может вызвать путем религиозного влияния властный темперамент даже у личностей сильных и так высоко поставленных. В этот момент, казалось, молодой государь совершенно отказался от всякой воли и от всякой гордости. Он явился самым послушным учеником перед этим властным учителем и самым смиренным из кающихся перед этим священнослужителем. Он склоняется перед ним и простирается ниц до полного унижения. Он доходит до того, что объявляет вдруг, будто его грехи делают его недостойным числиться даже наряду с собаками!

Впрочем, его юность и крайняя впечатлительность объясняют это явление. Случившаяся в то же время смерть патриарха Иосифа произвела на него сильное впечатление.

Царю приписывали намерение сместить этого первосвященника, бывшего довольно жалкой личностью: жадный, скупой, он мало заботился о своих обязанностях. Алексей,

быть может, думал об этом действительно и потому испытывал угрызения совести. Войдя в мертвецкую и найдя его тело покинутым даже теми, кто был назначен бодрствовать над ним, он был поражен таким ужасом, что чуть не упал в обморок. Он сам описал эту сцену: сдержав свое волнение, он принялся молиться у изголовья усопшего, как вдруг процесс разложения произвел совершенно естественный шум внутри трупа. Царь испугался, он хотел бежать. Но он все же сдержал себя и его практический ум внушил ему необходимость выполнить другую обязанность; у патриарха, вероятно, остались значительные богатства и, если царь не останется при них, от них не останется и половины. И вот государь собственною рукою принялся составлять подробную опись всему. Он нашел баснословное количество драгоценной посуды, тщательно завернутой по московскому обычаю в три или четыре бумаги. Собственноручно он стал их разворачивать. Некоторые предметы, признается он, соблазняли его: красноречивое указание на тогдашние нравы! Он устоял однако против искушения присвоить их себе. И, трудясь в этом направлении, он все оплакивал усопшего и дошел до того, что забыл все его недостатки. В то же время со всею силою своей умиленной души он бросился с еще большею стремительностью в объятия другого священнослужителя, поразившего его своей интеллигентностью и превосходством натуры, и он наметил его преемником умершего.

Никон находился в Соловках, откуда должен был привезти тело Св. Филиппа, и на своей весьма многочисленной свите он показал уже свою сильную руку деспота, которого нашли в нем позже церковь и государство. Бояре и высшие чины, сопровождавшие его в этом паломничестве, все единогласно жаловались не только на то, что были подчинены исключительным религиозным обрядам и постам, но еще кроме того подвергались самому грубому обращению. Несмотря на то, что это доставило ему некоторое огорчение, Алексей не осмелился однако упрекнуть за это избранника своего сердца. Он только ограничился робким советом, принять некоторые меры предусмотрительности и не рисковать перед особенно раздраженными лицами, среди которых играл первую роль очень популярный, гордившийся своими недавними, хотя и сомнительными успехами, и считавшийся чуть не великим полководцем, Иван Хованский.

Возвратясь вскоре после этого в Москву, Никон был избран патриархом, т. е. предложен для выбора Собору. Следуя обычаю, он отказался, заставил себя просить, даже заставил царя пасть перед ним ниц в Успенском соборе и присоединить и свои мольбы к мольбам присутствующих. Но и этого было еще недостаточно. Охотник до всяких театральных манифестаций, Никон предложил следующие условия боярам и народу: «Согласны они признать в нем пастыря и отца, которому должны повиноваться все? Уполномочат ли они его принять меры для восстановления порядка в церкви?» Утвердительный ответ не заставил себя ждать, и Никон одел себе на голову белую митру патриархов.

То было 22 июля 1652 года. В то же самое время, польско-московское соперничество, приведшее к резкому повороту благодаря восстанию польской Украйны, вошло совершенно в новую фазу. Я оставляю для другой части этого рассказа сообщение о событиях, которые, ценою кровавой тринадцатилетней войны, закрепили, начиная с этой эпохи, окончательный триумф наиболее сильного из двух противников. Являясь сначала победоносной для оружия Алексея, потом показав со всей жестокостью свою обратную сторону, борьба эта должна была потребовать исключительных жертв от слишком сильно истощенной страны и в 1662 году, в довершение всех бед, она вызвала новые внутренние беспорядки, которые становились серьезными и грозили уничтожить уже добытые успехи.

VII. Монетный кризис

Уже давно московская казна вынуждена была прибегать к самым неудобным средствам. За отсутствием драгоценного материала, который не удалось открыть иностранным изыскателям, прибегли, как это было и во Франции, да и в других странах, к переливке монеты по большей части иностранного происхождения. Из одного голландского экю, стоящего от 40 до 50 коп., чеканили 60 и более. Или решали, что эти экю сойдут по курсу за рубль. В конце концов прибегли к насильственному введению медной монеты.

В 1647 году один иностранный путешественник напечатал следующую характерную заметку:

«Торговля шла плохо в Москве в прошлом году, благодаря последней войне, истощившей жителей двух пятин, и новым налогам, потому что им пришлось отдавать насильно свои товары за медные деньги, что заставило понизить их цену со ста на один… Это разорило многих частных собственников и повергло их в такое отчаянье, что одни из них повесились, а другие пропивали остаток своего имущества и умирали в пьянстве».

Из этого видно, что некоторые черты экономического и социального кризиса, при котором мы теперь присутствуем, имели свои прецеденты в прошлом.

То были лишь опыты, в которых однако зародилась уже идея, на которую должны были натолкнуть московских финансистов гибельные результаты польской войны. В 1656 году, если не раньше, по совету, как полагают, Федора Ртищева, в Москве вздумали чеканить рубли из меди и придать им официально ценность серебряного рубля. Так как отношение цен обоих металлов равнялось тогда 62,5:1, то ясно, какую громадную выгоду думала извлечь из этого предприятия казна. Как ни груба была эта иллюзия, она тождественна с той, которая привела в различные времена и в различных странах к выпуску бумажных денег. Медные рубли являлись в общем лишь ассигнациями, и предубеждение против тех, которые имели с ними дело, можно оправдать особенными условиями. С одной стороны на самом деле казна заявила, что только эта монета имеет законный курс и может отныне служить для обмена, а с другой стороны, применяя насильственный обмен ее на золотую и серебряную монету, она как бы представляло в виде гарантии все богатство государя, которое казалось тогда огромным, неисчерпаемым и значит представляла эквивалент металлическому обмену при выпуске денежных знаков нашими современными банками.

Между заинтересованными лицами многие были склонны этим удовлетвориться. Когда украинские казаки хотели сделать по этому поводу некоторые возражения, один из их полковников вскричал: «В чем дело? Если царю угодно платить жалованье бумажными лоскутьями, на которых будет красоваться его священное изображение, мы должны будем и это принимать с радостью». В лице этого человека Джон Лоу нашел бы себе адепта.

Система, таким образом введенная, должна была не раз повторяться в финансовой истории России. Круглые или четырехугольные, с виду похожие на серебряные монеты или большие бляхи, медные рубли появлялись здесь несколько раз: в 1725 году в царствование Екатерины I и в 1771 г. в царствование Екатерины II. Значительно позже в 1843 г. еще более смелая апелляция к общественному доверию побудила толпившихся у касс владельцев золотых и серебряных монет обменять их на те зеленые билеты, которые, как и прежние медные рубли, должны были одни быть в будущем в обращении.

В царствование Алексея московские купцы не видели вначале никакой трудности в переходе к предложенному им монетному обращению. Доверие было слишком прочное и, с

равною ему смелостью, употребляя исключительно лишь новую медную монету, для всех платежей, казна отказалась принимать более трети при своих собственных сборах. Тем не менее наивность плательщиков этим не была поколеблена, и для того чтобы им открыть глаза, необходимо было, чтобы к этому прибавилось еще тяжелое злоупотребление. В течение пяти лет, по свидетельству Майерберга, выпуски меди достигли пяти миллионов рублей, т. е. в пять раз более годового бюджета. В то же время появился целый легион фальшивомонетчиков. Пример им подал сам Илья Милославский вместе с официальными монетчиками. И началась беда. Благодаря целому ряду грубых или наивных уловок цену рубля серебром с 108 копеек в 1659 году удалось поднять до 15 рублей, как это было констатировано в 1663 году. Это было полное разорение.

Правительство капитулировало в июне того же года перед ужасною нуждою обездоленного населения, лишенного возможности приобретать даже предметы первой необходимости; указ прекратил чеканку медной монеты и все соединенные с ней операции. Вся медная монета была тогда изъята из обращения, причем новый закон запрещал частным лицам сохранять хотя бы малейший запас ее, а казна принимала теперь при первой явке лишенные ценности монеты, но только и тут приходятся удивляться гениальности московского фиска, как и терпению его подданных, так как обмен делался по одному на сто!

Но это была уступка общественному мнению, которое начинало принимать крайне грозный характер.

Уже весною 1662 года Москва волновалась мрачными слухами. Умирая с голоду, население, чернь столицы, собиралось, говоря о необходимости показать Илье Мстиславскому, Ртищеву и некоторым из их клевретов, где раки зимуют. Кроме монетного кризиса, умы были возбуждены недавним введением 20-процентного подоходного налога, который явился последствием недавно свирепствовавшей чумы и продолжены войны, принявшей в эту пору дурной оборот.

В июне, в то время как царь находился в своем любимом селе Коломенском (в 7 верстах от Москвы) на одной из площадей столицы, на Лубянке, – был прибит плакат, объявлявший этих же людей отданными во власть народной мести. Когда Алексей приказал снять афишу, возмутившаяся толпа бросилась по дороге в Коломенское. В это время царь, празднуя день рождения одной из своих сестер, слушал обедню в дворцовой церкви. Узнав обо всем, он приказал Мстиславскому и Ртищеву спрятаться в покоях царицы, и спокойно продолжал молиться.

Православная служба продолжается очень долго, и бунтовщики успели захватить входы во дворец, прежде чем пропели последние молитвы. Алексей был вынужден оставить службу и появиться на крыльце, откуда он обратился с речью к своим нежданным гостям. Как только окончится служба, он обещал отправиться в Москву и приняться там за розыск. Но несколько смелых людей успели уже добраться до царя и, хватая его за полы и за пуговицы, требовали гарантии.

Застигнутый врасплох, не подумав даже позвать своих телохранителей, которые забыли охранить доступ во дворец, Алексей стал божиться, что произведет скорую и справедливую расправу, он протянул даже руку одному из восставших в знак гарантии своих обещаний, как это сделал в 1635 году в Париже маршал дела Форс, набирая солдат среди столичных воров, и гилевщики, как их здесь называли, отправились домой.

Между тем в церкви все продолжалась служба. Вернувшись туда, государь послал в Москву князя Хованского, ставшего еще больше популярным с тех пор, как он, хотя и

безуспешно, сражался с поляками, и обещал, что скоро последует за ним. Но там временем другая группа мятежников разграбила дом богатого московского купца Василия Шорина, заподозренного в сношениях с фальшивомонетчиками и с Польшею, и эта группа в свою очередь направилась по дороге в Коломенское. На полпути обе партии встретились, соединились вместе и сообща решили новое наступление.

К бунту примкнуло и несколько солдат, одни из которых дезертировали из войска, а другие действовали по приказу офицеров, из которых один, капитан князь Кропоткин, предок знаменитого революционера, пытался увлечь с собою весь отряд. Развращенные прокламациями, распространяемыми массою в военных слободах, они составляли ядро этой маленькой армии, где было только несколько сотен настоящих бунтовщиков, причем толпа состояла главным образом из зевак, как обыкновенно бывает в подобных случаях. И действительно, как это и показали результаты предпринятого потом розыска, военный элемент управлял всем движением. В этом-то и заключалась серьезность положения, особенно в этот момент, когда от полной концентрации всех наличных сил страны зависел исход грозной войны.

Алексей сел на коня, чтобы выполнить обещание, когда мятежники явились перед ним таким образом подкрепленные. Он уже не был теперь без защиты. Были собраны два полка стрельцов; наемные полки, стоявшие в столице, прибыли им на подмогу. Нисколько не испугавшись такой силы, которую они могли считать неопасной после победоносных мятежей 1648 года, гилевщики говорили, как господа положения:

– Не проливай напрасно христианской крови, православный царь! Мы решили наложить руку на изменников, и если ты их не хочешь выдать, мы, как когда-то, возьмем их у тебя!

И, сопровождая эти слова угрожающими жестами, они подняли кверху дубины и сабли. Вот в каком положении очутился второй представитель династии Романовых!

Но он видал виды, он мог легко оценить силу противников, с которыми теперь встретился. Царь подал знак, и в несколько минут выходы ко двору были очищены. Сотня беглецов потонула в соседней реке; еще больше было убито стрельцами и тысячи были арестованы.

По времени и по месту последовавшие репрессии кажутся еще довольно мягкими. Капитан князь Кропоткин, присужденный к кнуту и к ссылке, мог считать, что хорошо отделался. Среди двенадцати приговоров к разным наказаниям и ста четырех приказов о ссылки, постигших по большей части военных, документы не указывают ни одной смертной казни.

Алексей испытал однако сильное потрясение, и царица более года чувствовала последствия этого события. Их ожидало еще более тяжкое испытание.

С согласия государя, Никон принялся выполнять программу своей патриаршей деятельности в том виде, как он ее определил, согласившись принять наследие Иосифа. С большим самообладанием он принялся выполнять обширный ряд реформ, вызывая при этом сильное сопротивление и даже возбуждая, или вернее ускоряя (так как причины его коренились в прошлом), – одно из самых страшных вероисповедных восстаний, которое когда-либо происходило на памяти истории, – это был раскол. История его происхождения и развития требует особенного внимания. Уже много лет, опираясь на своего августейшего друга, Никон высоко держал голову перед своими противниками, энергия которых равнялась его собственной. И это обоюдное согласие духовного и политического вождя империи, гарантированное взаимною привязанностью, закрепленное самыми торжественными

обещаниями, казалось, обещало им верную победу, как вдруг оно оборвалось при обстоятельствах, придавших этому конфликту особую важность ввиду дальнейших отношений двух властей, здесь встретившихся.

Глава четвертая

Царь и патриарх

I. Никон

Помимо той реформаторской работы, с которой связано имя этого последнего из великих вождей московской школы, фигура его настолько интересна, драма, которой после долгих лет напряжения закончилась его блестящая карьера, его процесс и в результате изгнание, составляют такую любопытную страницу в истории нации, что мы должны остановиться на ней несколько подробнее.

Аввакум любил указывать на то, что отец Никона был черемис, а мать татарка.

Составляя в свое время предмет спора между противниками и защитниками реформатора, его финское происхождение не оставляет уже в настоящее время никакого сомнения. Но ни физически, ни нравственно эта личность не обнаруживает никаких черт, свойственных этой слабосильной и холодной расе. Никон представляет собой гиганта. Увидя его в первый раз в 1663 году, грек Паисий Лигарид был поражен его животным видом, огромным ростом, громадною величиною головы, черными, несмотря на его шестьдесят лет, волосами, низким, нахмуренным лбом, густыми бровями фавна, длинными ушами сатира и грубым голосом многоречивого спорщика.

Увлеченный пристрастием, этот свидетель мог, без сомнения, перенести свою недоброжелательность на обрисовку портрета, но общее сходство его с оригиналом во всяком случае подтверждается также другими источниками. Другой грек, которого можно менее подозревать во враждебном чувстве, Павел Алепский, рисует патриарха остающимся за столом от полудня до полуночи и служащим заутреню прямо после попойки, не обнаруживая при этом и тени усталости.

У Никона было больше темперамента, чем интеллигентности или знания и, едва отесанный довольно поверхностным религиозным воспитанием, очень мало просвещенный поспешным чтением, ум его оставался невежественным. Его властный и смелый характер, сильная любовь к деятельности и к борьбе, соединенные с некоторой ловкостью и с большим талантом рисовки, – вот что обеспечило ему прием в качестве драгоценного соратника в среду образованных и предприимчивых людей, где нашла себе очаг среди приближенных Алексея идея о религиозной реформе, которую он потом призван был осуществить. Рассматривая выполненную таким образом работу, мы увидим, что инициаторы ее ошиблись в выборе главного работника, так как это орудие гораздо менее послушное, чем они воображали, не замедлило ускользнуть из их рук, и реформа, законченная без них и помимо них, должна была повлечь за собою их гибель.

Руководя проведением этой реформы на практике, Никон овладел ею, сделал ее своею, и в том виде, в каком он, если не создал, то во всяком случае выполнил ее, она несомненно носит на себе отпечаток его личности. В общем реформа заслуживает, однако, одобрения. Даже кроме исправления книг или литургии, к моменту своего падения наследник Иосифа завел, по крайней мере частично, согласно заявленным им намерениям, в церкви тот

порядок и дисциплину, которые в ней совершенно отсутствовали; он восстановил проповедь, от которой отвык уже клир этой страны, занялся созданием школ и введением в них классического образования, всячески поощряя переводы с греческого на славянский; собрав в основанном им Воскресенском монастыре элементы богатой библиотеки, он таким образом сделал попытку создать для блага своих соотечественников тот интеллектуальный очаг, которого ему недоставало в юности.

Никон оставил в качестве проповедника воспоминание о замечательном импровизаторе, обладавшем к тому же могучим и мелодичным голосом. Часто ему случалось вдохновиться каким-либо случаем, происшедшим в тот самый момент, когда он находился на кафедре и развивать на эту тему урок по религиозному воспитанию. Но ни одна из этих речей не дошла до нас, а некоторые из находящихся в нашем распоряжении письменных его приказов, даже его речи на Соборах 1654 и 1655 годов, грешат напротив, растянутостью, частыми повторениями и грубостью стиля, которые делают их иногда плохо понятными.

Никон умел, наконец, остановить раскол, и допустим, если не подтвержден тот факт, что, если бы не произошло его падение, разделение церквей могло бы быть задержано в самом начале.

Эти действительно реальные достоинства и заслуги помогли Никону добиться такого личного положения, при котором он стал выше всех своих непосредственных предшественников. А между тем Алексей очень преклонялся перед Иосифом и, узнав во время службы о смерти этого патриарха, он, как и все присутствующие, были, – как это утверждает он сам, – поражены таким «ужасом», что едва были в состоянии продолжать пение. А между тем это был лишь Иосиф или Иоасаф, совсем не владевший исключительными титулами Филарета и бывший, как и все представители московской церкви, лишь поставленным во главе иерархии чиновником государства, подчиненным во всех отношениях светской власти. Его инвеститура, как и назначение митрополитов, епископов и даже главных архимандритов, игуменов и протопопов, зависела исключительно от доброй воли государя.

Да иначе и быть не могло, так как в древней России епископы были не только пастырями душ, но также и агентами правительства с очень обширными полномочиями административного характера. Владея огромными поместьями, они выполняли там все функции власти и начальствовали иногда над войсками, представлявшими собой автономные военные единицы, но при этом они являлись всегда лишь делегатами своего государя, единственного источника всякой власти. Перевод московской митрополии в патриархат, исключительно дело светской власти, ничего не изменил в этом режиме. Первые представители этой должности: Иов, Игнатий, Гермоген явились пассивными жертвами Смутного времени, подвергаясь оскорблениям толпы, низложению со стороны эфемерных правительств, а клир не вмешивался, чтобы защитить их; после исключительной истории, в которой фигурировал Филарет, его преемники, Иоасаф и Иосиф, вступили на эту должность без всяких затруднений.

Был ли патриархат в Москве, как это допускают некоторые историки, институтом, противоположным демократическому духу религиозной коммуны? Рассуждение об этом завело бы нас слишком далеко. Во всяком случае такое явление не могло продолжаться долго. Общая тенденция верховного клира была направлена без всякого сомнения к освобождению от этой действительно унизительной зависимости; но его представители имели очень большую наклонность к чисто светским выгодам, далеко не апостольскую, и их

вечные раздоры привели к тому, что государь сделался истинным главою церкви.

Идеи и чувства Алексея делали его особенно способным для выполнения подобной функции. Он сам являлся настолько проникнутым церковным духом, что вдохновлялся им даже при распоряжениях военного характера. Однажды он упрекал одного из своих генералов, разбитого поляками, за то, что он забыл не правила стратегии, но предписания Св. Писания, и рекомендовал другому в качестве средства для вящего успеха, пение в унисон во время похода.

Его видели занятым регламентацией постов, и он диктовал приказы по этому поводу; будучи инициатором самых важных соборов семнадцатого века, среди религиозного кризиса, который эти собрания пытались уничтожить, помимо их и даже вопреки их воле и воле патриарха, царь вмешивается в качестве посредника в споры по обсуждаемым вопросам и делает господствующим в них свои мнения.

При таком положении вещей патриархат Никона не внес ничего нового в принципе. По свидетельству некоторых очевидцев, преемник Иосифа добыл себе хартию о невмешательстве государя в церковные дела и обращении решений патриарха в обязательные, без всякого обсуждения и апелляции. Но подобное толкование условий, которые Никон поставил своим избирателям в театральной сцене в Успенском Соборе, кажется неправильным. Подписав в качестве простого архимандрита Уложение 1648—49 годов, Никон, даже сделавшись патриархом, не поднял ни разу протеста против статей этого кодекса, представлявших собой самое сильное покушение на независимость церкви.

Он принял установленный порядок, предоставив себе лишь право использовать путем личного влияния естественные последствия режима. Не желая пробивать бреши или критиковать светскую власть, он предпочитал использовать ее, чтобы закрепить свою личную власть.

Освободить епископов от светских насильственных мер с тем, чтоб усилить те, которым он подчинял их сам, избавить новгородскую митрополию, пока он был ее ответственным лицом, а потом патриаршую епархию, когда он стал заведовать ею, от юрисдикции монастырского приказа, присоединить к той или другой основанные им монастыри, хотя и расположенные вне их ведомства, – вот к чему сводилась его система.

По праву эта юридическая автономия, которую он присвоил себе, не исключала апелляции к государю; но когда один дьякон попытался в 1655 году воспользоваться ею, Алексей его выпроводил со следующими словами:

– Друг мой, если бы я вздумал изменять решения патриарха, он бы тотчас отдал мне свой посох со словами: управляй моими монахами и священниками вместо меня.

С течением времени Никон стремился связать таким образом полученные личные привилегии с общим принципом: он стал утверждать, что подписал Уложение лишь насильно; он приказал перепечатать в 1653 году Номоканон с тенденциозными прибавками в этом смысле, введя туда знаменитое Donatio, происходившее от времен императора Константина. Быть может, он не знал, что это апокриф, но он думал, по примеру римских пап, найти в нем опору своим притязаниям. Ему даже приписывают намерение присвоить себе титул папы, которым будто бы владели некогда восточные патриархи.

Между тем Никон всегда был обязан главным образом своим авторитетом чрезвычайному влиянию, которым он пользовался, на государя, и кроме того своей твердости и настойчивости, которые, даже по крайне благоприятному для него свидетельству Павла Алепского, обращали его в настоящего тирана. За мельчайшую

провинность архимандритов и протопопов заключали в оковы и заставляли работать день и ночь в просвирне патриаршего дворца, или осуждали их на голодную смерть в подземных тюрьмах. Проезжая по деревням, стрельцы патриарха чинили в них строгие полицейские расправы и применяли жестокие репрессии.

За время своего пребывания в московском государстве греческий монах констатировал в нем фактическое разделение верховной власти между тремя главами: царем, патриархом и келарем Сергия-Троицы, настолько могущественным и блестящим, что при его разъездах свита его была еще более многочисленна, чем свита его соперников по власти. Тем не менее он был вскоре смещен Никоном и осужден на должность мельника в монастыре, где и окончил свои дни! Но этот очевидец мог, конечно, увлекаться своим восточным воображением и легковерием: он был, например, убежден, что большой крест на Благовещенском соборе вылит из массивного золота и стоит 100 миллионов.

Могущество патриарха опиралось также на его громадное богатство. Никон был большой кулак. К тем большим поместьям, которые составляли наследие его предшественников, вопреки Уложению, он не переставал прибавлять новые, так что число его крестьян с 10 000 дошло до 25 000. Почти от каждой земли, возвращаемой казне, патриарх урывал для себя какую-либо частицу.

В 1656 г. Никон произвольно уничтожил коломенскую епархию, присоединив ее к своей вместе со всеми получаемыми от нее доходами. В то же время он поднял инвеституру, платимую ежегодно патриарху за назначения на церковные должности, заставляя простых попов лично являться для этой цели в Москву, где их задерживали от трех до шести месяцев и заставляли, несмотря на большие холода, останавливаться во дворе дворца патриарха. От одних церквей в столице он получал ежегодно до 14 000 рублей и присвоил себе даже часть доходов Сергия-Троицы, так что его собственные доходы доходили, если верить Павлу Алепскому, до двадцати тысяч рублей в год.

В 1655 году Никон велел себе выстроить новый дворец, стоивши 50 000 рублей, хотя все материалы для него были доставлены царем, а рабочие руки составили крепостные патриарших поместий. В его доме царила пышность, жили на широкую ногу и много пили. Павел Алепский упоминает, что перед едой патриарх и его гости выпивали по три рюмки водки и после каждого блюда предлагались различные напитки. А блюд в эту эпоху подавалось часто с десяток. В будний день стол одного из преемников Никона имел их 29, не считая закусок.

Никон любил роскошь и пышность во всем. Некоторыми чертами он предвосхищает выходки в этом роде наиболее великолепного из любимцев Екатерины Великой: принимая Алексея в каком-нибудь монастыре, он с большими затратами собирал туда всех монахов из всех соседних монастырей. Патриарх, как петиметр, занимался своим туалетом, снабдив свои патриаршие украшения таким количеством жемчуга и драгоценных камней, что, несмотря на свои широкие плечи, не мог вынести их тяжести и должен был сменить одежду во время самой службы. Ряса и риза, которыми он был украшен, отливали всеми цветами радуги. Ему приписывали даже привычку смотреться в зеркало во время службы. Но в чем его только не обвиняли!

Никон, действительно, создал себе много врагов, которым было нетрудно его оклеветать и обвинить. Патриарх был во многом виноват, но трудно восстановить истину во всех этих обвинениях. Для раскольников, откуда совершенно понятно вышли его самые сильные и самые активные противники, главным его преступлением было ношение им в подражание

римским первосвященникам изображения Христа или Святой Девы на своих туфлях. Но расходная книга патриарха показывает также ежедневную раздачу щедрой милостыни, и Павел Алепский, может быть, был не очень далек от истины, когда уверял, что, несмотря на свою суровость, Никон был так же дорог большинству русских, как папа католикам.

И действительно его популярность ярко выразилась в момент его падения, и Стенька Разин попытался еще впоследствии воспользоваться ею. Для того чтоб ее приобрести и сохранить за собою, Никон мог прибегать к средствам довольно сомнительного достоинства: Павел Алепский говорит, что к его пышному столу приглашался один из юродивых, к которым относились в Москве с благоговением; патриарх давал ему пить и проглатывал капли, оставшиеся в его чаше. Результаты такого поведения однако сказывались, способствуя во всей мере закреплению главенства патриарха.

Ограниченная во всяком случае пределами церкви, власть патриарха должна была рано или поздно испытать ряд многочисленных столкновений с авторитетом такого государя, как Алексей, который стремился осуществить его и в этой области. Запутанность взаимных отношений провоцировала их. Уже давно патриарх взял себе привычку отдавать приказания, издавать, даже для своих частных дел указы агентам светской власти. Так как Филарет совсем недавно подал пример подобной узурпации власти, Алексея вначале это совсем не трогало. Случилось даже, что, согласно прецеденту, созданному в совершенно других условиях, преемник Филарета унаследовал и титул Великого Государя, разделенный отцом первого Романова со своим сыном. Никон заявлял позже, что эта милость дана была ему во внимание к его заслугам, оказанным во время первой польской войны. В документах, которые имеются у нас на руках, ничего об этом не упоминается; но начиная с 1655 года этот титул неизменно появляется в переписке Алексея со своею семьею, государь никогда не упускает случая сделать комплимент по адресу великого государя, московского патриарха.

В мае 1654 года царь отсутствовал, был долго задержан на польской границе. Стало необходимо учредить регентство, и без всяких особых распоряжений на этот счет, просто благодаря установившимся отношениям между государем и его «особым другом», оно досталось Никону. Он стал, следовательно, управлять церковью и государством, как это делал Филарет; как и тот, он заменял собою отсутствующего царя при ратификации решений бояр; как и тот, он от имени царя, царевича или царицы, но иногда также и от своего собственного имени, составлял решения, издавал циркуляры, предпринимал по личной инициативе важные меры, как, например, упорядочения интендантской части или борьбы с чумою.

В следующем году, отправляясь в новый поход, Алексей утвердил сам такое положение вещей. Расставаясь с антиохийским патриархом, который жил тогда в Москве, он ему сказал, указывая на Никона: «Вот, мой заместитель, я вас доверяю ему». Во время обедни по поводу дарования Богом победы московскому оружию, патриарх начал говорить и, указывая на победу Моисея над Фараоном и Константина над Максентием, почти час держал царя перед собою на ногах, со сложенными руками. Этот факт ошеломляюще подействовал на Павла Алепского: один как будто был рабом, а другой его господином.

И когда Алексей уехал, Никон не преминул напустить на себя вид всемогущего государя, играя в царя до мельчайших подробностей этикета и обнаруживая большую требовательность, чем это было при том, которого он заменял, – принимал высшие чины, не предлагая им даже сесть, поворачивая к ним спину и делая вид, что не замечает их даже.

В сущности, почести вскружили ему голову. Он отказался называть братьями даже

иностранных епископов и митрополитов, совершенно вопреки обычаю, и, пригласив на обед антиохийского патриарха, ел один, за отдельным столом. Алексей, даже в своем присутствии поощрял эти тщеславные выходки, постоянно показывая вид, что уступает честь верховному патриарху, обедая с ним и даже у него, он требовал, чтобы за здоровье патриарха пили в первую очередь. Помимо власти, в которой держала его мощная фигура Никона или помимо энтузиазма и аффекта, которые долго внушал ему этот красноречивый священнослужитель, молодой царь вероятно руководился и другими соображениями, поступая так. В начале царствования, подвергшегося таким сильным потрясениям, состоя главою еще шаткой династии, государь без всякого сомнения был рад соединиться этою ценою с властным и уважаемым союзником, укреплявшим его собственный авторитет. Предоставленный самому себе, он, может быть, и продолжал бы еще несколько лет подобное разделение власти. Но приближенные к царю бояре относились к этому менее благосклонно.

Политика, которую они преследовали, клонилась к диаметрально противоположному, а именно все к более и более полному подчинению церкви государству. Главный редактор Уложения, князь Одоевский, хвалился, что совершил крупный шаг по пути осуществления этой программы установлением «монастырского приказа», а этот финский крестьянин испортил все дело!

Но то было еще не все. Всемогущий патриарх употребил всю свою власть для распространения идей, совершенно противоположных чувствам и наклонностям другой группы придворных, влиянию которых все больше подчинялся Алексей. Никон совсем не был врагом науки и прогресса, но он понимал их по-своему, как ожесточенный православный и непримиримый националист. Москвитяне же школы Морозова имели веру, менее затемненную, и менее узкие интеллектуальные предрассудки. Они были убежденными западниками. Никон обнаруживал недоброжелательство по отношению к иностранцам: он наблюдал затем, чтобы, если не в предместьях, то по крайней мере в центре столицы не было их учреждений, и увеличил касавшиеся их ограничения. Однажды он, говорят, даже принудил их носить их национальные костюмы, к великому горю щеголих немецкой слободы, вынужденных нарядиться в потертое и старомодное платье до прибытия заказов, сделанных на скорую руку в Париже и Лондоне. В другой раз он приказал отобрать у появившихся тогда любителей западного искусства картины и скульптуру более или менее далекие от византийского стиля, приказав их за это уничтожить. Или же, он вздумал запретить боярам часто ходить в баню, видя в этом подражание турецким обычаям.

Исходя от противников патриарха, эти обвинения подозрительны, но между тем приходится принять как нечто правдоподобное, если не верное, соединенное влияние двух партий, вооружившихся против патриарха, и это влияние привело к изменению настроения государя, который стал удаляться в 1657 году от своего alter ego. Вскоре оба «государя» ополчились друг против друга.

II. Разрыв

В октябре 1657 года Алексей был еще в гостях у Никона в Воскресенском монастыре. На Истре, в 47 верстах от столицы, в этой чудной местности, патриарх выстроил себе монастырь по модели Иерусалимского храма на гробе Господнем. Царь показал вид, что очень приятно поражен, а основатель его тотчас задумал дать ему несколько смелое

название «Нового Иерусалима». Позже Никон подвергался за это сильным упрекам. В следующем месяце, ожидая посещения государя в другом, основанном им монастыре, Никон испытал первую неприятность: царь не сдержал своего слова. В марте и апреле 1658 года царь прибавил еще несколько земель к владениям патриарха, но встречи друзей становились все реже и реже. Очевидно, государь их избегал. По-видимому, у него еще не было мысли о разрыве, и откровенное объяснение могло бы, быть может, предотвратить еще на некоторое время катастрофу, но темперамент обоих этих людей заставлял их избегать его, – одному мешала робость, другому гордость, и враги Никона ликовали.

Павел Алепский упоминает о размолвке, происшедшей между царем и патриархом весною 1657 года, по случаю одной церемонии, которую Никон устроил против указаний его антиохийского коллеги, только что покинувшего Москву. Алексей вспылил и, по словам греческого хрониста, угостил своего, «особого друга», руганью: «мужик… животное!»

Никон указал на свое звание духовного отца, но царь возразил ему:

«Я тебя не признаю за такового! Таковым я считаю антиохийского патриарха, и я его прикажу вернуть немедленно».

Если эта сцена и не выдумана во всех подробностях, то во всяком случае воспроизведена с большими преувеличениями. Макарий был действительно призван в Москву, но, как утверждает и сам Павел Алепский, совсем по другим причинам, и в это время положение Никона еще далеко не пошатнулось. Полемисты раскола упоминают с другой стороны одну смелую выходку Никона, когда, ввиду нежелания помиловать одного убийцу, Алексей был отлучен от церкви своим исповедником, вмешавшимся вместе с патриархом в пользу виновного.

Разные трения и споры в таком роде могли возникнуть между вчерашними друзьями, которым суждено было сделаться завтра врагами, но ничто еще пока не оказало решительного влияния на готовившийся кризис. Я уже указывал на вероятные причины ссоры. Боярам не нравилось, что ими управлял священнослужитель, клир жаловался, будто бы он нашел в нем слишком требовательного господина, наконец царь, достигнув более зрелого возраста, чувствуя себя прочнее на троне, благодаря успехам против Польши, испытывал естественное желание самому расправить свои крылья, таким образом получилось, что один из «Государей» оказался теперь лишним в Московском государстве.

Никон не хотел понять этого; опьяненный своим всемогуществом, он дошел до того, что придал своей власти теоретическую концепцию, которую он вскоре должен был поддерживать с большею энергией, но которая отнюдь не соответствовала действительности. Он был убежден, что в «третьем Риме» патриарх играет роль папы, который может принять против другого Генриха IV позицию второго Григория VII. И он должен был скоро убедиться в своей ошибке.

6 июля 1658 года, когда был дань большой пир в честь грузинского царевича, царь не пригласил на него второго «великого государя». То был уже явный знак возраставшей немилости. Один из интендантов патриарха, князь Дмитрий Мещерский, толкавшийся в толпе, стоявшей у входа во дворец, был избит чиновником двора, Богданом Хитрово. В ответ на жалобу Никона, Алексей обещал произвести дознание по этому делу и объясниться по этому поводу лично с патриархом, но свидание так и не состоялось. В этом месяце религиозные церемонии требовали присутствия царя в Успенском Соборе, где служил Никон, но государь сообщил, что он туда не явится. Когда Никон выразил по этому поводу свое удивление, то было поручено князю Георгию Ромодановскому указать ему, что государь

считает оскорбительным для себя титул «великого государя», который тот «узурпировал».

Но три года тому назад эта узурпация, если она и имела место, была, как мы видели, санкционирована самим Алексеем manu propria. Но обычно в таких случаях память бывает короткой.

В этот день, 10 июля Никон служил по обыкновению, но после причащения приказал запереть двери церкви, объявляя, что хочет говорить. Он говорил в довольно странных выражениях, спутанных и противоречивых, горячо протестуя против несправедливых и клеветнических обвинений, предметом которых он явился, но признавая себя, тем не менее, виновным в нерадении при исполнении своих обязанностей и кончил речь, уверяя, что не может продолжать возложенные на него функции.

«Я вам принес, – говорил он, – драгоценное знание, опиравшееся на авторитет всех отцов церкви, а вы с вашими окаменелыми сердцами хотели побить меня камнями. Так не лучше ли будет, если я перестану быть вашим пастырем?»

И он сделал вид, будто бы снимает знаки своего сана. По свидетельству некоторых очевидцев, он даже объявил, будто бы готов подвергнуться анафеме, если возьмет назад свое решение. Но этот пункт остается сомнительным, и дознание, предпринятое потом по поводу этого инцидента, не устанавливает даже наверняка, что Никон изъявил действительно о своем намерении оставить патриархат. Присутствующие во всяком случае таким образом истолковали его слова и, в то время как он снимал с себя пышные украшения, крики и рыдания наполняли церковь.

Притворяясь, что не обращает на это внимания, Никон велел принести мешок, в котором он приготовил простое монашеское платье, но в дело вмешались митрополит сербский и крутицкий и велели унести все это, а Никон вернулся в ризницу, надел простую епископскую рясу, заменил свою белую митру черным клобуком и написал по адресу царя письмо, в котором была такая фраза: «я ухожу, повинуясь слову Писания; дайте место гневу». После этого поставив демонстративно посох Митрополита Петра, первого главы московской церкви, он сделал вид, будто бы оставляет храм. Но толпа его удержала.

Он верно рассчитал. Вся эта сцена была необходима для того, чтобы заставить Алексея раскаяться. Когда последнему сообщат о происшедшем, он поспешит сам явиться, и с помощью взволнованной толпы Никону уже будет нетрудно добиться от царя лучших чувств. При первом известии об инциденте царь действительно был сильно взволнован, но его приближенные были настороже, и Никон увидел вместо того, кого ожидал, князя Алексея Трубецкого, одного из своих самых лютых врагов. Тот однако весьма почтительно просил у него объяснения по поводу произведенной им демонстрации, и о решении, которое она возвещала.

Никон сослался на письмо, отправленное им только что царю, с которым он желал объясниться непосредственно, прибавив при этом, что просит для себя лишь кельи, в которой он мог бы окончить свои дни. Когда Трубецкой ушел с этим ответом, бывший патриарх не мог уже сдержать своего крайнего возбуждения. Спускаясь по ступеням патриаршего трона, где он просидел некоторое время, и, направившись к дверям собора, где толпа продолжала еще загораживать ему проход, он все еще ожидал появления государя. Увы! Трубецкой вернулся один, стал спорить, вернулся снова, чтоб получить приказания от государя, и объявил окончательно от имени царя, что Никон, желая закончить свои дни в какой-либо келье, свободен выбрать себе ту, какая ему больше нравится, в одном из основанных им монастырей.

Такая развязка, вероятно, менее всего соответствовала планам смелого священнослужителя. Никон не спешил еще принять решение. Медленно он прошел пешком Красную площадь и соседние улицы, высматривая, не создастся ли какое-нибудь движение народное, которое энергичнее высказалось бы в его пользу. До следующего дня он прожил еще в своей столичной резиденции в Воскресенском монастыре, и, только истощив все средства и испытав повсюду разочарование, бывший патриарх печально направился обратно в Новый Иерусалим.

Через три дня к нему явился туда Трубецкой, но не с тем, чтобы предложить бывшему патриарху взять обратно свое решение, а с упреком, что он принял его, не известив предварительно государя, просившего у него тем не менее благословения для себя, царицы, своих детей и крутицкого митрополита, назначенного временно управлять оставленным престолом.

Видя, что решительные меры ему не удались, Никон попытался испробовать противоположные средства, притворившись очень ничтожным и очень смиренным; соглашаясь на все, он объяснил быстроту своего отъезда тем, что боялся, ввиду своей болезни, быть застигнутым врасплох смертью на посту, который он не хотел сохранить за собою. В письме, за подписью «бывшего патриарха Никона», он просил прощения у царя за свои «бесчисленные» ошибки и уверять, что имеет лишь одно желание, чтобы государь его забыл.

Вскоре ему показалось, что это новое поведение произвело как раз ожидаемый эффект: Алексей не торопился назначить ему преемника и в то же время посылал в «Новый Иерусалим» письма, в которых он, говоря о врагах Никона, с которыми ему приходилось бороться, выдавал свое смущение. Тогда бывший патриарх переменил тон; извещенный к тому же, что уже созвана комиссия для просмотра его бумаг, он составил горячий протест и предупредил царя, что кроме государственных тайн, которых он не должен обнаруживать перед нескромным взором, в этих бумагах заключалось и нечто такое, что не должен знать и сам царь.

«Я удивляюсь, писал он ему, откуда могла явиться у тебя подобная смелость! Раньше ты боялся составить свое суждение о простом церковнослужителе, а теперь ты вздумал судить того, кто был пастырем целого мира?»

Он подозревал, что заднею мыслью этого сыска является захват бумаг, в которых сам Алексей давал ему титул «великого государя», и выражался по этому поводу совершенно правильно:

«Я не знаю, каким образом со мною все это произошло, но думаю, что это от тебя самого. Всегда ты меня величал так, когда писал мне письма, и не можешь счесть мои слова ложью».

Но тут он узнал, что розыск касался и богатств, собранных им, и тотчас же напомнил, что сам царь использовал их неоднократно. Он жаловался также, что ему отказывали в должном ему уважении. Оставляя пост главы московской церкви, он тем не менее сохранил свой титул, и благодать Св. Духа его еще не оставила.

Он только что исцелил своими молитвами двух лиц, одержимых падучей! Впрочем, и функционировавшие епископы были по большей части назначены им и они должны оказывать ему уважение и повиновение. Даже и будущий патриарх не может получить свою инвеституру иначе, как от него. Он готов передать ему божественную милость, но «в качестве восковой свечи, сообщающей свое пламя другому, ничего не теряя от этого ни в

тепле, ни в блеске». А пока он не допускает, чтобы кто-либо захватил его место. Он не хочет воротиться туда, «как собака возвращается к собственному извержению», но в то же время он запрещает Крутицкому митрополиту заменить себя в процессии в день вербной субботы. Словом Никон не был больше патриархом, но претендовал, чтобы с ним обращались, как если бы он им оставался, и вместе с почестями за ним сохранилась власть, связанная с этой функцией.

Таким образом создавшееся положение являлось очень затруднительным, так как оно, к несчастию, совпало с событиями, подорвавшими кредит, который нужен был Алексею, чтобы выйти с выгодой для себя из этой травли. На другой же день после отъезда Никона, измена Выговского, гетмана украинских казаков, примкнувших к Москве, сильно скомпрометировала дело этих новых заправил власти, и бывшему патриарху было как раз на руку дать понять, что он один мог бы предотвратить катастрофу. В июле 1659 года казаки, поляки и татары, соединившись вместе, нанесли самой лучшей части царской армии страшное поражение. Ждали, что они скоро появятся под стенами столицы. Никон воспользовался этим, как текстом для новых комментариев, и на этот раз ему удалось получить со своим прежним другом свидание, не приведшее впрочем к ожидаемым результатам.

В промежутке бывший патриарх слишком много писал и неловко надоедал своему августейшему корреспонденту. То взывая к воспоминаниям прошлого, он пытался его растрогать: «Я делил с тобою трапезу, а теперь живу один, как собака… Я не жалею о потерянном хлебе, но не могу жить без твоей милости и твоего расположения», говорил он. Но тотчас же у него брал верх его раздражительный темперамент и он припоминал все неприятные события момента, чтобы поразить своего друга в самое чувствительное место: «Ты рекомендуешь пост, но кто в настоящее время не постится? Во многих местах за недостатком хлеба постятся до самой смерти. И с самого начала твоего царствования не было жалости ни к кому. Всюду плач и рыдания, жалобы и вздохи, и нет существа, которое радовалось бы в эти дни печали».

После этого соглашение уже было трудно. Никон, кажется, попытался использовать свое пребывание в столице, чтобы поднять чернь. Он организовал народные обеды, на которых мыл ноги своим гостям, произнося соблазнительные речи. Тогда Алексей вышел из себя; он приказал смелому смутьяну оставить город, и в начале 1660 года созвал собор, который должен был положить конец такому тягостному положению вещей.

Это было объявление войны с обеих сторон. Она должна была продлиться семь лет.

III. Борьба

Никон едва ли мог рассчитывать на поддержку клира. Он мог сколько угодно отожествлять свое дело с делом церкви и изливаться в негодующих выражениях против огромных обязанностей, возложенных на нее благодаря войне, которой, казалось, не будет конца. Но клир не мог забыть той доли ответственности, которая лежала на бывшем патриархе, в осуждаемой им теперь политике. Его высокомерные призывы к главенству церковной власти, правда, пробудили отголосок симпатии между епископами и, когда Никон, стараясь определить их взаимное положение, сравнивал, как это мог бы сделать Григорий VII, – церковь с солнцем, а государство с луною, – многие из клира готовы были тайком ему аплодировать. Это «бледное изображение, опрокинутое, как в зеркале», по

выражению одного современного русского писателя,[43] было тем не менее отражением великой борьбы, горевшей шесть веков тому назад между папством и империей. Но если клиру и было по душе самое дело, то они относились совершенно иначе к его борцу. Благодаря своим деспотическим выходкам и надменному обращению, Никон стал ненавистен большинству своих прежних подчиненных. С другой стороны и его управление не было безупречным. Незадолго до начала конфликта, низший клир обращался на него с жалобою к царю. Наконец среди другого спора, поднятого по поводу церковной реформы, апеллируя от патриарха к царю, представители зарождавшегося раскола стояли еще за главенство светской власти, с тем, чтобы потом изменить тактику, если государство обманет их надежды.

На деле Никон среди высшего клира имел лишь защитником черниговского епископа, Лазаря Барановича, преследовавшего в качестве малоросса совершенно особую политику, и коломенского, Мисаила, желавшего, чтобы дана была хотя бы некоторая пощада бывшему первосвященнику.

Сам Никон не задавался иллюзиями по поводу вердикта церковного собора, который должен был заняться этим делом, и позаботился заранее ослабить свой авторитет. Он охотно соглашался на судей, но образованных и честных, эти же не умели читать, и их неподкупность была чрезвычайно сомнительной. Когда астраханский архиепископ, Иосиф, явился к нему для предварительного допроса, Никон принял его со следующими словами:

– А тебе, по крайней мере, хорошо заплатили, нищий?

Приговор собора был именно таков, каким он его и ожидал, т. е. Никона лишили звания епископа, священнического сана и даже почестей. Царь утвердил решение собора после некоторого колебания, и дело уже казалось исчерпанным, как вдруг запоздавшее раскаяние одного из голосовавших вновь поставило над всем знак вопроса. Один из монахов, призванных из Киева Ртищевым, Епифаний Славеницкий, вдруг заметил, что он и его коллеги имели дело с текстами, которые нужно считать апокрифическими.

Это была временная победа Никона. Ученый богослов, не имевший себе в Москве соперника, Епифаний не мог быть отклонен в качестве судьи. Его слово считалось авторитетным, и все ведение дела оказалось безосновательным.

Бывший патриарх трубил о своей победе. Все еще заявляя, что он не хочет быть верховным первосвященником, но запрещая, чтобы ему назначали преемника без его ведома, выставляя себя мучеником, сравнивая себя со Св. Иоанном Златоустом и Св. Афанасием, Василием Великим и Св. Филиппом, он во многих отношениях стал невыносим. То, подозревая повсюду заговор, подвергавший его жизнь опасности, он требовал розыска и строгих репрессий, а то, по поводу земли, соседней с его монастырем, он заводил с высоким чином при дворе, окольничим Романом Боборыкиным, ничем не оправдываемый процесс, а, когда вмешался царь, то остановил его с неслыханною наглостью, призывая на него судьбу жителей Содома и «царя Навуходоносора»!

Несчастный Алексей не знал совсем, на что ему решиться. Но случайно сам Никон направил его на дорогу, наименее выгодную для патриарха. Увлекаясь греческой наукой, несмотря на то, что не знал ее элементарных основ, бывший патриарх старался выписать с Востока духовное лицо, пользовавшееся громкой репутациею. Это был Паисий Лигарид, называвший себя газским митрополитом. Как многие ему подобные в эту эпоху, этот доктор богословия был просто низким авантюристом, некогда учеником, а потом профессором в Collegio-Greco, устроенном в Риме иезуитами; он стал ярым ортодоксом спустя год после

этого и газским митрополитом по милости иерусалимского патриарха; наконец он был смещен за частое лихоимство, но сохранил за собою пенсион из Ватикана.

Прибытие этого лица, долго задержанного перипетиями столь изменчивой карьеры, наполнило сначала душу Никона радостью. Бывший патриарх наивно верил, что найдет в Лигариде защитника. Пенсионер Ватикана быстро разубедил его: рассмотрев опытным взглядом, на чью сторону ему выгоднее будет стать, он 15 августа 1662 г. составил записку, в которой выставил виновным во всех отношениях Никона и побуждал Алексея обратиться за помощью против мятежника к восточным патриархам.

Так как в Москве совсем не знали биографии вновь прибывшего, то это предложение произвело сенсацию. Между тем 1662 год прошел, но царь не решился использовать его. Никон продолжал возмущаться в своем «новоиерусалимском» изгнании. Столица была взволнована слухом, будто бы бывший патриарх проклял государя с семьею. Розыск показал, что он просто обрушился на несчастного Боборыкина, но следователи, среди которых был и Паисий, были им очень грубо встречены. Разговор между бывшим патриархом и газским митрополитом, в частности, принял скандальную форму: спорщики обменялись в весьма прозрачной форме взаимными обвинениями по поводу одного постыдного порока, причем Никон закончил разговор целым потоком грубой ругани.

– Мужик, разбойник, язычник, пес смердящий!

По возвращении из Москвы, Паисий объявил, что он имел дело с «разъяренным волком», и для изображения этого чудовища он вызвал в памяти образ Терсита у Гомера и Юлиана Богоотступника у Григория Нисского. Но несмотря на то, что Алексей все больше и больше понимал необходимость избавиться от этого бесноватого, он тем не менее колебался, не зная, к каким прибегнуть средствам.

Нужно было, чтобы Никон, так долго господствовавший над робкой волей царя – и на этот раз также направил ее, апеллировав первый к «Вселенскому Собору», созыв которого был намечен уже Лигаридом. Все более и более отклоняясь от предмета, буйный священнослужитель вздумал в то же время потребовать вмешательства в это дело юрисдикции папы! Он основывался при этом на одном решении сардийского собора, касавшегося впрочем лишь епархий восточной Империи, всегда подчиненных Риму.

С другой стороны Никон постоянно кричал о своей бедности, жаловался, что умирает с голода, хотя очень часто у него было до двухсот собутыльников за столом, и он раздавал щедрые подарки тем редким духовным лицам, которые еще осмеливались его посещать.

Тогда Алексей, выведенный из себя, доведенный до крайности, решился действовать, но все же благодаря остаткам своей нерешительности или какой-то стыдливой сдержанности, он удовольствовался лишь, почти в конце 1663 года, тем, что отправил запрос к восточным патриархам с изложением дела, не называя по имени Никона. Ответ, привезенный одним греческим дьяконом от имени Мелетия, был прямо ошеломляющим для анонимного обвиняемого, объявляя его виновным по всем пунктам, достойным расстрижения и суда собора московских епископов, даже если они были рукоположены им лично.

Но и этот ответ должен был остаться без результата. Алексей сомневался в его подлинности! Третируемый Никоном как плут, Мелетий, кажется, оправдывал это название, а одно из лиц, подписавших документ, иерусалимский патриарх, Нектарий, письмо которого немного позже пришло к царю, советовал последнему опять возвести бывшего патриарха на трон, или по крайней мере покончить дело мирным путем.

Таким образом хоть отчасти оправдалась надежда Никона на восточную церковь. На

последнюю несколько повлияла красноречивая защита в пользу Никона, посланная из самой Москвы некоторыми соотечественниками Паисия. Увлекаясь конфликтом со страстью, свойственной их южному темпераменту, и желая утвердить торжество человека, который всегда покровительствовал им, они объявляли Никона просто жертвой бояр, сговорившихся его погубить против воли государя, все еще лично привязанного к избраннику своего сердца, тайно сносившегося с ним и жалевшего его. В Константинополе, в Иерусалиме, в Антиохии всячески старались не вмешиваться в этот спор, так как исход его казался сомнительным, и в течение этого года явился следом за Мелетием в Москву племянник константинопольского патриарха, Афанасий, митрополит Никейский, утверждая, что он послан своим дядею и собором всех восточных епископов, для примирения Никона с царем.

Миссия его вызвала сомнения, за которыми последовало его собственное отречение, и тогда Алексей вынужден был остановиться на решении, к которому он должен был бы уже давно прибегнуть: «Вселенский Собор» был приглашен собраться в «третьем Риме».

Никон вначале совсем не был этим смущен. Только двое из восточных первосвященников, Макарий Антиохийский и Паисий Александрийский, ответили на приглашение. Их авторитет не был из наиболее веских, и «Вселенский Собор» оказался куцым. Никон не старался опровергнуть его авторитет. Он оспаривает, говорил он, лишь собор рукоположенных им же епископов, «так как даже иудеи не осмеливались подвергнуть Христа подобному судилищу». Он будет теперь судиться равными, но Алексей ожидал, что Никон явится перед ними не столько в качестве обвиняемого, сколько обвинителем. Во время даже самого сильного расположения Никон уже сообщал царю о своем желании оставить патриархат, и государь не мог забыть, в каких выражениях он ему отвечал на это. Об этом было написано письмо, сохранявшееся в надежном месте. К этой угрозе, искусно лавируя среди своих безумных выходок, бывший патриарх присоединял более умиротворяющие мотивы, выражая сожаление по поводу того, что лишен дружбы, которая была ему так дорога, как и возможности смутить гнусных обвинителей прямым обращением к государю. И благодаря слабости и чувствительности Алексея, эта уловка, казалось, произвела на него определенное впечатление.

Принимая в монастыре Св. Саввы одного из посланцев бывшего патриарха, царь долго говорил с ним с глазу на глаз; он уверял его, что не питает никакого дурного чувства к своему старому другу и не чувствует к нему ровно никакой злобы. Никон, быстро умевший использовать малейшее благоприятное для него указание, должен был сделать смелые выводы из этой беседы. Он продолжал сноситься с одним из приближенных государю бояр, с Никитою Зюзиным, который прежде был одним из его приближенных и обладал со своей стороны влиятельными знакомствами. Среди его интимных друзей числились двое из самых влиятельных личностей при дворе, Артамон Матвеев и Афанасий Ордын-Нащокин. Оба, большие сторонники церковной реформы, выполненной Никоном, были за него, хотя и не осмеливались выступать открыто. Но в течение декабря 1664 года бывший патриарх получил от этого Зюзина три письма, в которых его с каждым разом все настойчивее просили отправиться в Москву, так как Алексей выразил желание его видеть.

Автор этого знаменательного сообщения внес в него такую точность, какую только можно было желать: в разговоре с Матвеевым и Нащокиным Алексей объявил, будто желает положить конец ссоре, продолжавшейся слишком долго; он сожалеет о разлуке, становившейся для него все более и более тягостной, сделав указание на обоюдные клятвы, которыми когда-то обменялись он и его «особый друг» никогда не оставлять друг друга; он

говорил, что по крайней мере сам он хочет оставаться ей верным. Никон должен был ночью приехать в Москву и отправиться прямо в Успенский Собор, где царь, казалось, был расположен свидеться с ним. Зюзин назначал день, час и другие подробности этого таинственного свидания.

Такая таинственность заставила насторожиться бывшего патриарха. Два года тому назад, обманутый почти аналогичными сведениями, полученными от одного монаха, по имени Аарон, он уже раз появился внезапно у Успения, но получил немедленно категорический приказ от царя вернуться в монастырь, тем не менее двусмысленное поведение Алексея, постоянные отсрочки и полное несоответствие в идеях и чувствах царя с некоторыми людьми из окружающею его среды придавали некоторую вероятность этой интриге. Действовать окольными путями было особенно в обычае у этого государя. Не желал ли он этим способом заставить противников Никона считаться с совершившимся фактом? Но настойчивость Зюзина, повторявшего, что намерения царя были формальные, и что бывший патриарх иначе потеряет единственный случай снова вернуть себе милость, в конце концов совершенно разоружила недоверчивого изгнанника.

Ночью с 17 на 18 декабря 3664 года, в то время как ростовский митрополит Иона служил раннюю обедню в качестве недавно назначенного на патриарший престол, совершенно неожиданно появился Никон с многочисленною свитою в указанной церкви и занял патриарший трон. «Он вскочил на трон, как собака», говорит одна из его биографий, составленная раскольником. Властный голос, которого давно уже не было слышно, прервал чтение псалтыря, требуя заменить его молитвою «Тебе Бога хвалим» и другими подобающими песнопениями. Взяв крест Петра Целителя, Никон обошел храм, совершая обычное поклонение иконам и мощам, и потом согласно ритуалу предложил присутствующим принять его благословение. Никто не протестовал, и сам Иона склонился под протянутою рукою великого воскресшего.

Но Алексей не являлся. Не теряя еще своего обладания, Никон приказал предупредить государя. Последний слушал заутреню в церкви Св. Евдокии и, по сообщению разных очевидцев, в Кремле, где помещается эта церковь, как и Успенский собор, волнение было так сильно, что можно было подумать о нашествии татар на Москву.

Что же произошло на самом деле? Не боролся ли царь, как и шесть лет тому назад, между тайными симпатиями и противоположными наветами бояр? Кремль не выдал этой тайны. Трудно между тем допустить, чтобы Зюзин явился орудием простой мистификации, в которой, не имея видов на удачу, он рисковал бы своею головою. Мы знаем точно, что даже был созван поспешно совет из светских и духовных чинов и что на нем восторжествовало мнение Паисия Лигарида, смысл которого для нас совершенно ясен. Возможно также предположить, что оно даже было противоположно августейшей воле, которая и на этот раз не могла настоять на своем.

Во всяком случае, как и прежде, вместо столь ожидаемого «особого друга» появился опять к Никону его непримиримый враг, князь Никита Одоевский, с новым приказом о немедленном отъезде.

Бывший патриарх боролся отчаянно против этого крушения своих надежд. Он начал возражать, говоря, что вернулся, желая положить конец разрушительной войне, в которую был вовлечен царь, лишенный его советов; потом, прибегнув довольно глупо к той же уловке, которая удалась ему в Новгороде, он заявил, будто бы его поведение было вызвано чудесным видением. Он хотел сообщить о нем государю и требовал ответа на посланное им

письмо. Это послание отправили по назначению, но ответ на него был таков, как он и мог предвидеть, т. е. простым повторением прежде отданного приказа. Бывший патриарх должен был повиноваться.

С посохом Петра Целителя в руках Никон направился к дверям церкви. Бояре его остановили.

– Оставь посох!

– Возьмите его у меня силою, если посмеете. И он вышел. Солнце еще не всходило. Комета, о которой упоминает Гевелий в своем Prodromus 1690 г., блистала на небе. Садясь в сани, бывший патриарх сделал жест, будто отряхает прах от своих ног.

– Мы выметем эту пыль, сказал стрелецкий полковник отряда, назначенного сопровождать бывшего патриарха.

– Бог скорее выметет вас этой метлою, сказал Никон, указывая на комету.

На дороге к нему подъехало два посланца от государя, князь Долгорукий и сам Артамон Матвеев, выполняя на этот раз поручение, поразившее его недоумением: Алексей просил благословения у того, с кем поступил так грубо, просил у него прощения. Зюзин мог несколько усилить смысл тайных бесед, и вероятно рассчитывал внезапным ударом победить нерешительность царя.

Но, без сомнения, он не выдумал всего. Другие знатные бояре последовали однако за первыми по дороге к «Новому Иерусалиму» и, проговорив с ними с пяти часов утра до одиннадцати вечера, Никон пытался довольно жалким путем спасти хоть что-либо от гибели: он соглашался условно на благословение, отдал требуемый посох и выдал даже несчастного Зюзина, предъявив его корреспонденцию. Взамен, теперь лучше осведомленный о том, чего ему можно было ожидать от «Вселенского Собора», Никон просил, чтоб его не созывали. Соглашаясь на окончательное назначение ему преемника, он просил, чтобы обращались с ним, как с равным, а не как с подчиненным, требовал назначения ему соответствующей пенсии и свободы наездов в Москву для паломничества и свиданий с царем.

Он ничего не добился, отдал Зюзина на долгую пытку, после которой последовало осуждение на смерть. По милости Алексея последнее было заменено ссылкою и бояре, одержав победу по всем пунктам, поторопились созвать суд, решения которого бывший патриарх стал не без основания бояться.

IV. Процесс патриарха

История, думается нам, не дает второго примера двух людей в аналогичном положении, появляющихся перед судом, противополагающих друг другу в лице своем два разных мира идей, чувств и интересов и самостоятельно себя защищающих, ибо Алексей готов был отвечать сам за себя. Предоставляя охотно решение другим, он любил самостоятельно наносить решающий удар и, раз уже нужно было вести дело, он отказался от всякого другого адвоката. Никону удалось при этом задеть его за живое: были перехвачены его послания, в которых он пытался расположить в свою пользу будущих судей, а царь был наделен крайне оскорбительными замечаниями. Алексей заполнил поля документа гневными примечаниями и приготовился к возражению.

Осенью 1666 года прибыли два восточных патриарха. Один из них только что был смещен в Александрии и Никон не преминул тотчас же этим воспользоваться, чтобы

отвергнуть его компетенцию. «Вселенский собор» обращался таким образом в единоличный, так как бывший патриарх продолжал отвергать простых епископов «своих подчиненных», как он всегда говорил, и некоторых еретиков, так, например, Лазаря Барановича, который однако защищал его, но он вступил с ним в полемику догматического характера.

Опираясь на такие доводы, он не ответил на первый вызов, но не осмелился не повиноваться второму, составленному в более угрожающих выражениях. Но зато, несмотря на запрещение, он собрал вокруг себя многочисленную свиту: ему предшествовал дьякон с огромным крестом по обычаю верховных первосвященников во время их переездов. С таким конвоем и с соответствующим церемониалом, он явился 1 декабря на заседание суда, принудив таким образом всех присутствовавших и даже самого царя встать. После чего, определив таким образом позицию, которую думал занять, он склонился три раза перед государем, дважды перед восточными патриархами и выпрямился с вызывающим видом. Когда Алексей пригласил его сесть, указывая ему место на скамье епископов, он гордо покачал головою.

– Я не вижу здесь подходящего для меня сиденья, и так как я не принес его с собою, то останусь стоять, пока мне не скажут, почему меня призвали.

Алексей не дал возможности никому поднять перчатку. Раз решившись, и не без труда, на такое испытание, он поспешил этим воспользоваться и излить наконец свое сердце, весь гнев и отвращение, которые накопились в нем за семь лет невозможных и возмутительных дрязг. Оставив тотчас же свой трон и встав перед патриархами как обыкновенный истец, он говорил долго и с большим воодушевлением. Никон возражал с таким же жаром и так же подробно. Таким образом создались жаркие прения, раскрывавшие всю историю конфликта с самого его начала и касавшиеся самых его незначительных подробностей.

Это первое излияние красноречия не послужило на пользу бывшего патриарха. Желая документально оправдать факт уничтожения Коломенской епархии, в котором он дал ясное доказательство произвола, и, ссылаясь по этому поводу на документ, касающийся этого дела, Никон нарвался на замечание, что документ этот не существовал, так как эта мера была принята помимо всякой канонической процедуры.

На другой день во втором заседании споры приняли другой оборот. Неизвестно каким образом – официальные протоколы процесса ничего не говорят об этом, – прения были перенесены на почву, на которую Никон тщетно до сих пор хотел стать. Мы не слишком ошибемся, если предположим, что присутствие восточных прелатов и их очевидная враждебность к обвиняемому повлияли на эту перемену. Неожиданно личность Никона как-то стушевалась, и остался только священнослужитель, боровшийся со светской властью, причем последняя апеллировала к иностранцам, – к этим грекам, обыкновенно посещавшим Москву в качестве просителей, а теперь явившимся оказать поддержку боярам с целью задушить главу национальной церкви!

Испорченная мусульманским господством, восточная церковь склонялась к рабству и к унизительным услугам. По просьбе Алексея ему было передано из этого источника, при посредстве двусмысленного Мелетия, мнение, документально опиравшееся на шестой параграф великого Номоканона и решавшее спор в пользу главенства государства. Но «третий Рим» еще не дошел до этого и национальная гордость, смешанная с столь могучим в этой стране религиозным чувством, вызвала во всем собрали чувство возмущения и растерянности. Сбитые с толку бояре молчали. Даже самые активные из тех, которые до

того работали в целях навлечь немилость на бывшего патриарха и которые подобно Семену Стрешневу совсем непочтительно учили своих собак подражать жестам патриарха, – ни один из них не пытался уже теперь дать показание против него. Все до того старались стушеваться, что вызвали даже со стороны Алексея крик отчаяния:

– Вы хотите, значит, предать меня этому человеку? Разве я вам надоел?

Епископы волновались, не решаясь еще заявить свое мнение, но не умея скрыть своего смущения. Наконец вынужденный объясниться вызванный судьями Лазарь Баранович обронил следующую фразу:

– Как бы я мог говорить против правды?

Тогда языки развязались. Крутицкий митрополит Павел первый осмелился поставить прямо вопрос о соперничестве двух властей и, поддержанный Рязанским архиепископом Илларионом, Вологодским епископом Симеоном, и еще другими, в первый и в последний в России раз до наших дней попытался дать этому спору полноту, которая требовалась интересами дела. Был даже момент, когда он мог себя льстить надеждой, что дал восторжествовать, по образному выражение Никона, тезису Церкви-солнца и Государства – его спутника, простого отражения его небесных лучей. Протоколы молчат по этому поводу, но ревностный защитник противоположного тезиса, Паисий Лигарид, дал нам по этому поводу красноречивые объяснения. Благодаря его старанию и особенно влиянию восточных патриархов, Павел и его сторонники были окончательно побиты, подверглись даже исключению из собрания и временному отлучению. Но бой был жаркий, и светской власти удалось одержать победу лишь наполовину путем принятия компромиссного решения, провозглашавшего равную независимость обеих властей в соответствующих им сферах, но она заплатила дорого за это преимущество; самый верный залог, которым владела эта власть для укрепления своего главенства, фактически ускользнул от нее: «монастырский приказ» было решено уничтожить, и московский клир торжественно доказал этим свою независимость, с каковой не могла сравниться независимость французских авторов декларации 1682 года.

То была на деле эфемерная победа, ибо стоило вскоре появиться Петру Великому, и он быстро уничтожил установленное таким образом равновесие, бросив на чашку весов всю тяжесть своего верховного абсолютизма. Требованиям, храбро поддержанным Никоном и его временными союзниками, не было однако суждено исчезнуть без следа и, они воскресли в более скромном виде в следующем веке в доктринах или в попытках Новгородского архиепископа, Феодосия, Арсения Мациевского или архимандрита Фотия.

Довольно еще слабое в 1666 году положение светской власти, представленное вторым Романовым, давало возможность тем более усилиться противной стороне, но Никон безнадежно скомпрометировал благоприятный для него исход спора всем тем, что он вкладывал личного в свои несправедливые нападки и отталкивающие мелочи. Он не мог победить, но для того чтобы сокрушить своего страшного противника Алексей должен был развить значительную силу и пережить жестокие волнения. Но свидетельству одного очевидца, измученный все более и более бурными спорами, раздраженный диспутом, в котором Никон удвоил свою наглость, государь однажды чуть не лишился чувств. Добравшись быстро до трона, он закрыл лицо руками. Но, тотчас же оправившись, он привел очень важное свидетельство: три письма, в которых Никон сам себя называл бывшим патриархом.

5 декабря был произнесен приговор, осуждавший обвиненного к лишению сана и к

пожизненному заключению в монастыре. Спустя неделю два восточных первосвященника привели его в исполнение в церкви Чудова монастыря, действуя помимо Собора, который они старались избавить от подобного зрелища. Исполнение приговора состоялось почти тайно. Ввиду того, что Никон отказался исполнить это, Александрийский патриарх снял с него клобук, унизанный очень дорогим жемчугом и его не менее дорогую панагию.

– Берите, – закричал осужденный, – делите между собою мои пожитки, вы, турецкие рабы, принужденные всю жизнь мыкаться по свету нищими, в этот час вдалеке от Думы, народа и государя, вы грабите меня, как воры!

На Никона надели рясу, взятую у одного монаха, но из страха перед народом, по мнению одних, по требованию царя, как свидетельствуют другие, оставили ему епископскую мантию и посох. Местом его ссылки был избран Ферапонтовский монастырь на Белом озере, по соседству с Белым морем.

V. Изгнание

«Все это не случилось бы, если бы я задавал роскошные обеды и отказался бы защищать истину!»

Так ораторствовал громко Никон, проезжая под сильным конвоем московские улицы и пытаясь возбудить толпу, которая действительно казалась очень расположенной принять его сторону. Бывшего патриарха принудили молчать, но чернь протестовала. Произвели множество арестов; в конце концов пришлось еще спрятать осужденного, и для того чтобы отправить его в путь, выследить его многочисленных сторонников. Он отказал в благословении, которое и на этот раз царь просил у него, не принял даже денежного подарка и шубы, пожалованной ему государем на дорогу, и 21 декабря был уже в Ферапонтове.

Там он отдал без сопротивления епископский посох и мантию, которые у него потребовали, но с трудом согласился на строгие епитимьи, которые намеревались на него наложить. Отдан был приказ кормить его прилично и охранять от всякого оскорбления, но вместе с тем и запретить ему всякую переписку и «обеспечить ему покой» в келье, которая должна была отныне, по неосторожно высказанному кем-то желанию, служить ему тюрьмою.

Однако было нелегко применить такой режим к заключенному с таким темпераментом и при том престиже, который он сохранил во многих местах. Для некоторых, даже из тех, кто кричал против него в дни его всемогущества, теперь – лишенный сана и изгнанный бывший патриарх был мучеником.

Все более и более многочисленные паломники, мужчины и женщины, стали стекаться толпами в Ферапонтово, расточая перед «святым» знаки сочувствия и благоговения и относясь к нему так, как если б он был еще увенчан белою митрою. Но уже со следующего года новый смотритель, назначенный для наблюдения за патриархом, Наумов, был уполномочен усилить по своему усмотрению меры строгости и стал действовать не без некоторого излишнего усердия.

С другой стороны, Алексей, остыв после лихорадочной борьбы, вскоре был охвачен чувством страха, смешанного с раскаянием. Он не торопился заполнить вакансию патриаршего престола и, наконец решившись, остановил свой выбор на дряхлом и незначительном старике Иоасафе II. Без сомнения им руководил политический мотив,

знаменательная прелюдия к будущему уничтожению института, создававшего светскому самодержавию слишком опасную конкуренцию. Рожденный мановением этой власти, патриархат был предназначен встать к ней в противоречие и пасть в борьбе, не имея времени пустить корни в жизни народа, слиться с нею органическою связью.

Воспитанный средой, которая только что начинала секуляризироваться, Алексей не отличался свободой мысли, облегчивший его сыну средство, на котором и остановился Петр.

Поразив мятежника, царь теперь был охвачен ужасом и страхом перед «помазанником Божиим», перед священнослужителем, которому когда-то он открывал свою душу.

Может быть также «личный друг» владел еще его сердцем. И вот почему снабжая толстыми железными прутьями окна своего пленника, Наумов должен был в то же время передать ему письмо государя; Алексей еще раз просил благословить его и простить. Ответ ясен.

«Как бы я мог тебя благословить?» писал Никон. «Осужденный вопреки всякой справедливости, я трижды проклял тебя, больше, чем Содом и Гоморру. Как бы я мог тебя простить? Изгнанный и заключенный в заточение, я обращаю на твою голову мою кровь и преступление всех твоих сообщников! Освободи меня, вороти меня из изгнания и ты получишь то, чего просишь».

В то же самое время, пользуясь этою корреспонденцией против своих стражей, обманывая игумена Ферапонтова, как и самого Наумова, и заставляя их называть себя патриархом и обращаться с ним, как подобает его сану, он забрал в свои руки управление тем монастырем, где хотели содержать его втайне. Он даже наложил свою руку на управление его поместьями. К добытым таким образом доходам он прибавил вскоре доход со своих прежних монастырей, откуда монахи и крестьяне приходили выслушивать его приказания и приносили ему провиант и деньги.

Иоасаф только что был назначен, новый глава Ферапонтова не волновался этим назначением, считая нового главу церкви лишь ложным патриархом, как и Александрийского с Антиохийским, сыгравших с ним комедию суда, и которых он мог бы купить за три тысячи рублей! Царь сознал свою ошибку, и все должно было скоро устроиться.

Между тем проходили дни и месяцы, и ничто не возвещало о подобном событии. Наумов начал беспокоиться. Очевидно государь имел самое большое желание исправить сделанное им зло, но прием, встретивший его попытки к сближению, не был из ободряющих. Лучше было бы выказать побольше мягкости. Никон последовал этому совету, и в сентябре отправил Алексею новое послание. Подписавшись на этот раз «смиренный инок Никон», он посылал свое благословение и прощение, прибавив однако, что он делает это только в надежде предстать скоро пред «ясные очи царя», после чего он в состоянии будет дать ему настоящее отпущение с помощью наложения рук, как того требуют Евангелие и апостолы.

Результат все же был не тот, какого он ожидал: последовало приказание вынуть железные прутья из окон бывшего патриарха, послать ему разные яства, вкусных рыб и хорошие вина, пожаловать 1000 рублей, но ничего более. Никаких признаков, указывавших на то, что Алексей по пути улучшения взаимных отношений намеревался пойти дальше этих любезностей. Получив благословение и прощение, он платил за них по установленному тарифу и успокоенный, хотел удовлетвориться этим.

Никон со своим обычным упрямством и совершенным отсутствием прозорливости, придя в раздражение, написал еще раз, без всякого стыда крича о своей бедности. Как когда-

то в «Новом Иерусалиме» он жаловался, что был доведен до такой нищеты, что сам должен был собирать валежник для печей, и наконец не нашел ничего лучшего, как выдумать новый заговор, который на этот раз уже угрожал жизни царя и в котором, приписывая себе заслуги этого открытия, Никон старался обвинить самых лютых своих врагов.

Это значило играть в крайне опасную игру, так как донос влек за собою неизбежный сыск, последствия которого могли оказаться во всяком случае только крайне гибельными для самого доносчика. Он доказал прежде всего со всей очевидностью, что Никон совсем не рисковал умереть от голоду в Ферапонтове, так как садки, служившие для его кухни, изобиловали огромными стерлядями, и он мог пользоваться избранными блюдами в серебряной посуде с вензелем «патриарха милостью Божией», каковым не был Иоасаф. Такая надпись повторялась на множестве крестов, поставленных им в окрестностях монастыря.

Более того, следователи открыли след крайне подозрительных сношений, недавно завязанных между изгнанником и донскими казаками, поднявшимися в это время под начальством Стеньки Разина. На Никона собирался даже донести по этому поводу один монах, который однако в момент отъезда своего в Москву, выпив лишнее, бросился в чан с кипящею водою.

Бывший патриарх еще боролся, осужденный, в результате таких разоблачений, на более строгое заключение: он постепенно переходил от гордого высокомерия к униженным просьбам и только в 1671 году, попытавшись в последний раз запугать Алексея рассказом о чудесных видениях, которых он милостиво удостоился, Никон отправил в Москву акт о своей покорности и окончательном отступлении от всего. Тем не менее он не сумел обойтись без того, чтобы не примешать к этому некоторую экстравагантность и массу лжи. Желая оправдать во что бы то ни стало свое поведение, он утверждал, что желал сначала ожесточить сердце Алексея, чтобы принудить его снять с него слишком большую тяжесть потом, чтобы посодействовать ему забыть своего старого друга. Желая разжалобить царя, он сказался больным, почти умирающим и все еще настолько бедным, что не в состоянии был оставить свою келью, не имея чем прикрыть свою наготу.

Но в конце концов он сознавался в своих ошибках и в свою очередь просил прощения. И Алексей был тронут. Он не говорил о возвращении изгнанника; обходя молчанием его очевидно нелепые объяснения, он запрашивал его по поводу планировавшейся встречи со Стенькой Разиным, но эти слова уже были обращены к «святому и великому отцу», получавшему в то же время великолепные подарки, причем царь сопровождал все эти милости личными оправданиями: он не принимал участия в осуждении Никона; за него ответственны одни лишь восточные патриархи и Собор.

Благодаря этому «святой и великий отец» надеялся по крайней мере добиться перевода в Воскресенский монастырь. Он и тут жестоко ошибся, но зато положение Никона в Ферапонтове значительно улучшилось. Более чем когда-либо, он стал там разыгрывать роль хозяина, причем вскоре стал простирать свои притязания и на соседний монастырь св. Кирилла и принялся там за такое бессовестное вымогательство, что местные монахи писали Ферапонтовским: «Ваш батько нас прямо съедает»! Он не боялся даже надоедать государю своими постоянными требованиями и жалобами, отмечая, например, что при посылке яств, предназначенных для него, он не находил винограду или вишень в достаточном количестве.

Пользуясь значительными и частыми получками от царя по случаю столь многочисленных в православном календаре праздников, располагая шестью монастырскими

владениями, назначенными для его поддержки, добывая из них ежегодно тридцать пять ведер лучшего вина, восемьдесят ведер меда, тридцать ведер уксуса, пятьдесят семг, двадцать белуг, семьдесят стерлядей, сто пятьдесят свежих щук, две тысячи двести пятьдесят штук другой рыбы, четыреста штук копченой, тридцать пудов икры, пятьдесят пудов свежего масла, пятьдесят ведер сливок, десять тысяч яиц, пряностей, лимонов, муки в значительном количестве, владея одиннадцатью лошадьми на конюшне, тридцатью шестью коровами в стойле и двадцатью двумя слугами, Никон все же не переставал плакаться.

Утомленный этими жалобами, Алексей решил обратить «поставку натурою» бывшему патриарху в деньги и дополнить эту сумму до полного удовлетворения всех его потребностей. Но «святой и великий» человек остался в Ферапонтове. Царь был озабочен в то время задачами более насущными.

Глава пятая

Бунт Стеньки Разина

I. Казаки

В истории России, как и в истории Польши, происхождение казаков представляет одну из самых темных проблем. Эти банды, как на Дону, так и на Днепре, решительно не признававшие политическую, социальную и экономическую дисциплину соседних государств, от которых они номинально зависели, подчиняясь довольно сильной автономной организации, некоторое время считались остатками более или менее автономных общин древней России. И вот каким образом.

От девятого и до начала четырнадцатого века, в так называемый удельно-вечевой период, славянские групповые единицы, представлявшие политическое единство под властью княжеской фамилии, состояли из трех элементов: коммуны (общины), спутников князя (дружины) и верховной власти. Коммуна представляла собою местный, славянский элемент, характеристическими чертами которого являлось равноправие всех ее членов, общее решение всех вопросов внешнего или внутреннего порядка и административная и юридическая автономия. Дружинники являлись иностранным, пришлым элементом, основывавшим свои права на силе и пытавшимся установить противоположный порядок вещей. Отсюда постоянная борьба, в которую вмешивался третий элемент, желая эксплуатировать раздоры двух других в своих интересах.

Распадение государства, основанного в Киеве, присоединение в четырнадцатом веке юго-западной Руси к Литве и полное слияние ее в пятнадцатом веке с Польшей должны были по этой гипотезе перевернуть до основания все установленные отношения. Древние дружинники князя постепенно слились вначале с русскою аристократией (боярами), потом с польским дворянством (шляхтою), в то время как доведенные до уровня плебса (посольство) общины не сохранили ничего из своих привилегий. Местами, однако, там, где русская или польская знать медлила укрепиться и захватить в свои руки землю, так, чтобы господствовать над ними, древние общины могли сохраниться, приняв под влиянием местных условий военный характер.

В конце пятнадцатого или в начале шестнадцатого века, представители новой аристократии русской или польской, находясь в конфликте с этим постоянно живучим элементом, заключили с ним договоры и стремились соединиться связями, подобными тем, которые объединяли древних дружинников с древними русскими князьями. Вот почему на Днепре первые известные казацкие гетманы были все вельможи: Лянскоронские, Вишневецкие, Ружинские, затем только уступившие свое место начальникам более скромного происхождения. Но на почве новых политических и социальных отношений, имея своим центром Москву или Краков, эти пережитки старого представляли собою аномалию. Они были обречены на гибель, но стремились еще некоторое время сохранить свое существование и свою оригинальность среди трагической и кровавой борьбы.

Очень авторитетное в свое время положение это теперь уже не имеет защитников. Слово

«казак» несомненно иностранного происхождения, хотя попытки этимологов объяснить его корнями татарскими, турецкими или персидскими грешат некоторой фантастичностью. «Cosacorum nomen a Persis seu Turcis oriundum est», говорил уже Гейденштейн. В диалектах северной Турции «казак», кажется, всегда означал собою бродягу и, следовательно, разбойника. Начиная с пятнадцатого века, это название давалось кочевым татарам, бродившим по степи, занимавшимся охотою и рыбною ловлею, нападавшим на караваны или делавшим набеги на соседние земли Польши и московского государства, с целью добыть пленников для рынка в Константинополе. Сам Кольбер брал оттуда людей для королевских галер. Такой же тип разбойника встречается и теперь в Манчжурии и на берегах Амура между хунхузами. В Индии разбойники на конях также называются обычно «казаками».

Но это еще не все: на Дону, как и на Днепре, первые казаки были, по-видимому, иностранцы. Нигде нельзя было найти ни малейшего следа древних сельских учреждений, которые бы служили основанием для этих воинственных общин шестнадцатого и семнадцатого веков. Как и в вопросе о самом «мире» прямое происхождение от древнего веча является для этих позднейших формаций мифом, несогласным с действительностью. Коммунистический дух древней России мог воскреснуть в этих группировках, но происхождение их было иное.

В Великорусии, как и в Малороссии, казак являлся сначала на положении эмигранта, авантюриста, стремящегося добыть себе средства к жизни вне условий нормального существования. Он охотник, рыболов, но чаще всего бандит и солдат по необходимости. Но он, прежде всего, и по существу своему бродяга. Только с течением времени казак становится оседлым и колонизирует степь, все продолжая сохранять свою первобытную организацию в виде какой-то военной артели. И только тогда зарождается земледелие вокруг деревень и домов (слободы, хутора), которые он начинает увеличивать. Но и тогда еще этот полуобращенный бродяга еще довольно плохой поселенец и более чем посредственный земледелец. Среди населения различного происхождения, которое кончает тем, что оспаривает у него владение занятой им таким образом землею, он отличается, по словам одной старой думы, грубостью и дикостью своих нравов. «Дом его можно отличить среди сотен других. Он не покрыт соломою, не вымазан чисто известью и не снабжен для удобства сараем. Жена его не похожа на других женщин своей местности: она ходит босая даже зимою, носит воду в поломанном кувшине и поит своих детей из деревянного ковша».

В России, как и в Польше, казачество, являлось, по-видимому, в аналогичных, хотя абсолютно не тождественных условиях, продуктом вековой борьбы двух противоположных принципов: духа политического единства и индивидуальной или коллективной независимости. Прямым его источником явилась слишком большая угнетаемость, политическая или экономическая, подданных обеих соперничающих империй. После того как гибкий и слабый режим уделов уступил в России место самодержавной системе, а в Польше олигархическому управлению шляхты, отщепенцы как одной, так и другой дисциплины стали искать себе убежище в юго-западных степях и, встретив там других эмигрантов татарского или турецкого происхождения, восприняли их нравы и заимствовали от них их военное название.

Группируясь, эти, находившиеся вне закона, пришельцы, естественно, воспроизвели в своей организации некоторые черты древних местных коммун, отвечавших их вкусам: сборища и круги для обсуждения общих дел, равенство, выборное управление. Но то были

заимствования более механические, чем сознательные, в которых не было намека на какое-либо сознательное самоуправление, никаких намеков на возможность развития этого принципа в будущем. Образ жизни, заимствованный этими имитаторами, и неизбежное соприкосновение их с элементами, по существу своему антисоциальными, представляли уже сами по себе непреоборимое препятствие для такой эволюции.

Освобожденный от стеснений, которые были для него невыносимы, побережный казак с Дона, нижней Волги или Днепра, мечтал только о том, чтобы возможно шире использовать добытую им свободу. У него не являлось мысли завести хозяйство на занятых местах для нужд и удобств культурной жизни. И обращенные в лагери учреждения эти остались звериными логовищами.

Если какой-либо традиционный идеал и утверждался там, то скорее это уже был идеал других пришельцев – варягов, которые посеяли первые в мирной Славянской земле яд разбойничества, геройского, но дикого. С этой точки зрения казачество может быть рассматриваемо, как одно из воплощений норманнской победы, и действительно, только там на славянской земле, где она имела место, находим мы это единственное во всей истории мира явление.

Первыми казаками в России были Рюрик, Дир и Олег, указавшие дорогу в Константинополь будущим стяжателям богатой добычи.

В разное время и в разных местах явление это принимало различные формы. Эксцентрический поток, разливавший по отдаленной степи ежегодный контингент всевозможных недовольных лиц, не был собственно единственной причиной этого явления. В тех государствах, для которых он служил своего рода фонтанелью, возникло другое движение, придавшее казачеству совершенно другой вид. В Литве татары-кипчаки Золотой Орды ввели казаков в качестве свободных сотоварищей, следовавших за крупными вельможами сверх их обыкновенной клиентуры, образовавшейся из бояр низшего ранга. Они позже согласились нести службу по «казацкому образцу» и таким образом образовался местный тип туземных казаков, который уже в шестнадцатом веке путем процесса, развития которого мы не могли бы проследить, образовал в литовском организме национальный литовско-русский элемент.

Возможно, что первая казачья стоянка у Черкасс, на нижнем Днепре, и была подобного происхождения. Став твердою ногою в шестнадцатом веке в этой местности, литовец Витовт и его наследники должны были действительно поселить в этих условиях своих татарских слуг. Но в этой среде, столь различной в этническом и социальном отношении, географически более близкой татарским стоянкам в Крыму, этот тип не преминул измениться, возвратившись к своему первоначальному виду. Тем более что в этой местности были уже другие казаки, совсем не прирученные.

В польской Украйне, казак, в качестве социальной группы, является позже, чем в других местах, только к концу пятнадцатого века; но в качестве этнического элемента и по образу жизни казачество должно было существовать в этих степях веками. Эпоха Рюрика завещала его литовской эре, сохранив за ним вид кочевого населения, живущего охотою, рыбною ловлею и разбоем.

На деле украинские казаки конца пятнадцатого века были только развившимся потомством очень древних этнических элементов, вероятно туранского происхождения. Принимаемые на службу целыми бандами в крепких замках некоторых вельмож, они стараются аффектировать, характер своих литовских сородичей, но стремятся освободиться

от этой зависимости. С начала шестнадцатого века они все более и более освобождаются от всякой юридической зависимости и предаются все более и более грабежам. Это превращение между тем не является однообразным на всем пространстве обширной территории, где оно происходило. На севере, с прогрессом колонизации, образовавшийся таким образом тип имеет тенденцию исчезнуть, уничтожаемый, или всасываемый постепенно, как элемент антисоциальный. Далее на юг, эти организации сохраняются, их терпят, даже благоволят к ним на всякий случай, как к элементу колонизаторскому. Они укрепляются в этой области и создают там обширные колонии на основании военного права.

Еще дальше на юг, у нижнего течения Днепра, они быстро обращаются в страшную воинственную силу. Польские власти поощряют их развитие в промежуточной области, думая этим заставить их себе повиноваться; но эти попытка подчинения вызывают новый отлив эмиграции к югу, где «казачье войско Нижа» таким образом усиливается.

Подобная же эволюция замечается и в московской Украйне.

II. Донское войско

Восходя к концу пятнадцатого века, свободные общины казаков в организованном виде покрывают, начиная со второй половины семнадцатого века, всю огромную юго-восточную область империи между Белгородом, Саратовом, Царицыном и Астраханью, по берегам Волги, Дона, Донца, Хопра и Медведицы. Ядро этих единиц составляли, конечно, великорусские эмигранты; между тем туда прибавилась также довольно сильная помесь экзотических элементов всякого происхождения, а восстание польских казаков под начальством Хмельницкого принесло туда в то самое время довольно значительный контингент малороссов, бежавших от притеснений их господ, предвещавших наплыв в недалеком будущем отбросов раскола.

Центр этих стоянок был сосредоточен по Дону и его притокам, где находилось наибольшее количество казачьих городов и деревень (городки и станицы) и главный пункт Черкасск (его не следует смешивать с Черкассами, который расположен на берегу Днепра).

Население этой области не было исключительно казачьим. Вначале, под влиянием непонятного нам подбора, определенная часть жителей воспользовалась там монополией имени, насадив при этом тот образ жизни, который последним определяется, и стремясь свести на положение рабочих, угнетаемых и эксплуатируемых, тех из своих товарищей, которые оказались менее счастливыми. Получив название бурлаков, эти илоты принимали между тем участие в военных набегах и составляли самый буйный элемент среди постоянно волновавшихся и постоянно бродивших групп.

Но среди казаков, в настоящем смысле слова, те, которые владели домом (куренем), каким-нибудь скотом, коровами, быками и лошадьми, просто самые богатые из них, приобрели значение аристократии, относившейся сурово и презрительно к голытьбе (голым), к людям голутвенным, толпе босяков без гроша и полушки, живших исключительно грабежом.

Было также несколько купцов в Черкасске, и так как казаки со своей стороны охотно отдавались торговле, последняя заметно стала развиваться, особенно по соседству с городами московской Украйны, с Воронежем, Ельцом, Коротойаком, откуда русские купцы доставляли на Дон водку, мед и хлеб, принимая в обмен соленую рыбу, продукт казацких

рыболовных артелей, или драгоценные материи, добытые удачными набегами на турецкую землю.

Никогда нельзя было определить точно среднюю цифру этого населения и даже после того, как Москва подчинила его приблизительной периодической регистрации для лучшего распределения жалованья между зарегистрованными казаками. Атаман Алексей Еремеев, посланный для этой цели в 1673 году в Москву, указывал на цифру 10 000 руб., но за пять лет до этого, получив сумму в 3000 рублей, его товарищи жаловались, что им досталось лишь по 90 копеек на голову, что доказывает значительно более низкую цифру.

Власть, которой они подчинялись, была представлена военной главой, атаманом (гетман на польской Украйне), уполномоченным казацкого круга и исполнителем его решений. Круг собирался в Черкасске, и все его товарищи имели принципиальное право присутствовать на нем; однако на практике обитатели более отдаленных городов оповещались лишь при обсуждении особо важных дел. Кроме этого собрания функционировал еще совет стариков (старшина), уважаемый всеми хранитель и истолкователь обычаев и преданий, заменявший собою отсутствующее законодательство. Он состоял из высших офицеров, наместников местечек, судей, секретарей и вообще старых казаков, среди которых набирался впрочем генеральный штаб «армии».

До конца шестнадцатого века эта обширная организация сохранила за собой почти полную независимость. Только в 1570 году, отправляя посланника в Крым, Иоанн Грозный вздумал снабдить его письмом к казакам, приглашая их «служить царю». Это было началом довольно странных отношений и, приняв на себя обязанность наблюдать за татарами при переходе их через Дон, казаки получили взамен этого из Москвы некоторое количество военной амуниции, порох и селитру. Но, не переставая сражаться по собственной воле в Крыму или в Турции и компрометируя таким образом своих новых покровителей, они принуждали их постоянно отрекаться от них.

Борис Годунов, думая подчинить окраины империи более действительной власти, вызвал этим недовольство, выразившееся в участии казаков в начинаниях Лжедмитрия и его польских союзников и в ожесточенном революционном взрыве. На следующий день после этого кризиса, когда снова возобновились старые отношения, повторились и старые затруднения: пограничная стража, таким образом составившаяся, правду говоря, мало стоила, но доставляла массу хлопот, и все увеличивая к ней свое внимание и щедрость, правительство московское по примеру польского, не колебалось выбрасывать при случае этих беспокойных людей за борт, сообщая в своих письмах крымскому хану, что он может их истреблять, нисколько не оскорбляя этим Кремля.

Фактическая зависимость, в которой очутились вольные сыны степей, при таком непринужденном обращении, все более окутываемые сетью московской политики, обнаружилась ясно в эвакуации Азова, о которой мы говорили выше; но ее неустойчивость дала себя почувствовать после ряда тягостных войн, в которых Алексей ставил на карту судьбу своей страны. В то же время, когда вместе с увеличивающимся экономическим кризисом усиливался на Дону и наплыв искателей приключений, боязнь посадить себе на шею очень много врагов заставляла московское правительство подтягивать несколько авантюристов. Пришлось таким образом открыть свободный проход на север и закрыть его на юг. Необходимость кормить большее количество ртов в казацких городках и станицах с меньшими ресурсами ввиду запрета грабежа на татарской или турецкой территории, отчаяние голытьбы, усиленной новым притоком иммигрантов – таково было положение

вещей, созданное в этих местах отражением польско-московского соперничества.

Казацкая аристократия, начиная уже добывать себе средства для существования земледелием или торговлей и склоняясь к более мирному настроению и к более оседлой жизни, покорилась этому режиму и, найдя почти единственную выгоду от договора с Москвою, оставалась ей верной. Демократический элемент, напротив, возбужденный отчаянием, ожидал только сигнала и вожака, чтобы восстать не только против московского протектората, но и против самого автономного правительства круга и совета старшин. А ожидаемый предводитель мог только явиться в среде таких же босяков, как и вербуемые им под свое знамя. В противоположность тому, что было в польской Украйне, в этих местах не было почти дворян, еще меньше вельмож, которые разделяли бы с ними почести и опасности свободного сотоварищества. Спасаясь от ссылки или немилости, московские бояре предпочитали искать себе убежища при дворе польских королей. На Днепре приверженцы Хмельницкого любили приписывать гетману знатное происхождение; на Дону Стенька Разин должен был сойти за того, кем он был на самом деле: за простого крестьянина.

III. Стенька Разин

Вокруг этой фигуры, несомненно выдающейся, обаятельной и украшенной ореолом, создалась красивая и яркая легенда, ставшая любимым сюжетом для поэтов и романистов. Еще в наше время она затемняет в глазах большинства настоящий характер драмы, в которой этой герой рисковал своею жизнью, постоянно отличаясь безусловно большой храбростью. В сущности, эпопея его жизни была не чем иным, как обычной историей из жизни разбойников.

Начиная с 1659 года, когда был заперт доступ к морю казакам с Азова, некоторые из них искали выхода через Астрахань. Отсутствие прямого сообщения водою между Волгою и Доном не представляло неодолимого препятствия для легких челноков этих пиратов. Казаки просто перетаскивали их с одной реки до другой. Но, желая остаться в хороших отношениях с шахом, как и с султаном и с ханом, Москва стала сторожить вход и в Каспийское море. Бродяги тогда поднялись по Волге, набрали себе сторонников в низших слоях побережного населения, вознаградили себя; разграбив купеческие суда, им пришлось выдержать правильную осаду в маленьком форте, выстроенном на притоке реки Иловле, и носившей название «Новой Риги».

Восемь лет спустя предприятие, с которым связал свое имя Стенька Разин, явилось лишь более полным повторением этого довольно вульгарного набега.

В 1666 году шайка в 500 человек под командою атамана Васьки Уса, опустошила области Воронежа и Тулы, подымая крестьян и слуг, избивая помещиков. Донской старшина на жалобу из Москвы ответил, что он произвел суд скорый и справедливый над виновными. Все еще продолжавши свои подвиги, Ус, однако, стушевался перед вождем гораздо большего размаха.

Среднего роста, хорошо сложенный, сильный и смелый, жестокий и хитрый, Степан Тимофеевич Разин, прозванный Стенькой, уже давно пользовался определенною репутацией среди своих сотоварищей. Ему, вероятно, было в это время около сорока лет. Посланный в 1661 году к калмыкам с поручением побудить их соединиться с казаками против татар, он с успехом выполнил эту миссию. Осенью того же года он явился в Москве и отправился на

поклонение в Соловецкий монастырь.

Эти благочестивые занятия были обычным делом среди казаков, вопреки их образу жизни и их разгульным нравам. В Чернееве (теперешней Тамбовской губернии, Шатского уезда), эти неверующие люди построили даже монастырь и поддерживали его, причем некоторые из них принимали там схиму, когда лета, болезнь или какая-либо рана делали их неспособными к боевой жизни.

По сведениям иностранных хронистов, служивших несколько позднее в войске князя Юрия Долгорукого, один брат Степана Тимофеевича был повешен за дезертирство, явившееся результатом отказа в отставке. И тогда Степан и другой его брат, Фрол, поклялись отомстить за это боярам и воеводам. Однако ни находящиеся в нашем распоряжении документы, ни самая местная легенда не подтверждают этого указания. Достаточно подготовленное указанными выше обстоятельствами, предприятие Стеньки, вероятно, имело настоящею своею причиною лишь его темперамент, его способность воспользоваться этими обстоятельствами.

Захватив команду над сбродом голодных и разбойников, соединившихся вокруг ядра, организованного Усом, Разин попытался выйти в море Доном. Отброшенный самими казаками, он поднялся по реке до того места, где ее течение ближе всего подходить к Волге, получил от жителей Воронежа запас пороху и свинца и основал между Иловлей и Тичинею другую, еще более важную Ригу. Вскоре затем, начальствуя уже над тысячью человек, он напал на караван, шедший вниз по волге с запасом хлеба для Астрахани и конвоировавший ссыльных. Суда были разграблены, провожатые их замучены и повешены. Одно из судов принадлежало патриарху Иоасафу, недавно назначенному на место Никона, и возможно, что эта частность и внушила Стеньке мысль завязать сношения с изгнанником в Ферапонтове и стать его мстителем. Таким способом атаман думал примирить свой поход с благочестивыми воспоминаниями о паломничестве в Соловки. Позднее, кажется, в участие Никона в шайке смелого атамана широко верили. Один из летописцев говорит даже, что там представлял его личность особый манекен.

При караване был конвой из стрельцов, которые не тронулись с места, и эта частность сильно поразила народное воображение. Атамана стали считать колдуном. Одним словом своим он останавливал суда, одним взглядом он обращал в камень солдат, назначенных для их защиты; его тело было заговорено от пуль.

Ослепленный таким легким успехом, Стенька расположился лагерем некоторое время в окрестностях Камышина, на высотах, еще до сих пор носящих его имя; потом, спустившись по Волге, он прошел под Царицыным, и легенда рассказывает, будто бы пушки этого города не могли стрелять, и воевода должен был выполнять покорно приказания атамана. Между тем город не был взят, но, пройдя дальше с отрядом уже в 1500 человек на 35 челноках, Разин перешел, обыкновенно хорошо оберегаемый, Черный Яр и достиг моря.

Невозможно угадать, какой план был им начертан в это время. По всей вероятности атаман никакого плана и не имел. Как авантюрист, он искал приключений. Он проехал вдоль северного берега Каспийского моря до устья Яика, теперешнего Урала, и напал на маленький городок того же имени, не оказавший ему ровно никакого сопротивления. Начальник находившегося там маленького московского гарнизона, Сергей Яицын, позднее утверждать, будто бы он попал в ловушку, которую сам вначале приготовил врагам. Открыв им двери одной церкви, где они хотели помолиться, он будто бы полагал, что захватит врагов в плен. Факт тот, что после некоторых колебаний относительно того, куда им примкнуть,

одни стрельцы согласились соединиться с казаками, другие просили отпустить их в Астрахань, и весь гарнизон был истреблен.

Маленький город служил некоторое время победителю пунктом, откуда отправлялись экспедиции на суше и по морю против татар у устья Волги и против мусульманских галер вдоль Дагестана. Между тем, не придав вначале большего значения этому движению, в Москве начали теперь волноваться; волновались даже на Дону, где все большее и большее количество казаков стремилось пойти сражаться вместе со знаменитым атаманом. Официальный военный глава, Кирилл Яковлев, видел, что его авторитет колеблется. Стали даже угрожать его жизни, и мудрецов старшины не хотели больше слушать.

С одной и с другой стороны завязались переговоры с новыми хозяевами Яика. Но так как послы, отправленные к ним царем, не добились ровно никакого результата, к концу 1667 года астраханский воевода, князь Иван Прозоровский, получил приказ отправиться в поход. Разин послал против него лишь горсть своих людей, переманил часть враждебного отряда на свою сторону, а остальных убил. Весною следующего года, получив подкрепление в лице 700 донских казаков, он вышел в море и предпринял самый славный в истории его атаманства поход.

IV. Персидская эпопея

Опустошив персидский берег от Дербента до Баку, Разин добрался до Решта. Вступив с ним в переговоры и обменявшись заложниками, наместник города, Будар-хан, открыл рейд для казацкой флотилии, и в то время как слухи об этом событии подняли всю Донскую область, Стенька стал мечтать о стоянке на персидской территории и предложил свои услуги шаху.

В таком виде это предприятие открывало перспективы, которые могли стать соблазнительными даже для Москвы. Ермак со своими товарищами начал совершенно таким же образом покорение Сибири, с той только разницей, что те не встретили там правильно организованной власти, с которой правительство их страны находилось бы в определенных отношениях. Шах и предложения, которые ему делал Разин, только портили дело. Между тем в Кремле не отчаивались уладить дело, если бы только Стенька с товарищами не поставили себя в такое положение, при котором какой бы то ни было компромисс с ними и с их действиями и поступками был совершенно не возможен. В Реште они повели себя таким образом, что восстание жителей принудило их быстро покинуть город, оставив на месте 400 человек.

Они устроили ужасную месть в Ферабаде. Явившись туда сначала под видом людей с самыми мирными намерениями и с целью будто бы завязать коммерческие сношения на местном рынке, они потом неожиданно набросились на доверчивое население. Весною 1669 года они продолжали свою месть, вернувшись на восточный берег Каспия с целью грабежа туркменских улусов. Набросившись затем на персидский флот, они нанесли ему полное поражение. Персидский адмирал, Менеди-хан, едва убежал с тремя галерами, оставив в руках победителей сына и дочь, которую Стенька сделал своею любовницею.

Воспоминание об этом походе сохранилось в одной казацкой думе, где Разин имеет сотоварищем по оружию Илью Муромца, эпического героя национального мифа, современника Владимира!

Но уже настоящая эпопея казацкого атамана приняла опасный оборот. Переговоры с

шахом не привели ни к чему и победоносные, но истощившие все свои усилия и неспособные дольше продержаться на море и прокормиться на нем, Стенька с товарищами не знали, ни что им делать, ни как поступить с награбленною ими богатою добычею. В глубине души, следуя своим наклонностям, они охотно закончили бы эту авантюру обычной и тривиальной развязкой казачьих набегов по Черному морю: возвращением в донские станицы с пожитками убитых и ограбленных «нехристей». Но они имели неосторожность бравировать перед московским правительством, и путь к отступлению был им отрезан. Решившись в свою очередь отомстить и приготовившись на этот раз получше, астраханский воевода поджидал их на дороге с 36 галерами и 4000 стрельцов.

Плохо осведомленный и всегда неосторожный Стенька натолкнулся на эту огромную силу, должен был отступить и, преследуемый, заключил капитуляцию. Прозоровский, соблюдая данные ему инструкции, показал себя склонным к примирению. Казаки соглашались отдать все то, что они некогда забрали как на мусульманской территории, так и в других местах, а разграбление берегов Каспийского моря могло сойти за законную репрессию за набеги на прибережные московские владения, которым они подвергались периодически со стороны подданных или данников Персии. Был заключен на этом основании трактат. 25 августа 1663 года Стенька со своими товарищами торжественно подписали акт подчинения в городской думе Астрахани. Атаман сдал свою булаву, подтвердил клятвою выполнение принятых на себя обязательств и послал в Москву депутацию, которая получила лишь снисходительный выговор.

Затем он стал пировать с воеводами, одарил их богатыми персидскими материями, бил челом царю от покоренных городов во владениях шаха и добился того, чего хотел: позволения вернуться на Дон с остатками добычи. Обещав выдать свою артиллерию, он сохранил для себя двадцать пушек, в которых, как он утверждал, он настоятельно нуждался, чтобы переходить с ними степь и держать в страхе крымских или азовских татар и турок.

Воеводы, получившие позже выговор за то, что они не удержали казаков и не смешали их со стрелецкими полками, на деле не могли тогда и думать о подобной попытке. Стенька с товарищами импонировал им: все в шелку, с руками, полными золота, они вызывали у них воспоминания об Олеге и его дружине, наводнившими Киев богатствами, добытыми на греческой земле. Так же как и ладьи этого легендарного героя, лодки Стеньки были разукрашены шелковыми веревками и парусами. Сами еще наполовину казаки и живя в городе, где все дышало еще духом дикой независимости, стрельцы, единственная сила, которой располагал Прозоровский со своим помощником, не были безусловно испытанными людьми. Искушение было слишком велико для них, чтобы не слиться с этими удивительными гостями, которые бегали по кабакам в бархатных кафтанах и, чтобы заплатить, небрежно срывали со своих шапок ценный алмаз.

И при этом держа в своих сильных руках этих диких пленителей рек и морей, Стенька казался таким добрым, великодушным и щедрым! Как он был не похож на требовательных и жестоких к бедноте воевод. Хотя он и требовал, чтобы с ним обращались, как с государем, заставляя, при встречах с ним, становиться на колени, бить челом, но при этом он все разрешал и никогда не отказывал ни в чем.

Прибыв в то время в Астрахань со знаменитым Орлом, этим первым образцом зарождающегося русского флота, голландец Стрюйс видел атамана и описал его в следующих красках:

«Он имел важный вид, благородную осанку и гордое выражение лица. Был хорошо

сложен и лицо немного попорчено оспой. У него была способность возбуждать к себе страх и заставлять любить себя… Мы нашли его в его шатре с доверенным лицом по имени „Чертовы усы“ и несколькими другими офицерами… Наш капитан подарил ему две бутылки водки, и он принял их с радостью, так как уже давно не пил ее… Он дал нам знак сесть и выпил за наше здоровье… но почти ничего не сказал и не обнаружил никакого желания узнать, что нас собственно привело в эту сторону… Мы вернулись, чтобы повидать его еще раз и нашли его на реке в разрисованной и позолоченной лодке, бражничавшим и веселившимся с несколькими своими офицерами. С ним была персидская княжна».

Своей красотой, обаянием своего знатного происхождения эта любовница еще более поднимала престиж Стеньки, возбуждая однако частенько некоторую ревность у его товарищей. Этим и можно объяснить тот неожиданный поступок, которым, судя по легенде, и окончился в один прекрасный день этот роман. Пируя со своей компанией, в роскошной лодке, среди сцены пьяной влюбленности, атаман вдруг нагнулся над рекою и произнес проникнутую мрачным лиризмом следующую тираду:

– Матушка, дорогая Волга, два года осыпала ты меня своей щедростью, давала мне золото пригоршнями и всякие богатства. В свою очередь я обязан тебе принести достойную тебя жертву. Возьми же из всего, что я имею, самое дорогое мне и самое драгоценное, лучшую часть моей добычи, мою неоцененную кралю…

И, схватив прекрасную персиянку, он бросил ее в волны.

Сообщая этот факт, Стрюйс не говорит, что был его очевидцем, и реальность этого события кажется нам тем более сомнительной, что с ним мы встречаемся снова в сказочном эпосе о Садке. Стенька, очевидно, презирал все, включая сюда и человеческую жизнь, презрение, общее большинству авантюристов, ему подобных, и вся его жизнь представляла собой одну кровавую оргию. Можно, следовательно, предположить, что он убил дочь Менеди-хана, но, конечно, при менее мелодраматических обстоятельствах. Исполняя обязанность высокого судьи, он однажды приказал повесить за ноги женщину, виновную в прелюбодеянии, и утопить ее сообщника.

Подобного рода поступки, слишком часто повторявшиеся, возбудили у астраханских воевод желание освободиться возможно скорее от такого беспокойного собутыльника и 4-го сентября они увидели с радостью, что он куда-то отправляется. Поднявшись по Волге, атаман дал о себе знать еще несколькими эксцессами: вопреки формальному запрещению, он велел для себя открыть ворота Царицына, напоил своих людей водкой за счет жителей, велел отодрать местного воеводу, Григория Унковского, выдернув ему к тому же бороду, и кончил тем, что отправился к Дону, куда явились уже ему навстречу его посланцы, отправленные им в Москву. Получив выговор, но вместе с тем и прощение, они должны были вернуться в Астрахань и реабилитировать себя усердной службой. Но они предпочли по дороге передушить своих конвойных и соединиться со своим начальником. Имея таких товарищей, Стенька не мог и думать о соблюдении недавно принятых им обязательств и войти в обычную колею.

Пребывание в Астрахани вместе с тем возбудило в нем сознание своего величия и могущества, совсем несовместимых с таким положением. И не думая вовсе возвращать по обещанию бывших у него двадцать орудий, Стенька укрепился между Кагальником и Ведерниковым, приказал привести в свою новую резиденцию свою жену и брата Фрола и устроил нечто вроде дележа казацкой земли: в Черкасске старой казацкой армией продолжал командовать Корнил Яковлев, но «победители Персии», находясь под командою

Стеньки, покрытые славою и располагая значительными ресурсами, вытеснили своих соседей. Обходя станицы и по казацкому обычаю, приглашая сотоварищей поделить приобретенную добычу, их эмиссары возбуждали непреодолимый соблазн. Народная молва преувеличила еще богатство этих сокровищ, и с ноября 1669 года соперник Яковлева уже располагал хорошо вооруженными 2 700 человек. Некоторые приходили с отдаленных берегов Днепра. Всем он посоветовал быть готовыми к новому походу, сущность которого он однако скрывал. Вероятно, он и сам ее не знал.

В ожидании, желая снискать себе симпатии местного населения, он воздерживался от всякого грабежа, не противился даже развивавшимся коммерческим сношениям между областью Донскою и Москвою. Он предлагал только московским купцам заменить Черкасск Кагальником, на что те охотно согласились, находя в этом для себя выгоду. Но черкасские казаки не знали уже, на что решиться при виде этой конкурирующей стоянки. Они колебались признать главенство, которое росло и между тем угрожало им разорением.

Весною 1670 года Стенька вывел их из затруднения. Он явился в Черкасск с избранною шайкою, своею ватагою, в ту самую минуту, когда Яковлев с товарищами думал проводить очень торжественно царского посланца, явившегося к ним с милостивым посланием. Стенька грубо расспросил посла, объявил его шпионом, посланным не царем, а боярами, и велел бросить его в воду вместе с несколькими протестовавшими казаками.

V. Диктатура Стеньки

Вмешавшись в свою очередь в дело, Яковлев не оказался достаточно сильным, чтобы помериться силами с таким противником, и скоро очутился в беспомощном положении. Заменив его собою и руководя старшиною, Стенька создал нечто вроде диктатуры и занялся учреждением в этих местах совершенно новых порядков. Особенно нападая на попов, в которых он не без некоторого основания видел агентов московского правительства, он наметил очень любопытную попытку секуляризации.

Только что было сожжено много церквей в Черкасске. Некоторые казаки просили у него денег, чтобы их построить заново, но новый глава воспользовался, чтобы отклонить их просьбу, замечанием одного из самых древних героев народной поэзии, Дуная Ивановича.

– На что вам церкви? Для чего вам попы? Чтобы жениться? Поставьте мужчину и женщину под какое-нибудь дерево, танцуйте вокруг них хоровод и у вас получится самая разлюбезная парочка.

Он справил по этому обряду свадьбы, употребил несколько недель на организацию своих сил и в мае поднялся по Дону до маленького городка Панщин, где свиделся с Ваською Усом, который между тем не оставался без дел, грабя помещичьи имения в областях Воронежа и Тулы, где он продолжал свои действия. С этим подкреплением Стенька оказался во главе приблизительно 7000 человек, и тогда узнали, что его намерением было идти сушею и водою к Царицыну.

Таков был результат его долгих размышлений. Раздумывая, он без сомнения пришел к убеждению, что ему не удастся возобновить грабежи по Каспию. Прозоровский был настолько силен, что мог остановить его по дороге. Но если для внешней войны силы Стеньки были слишком незначительны, то он льстил себя с другой стороны надеждой, что может их увеличить до бесконечности для войны внутренней, обратившись с призывом к народным массам.

Он пошел к Царицыну и без труда овладел городом; жители открыли ему ворота. Пропаганда, которая велась с прошлого года в этой местности, населенной мятежным элементом, сделала свое дело, и теперь уже принимали не простого казака, а предводителя восстания. Башня, в которой заперся с несколькими людьми комендант города, Тимофей Тургеньев, была взята приступом, несчастный воевода нашел там ужасную смерть; его потащили с веревкой на шее к Волге и там утопили, а Стенька вошел вполне в свою новую роль.

Подняться вверх по реке, захватить города по ее течению, проделать там с воеводами то, что он проделал с Тургеньевым, поднять соседнее население и идти на Москву, чтобы положить там конец управлению бояр, врагов народа и царя – таков был грандиозный план, который он открыл своим товарищам. Впрочем, он только воспроизвел обычный клич большинства народных бунтов, происходивших здесь, как и в других странах. «Долой налог на соль, да здравствует король!» или «Долой дворян, да здравствует король!» кричали в ту же приблизительно эпоху другие бунтовщики в прекрасной Франции.

VI. Восстание

Но Стенька слишком заблуждался в своих способностях, чтобы суметь сыграть ту роль, которую ему хотелось играть. У него не было для того никаких подходящих качеств, ни выдающегося ума, ни настоящего военного таланта, и никакого даже сознания принятой на себя задачи. Воспитанный и выросший среди разбойников, он оставался разбойником. Пустив в ход, для поднятия им вызванного движения, все данные, которым он был обязан своими предшествовавшими успехами – храбрость, смелость, быстроту действия и верный глазомер, – он дал ему сначала могучий толчок, но не умел ни направить его, ни обеспечить ему дальнейшее развитие.

Получив известие, что Прозоровский отправил отряд войска из Черного Яра к верховьям Волги, и что в то же время 5 000 московских стрельцов спускаются по реке к Царицыну, чтобы поставить атамана между двух огней, Стенька сразу доказал свою решительность и искусно пустил в ход быстроту движения, лежащую в основе казацкой тактики. Явившись, не теряя ни минуты, перед своими противниками, шедшими с севера, он их захватил на острове Денежном, в семи верстах вверх от Царицына, отбросил их к городу, и там их встретили выстрелами из пушек. Затем он уничтожил их или позабирал в плен. Московский главнокомандующий, Иван Лопатин, и его помощники разделили участь Тургеньева и, обращенные в гребцов на челноках победителя, стрельцы узнали с удивлением, что они ошиблись, думая, что сражаются за царя. Стенька объявил себя сторонником государя против ненавистной камарильи и утверждал, что взял на себя задачу освободить их от нее.

Астраханские стрельцы в свою очередь подверглись нападению и сдались без сопротивления. Казацкие эмиссары уже успели взбунтовать город. Но эта вторая победа имела главным своим результатом то, что она дала возможность победителю обратить внимание на тот путь, на котором должны были развиться рано или поздно его инстинкты. Первый порыв мог завести его далеко. Не сумевшая предвидеть такой подъем, слишком стесненная в настоящее время, чтобы дать должный отпор, так как от нее требовала не меньших жертв польская война, Москва рисковала вновь увидеть под своими стенами второго Заруцкого. Но Стенька был только разбойником и после сдачи Астрахани в его распоряжение, возможность наложить свою руку на такую прекрасную добычу, завлекла

этого импровизированного инициатора большой революционной вспышки в грубую ловушку, в которую он и попался. Решив не подниматься дальше по Волге, согласно первоначальному плану, он спустился по реке и повернулся спиною к своему счастью. Впрочем, ему предстояло еще развить в более широких рамках ту пародию правительства, которую он пытался создать в Черкасске. Этот случай доставила ему торговая столица юга.

VII. Казацкое правительство

Князь Семен Львов, заместитель Прозоровского, командовавший отрядом, незадолго до того перешедшего на сторону атамана, и избежавший гибели, принес ему эту весть. Предупрежденный таким образом, первый воевода принялся длительно укреплять доверенный ему город и достиг в этом деле важных результатов, воспользовавшись помощью англичанина Бутлера, капитана знаменитого Орла, все еще стоявшего на рейде. Но население города находилось в тревожном состоянии, наполовину поднятое отражением событий, разгоравшихся по соседству, возбужденное также какими-то явлениями, странными слухами, распространяемыми по церквам, настоящими или воображаемыми землетрясениями. Сохраняя еще на своем теле следы насилий, произведенных над ним казаками Заруцкого, архиепископ Иосиф растерялся. Стрельцы, со своей стороны, обнаруживали беспокойство. 15-го июня они стали требовать в угрожающем тоне выдачи им задержанного жалованья. Прозоровский смог с помощью клира удовлетворить их; но в следующие дни возобновились приводившие в ужас явления природы. Несмотря на время года, было холодно, град сменялся дождем. А 22-го числа Стенька был уже в виду города. Через два дня, после попытки вступить в переговоры и поколебать верность Бутлера, он напал на город.

Астрахань была обведена стеною, высотою в четыре сажени, толщиною в полторы сажени, с башнями, на которых колокола были приведены в движение, с целью поднять мужество в сражавшихся, и имела четыреста шестьдесят пушек. С трех сторон ее окружали рвы с водою. Совершенно правильно Стенька повел атаку с южной стороны, доступной, благодаря легкому скату, покрытому виноградниками. Подставив лестницы, казаки взобрались на укрепления, не сделав выстрела. Пушки бездействовали, назначенный к их командованию, лейтенант Бутлера, Томас Бойль, был убит своими стрельцами, среди которых восстание приняло немедленно общий характер.

Вскоре собор наполнился толпою офицеров и московских чиновников, убегавших от начинавшегося избиения, туда же принесли самого Прозоровского, который был тяжело ранен ударом пики. Прибежавший архиепископ успел лишь сделать последнее церковное напутствие храброму солдату, который был его другом. Тяжелые двери храма, окованные железом, были заперты, но в окна влетали уже пули, которые, среди других жертв, убили на руках матери грудного младенца и пробили икону Казанской Божией Матери, перед которой беглецы оспаривали место друг у друга. Потом двери поддались и казаки, перейдя через труп стрелецкого сотника, Фрола Дуры, героически загородившего собою проход, ворвались вовнутрь. Еще живой Прозоровский и все присутствовавшие московиты были перевязаны, до суда, который должен был произвести над ними атаман.

Расправа была короткой: Стенька прошептал на ухо Прозоровскому несколько слов, с предложением, по всей вероятности, милости на определенных условиях; воевода покачал головою, и казаки, по знаку своего начальника, подняли умирающего на колокольню и

бросили вниз. После притворного допроса и совещания, другие пленники были убиты, по большей части, на паперти церкви. В Троицком монастыре, где их должны были похоронить, один монах насчитал четыреста сорок один труп.

За избиением последовал общий грабеж, во время которого не пощадили также наряду с правительственными канцеляриями и домами богатых москвитян индийские и бухарские лавки.

Стенька устроил из Астрахани казачий город, разделив его жителей на тысячи, сотни и десятки под начальством выборных есаулов, сотников и десятников, составив из них «круг», делая вид, что хочет реставрировать древнее вече. Но гений атамана дальше этого не пошел, и это было еще самое лучшее. Однажды утром все население должно было выйти за город, на большую площадь, чтобы принести присягу в верности царю, атаману и казацкой армии, с обещанием выдать «изменников». Двое из священников отказались от присяги, и Стенька приказал одного из них утопить, а у другого отрезать руку и ногу. Вместе с тем он пожелал, чтобы все бумаги архивов и канцелярий были сожжены, и объявил, что он сделает то же самое в Москве и даже во дворце государя. Казаки ведь не умели читать, и эти бумаги были для них бесполезны.

Ни атаман, ни его товарищи не забывали ради всего этого своих удовольствий, пьяные по большей части с утра до вечера и неистощимые во всяких скандалах. Казацкое правительство сорганизовалось специально для постоянной оргии и утопало в водке и крови. Проезжая по городу верхом на коне или сидя по-турецки перед дворцом архиепископа, Стенька не переставал устраивать новые казни. Возле него находился еще брат его прежней любовницы и, может быть, мечты о водворении на персидской территории еще носились в его отуманенном мозгу. Он оказывал почести посланнику шаха, находившемуся в Астрахани, и завел переговоры с Менеди-ханом. Но когда тот отверг его предложения, Стенька поступил с его сыном по мусульманскому обычаю, повесив его за ребро на железном крюку.

Образовав «круги», даже дети подражали атаману и играли в судей. Они били нагайками воображаемых преступников или вешали их за ноги. Одну из жертв не успели отвязать вовремя, и она погибла.

Убитые москвитяне оставляли своих жен и дочерей в самой ужасной нужде; Стенька хотел дать доказательство своего великодушия, выдав их за казаков. Он соблаговолил для этого даже прибегнуть к нескольким оставшимся еще в живых священникам, но запретил им получать приказания от архиепископа.

Архиепископ относился инертно ко всему и в день именин царевича Феодора Алексеевича имел даже слабость пригласить к своему столу зловещего разбойника с сотнею его товарищей. Он при этом оговаривался тем, что его дом служить убежищем. Вдова Прозоровского, Прасковья Феодоровна, скрывалась у него со своими двумя сыновьями, шестнадцати и восьми лет. Стенька, в конце концов, нашел несчастных мальчиков и, так как они не дали ему требуемых указаний о фондах, которыми располагал их отец, старший из них был убит после жестокой пытки, а младший отдан матери в самом плачевном состоянии.

Среди всех этих развлечений атаман терял драгоценное время и губил себя. Когда в конце июля он почувствовал, что этот астраханский праздник был лишь безумием одного дня без уверенности в завтрашнем дне, когда он понял, что, живя так, он лишь дает время Москве подготовиться для нанесения удара и когда, очнувшись, он решил снова приняться за

столь неразумно прерванное дело, было слишком поздно.

Оставив в городе Ваську Уса в качестве заместителя, атаман поднялся по Волге на 200 челноках, причем 2000 казаков следовали за ним верхами по берегу. Из Царицына он послал на Дон астраханскую добычу. Стенька поднял потом Саратов и Самару, оставаясь повсюду верным своим диким и жестоким привычкам человека без веры и закона. Потом, в начале сентября, он достиг Симбирска, последнего пункта его триумфального шествия.

VIII. Поражение

И здесь перевес был сначала на его стороне. Местный воевода, Иван Милославский, только что получил подкрепление, явившееся из Казани во главе с князем Георгием Барятинским; но у обоих генералов был лишь призрак армии. Им посылали достаточно денег, чтобы улучшать положение войск, но они согласились между собою положить их в карман, создавая фиктивные реестры, вписывая в списки никогда не существовавших или умерших людей.

Выказывая более храбрости, чем честности, Барятинский дал сражение атаману и, владея в пять или шесть раз меньшим количеством людей, продержался весь день, но ночью повторилась история с Астраханью и Царицыным; жители Симбирска передали в руки казаков главное укрепление города, и Барятинскому пришлось отступить под огнем собственных пушек. Милославский держался с горстью солдат в другом укреплении и Стенька, выказывая в данном отношении явную неспособность, тщетно пытался выбить его оттуда в течение месяца. К концу месяца Барятинский вновь появился со свежими войсками и атаман, растерявшись, не сумел извлечь ту громадную выгоду, которой он располагал, благодаря большому перевесу количественных сил. Совершенно неспособный командовать в правильном бою и бессильный бороться против противников, уже на этот раз не обезоруженных изменою, он, как всегда, смело поставил на карту свою жизнь, но потерял голову. Дважды раненый в схватке, не будучи в состоянии управлять действиями своих людей, он кончил самым постыдным бегством. Под покровом темной ночи, атаман оставил ядро своей армии, просто сброд плохо вооруженных и едва умеющих сражаться крестьян, и с одними донскими казаками спустился по Волге.

На следующий день Барятинскому и Милославскому не стоило уже труда покончить с тем, что оставалось перед ними, бросив несколько сот «бродяг» в реку и разрубая на куски остальных или сохраняя их для виселиц, вскоре покрывших собою все соседние улицы. Это было концом также и для Стеньки.

До этого поражения был момент, когда его дело приняло ужасающие размеры. Это было после отступления Барятинского, которое произвело сенсацию. Казаки старались еще больше увеличить эффект всякими выдумками, которые распространялись ими по всему течению верхней Волги. Они говорили, что кроме патриарха Никона в их рядах находится также царевич Алексей, подобно ему, жертва обманывавших государя бояр. Царевич Алексей, наследник престола, тогда только что умер (в январе 1670 г.), а Никон жил в Ферапонтове, но Стенька, будучи скорей гениальным мистификатором, чем искусным полководцем, окружил тайною две барки своей флотилии, тщательно их оберегал, заявляя, что под занавесками из красного и черного бархата он вез якобы с собою двух своих августейших протеже.

В своих манифестах, тщательно разбрасываемых, атаман, призывая к беспощадной войне

против всех чиновников, объявлял конец всякой бюрократии и всякой власти. Хотя он и отрицал свой призыв к восстанию против государя, но тем не менее он повсюду давал понять, что авторитет последнего является уже пережитком. И он вовсе не хочет заменить его власть своей. Как казак, он останется среди казаков, своих братьев, которые и в новой организации, устроенной по образцу их учреждений, дадут перевес принципу абсолютного равенства.

Эти нелепости имели большой успех, и бунт охватил все громадное пространство между Волгою и Окою, к югу до степей Саратова, и к востоку до Рязани и Воронежа; крестьяне убивали помещиков или их управляющих и объявляли себя целыми массами казаками, т. е. разбойниками. Всюду организовывались шайки, и при их приближении города вслед за деревнями охватывались тою же заразою: возмутившаяся чернь бросалась на воевод и на их подчиненных, заменяла их атаманами и есаулами и устанавливала новый режим, истребляя при этом по большей части представителей старого.

То же самое происходило и в восточной Украйне, во время революционного кризиса в начале века, потом в западной, польской Украйне в момент восстания Хмельницкого. Как и в эпоху Лжедмитриев, в то же самое время возмутились также местные инородцы: мордва, чуваши и черемисы. Из Симбирска движение это, до возвращения Барятинского, разрасталось с особенною силою в двух направлениях, на запад – через теперешние губернии Симбирскую, Пензенскую и Тамбовскую, и на северо-запад – к Нижнему Новгороду. Одна шайка, отделившись от войска Стеньки, который безумно разбивал свои силы, двинулась по дорога к Тамбову, возмутив по дороге Зарайск и Пензу; другая, которую считали находящеюся под командою самого царевича Алексея, двинулась к Алатиру и Курмишу, потом в Ядрин. Власти светская и гражданская принимали ее очень торжественно с хоругвями и иконами. В Козьмодемьянске и Мурашкине, которые проявили меньше усердия в воздаянии почестей мнимому царевичу, воеводы были передушены жителями. Чтобы взять монастырь святого Макара на Желтых водах, Лже-Алексей, простой казак, по имени Максим Осипов, начал атаку. Он произвел страшное избиение монахов и, ограбив это святое место, подумывал уже дойти до Нижнего Новгорода, когда пришла весть о поражении Стеньки.

Начался общий разгром. Нельзя было медлить. В Арзамасе князь Юрий Долгорукий, известный солдат, тот самый, о котором говорили, что он повесил брата Стеньки, был почти окружен со всех сторон, имея в своем распоряжении очень небольшой отряд, так как отдельные части его никак не могли пробить себе дорогу, чтобы соединиться с ним. Приняв теперь наступательную тактику, он немедленно оправился и очистил всю область на севере до Нижнего Новгорода и на юге до Темникова, где в декабре 1670 года неожиданно столкнулся с казачьим предводителем совершенно особого рода. То была монахиня, начальствовавшая сформированною ею шайкою и совершавшая грозные набеги. Ее отцом был крестьянин из окрестностей Арзамаса, и звали ее Еленою.

Долгорукий велел сжечь колдунью и повесить сопровождавшего ее попа. После этого, заняв Краснослободск, он проник в северо-западную часть теперешней Пензенской губернии, главный центр мятежа, и провозглашенный в это время главнокомандующим всеми войсками, действовавшими против бунтовщиков, к январю 1671 года окончательно успокоил местность.

Бунтом был сам Стенька Разин, – престиж, связанный с его именем, слава его побед, соблазняющие слухи о его богатствах, притягательная сила добычи, которую он делил со

своими товарищами, надежда на постоянные кутежи в его компании. Весь этот прекрасный сон исчез вместе со зловещим слухом о симбирском поражении.

IX. Конец «счастливых времен»

Из Симбирска атаман добрался до Самары, объясняя свое бегство тем, что его пушки, как некогда направленные против него в Царицыне, отказались служить. Неразумная выдумка, губившая легенду, которую создали его победы. Он значит не был больше колдуном! Он потерял свою сверхъестественную власть! Разочарованные жители Самары заперли перед ним ворота, и в Саратове подражали их примеру. В Черкасске его партия держалась еще до сих пор победоносно. Но напрасно Стенька еще раз появился там с остатками своей армии и снова пустил в ход жестокости, на которых был построен его авторитет. Корнил Яковлев, сговорившись с Москвою, одержал верх. У него был в распоряжении отряд из 1 000 рейтаров и драгун, обученных по-европейски, которых направило к нему со всей поспешностью московское правительство под командою Григория Кассотова, предводителя, знакомого с казацкою тактикою. Весть об этом подкреплении и ужас перед жестокой расправой и репрессиями Долгорукого обескураживали «товарищей». Еще раньше, чем все окончилось, участь Стеньки была решена.

Официальные источники сами себе противоречат в сообщении обстоятельств, определивших эту развязку, и полны неясностей. Осажденные ли или взятые в плен в маленьком укреплении Каганлике, выданные ли раскаявшимися их братьями по оружию или загнанные в засаду старым Яковлевым, каким именно образом Стенька и Фрол потеряли свою свободу, – это остается для нас неизвестным. Привезенные в Москву они не выказали одинакового мужества; в то время как атаман хранил безразличие, достойное его имени, его брат напротив рассыпался в жалобах и упреках.

– На что ты жалуешься? – спросил его наконец Стенька, потеряв терпение. – Мы получим великолепный прием, самые крупные вельможи столицы встретят нас!

4 июля 1671 года вся Москва действительно высыпала на улицу, желая присутствовать при въезде легендарного героя, но атаман, к его большому сожалению, не мог сохранить той богатой одежды, в которой хотел явиться перед своими зрителями. Одетый в грязные лохмотья и привязанный к простой телеге с виселицею, он разочаровал совершенно любопытных москвитянок.

Судя по легенде, самые ужасные пытки не вызвали у него ни одного признания, ни одной жалобы. Но этот факт сомнителен. Алексей в своей переписке с Никоном как раз пользуется указаниями, сделанными Стенькой во время допроса, по поводу сношений атамана с бывшим патриархом. Легенда рассказывает, что свирепый разбойник продолжал высмеивать малодушие своего брата, который в руках палачей проявил меньше постоянства.

– Какая ты баба! Мы хорошо пожили: теперь можно и немного пострадать…

Эти слова совершенно во вкусе такой личности. Хорошо пожить было ее главным стремлением.

Он даже не дрогнул, говорят, перед самой ужасной из пыток, имевшихся в то время в распоряжении мучителей: она состояла в том, что капли холодной воды пускались на бритый череп пытаемого. Когда ему обрила макушку, он начал даже шутить:

– Ну вот, я был бедным невежественным крестьянином, а теперь обрит, как самый ученый из монахов!

6 июня его привели на Лобное место, где в Москве происходили казни. Он выслушал, не моргнув, приговор, осуждавший его на четвертование, набожно повернулся к соседней церкви, четыре раза поклонился толпе, прося у нее прощения и, совершенно спокойный, отдался в руки палачей. Положив его между двух досок, ему сначала отрубили правую руку выше кисти, потом левую ногу ниже колена, но он по-прежнему не испустил ни одного крика. Думали, что он умер. При виде ожидавшей его казни, Фрол вдруг обомлел и пробормотал формулу «слово и дело» – это значило, что осужденные имеют сделать важные разоблачения, ради которых они получали отсрочку, за которую им потом дорого приходилось расплачиваться в допросной камере. Вдруг среди окровавленных досок, где лежало неподвижно изуродованное тело Стеньки, раздались слова:

– Молчи, собака!

То были последние слова, произнесенные атаманом. Они не принадлежат истории, основанной на документах, но тогдашние казни знают часто и в подобном же виде аналогичные подробности. Ни смерть, ни самые жестокие муки не могли поколебать физической и моральной стойкости большего числа обреченных на казнь – то были люди, либо огрубевшие от беспокойной жизни, либо охваченные могучим религиозным чувством. А что касается Фрола, то ему, кажется, была действительно отсрочена казнь. Он, будто бы указал склад важных бумаг или тайный клад и, хотя розыски по его указаниям остались бесплодными, но (мы не знаем, правда, как и почему), казнь была ему заменена пожизненным заключением.

По преданию, готовый принять смерть, Стенька составил поэму, сохранившуюся в устах народных певцов, где герой просит похоронить его на распутье трех дорог, ведущих к трем очагам земли русской: к Москве, Астрахани и Киеву. Сказочный атаман мог, конечно, быть по-своему поэтом, раз он вдохновил столько других поэтов. Во всей местности, служившей театром его действий, воспоминание о нем живет еще до сих пор.

X. Легенда о Стеньке

Берега Волги усеяны урочищами, с которыми до сих пор связано имя атамана. Так, один холм назван «столом Стеньки», так как на нем он пировал со своими товарищами; другой носит название «шапки Разина», так как по легенде он там оставил свою шапку. Одну пещеру считают местом тюрьмы для плененных им вельмож. На север и на юг от Царицына, на высоком берегу реки, ряд других холмов представляет собой ту особенность, что он отделен оврагами от твердой земли: весною они бывают наполнены водою. Возможно, что, следуя традиции, атаман избрал некоторые из этих высот для своих лагерей, но, если верить местным жителям, там еще недавно можно было видеть следы укреплений и рвов, вырытых в скале, и железные ворота при входе. Там должны быть скрыты огромные сокровища, но, заколдованные, они никому не даются.

Эпопея Стеньки оставила также глубокий след между Доном и Волгою – борозду, по которой он волоком перетаскивал челноки, чтобы перебраться от одной реки до другой. В своих скитаниях, как и в успешных набегах, герой совсем не боялся царя, так как он не оскорбил его ничем, и, удовлетворившись установлением пошлины с судов, спускавшихся или поднимавшихся по Волги, он избавил от нее лишь царские суда, после того, как получил царскую жалобу на это. К несчастью, астраханские и московские купцы, хитрые и бесчестные, стали провозить свой собственный груз под этим флагом, и атаман должен был

отказаться делать различие между одними и другими. Но царь, получив об этом сведения, не высказал ровно никакого неудовольствия и в течение многих лет Стенька беспрепятственно пользовался своею привилегией.

Он воевал потом в Персии и покрыл себя славою. Бояре, завидуя его успехам, напали на него по его возвращении, но их пули и ядра не могли его уязвить. Одна скверная девка, Маша, завлекла его в западню, но он убежал, отмстив в свою очередь нападением на бояр, которые внушили ей это, и, осадив Астрахань, город, населенный неверными и несколькими лишь христианами, которые поспешили открыть ворота герою. К несчастью, там находился еще архиепископ, который некстати хотел исповедать атамана и заставить его покаяться в его небольших грехах. И Стенька виноват только в том, что поддался гневу. Показывая вид, что слушает священника, он пригласил его с собою на колокольню, откуда обещал исповедаться перед собравшимся народом. После чего он сбросил сверху несчастного исповедника со словами:

– Вот как я раскаиваюсь!

За этот поступок он был осужден семью соборами, и его товарищи, охваченные религиозным ужасом, схватили его и отправили в Москву. Но в тюрьме стоило Стеньке лишь коснуться рукой своих цепей, как они распались. Куском угля он нарисовал на стене своей камеры барку, весла, воду и очутился на Волге. Но проклятие тяготило на нем; он не мог более продолжать своих подвигов, он не мог даже умереть. Его не хотели принять ни вода, ни земля. Он живет вечно. Некоторые думают, что он все еще блуждает в населенных предместьях или дремучих лесах, помогая беглым арестантам или бродягам без паспорта. По другой версии он заключен в пещеру и там искупает свою вину. Через сто лет после его предполагаемой смерти, он был узнан русскими матросами, которым удалось бежать из плена у туркменов, на берегу Каспия. Он говорил с ними и объявил, что вернется в Россию еще через сто лет и вновь начнет свои подвиги. Он сдержал свое слово и назвался Емельяном Пугачевым.

XI. Астраханское безумие

Прежде чем оставить город, атаману пришлось пустить в ход в угоду возбужденному населению уловку, являющуюся обычным приемом для революционеров подобного рода. Остаток разума или стыда, усталость от грабежей или какая-либо выгода были тому причиною, но атаман оставил в покое несколько жертв, предназначенных им для избиения: священников, офицеров, московских чиновников. И так как чернь настаивала, чтобы ее освободили от этих «тиранов», атаман прибегнул к обычному для подобных людей компромиссу:

– Когда я уйду, вы сделайте с ними, что захотите.

Таким образом он лишь отсрочил убийство, которое и совершилось после его отъезда. Двое из царских слуг сначала были задушены и их палачи потребовали третьего у архиепископа. Он отказался их выдать и думал, что его убьют самого. Новость о поражении Стеньки не утишила этой жажды крови – Симбирск был далек – и Иосиф оказался во власти лиц, гнев которых все увеличивался. В ноябре, получив от государя послание, в котором астраханские жители приглашались покориться, торопясь распространить повсюду эти царские грамоты, он постоянно ссорился с казаками. Опьяненные в свою очередь властью, которою они пользовались от имени своего атамана, те не хотели оставить дело. Даже плен

и казнь их главы не сбили их с толку. Они думали в то время, что все они Стеньки и способны идти по его следам. Проникнувшись героическим чувством, они решили послать отряд в Симбирск, отомстить за героя.

Долго Москва не могла решиться распространить на эти места свои репрессии, так как не имела достаточно сил. В апреле 1671 года правительство Алексея отправило новое послание, которое должны были доставить по назначению татары. Архиепископ стал его читать в соборе, но народ объявил, что этот документ подложный. На нем не было красной печати официальных сообщений, и в нем давался приказ жителям Астрахани захватывать воров, прибывавших с Дона или с других мест и грабивших город. Царь должен был знать, что донские казаки выдавали теперь своих братьев. Такой факт показался лишь выдумкою архиепископа.

– Мы все воры! – объявили его слушатели. И они не замедлили подтвердить это красноречивое признание. Иосиф был бы разорван тут же на куски, если бы не появился на кафедре в святую Пятницу. «Уважение к этим торжественным дням и к благочестивым обрядам, которые день этот предписывал, заставили пойти на перемирие. Но вслед за этим избиение было организовано в широких размерах. Архиепископ избег его еще вначале, благодаря престижу своих священных функций. Обвиняя его по-прежнему в авторстве этих призывов к порядку, порочивших доброе имя астраханцев и нарушавших их удовольствия, убийцы удовлетворились расправой с домашними злого пастыря. Но беспокойные вести все продолжали приходить извне, и кровавая оргия казалась благодаря этому неудобною. Нужно было покончить с этим беспокойным, нарушающим их праздник, человеком. Он единственный, по-видимому, мешал городу, обязанному Стеньки такою превосходною организацией, вкусить совершенное счастье.

Новости, полученные от Федьки Шелудяка, начальника отряда, посланного под Симбирск, положили конец последним колебаниям. Сообразив по дороге, что он будет иметь дело с большой силой и стараясь сохранить сообщение с оставшимися позади его, атаман узнал, что князь Семен Львов, еще живущий и находящийся в Астрахани, по соглашению с архиепископом, собрал черкасских казаков, желая отрезать ему отступление. Надо было действовать без промедления.

21 мая 1671 года Иосиф во время службы в соборе был извещен, что казаки составили круг и приглашают его к себе. Он велел звонить в колокола, чтобы явиться с остальным клиром и, одетый в свои первосвященнические регалии, он пришел на зов. Человек простого ума, совсем не дипломат, он обратился к казакам с гневными жестами и словами, обзывая их разбойниками и клятвопреступниками. Это возбудило их еще больше к исполнению их зловещего намерения. Священные регалии жертвы смущали еще однако их ярость. Поднялись голоса о том, что нужно начать с разоблачения изменника. Но кто взялся бы за это? Разбойники простодушно потребовали, чтобы это сделали священники, бывшие с архиепископом. Разве он-то сам не помогал разоблачать Никона?

Охваченный сознанием отныне неизбежной жертвы, Иосиф, казалось, сам желал ее. Он по духу своему был мучеником. Положив свои митру и мантию, он сказал протодиакону: – «Почему ты мне не помогаешь? Мой час настал». Тот в ужасе повиновался, сняв с него омофор и ризу. Тогда казаки погнали его и его спутников ударами нагаек и повели «изменника» к пороховому погребу, желая сделать ему там допрос. Спрошенный по поводу своих предполагаемых преступлений и особенно о скрытых им будто бы сокровищах, подвергшись пытке на медленном огне, Иосиф не дал никакого ответа, удовольствовавшись

только между двух молитв призывом на своих палачей Божьего суда.

Его повели потом к откосу напротив собора, и он оказался еще в силах благословить по пути труп одного казака. Один среди своих, этот человек, как кажется, возымел мужество поднять голос в защиту первосвященника и потому должен был быть зарублен саблями. Но когда осужденного приготовились сбросить с откоса, в нем заговорил инстинкт самосохранения, он долго отбивался и чуть не увлек за собою одного из палачей.

Между последними было мало казаков, да и те были самыми негодными из шайки. Между тем в момент падения тела и они были охвачены ужасом, им казалось, что они слышат ужасный шум, и они оставались некоторое время, молча понурив головы. Они опять пришли в себя при пытках и казни князя Львова, потом заставили оставшихся в живых священников присоединиться к ним против бояр и «изменников» всякого рода.

Но в это время Федька Шелудяк был разбит под Симбирском князем Петром Шереметьевым. Отброшенный к Самаре, он завел переговоры со своим победителем, потом, прибыв в Астрахань, стал начальствовать там, заменив собою только что умершего Ваську Уса. Иван Милославский следовал за ним с флотилией и отрядом войск, одушевленных победою. Он должен был однако отказаться взять город приступом. Укрепившись в сильной позиции при устье Болды, он потребовал себе подкрепления, которое заставило себя ждать. Казацкая республика смогла поэтому просуществовать еще несколько месяцев.

Необходимо было много лет, чтобы потом залечить раны, нанесенные ею.

Подкрепление прибыло лишь в ноябре и то не из Москвы. Переговоры Милославского с грузинским князем Казбулат-Мурзою доставили первому несколько тысяч горцев, которые взяли город приступом, распространив в нем панику и вызвав между осажденными споры не менее гибельные для их дела. Менее решительные люди не замедлили перейти в лагерь Милославского, который постарался оказать хороший прием дезертирам. Он осыпал их ласками, напаивал водкою и тем увеличивал число перебежчиков. Казбулат со своей стороны заманил в свой лагерь Федьку Шелудяка и задержал его там.

26 ноября 1671 года город сдался, и после торжественного вступления Милославский совершенно благоразумно обнаружил большую умеренность. Он объявил всеобщую амнистию, оставил на свободе самого Шелудяка, как и некоторых из его офицеров и не тронул даже главного зачинщика убийства архиепископа, Алешку Грузинкина.

Как мы это видели уже в Пскове и в Новгороде, московская политика прибегала к кротости, всегда лишь как к временной мере, за которой следовали постоянно более или менее сильные репрессии. На следующий год, явившийся преемником Милославскому, князь Яков Одоевский принялся методически выполнять эту программу, и тогда последние следы казацкого режима исчезли в свою очередь в крови большинства его мрачных основателей.

Так закончилась эта глава истории царствования Алексея, причем общий ход событий, внутри и вне страны, должен был испытать в значительной степени на себе влияние этих прерывавших его один за другим бурных потрясений.

Глава шестая

Внутренняя политика Алексея

I. Победа самодержавного принципа

Во внутренней, как и во внешней политике второй Романов преследовал среди всех этих испытаний двойную цель, возложенную на него как традициями, с которыми был связан его авторитет, так и теми новыми проблемами, с которыми он столкнулся. Представитель династии, созданной народным голосованием, он унаследовал совершенно противоположные этому принципу учреждения, идеи и обычаи. И отцу Петра Великого суждено было осуществить окончательную победу во внутреннем управлении страны того принципа личной и абсолютной власти, которой сын его дал наиболее яркое выражение.

Титул самодержца, представляющий собой перевод греческого «автократ», который присваивали себе еще в предыдущем веке московские великие князья, не имел в то время смысла, который придавали ему потом.

Вначале он служил лишь выражением внешней независимости от древних владетелей московской Руси – татар. С течением времени, если бы внутреннее развитие страны пошло в другом направлении, этот титул разделил бы без сомнения общую участь символов подобного рода, утративших свое первоначальное значение под влиянием изменившихся обстоятельств, но сохраняющихся в памяти истории. Цари продолжали бы величать себя самодержцами, как в настоящее время они продолжают еще считать себя наследниками норвежского трона, не предъявляя к этой протокольной формуле никаких особых претензий, которые могли бы обеспокоить короля Хакона. Но слова всегда существуют для того, чтобы приспособляться последовательно или даже одновременно к обозначению совершенно различных вещей. Должен был настать в России такой день, когда самодержавие данников, освободившихся от Золотой Орды, отойдет в прошлое и это звучное, оставшееся без употребления, слово наполнится другим содержанием. И эта замена совершалась постепенно, незаметно, как всегда в подобных случаях: обычай дал этому слову, заимствованному у Платона или Полибия, совершенно новое толкование, которое оно сохраняет и теперь в Готском альманахе, несмотря на то, что греки, давшие начало этому слову, не думали о таком его толковании.

Правда, слово это иностранное, но то, что оно обозначало собою, было настолько русское, что ему нельзя найти ничего равнозначащего ни в какой другой стране. К этому надо однако прибавить, что, в первое время по крайней мере, самодержавие московских государей соответствовало чистому и простому деспотизму, который нам известен в других местах, но он отличался от последнего существенно: то была власть личная, хотя и раздельная, абсолютная, но подчиненная некоторой законности, парадоксальная смесь противоположных принципов и благодаря этому осужденная безусловно перейти в простое самовластие.

Самодержец Алексей управлял наполовину с помощью совета бояр, решения которых были тоже суверенны, и он узаконил периодический созыв народного собрания, допуская

вмешательство последнего даже в чисто административные дела. Его темперамент кроме того наложил особый отпечаток на такой режим. Царь был наилучшим примером патриархального государя. В 1654 году, принимая в аудиенции воевод, посылаемых на польскую границу и давая им целовать свою руку, он делает исключение для князя А. Трубецкого, «ради его седых волос», по словам официального документа; он не хочет, чтобы старый вояка оказал ему подобное свидетельство своего уважения и притянув к себе, горячо прижал его к своей груди. Но, исправляя собственноручно протокол церемоний, Алексей при этом замечает, что отличенный таким образом старик тотчас же понял, как велика была милость, ему оказанная и «тридцать раз поклонился ему до земли».

Царю было в то время двадцать пять лет. Глубоко религиозный, он понимает личность государя неразрывною с государством и отдает себя вместе с последним во власть божественного промысла. Могущество империи, по его мнению, и ее благосостояние зависят не от силы или искусства людей, но от божественной воли. Царь является лишь ею назначенным выразителем ее воли. Поэтому его подданные и особенно бояре, его главные слуги, должны быть привязаны к нему всем сердцем и всего ожидать от его милости. Насколько Алексей умеет оценивать верность, настолько же он презирает ложь, двуличие и гордость и, отсылая виновных на суд верховного судьи и отсрочивая тем самым наказанье, он иногда налагает на них ловкою и твердою рукою довольно серьезную кару как бы вроде задатка.

В сущности, Алексей только идеализирует по-своему, отказываясь однако под ней подписаться, формулу интегрального абсолютизма по доктрин божественного права, развитой Боссюэ. И Людовик XIV не очень далеко ушел от этой концепции, когда писал следующее: «Правосудие есть тот драгоценный дар, который Богом передан в руки царей, как часть его мудрости и могущества». Но образ мыслей Алексея совершенно другой: натура мечтательная и склонная к мистицизму, он был искренен в своем идеализме и не хотел бы один нести всю огромную тяжесть божественной ипостаси своей веры. Но как поступить? Лукавые, испорченные, привыкшие ко всем злоупотреблениям властью, которую они должны были разделять с ним, его бояре оказываются недостойны своего назначения, против воли он вынужден был поступать иногда, не считаясь с их темными наветами, часто уклоняться от их вредной деятельности и быть единственным главою за отсутствием хороших исполнителей.

И вот он борется с этой, беспокоящей его совесть, дилеммой. Он недоволен тем, что Ордын-Нащокин открыл ему в выражениях слишком сильных непрекращающиеся злоупотребления чиновников всех рангов, неспособность или лихоимство которых заставляет его вмешиваться лично во все дела и действовать всегда своим собственным авторитетом. Он должен подчиняться очевидному и, защищая себя, принять на себя всю ответственность.

Пришлось остановиться на этом, раз он не мог придумать другого средства уменьшить зло. Реформа этого порочного состава, или самой административной службы, неопределенность которой облегчает и даже поощряет преступления по службе, предполагала бы наличность совсем другого склада ума. Алексей раздражается, обзывает преступников бранными словами; он дает им пощечины, приказывает их «драть нещадно», наконец, выведенный из себя тщетными попытками привести их к лучшему сознанию своих обязанностей, он прибегает к паллиативам или к средствам, которые ведут лишь к осуществлению личной и абсолютной власти.

Одним из таких средств, первым по времени, является прогрессивное ограничение Боярской Думы, этого совета, связанного конституцией страны с верховным авторитетом. Алексей стремится заменить ее сотрудничеством более тесной группы лиц, привязанных к нему лично и эта «ближняя дума» или «комнатные бояре» незаметно вступает в исполнение своих обязанностей, не встретив ни малейшего волнения или борьбы. Часто путешествуя, царь берет с собою лишь нескольких из этих советников, которые, самою силою вещей, вынуждены заниматься большинством дел и кончают тем, что удерживают их в своей власти навсегда, приняв, таким образом, вид определенного института. В то же время между малым и большим советом появляется посреднический орган, служащий вначале агентом передачи, потом сорганизовывающийся и обращающийся в свою очередь в юридическую секцию Думы.

Вторая решительная мера, к которой прибегнул молодой царь, имела еще большее значение, более непосредственно храня отпечаток его личности, достоинств и недостатков его ума и характера.

II. Приказ тайных дел

Подобно сыну своему Алексей касался всего. Всегда живое любопытство и неутомимая активность заставляли его осведомляться обо всех делах как больших, так и малых, не интересуясь степенью их важности, и требовать своего участия во всех отправлениях государственной жизни. Но, в противоположность Петру Великому, отличаясь большею чувствительностью и по природе робкий, он боялся действовать прямо так, как тот. Ему стоило больших усилий переносить трения, отвратить какое-либо затруднение при исполнении власти. Мы видели его уже таким в истории с Никоном. Ему было необходимо, каким-либо образом, замаскировать и скрыть в себе то сияние всего его существа, которое боялось всякого хвастливого обнаружения. После долгих поисков он нашел то (точную дату определить трудно), чего искал: это было нечто вроде тайной канцелярии Людовика XV, от которой отличалась лишь тем, что сфера деятельности ее не была ограничена одною областью внешних сношений.

В качестве своих советников государь возил с собою во время своих путешествий и походов целый штат секретарей и писцов, дьяков и поддьяков.

Мало-помалу это передвижное бюро приняло в свою очередь характер постоянной организации, управляемой царем, на этот раз без всякого постороннего вмешательства. В то же время компетенция нового «приказа» постепенно расширялась, прилагаясь все к большему количеству объектов, благодаря скорее обстоятельствам, чем воле государя. То было какое-то странное и протеообразное создание, на которое Татищев смотрел как на инквизиционный стол, а Леклерк, а за ним Левек, Коно и Шеннешо как на «кровавый трибунал». Современные же историки открыли в нем, подобно Костомарову, зародыш будущей тайной полиции или, подобно Медовикову и др., орудие централизации.

Но «приказ тайных дел» не был всем этим. Началом его происхождения можно считать приблизительно 1646 год. Он, конечно, существовал до 1658 года. Однако не видно и намека на его деятельность в полицейских и репрессивных мерах во время мятежей 1662 года или бунта Разина. Эти ошибки в определении его задач объясняются как крайне широкими, подвижными и неопределенными границами, в которых он функционировал, так и окружавшею его всегда тайною. Алексей заключил в нем свой «царский секрет». Он

составил даже собственною рукою условный алфавит для надобностей приказа, но, кажется, сам имел вначале не очень точное понятие о сущности этого учреждения и не знал, какой смысл ему однажды придется в него вложить.

Мало-помалу царь передал туда много дел, но к этому его привела скорее сложная цепь решающих моментов, чем сознанное стремление, а среди них рядом с его темпераментом и его фантазией, на первом плане стояла общая тенденция всех москвитян обращаться предпочтительно «к доброму Богу, чем к его святым» и скорее к государю, чем к его представителям, как бы они ни были авторитетны.

Вот почему пресловутый «кровавый трибунал» занимался в разное время и выпискою из заграницы плодовых деревьев, и возражениями в газетах по поводу их описаний польских побед, и увещанием подданных царя, в том, что совращение в раскол является великим преступлением, и организацией сигнальщиков на случай пожаров, и удовлетворением любознательности государя по части истории, и покупкою попугаев и чижей для царских птичников, и подробностями управления его любимым монастырем.

В то же время приказ вмешивался также во внутреннюю и внешнюю политику, причем царь подписывал ему собственноручно самые широкие дипломатические поручения; но теми же чернилами он пользовался, чтобы составить подробный регламент соколиной охоты.

Разнообразясь таким образом, компетенция приказа являлась двойною: с одной стороны он действовал в качестве независимого органа для дел, известных ему одному, с другой стороны он вмешивался в качестве руководящего органа в функционирование всех канцелярий. Прежде всего он вел личную корреспонденцию царя. Это была довольно значительная обязанность. У Алексея была до такой степени развита страсть к писательству, что он не пропускал ни одной бумаги без того, чтобы не сделать на ней массу пометок и исправлений. И ему случалось переписывать аккуратно работу своих секретарей! Страсть государя к промышленным и земледельческим предприятиям, его любовь к постройкам и его личные удобства доставили Приказу массу дел, взятых у «департамента двора» или у других канцелярий; управление поместьями, фармацевтическую канцелярию (от нее зависела дававшая большие доходы фабрика ликеров), управление развлечениями (с двумя секциями; псовой и соколиной охоты), коммерческое агентство для личных дел царя и т. д.

В один прекрасный день эта груда дел еще увеличилась управлением артиллерией, как и специальною обязанностью раздавать исправленные церковные книги и отделом благотворительности, где Алексей лично занимался отчетом по милостыни, распределяемой по его приказанию. Но это было еще не все. Приказ заведовал личною шкатулкою государя, занимался массою подробностей, относящихся к личным нуждам царя или жизни двора; распределением стражи, путешествиями, религиозными службами. Он управлял и Записным Приказом, генеалогическим и историческим бюро, созданным Алексеем для составления хроники и подготовления истории его династии. Он исполнял также должность интендантства для определенного числа полков, входил в область дипломатическую, военную, полицейскую, финансовую и отправлял множество еще других функций, не поддающихся никакой классификации. Наконец, вне «бюро петиций», игравшего такую значительную роль в функционировании самодержавного режима, служившего для него коррективом и элементом самого строгого контроля, он поглощал большую часть соответствующих текущих дел. Передать жалобу в личные руки царя не являлось теперь, как когда-то, лучшим шансом для ее удовлетворения. Сделать это было

относительно легко, но ненадежная бумага из августейших рук государя рисковала попасть под сукно в «бюро прошений», учреждение, пользовавшееся довольно дурною славою. Передать его в таинственный «приказ тайных дел» было мечтою наибольшего числа заинтересованных лиц, убежденных, что там уже ничто не ускользнет от государя и что там его справедливость сияет таким блеском, что ничто не может ни омрачить ее, ни уничтожить.

Таким образом устроенный приказ тайных дел не мог, очевидно, упустить из своей компетенции, почти полновластной, ведение государственных преступлений и кару за них; но это не было ни его специальным предметом, ни даже главным пунктом его деятельности.

Образ мысли и манера действовать, свойственные Алексею, однако повлияли до такой степени на создание этого органа и на его развитие, что это учреждение не должно было пережить государя. Но расширение личной и абсолютной власти сказалось более прочно в судьбе народных соборов.

III. Русский парламентаризм

Для того чтобы перестать созывать соборы, которые на самом деле явились колыбелью новой династии, отец Петра Великого не был в состоянии вдохновиться ни одним из доводов, побудивших в эту же эпоху французских королей прекратить собрания Генеральных Штатов. По отношению к государю и его правительству московские парламентарии XVII в. подавали всегда пример полной лояльности. С другой стороны, благодаря тому, что примирение противоречий скрывалось в самой основе режима, частью которого являлись эти собрания, принцип божественной власти, воплощенной в личности царя, сам по себе не представлял никакого решительного препятствия такому вмешательству. Одною логикою вещей было сделано это дело. Соборы пережили царствование Алексея, но от первого, в 1548 году, до последнего, в 1693 году, число их созывов является неопределенным, и одно это доказывает, какое небольшое место они занимали в политической жизни страны. Документы как будто указывают на два собора во время Иоанна Грозного, один во время Василия Шуйского, десять во время Михаила и четыре во все долгое царствование его сына. Но эти цифры оспариваются.

Начиная с 1653 года, Алексей стал всячески воздерживаться от этого совещания с общественным мнением, просто потому, что не чувствовал в нем надобности. И отодвинутое таким образом на задний план, национальное представительство стушевалось без сопротивления или видимого сожаления, так как оно со своей стороны не чувствовало ровно никакого желания вернуть права, которыми всегда затруднялось воспользоваться, так как их природа, как и их применение, были лишены точного определения и даже юридического основания.

Обращаясь к народу при тяжелых обстоятельствах, московские цари признавали за ним безусловно частичную суверенность, но они боялись ее определить, и туманность идей, презрение к юридическим формам, являющаяся одною из характерных черт русского ума, позволяли им ограничиться на этот счет областью видимости, демонстраций и фикций, из которых не могло произойти никакое органическое и жизнеспособное учреждение.

Обычная в соборах процедура сама по себе свидетельствует об этом. Мы не видим там и следа разделения голосов, определяющих принятия решения. Они всегда считались единодушными, и это допускает возможность фиктивного вотирования. Согласие собрания

считалось необходимым в известных случаях; как на западе, так и здесь в то время еще не существовало представления о «совещательном голосе». На деле от государя вполне зависело получить это согласие, когда и как ему захочется. А так как совещание теряло таким образом всякий интерес, представители такой призрачной власти, конечно, не интересовались ею.

Созывы обыкновенно производились в случае войны, когда нужны были люди и субсидии. Постепенно, то уменьшая, то уничтожая совершенно необходимость обращения к этой инстанции, – постоянная армия и установление правильного фиска повели к тому, что помощь ее оказалась совершенно бесполезной. А что касается массы народной, то она довольно легко утешилась в этой утрате своего представительства в советах государя, так как этот принцип, как это ни покажется странным, не был здесь никогда популярным.

Одна из народных песен, собранных Рыбниковым, указывает на это. Поляки просят у царя отдать им Смоленск и обещают дать в обмен Китай. Алексей советуется с собором. Говоря от имени бояр, «Астраханский царь» одобряет этот обмен, так как, по его словам, Смоленск польский город. «Эмир Бухарский» – говорит от имени купцов то же самое. Одни солдаты, в лице Даниила Милославского, протестуют. В ответ на это царь велит повесить одного из подавших особое мнение и обезглавить другого, после чего отдает храброму воину главное командование над своим войском.

Такова была идея, которую вкладывали избиратели этой страны в обязанность ими избранных представителей и в их способность принимать на себя бремя общих дел. Но можно ли вообще говорить здесь о каком-либо избирательном режиме? В 1651 году осудили одного воеводу за посылку на Собор двух представителей одного уезда, избранных им же самим. Но всегда ли так соблюдалось уважение к избирательным правам? На деле не существовало никакого закона о созыве и способе выборов, о функциях этих собраний и их компетенции. Правительство их созывало, когда это ему казалось нужным, и составляло их так, как ему нравилось. На Соборе 1648 года фигурировали представители знати и буржуазии, набранные в ста семнадцати уездах, но на Соборе 1642 года мы находим избранников лишь одной знати и притом только от сорока двух уездов. Иногда также представители того или другого класса, присутствовавшие в Москве в момент созыва, занимали исключительно место в собрании.

В шестнадцатом веке в Соборах заседали только избранные или представители слуг государственных. В 1613 году, под давлением момента, в соборе, призывавшем к власти новую династию и старавшемся сделаться с самого начала постоянным, были представлены все классы. Но вскоре потом, устранив от общественной жизни от 85 до 90 % сельского населения, закрепощение крестьян подорвало эту народную базу нарождающегося парламентаризма. Раздавленные в свою очередь все увеличивающимся деспотизмом государства, высшие классы не пытались ни развить в этой сфере какой-либо политический дух, ни добиться в ней какого-либо авторитета. Они были в состоянии лишь швырять шапками в ответ на предложения правительства, критикуя однако при этом часто и в довольно живой форме его мероприятия. Роль их представителей никогда не была, впрочем, точно обозначена, ни подчинена постоянной регламентации, переходя от голоса решающего к голосу чисто совещательному, смотря по тому, действовал ли Собор вместе с Думой или отдельно, а это зависело от обстоятельств, и еще чаще от доброй воли государя. Наконец даже монополизированный этими классами в их интересах избирательный принцип все же противоречил и беспокоил их инстинкт иерархического подчинения и этот институт не

нашел таким образом нигде твердой точки опоры. Основанный на песке, он был осужден на исчезновение.

В самое же последнее время это учреждение получило более благоприятную оценку. После нового изучения этой проблемы я склонен остаться при мнении, первоначально мною высказанном, признавая однако некоторое участие одного, по крайней мере, из созванных Алексеем соборов в законодательной работе страны.

IV. Законодательство

Кодекс 1648 года носит несомненные следы довольно значительной парламентской работы. Но, как я уже указывал, Уложение далеко не исчерпало в эту эпоху законодательной деятельности, которая в интенсивном и непрерывном развитии своем, предвосхищая и подготовляя реформаторскую работу Петра Великого, заимствовала много из других органов. В еще неполной компиляции Corpus juria russici, опубликованной в 1833 году, Сперанский собрал за 1649–1675 г. шестьсот дополнительных законов (указные статьи), триста других за царствование Феодора Алексеевича и еще 625 за 1682–1690 гг. до того момента, когда Петр положил конец регентству Софьи.

Все эти постановления носят по большей части специальный характер. Они являются лишь случайно возникшими законами. Некоторые однако составляют исключение: таков указ 1653 года, устанавливающий единство торговых налогов (Полный Свод Законов, т. I, № 107); Ново-торговый Устав, опубликованный 7 мая 1667 г. (Там же, том I, № 408, ср. Собрание Государственных документов, т. IV, № 55); дополнение 1669 г. к Уголовному Законодательству, изменяющее совершенно XXI и XXII главы Уложения (Полный Свод Законов, т. I, № 431).

Редакция Ново-торгового Устава была вызвана просьбою промышленного и купеческого класса Москвы, жаловавшегося на конкуренцию иностранных купцов и на чрезмерную высоту налогов, но ни эта социальная группа, ни какая другая на этот раз не участвовали в выполнении этой задачи. Главным его творцом был Ордын-Нащокин. Он постарался вложить туда принципы, которые он проводил уже во Пскове в качестве первого воеводы: мелкая торговля была оставлена за местными жителями, крупная запрещена иностранцам между собою, – отсюда принудительное обязательство прибегать в обоих случаях к русским купцам.

Конец семнадцатого века был эпохой ярой борьбы европейских держав, оспаривавших друг у друга монополию торговли на северо-востоке и наследие умирающей Ганзы. За отсутствием портов, где было бы возможно поддерживать борьбу, Москва участвовала в ней запретительными мерами, предназначенными главным образом для прекращения развития шведской торговли и для перенесения европейского торга с балтийских портов в Архангельск. Петру Великому предстояло бросить на весы всю тяжесть армии и победоносного флота.

В ожидании этого, законодатель 1667 года не ограничился лишь одним снисхождением к торгово-промышленным интересам местных жителей в этой специальной области. Законодательство обнимало собою всю массу соответствующих интересов и посредством учреждения особого приказа обеспечило им самую существенную помощь.

Реформа уголовного законодательства была вызвана двумя годами позже гуманитарными соображениями. Главным ее предметом являлось смягчение наказаний. Между тем

сообразно с общим его духом и с законом его развития самодержавный режим дал там и возможность превалировать противоположной тенденции, посредством ощутительного умаления юридической власти избранных магистратур, совершенно уничтоженных в 1702 году.

Следует отметить также очень многочисленные в ту эпоху издания, – Кормчей Книги или Номоканона, собрания памятников греческого церковного права, важная роль которого в образовании русского законодательства уже указана выше. Первое издание 1650 года нашло уже в 1653 году себе прилежного исправителя в лице Никона, которому однако не удалось добиться желаемого. Оказывая полное уважение этому почтенному источнику обычного права, Алексей со своей стороны не поколебался освятить своим авторитетом, по примеру своих предшественников, секуляризацию церковных имуществ. Постепенно высшему клиру и монастырям было воспрещено покупать, брать в аренду или принимать в дар вотчинные поместья, как и заводить промышленный учреждения; крестьяне на монастырских поместьях были обложены налогом; члены клира, занимающееся торговлею, были принуждены платить общую подать; наконец, в 1672 году полное уничтожение всех привилегий (тарханов), ограничило очень существенно увеличение их состояния, которое до того непрерывно и несоразмерно увеличивалось.

Эти меры входили в ту органическую работу, в которой хранились зародыши большой административной реформы, завещанной близкому будущему.

V. Административная организация

Алексею не удалось в этом деле достигнуть каких-либо определенных результатов: оно продолжало пребывать в зачаточном состоянии. В центре удивительно сложного аппарата, в котором он не пытался даже изменить архаическую форму, приспособляемую им хорошо или худо, скорее худо, к постоянно изменявшимся и нараставшим нуждам, находился «приказ двора», плеторический орган, состоящий из шести определенных управлений или «дворов». Самое важное из них, казначейство или Казенный двор, соединяло в себе крайне разнообразные и странные обязанности, как например обязанность одевать массу лиц, которым государь оказывал подобную милость, и его самого. Но эта обязанность исполнялась им не целиком, так как, например, доставка чулок и перчаток для государя и его семьи было делом приказа иностранных дел! Между тем, казна выдавала отрезки сукна и шелка не только боярам при дворе, дворцовым слугам и стрельцам, но еще донским казакам и более чем восемнадцати тысячам членов клира!

От «двора припасов» (Кормчего двора) стол государя требовал три тысячи блюд в день и сто ведер водки от «двора напитков» (Сытейного двора). Деньги для них доставлялись «Приказом большего двора», одним из многочисленных административных бюро. Сорок городов, восемь слобод в Москве, заключавших в себе промышленное население столицы, таможни, имения, арендные монополии питали эту кассу, давая ей около 120 000 рублей в год. От поместьев двора стол государя получал кроме того провизию натурой и более чем на 100 000 рублей напитков в год. Для молока у него было стойло в соседней деревне с 200 коровами, стоившими от 2 до 6 рублей штука. Фрукты двор получал из огромных садов, а виноград или вино из виноградников, устроенных в окрестностях Астрахани одним французом из Пуату.

Администрация страны была распределена между другими приказами, число которых

все увеличивалось от одного конца царства до другого. Департамент иностранных дел очень долго пользовался лишь весьма умеренным значением, был отделением Думы, для которой служил канцелярией. Только с 1669 года после Андруссовского мира, подписанного с Польшею, Ордын-Нащокин, став во главе этого приказа, играл там роль автономного министра, явившись с этих пор настоящим первым русским канцлером. Но, увлеченный общим хаосом, этот приказ также вышел из рамок назначенной ему сферы деятельности и присоединил к себе сначала администрацию «области Новгородской» (Новгородской четверти), т. е. обширных областей Новгорода, Пскова, Нижнего Новгорода, Архангельска, Вологды, потом Малороссии, и в конце концов областей Владимира и Галича.

В этой огромной области управления он отнял, таким образом, без веского к тому повода, компетенцию у тех учреждений, которые должны были бы там правильно функционировать, и в частности: у Приказа поместного, ведавшего поместьями; у разрядного, управлявшего военным и гражданским составом; у бюро ила департамента главной казны (Приказ большой казны), – рода временного министерства торговли; у большего бюро (Большой приказ), – фискального агентства для взимания определенных налогов; у *счетного приказа*, – рода казенной палаты; у *разбойного приказа*, – общего департамента уголовного судопроизводства и у целой массы других.

Увеличение количества этих бюро, среди которых фигурировало еще одно, специально приспособленное для торжественных похорон (Панафидный), поддерживалось и облегчалось общим правилом, регулировавшим их функции, и состоявшим в том, что администраторы, кто бы они ни были, ничего не стоили государству, получая средства существования из тех учреждений, которыми они управляли. Вне двора государство несло только один большой расход на армию, а она, все более и более европеизируясь, становилась все более и более дорогой.

Налагая во время войны чрезвычайные налоги, – до десятой части всего дохода, – эта ненасытная гидра требовала еще и разных других доставок натурою: хлеба, сухарей, конопли и т. п. В мирное время тяглые люди должны были еще содержать стрельцов, воевод, военачальников, с их главными штабами, писарей, сторожей, тюремщиков, палачей, строить дома для того же персонала, судебные избы (так как воеводы исполняли и обязанности судей), тюрьмы и т. д. Они вносили также различные суммы для нужд бюро. Они платили за все и даже за право брать зимою воду из прорубей в реках или прудах.

Они были угнетены налогами и, сверх этого тяжелого бремени, отрывались еще от их профессиональных занятий для обязанностей, которые, поглощая все их время, требовали также большой ответственности: для контроля продажи крепких напитков, монополизированной и реформированной в 1652 году после уничтожения кабаков, по принципам, подобным теперешним, применяемым в этой же стране, для полицейской службы и т. д.

И однако в бюджете был постоянный дефицит. Во многих городах, напр. Новгороде, содержание стрельцов и казаков поглощало собою все доходы. Административный беспорядок отражался на финансовом, и наоборот. Чтобы порешить с тем и с другим, Алексей прибег к мере, достойной похвалы; он взял на себя задачу установить на прочном основании организации всеобщей повинности, которую Петр Великий довел до возможного ее совершенства. Один из указов царя от 1652 года (Полный Свод Законов, т. I, № 86) имел своим предметом подчинить подданных, т. е. за исключением крестьян, купцов и духовенства, – всех, правильному набору, откуда должны были выйти чиновники и солдаты,

причем подданные должны были исполнять безразлично ту или другую роль.

Это был неизбежный конец конституционного милитаризма, царившего при образовании московского государства и, даже в области фиска, определявшего всю политику Алексея.

VI. Фискальный режим

Несмотря на ряд более или менее остроумных комбинаций, вопреки искреннему желанию достигнуть более справедливого и правильного порядка распределения обязанностей, обременяющих плательщиков всякого рода, самою существенною задачею этой политики являлось накормить ненасытное чудовище войны и так или иначе увеличить доходы, получаемые от прямых и косвенных налогов. Такова впрочем во все времена и во всех странах история большей части финансовых реформ.

С 1646 года в мирное время приступили к этой задаче.

Была сделана перепись обложенных домов, ревизия обложений. В результате явилось общее поднятие намеченных расценок, сопровождавшееся в том же году недавно установленным налогом на соль. Это была предупредительная мера ввиду ожидаемого конфликта с Польшею. Страна находилась накануне военных действий. Через шесть лет после того, когда разгорался конфликт, началась целая серия чрезвычайных обложений, идущая от 1654 г. до 1680 г., два раза в виде двадцатой части дохода (пятая деньга), пять раз в виде десятой, один раз в виде пятнадцатой и один раз еще для купцов, в виде рубля с дома.

В то же время предпринятая, ради упрощения, замена большего числа налогов единоличным налогом в 10 % за продажу товаров всякого рода привела к чувствительному увеличению оброка. В 1679 году эта система была распространена и на прямые налоги. Получился аналогичный процесс и с тем же самым результатом. Обобщен был и налог на жилище, и вместе с тем из временного обращен в постоянный, причем с каждого дома или двора приходилось платить 1 руб. 30 коп.

Замена двором сохи, в виде базиса обложения, представляла собой разумную реформу. Имея первоначально реальное содержание, обозначая хозяйство одного крестьянина с тремя рабочими и тремя лошадьми, соха в конце концов получила значение абсолютно фиктивной фискальной единицы. Это был термин, соответствовавший крайне разнообразному количеству земли, смотря по качеству почвы, причем еще другие обложения тяготили собственника и т. д.

В различное время и в различных местах он менялся от 12 до 1 200 четвертей (от 6 до 600 десятин), а одно из обложений, налог на почту, между 1616 и 1640 гг. утроился.

Эта система имела свои хорошие стороны: стремясь уничтожить неправильные привилегии, заменить случайные обложения более или менее правильным обложением продуктов национального труда, она представляла собою несомненный прогресс. Но помимо того, что она, благодаря единству и простоте, непомерно отягощала на деле и так уже невыносимые тягости обложенных ею лиц, в результате ей не удалось устранить все огромные неудобства реформированного режима: беспорядок царил там по-прежнему, и увеличение налогов не приводило к соответствующему увеличению доходов. Фискальному единству противостоял административный разброд, поддерживаемый и даже усиленный в автономных организациях известных областей или групп областей, которые не имели притом того преимущества, что отвечали идее децентрализации, так как управление ими

было централизовано в Москве. Рост народного богатства встретил другое, еще более трудно устранимое препятствие в экономическом и социальном состоянии страны, в этом продукте целого ряда политических, географических и климатологических условий, которые и теперь еще тормозят ее развитие, а тогда особенно угнетали ввиду последствий Смутного времени. В 1680 году нормальный итог налогов и доходов всякого рода не превышал полутора миллиона рублей, около половины которых было обращено на военные нужды.

VII. Экономическая и социальная эволюция

До 1616 года шайки казаков и поляков не переставали грабить даже в центре страны. Их можно было встретить в окрестностях Вологды и Суздаля, Ярославля и Кашина.

В эту эпоху паровые поля значительно превосходили количество обработанной земли. За Москвою, в двадцати уездах, на 196 000 десятин, составлявших поместье Троице-Сергия, весь процент обработанной земли упал между 1614 и 1616 гг. с 37,3 % до 1,8 %, а между 1624 и 1640 гг. увеличился лишь до 22,7 %. Движение земледельческого населения представлено в те же промежутки следующими цифрами, указывающими жилые дома: 3 988–623—1 535. Куда же девались земледельцы, не ответившие на призыв? Они исчезли, убитые или в плену у поляков, но особенно много бежало, ища себе верного убежища в южных степях. И можно себе представить положение собственников больших поместий, обращенных таким образом в пустыри. В 1643 году владелец поместья около Суздаля подает жалобу царю, говоря, что, за недостатком других средств к пропитанию, он просил дозволения поступить на службу в один из монастырей Сергия Троицы, но келарь хотел его взять к себе только в качестве крепостного и после отказа посадил его в тюрьму.

Эта мелочь указана, чтобы дать представление о вопиющей нужде того времени.

Разрушение светской собственности благоприятствовало в некоторой степени процветанию церковной, наоборот, установленному с таким трудом в шестнадцатом веке режиму вотчин и поместий, подчиненных закону о службе, угрожала полная дезорганизация. Под влиянием конфискаций и произвольных назначений различные правительства, следовавшие в Москве одно за другим, ввели хаос в эту даже область, и кроме того сама система потеряла свое равновесие благодаря тому же явленно, которое и в наши дни подрывает все труды реформаторов 1861 года и подтачивает крестьянство, т. е. с увеличением семей участки, которыми наделялись служилые люди, становились недостаточными.

В этой области оба первых Романова стояли перед задачею, которая превосходила меру всякой человеческой силы.

Возвращение населения к оставленным землям было относительно довольно быстрое и сопровождалось даже очень деятельным движением колонизации на еще необработанные земли. Стали производиться распашки, основываться новые деревни, само правительство подавало этому пример громадным предприятием подобного рода, обнимавшим уезды Углича, Ярославля, Бежецка и Новоторжка; оно искало земледельцев даже в шведской Карелии. В Переяславском уезде инвентари указывают в 20 лет (от 1626 до 1646) появление двадцати новых светских поместий или вотчин, тридцати девяти монастырских владений, ста тридцати трех дворов поместных крестьян и трехсот домов бобылей, крестьян без земли или с очень маленьким наделом. Немного позднее, между 1684 и 1686 годами, в Шуйском уезде исчезли совершенно необработанные земли, а в соседних уездах их количество

уменьшилось до 6 и 7 %. Напротив, в ростовском уезде оно еще составляло 63 %.

В то же время, меры, принятые для закрепления перелетного населения деревень, клонили к полному исчезновение бобылей, увеличившихся числом во время смуты и даже превосходивших, местами вдвое, число других крестьян.

Всеобщее увеличение податного населения, с 1620 г. до переписи 1678 года, может считаться даже чрезвычайно быстрым, если принять во внимание обстоятельства того времени. Так, в Московской области, для которой была произведена весьма точная статистическая работа, можно принять увеличение населения в пять или шесть раз. Прогресс этот представляет собою тем более значительное явление, что приток эмиграции к юго-востоку, ускоренный смутою, не только не остановился, но получил новый импульс со стороны политики, принятой обоими первыми Романовыми по отношение к окраинам империи.

В 1646 году была начата систематическая постройка укрепленных городов в областях Белгорода и Симбирска. По ту сторону линии Казань-Путивль, представлявшей в конце века крайний предел ее границ, Москва конца следующего века, раздвигая свои границы, охватила на юге теперешние губернии: Симбирскую, Пензенскую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Харьковскую, простираясь на восток за Каму. И население присоединенных областей не отставало, как это показывает таблица, относящаяся к Белгородскому уезду.

Владений
Владельцев

1626
23
?

1646
35
279

1678
63
1312

В четырнадцати городах уезда число домов с 7 970 в 1677 г. дошло до 14 386 в 1686 г.

Правительственная колонизация, наряду со свободной в виде авангарда, не менее сильно подвинулась на всем протяжении Волги. И, хотя и менее быстро, она развивается также в Сибири, вбирая и там и здесь значительный контингент иностранных элементов, военнопленных или добровольных иммигрантов. В их числе указывают двух немцев и одного француза.

Увеличиваясь численно, население, предназначенное для заселения этой громадной территории, подвергалось с социальной точки зрения глубоким изменениям. Захваченный более всех других классов общим разложением, класс «служилых людей» расшатывался, пропуская в свои разрозненные ряды прилив новых и совершенно чуждых ему элементов. В одном уезде (Сурожский стан) московской области из тридцати семей вотчинных

собственников, упомянутых в инвентарях 1624 и 1625 гг. перепись 1684 и 1685 гг. нашла лишь не более дести. Другие вотчинники люди пришлые, некоторые из них иностранцы, набранные среди наемников новых военных единиц. Общее количество также возросло. Можно даже утверждать, что оно утроилось в течение семнадцатого века, так как в 1681 году число способных носить оружие доходило до 260 000 вместо 80 000, указанных Флетчером в царствование Бориса. Необходимо было однако сделать эту наличность действующей. Качество ее не соответствовало количеству, и в разных уездах в тот же год, из 555 призванных более половины, 231 человек, не появились. Находятся и такие, даже среди родственников царя, которые, желая избежать государственной службы, продают себя или обращаются в крепостных.

Но и класс оброчных страдал одинаково, и красною нитью в его истории семнадцатого века проходит постоянное распадение его членов, переходящих из разряда крестьян в разряд крепостных. Если на западе в ту же самую эпоху, прогрессивное исчезновение рабства допускало еще существование нескольких лиц, подчиненных этому режиму; здесь, где происходил противоположный процесс, в виде исключения, уцелели крестьяне, сохранившее свою свободу. Крестьяне не все сделались холопами. Но случаи продажи крестьян без земли все увеличиваются; не одни дворяне владеют крепостными; несколько купцов пользуются тою же привилегией, и наблюдались случаи, когда одни крепостные принадлежат другим крепостным, пользующимся лучшим положением. Из 888 000 оброчных дворов, список 1678 года насчитывает:

Дворов, принадлежащих крестьянам
или свободным мещанам…….. 92 000 10,4%
Церкви……. 118 000 13,3%
Двору…… 83 000 9,3%
Боярам……. 88 000 10,0%
Дворянам……. 507 000 57,0%
– –
888 000 100,0 %

Постоянно уменьшаясь в течение всего предыдущего века, в отношении как общего размера пространства обработанных земель, так и размера отдельных участков, – косвенная эксплуатация земель посредством крестьян отличается вначале, после восшествия на престол Романовых, тенденцией обратной в обоих этих направлениях. В первой половине XVII века число приведенных в порядок участков увеличивается и с 6 до 6,1 десятины в среднем они доходят до 7 и 9,3 на двор. Позже, благодаря по-видимому беспечности земледельцев и недостатку среди них общего образования, движение останавливается. Под двойною формою оброка и барщины, не являющейся еще крепостничеством, эта система становится негодною. Она не удовлетворяет больше ни одну из заинтересованных сторон: собственники не считают удовлетворительными полученные таким образом результаты, а земледельцы жалуются, – как и надельные крестьяне, при существующем строе – и на качество, и на размер владеемых ими участков.

Аграрная проблема в России, правда в несколько иной форме, чем та, которую она приняла теперь, существовала в России в самые отдаленные времена.

Как и в настоящее время, трудность, чтобы не сказать, невозможность, найти ей

удовлетворительное решение, вытекала по большей части из самого состояния сельской промышленности. Как и теперь, основной ее задачей было взращение злаков. Разведение домашнего скота тогда еще не существовало, а о лесоводстве не могло быть и речи. Как и теперь, всюду царила трехпольная система, при очень незначительном и мало возросшем с тех пор унавоживании. По поводу огородничества в то время мы не имеем никаких сведений, но знаем между тем, что происхождение тех фруктовых садов во Владимире, которые и теперь еще составляют гордость губернии, относится к тому времени, но право эксплуатации принадлежало исключительно короне.

В таком же положении находился и сельскохозяйственный инвентарь. Нигде не было быков, за исключением некоторых больших поместий. Лошади были плохие, маленькие, худые и слабосильные. Едва существовало нисколько конских заводов, из которых в главном, в Александровской Слободе, насчитывалось лишь 217 жеребцов или кобылок, двухлеток и трехлеток. Прогресс техники был в общем ничтожен, несмотря на то, что, не превосходя 16 1/2 % в некоторых областях, прямая эксплуатация полей собственниками доходила в других местах до 90 %, особенно во владениях церкви.

Вообще с землею обходились неумело. А между тем, как и в предшествующем веке, она являлась почти единственным источником дохода в стране, ее единственным продуктивным капиталом. Она должна была удовлетворять всему. Государство удерживало большую часть земли, под видом запасного фонда, вроде того, создания которого ныне требуют некоторые аграрные реформаторы. Этот недвижимый фонд менее пострадал от кризиса начала века, чем монетный запас царя; но вскоре после этого в нем была пробита огромная брешь, благодаря ленам, число которых все увеличивается соответственно количеству одаряемых ими «служилых людей». А государству более чем когда бы то ни было нужны были слуги, кроме того вошло в привычку прибавлять еще наградные к жалованью, которое получал его личный персонал. К концу века, благодаря придворным интригам, целая стая родственников и любимцев набрасывается на добычу, и хищение приняло фантастические размеры.

Вопреки принципу секуляризации, поддерживаемому и развитому благочестивым Алексеем, монастыри также приняли участие в дележе и благодаря щедрости частных лиц и несмотря на всяческие запрещения церковные имущества не подверглись на деле никаким урезкам, а местами даже увеличивались. Особенно в первой половине века им благоприятствовала общая склонность умов видеть Божью кару в испытаниях страны и даже после 1648 года сила привычки восторжествовала над запрещениями со стороны закона. Дарители изобретают всякие уловки и, под видом обмена, иногда благочестивая княгиня получала «десять четвертей» хорошей земли взамен 200 или 250, уступленных ею.

Само государство возмещало свои чрезмерные расходы отчасти результатами конфискаций, впрочем довольно редких в эту эпоху, и гораздо более частыми возвратами земли, благодаря вымиранию большего числа фамилий, имевших большие поместья и вотчины: Шуйских, Мстиславских, Воротынских, Поярских, Морозовых. При вступлении на престол Петра Великого, за вычетом от полутора до двух миллионов десятин, выданных во время двух особенно расточительных периодов от 1612 г. до 1625 г. и от 1680 г. до 1700 г., наследство дома Рюрика было доведено до жалких остатков.

Уменьшившись с другой стороны само собою в течение шестнадцатого века, благодаря последовательным переходам во владение двора или в фонды поместных и вотчинных жалованных земель, собственность оброчная или «черная» так уменьшалась благодаря этому движению, что почти совсем исчезла в области по ту сторону Москвы.

Поместная и вотчинная собственность таким образом увеличилась, но изменила свой характер. Политика последних представителей дома Рюрика стремилась в течение предшествующего века постепенно уменьшить в этой области число белых поместий и уравнять остальных вотчинников в количестве и в природе налогов. В следующий век господствует уже противоположная тенденция. В силу того, что вотчины увеличивались в числе, поместья получали все более существенные черты вотчинной собственности, и такой факт объясняется финансовыми затруднениями разоренного правительства. Побуждаемое постоянною и настоятельною нуждою в деньгах, государство продает угодья, но оно находит покупателей только для тех, которые оно соглашается обратить в вотчины.

В то же время, в силу того же положения, устанавливается обычай давать поместья сыновьям титулованных лиц, у которых казна брала в таком случае какое-либо денежное пособие и тогда наделение землей делается наследственным, по принципу, принятому в 1550 году для избранного числа 1000 *помещиков*, назначенных еще Грозным. Потом стали разрешать помещикам меняться между собою поместьями. Отсюда уже было недалеко до уступки их друг другу или с обязательствами или даром. Стоило только сделать первый шаг в этом направлении и, сначала только терпимый, принцип этот впоследствии получает значение права.

Политические и социальные условия класса «служилых людей», казалось, должны были тогда улучшиться. Но, однако, на деле не получилось ничего подобного, так как ему мешала «служба», унижавшая представителей старой и свободной аристократии до состояния чиновников, находящихся на жаловании. И самая игра поместьями, сделавшихся предметом свободного обмена, отняла у остатков этого класса когда-то могущественного, то, что составляло его силу: земельное положение, из которого он черпал свои материальные и нравственные силы. Большие поместья, сохранившиеся еще в старых княжеских фамилиях, делаются редкостью. Лишенные владений, благодаря конфискациям, или только обедневшие, благодаря войне и смуте, не будучи в состоянии встать на ноги, благодаря обязанностям, налагаемым на них государством, крупные вассалы дома Рюрика уступают место соперникам меньшего размаха: потомкам старого нетитулованного московского боярства, побочным отпрыскам прежде царствовавших домов, представителям фамилий, родственных новой династии, или выскочкам, достигшим положения благодаря милости государя. Но среди этих триумфаторов сегодняшнего дня, одни, как Долгорукие, Репнины, Одоевские, Голицины, Куракины, Трубецкие, возводившие свое происхождение к Рюрику или Гедимину, сами пользовались небольшим состоянием и по тем же причинам все беднели из поколения в поколение; другие, как Романовы младшей ветви, исчезли благодаря вымиранию, а Стрешневы, Милославские, Матвеевы являлись лишь метеорами.

Все переходили из одной области в другую, меняя владения, как гарнизоны. Единственное богатство страны – территориальная собственность, – получает характер движимой собственности: она беспрестанно переходит в другие руки.

Ее продуктивность благодаря этому, очевидно, не увеличилась. А с другой стороны, эксплуатация почвы, которую вели очень неумело и разорительно, ограничивалась лишь ее поверхностью. Но уже проявлялись попытки проникнуть в ее внутренние слои. Начатые еще при Михаиле розыски руды и постройка заводов продолжались и при Алексее при содействии нескольких иностранцев. Начинают эксплуатировать уральские сокровища и между 1666 и 1670 годами были основаны знаменитые Невенские заводы. Получают некоторое распространение и стеклянные, суконные, шелковые фабрики, полученные

вторым Романовым в наследство. Их производство шло лишь на нужды двора, и национальная промышленность не имела к нему никакого отношения. Я вернусь еще к этому вопросу в дальнейшем.

Не лучше было положение и торговли. Один выдающийся экономист этой эпохи, Кильбургер, развивает в предисловии к очень любопытному этюду, посвященному этому вопросу, ту мысль, что, вероятно, сам Бог отнял у жителей московского государства разум, так как они совсем не пользуются огромными, находящимися в их руках, богатствами, и это тем более странно, что они обнаруживают до такой степени любовь к занятиям торговлею, что, по его словам, в Москве гораздо больше лавок, чем в Амстердаме. Немецкий ученый очень метко сравнивает торговлю с птицею, которую держат в руке, причем нельзя ни крепко ее сдавить, чтобы не задушить, ни дать ей слишком много свободы, чтобы она не улетела. Что же касается правительства московского, то оно слишком сдавило эту птицу.

В большей части областей государства как внешняя, так и внутренняя торговля, подобно промышленности, вначале была предметом монополии. Правительство признавало законность жалоб на привилегии, очень выгодные для иностранных купцов. Но под властью неотложных нужд фискального характера, ему приходилось уничтожать одною рукою то, что оно создавало другою. Торговым уставом 1667 года правительство Москвы не успело еще удовлетворить интересы национальной торговли, как оно уже заключает договор с одной армянской компанией, отдавая в ее руки торговлю шелком; а потом с одним голландцем из Гамбурга, Верпоортеном, даровав ему исключительное право сконцентрировать в Архангельске и отправить в Ливорно все производство икры. Из сорока судов, посещавших ежегодно в то время северный порт, десять принадлежали одному судохозяину, за которым было упрочено также и право ловить рыбу на Коле. Один синдикат, образовавшийся в Амстердаме, получил в то же время концессию на эксплуатацию лесов в той же области. Даже речное судоходство между Архангельском и Москвою находилось в руках иностранцев. Когда один московский купец, Лаптев, дерзнул устроить им конкуренцию, довезя до Амстердама небольшой груз, то это вызвало страшную ярость иностранных конкурентов, кричавших о злоупотреблениях, и они выиграли тяжбу.

Почти то же самое мы видим и теперь в той стране. Относительно довольно цветущие в шестнадцатом веке и подававшие большие надежды в будущем промышленность и торговля некоторых сельских центров страдали, с другой стороны, невыносимо от фискальных мер, имевших целью монополизировать эту деятельность в интересах городских тяглых людей. Один указ от 8 мая 1650 года требовал от крестьян исключительного занятия сохою, и теперь мы видим последствия этого удивительного заблуждения, которое, при наличности в стране скудной по большей части почвы и крайне богатой подпочвы в различных областях, направило главные усилия народа исключительно на земледелие.

Местами совершенно особые обстоятельства, слишком неблагодарное качество земли и исключительно благоприятное расположение торговых путей взяли верх над такой неумелой политикой. Так, промышленный центр села Богородского, по соседству с Москвою, уже в семнадцатом столетии получил известное значение, несмотря на свой деревенский характер. Мучная торговля на берегах Клязьмы, добывание дров, угля и каретный промысел в лесистых частях суздальского уезда, – все это находилось еще в руках крестьян. Иконописцы в деревнях той же области пользовались для того времени очень крупною репутацией. В некоторых из этих деревень были богатые крестьяне, и их крайняя зажиточность явилась, по-видимому, благодаря тем же источникам промышленности или

торговли.

В общем оба эти вида производства страдали не менее жестоко от режима, столь противоположного природе вещей. Эти села, по природе своей промышленные и торговые, могли так легко обратиться в богатые города.

Превосходя все окружавшие их города и местечки величиной своей и количеством населения, они представляли собой агломераты скорей городского типа. Но увы! безжалостный и нелепый закон отказывал им в праве жить и развиваться в этом направлении; он ограничивал развитие промышленности и торговли определенными соображениями почти исключительно стратегического характера и оно не находило пищи. Военный аппарат не служил здесь, как на западе, для защиты мирных дел; он служил для того, чтобы создавать условия для их возникновения и развития! И за укрепленными стенами, которые могли только их удушить, но не развить, ремесла прекратились, а обмен должен был свестись к элементарной форме периодических ярмарок и рынков. А кроме того устройство ярмарки или нового рынка требовало еще разрешения центральной власти!

Таким образом ограниченные одною обработкою земли, часто совершенно неплодородною, масса сельских жителей оказалась задавленною как налогами, постоянно увеличивавшимися, несмотря на их бедность, так и крепостничеством, постоянно разраставшимся вширь и вглубь. Сами разоренные, собственники поместий или вотчин не нашли другого исхода, как перенести на крестьян, с согласия государства, всю обременявшую их тяжесть. И в итоге, одновременно с развитием крепостничества, установленная таким образом административная, экономическая и финансовая организация повела к созданию той бюрократии социально-дворянского типа, которая получила свое полное развитие в восемнадцатом и в девятнадцатом веках.

На западе, двумя веками раньше, борьба производительных классов с классом военным окончилась в пользу первых путем освобождения городских коммун, подготовившего собою эмансипацию сельских работников. Города победили, потому что могли воевать.

Но бедные, неспособные извлечь никакой выгоды из привилегии, случайно выпавшей на их долю, города русские не были в состоянии ни сыграть той же роли, ни содержать армию и администрацию. Земля сделалась главным фактором политической и экономической организации, и положение таким образом оказалось обратным. Но, с другой стороны, земля, распределяемая между слугами государства в виде вознаграждения им, являлась орудием политического порабощения, труд отданный этим наемникам для того, чтобы они могли выполнять свою службу, – орудием социального рабства. А лишенные воздуха и хлеба, под призрачной охраною укреплений, налагавших на них лишь тягостное иго, обитатели городских центров завидовали участи деревенских собратий, так как крепостная зависимость не давала им по крайней мере возможности умереть с голоду.

С этой двойной точки зрения великий созидатель, который должен был явиться в ближайшем будущем, должен был найти уже собранные, приготовленные для дела, но очень шаткие материалы для политического и социального творчества. В конце семнадцатого века благосостояние податных классов оказалось скорее в упадке, чем прогрессировавшим. Развитию внутренней колонизации не соответствовала интенсивность культурного развития. Прилежный экономист в сфере своих частных интересов, занявшись интенсивной и разнообразной обработкой своих обширных владений, земледелием, скотоводством, рыбной ловлей, устройством солеварен, каменоломен и железных фабрик, Алексей мало заботился в то же время о развитии духа предприимчивости у своих подданных. Их инициатива,

естественно слишком слабая при их ничтожном умственном развитии, еще сковывалась самой системой дифференциации, примененной к податным классам. Они были разделены на два разряда, и ни промышленность, ни земледелие нисколько не выигрывали от подобного разделения, причем их общим усилиям мешал целый ряд препятствий: беззащитность городов и деревень, отсутствие административной полиции, невозможные пути сообщения.

Секретарь посольства, отправленного в 1676 году императором в Москву, и автор довольно любопытного рапорта по поводу вызвавших его отправку переговоров, Лысек указывает, за время своего девятинедельного пребывания в московской столице, на шесть больших пожаров, уничтоживших более тысячи домов. В то же самое время Алексей, в письме своем из Коломенского к стольнику Матюшкину, говорит, что, путешествуя по московским дорогам, он чуть не сломал себе шею. И ничего не было сделано для улучшения подобного положения вещей. Не существовало ровно никакой администрации дорог, в то время как Кольбер во Франции тратил миллионы на постройку путей сообщения. В Москве был учрежден с 1615 году Ямской приказ, но он только доставлял лошадей для поездок чиновников. Для официальной и частной корреспонденции продолжали пользоваться курьерами. Только в 1665 году была устроена почта для писем, но в двух только направлениях, из Польши и из Курляндии, и только для чисто военных целей. Да и организовал ее иностранец Иоганн ван Сведен.

После мира, заключенного в Андрусове, обмен корреспонденциями между обеими странами сделался предметом определенных переговоров и привел к первой почтовой конвенции, подписанной Россией.

Проявленная неоднократно в борьбе за независимость энергия дала возможность, в первой половине семнадцатого века, встретиться лицом к лицу с непосредственными результатами Смутного времени. Длительные последствия политического режима, в экономическом и социальном отношениях плохо уравновешенного; громадная трата сил на внешние предприятия; вызванные ими военные и финансовые нужды, – все это быстро уничтожило все порывы и создало ту атонию жизненных функций, которая и теперь еще является характерным признаком этой страны.

Законам, управлявшим ее образованием, суждено было, чтобы царствование одного из самых мирных по своей естественной склонности государей прошло в постоянных войнах, сохраняя и даже увеличивая в некоторых отношениях военный характер государства. Алексей не оставил в наследство своей стране ни одного института, упрочивающего ее экономическое благосостояние и ее социальное благополучие. Зато одним из его главных дел было создание армии и флота.

VIII. Военная реформа

После Смоленской катастрофы было распущено пять иностранных полков, набранных для польской войны. Между тем совсем не думали исключить совершенно этот экзотический элемент из военной организации, так как он единственный казался способным ввести в нее принципы современной техники. Было лишь предположено пользоваться им несколько иначе. Не доказав своей большой ценности под командою несчастного Шеина, московские контингенты войск, обученные по-европейски и находившиеся под управлением иностранных офицеров и унтер-офицеров, – шесть полков

пехоты, полк рейтаров, полк драгун – никогда по крайней мере не бунтовали. Тогда было решено развить эти смешанные группы. Конец тридцатилетней войны выбросил за борт многочисленные ряды опытных солдат в Польше, Германии и Англии. Во всех европейских центрах рекрутского набора офицеры всех чинов бедствовали сотнями, выпрашивая, как милостыни, какого-либо занятия. Одним движением руки можно было заставить их немедленно явиться на зов со всеми их преимуществами в области знаний и приобретенного опыта, с их вкусом к боевой жизни и к приключениям.

Таким-то путем Москва приобрела для себя некоторых из будущих полководцев и фаворитов Петра Великого: Гордонов, Брюсов, Лефортов, со значительным числом их подчиненных, капралов-инструкторов, артиллеристов, военных врачей; их насчитывалось одно время до 8000 чел. Но среди них не было ни одной особенно выдающейся личности. В 1659 году лорд Чарльс Эргарт, губернатор Оксфорда и начальник всей английской кавалерии, предлагал свои услуги… Но он был слишком требователен, просил для себя звания по меньшей мере генералиссимуса, права назначения всех чинов, и слишком обширной юридической власти. Алексей не мог однако удержаться, чтобы не завести сношений с этим гордым англичанином, но из этого ничего не вышло.

Среди набранных таким образом офицеров, среди этого рассадника лиц экзотического происхождения, занимающих еще и теперь довольно значительное место в административной и военной иерархии страны, многие прибывали на место со своими женами и детьми. Другие женились в московском государстве, давая начало целому ряду фамилий уже русифицированных в следующем веке. Некоторые из вновь прибывших принимали даже православие, как, например, полковник Александр Лесли и генерал Корнелиус ван Букговен, тесть Гордона.

За этою реорганизацией следовало и военное законодательство. При Василии Шуйском и Михаиле Феодоровиче был уже опубликован первый свод из 663 статей, заимствованных из лучших иностранных кодексов. Алексей обнародовал в придачу к нему в 1647 году другой, элементы которого были приготовлены еще в царствование его отца и представляли собой лишь заимствование из труда Леонарда Фронсберга под названием «Регламент Карла Пятого». Это произведение было снабжено картами (чертежами), продававшимися отдельно, «чтобы каждый солдат мог их купить и носить с собою в поход». Это пожелание, хотя и немного наивное, как известно, долго не осуществлялось.

Затем последовала целая масса дополнительных распоряжений, обнимавших собою военные обзоры, дисциплину, новые формации и пр. Алексей, хотя и был плохим солдатом, но охотно присутствовал на учениях своих войск и его часто можно было видеть на Девичьем поле, этом московском Марсовом поле.

Между тем эти образования, как древние, так и новые, сближенные с европейским типом, не имели еще характера постоянной армии. Пехота и кавалерия регулярного состава созывалась в мирное время лишь осенью, или только в начале зимы, после окончания полевых работ. Их вооружение, частью доставляемое самими солдатами, было неудовлетворительно и не отличалось однообразием. Полки, набранные и обученными европейцами, составляли лишь мелкое ядро в массе архаических составов: стрельцов, казаков, «служилых людей», всякого сброда, который увеличивался еще во время войны отрядами татар, мордвы, черемисов, башкиров, калмыков и других инородцев. Обычный беспорядок в этих шайках влиял на состав регулярных войск, умаляя их ценность.

С другой стороны, в отношении техники, несмотря на заимствования, сделанные

непосредственно или из военной литературы Запада и несмотря на то, что в царствование сына Алексея переводили и распространяли книгу Плювинеля, старое московское государство отставало от других постоянно на несколько веков. Восходя к эпохе Карла Пятого, эти опыты европеизации совершенно не считались с прогрессом, введенным в военное искусство Густавом Адольфом. Вот каким образом вместе с орудием, которое должно было дать ему победу, Петр Великий получил в наследство от отца также и причину своих первых поражений; и тот из соратников Алексея, Ордын-Нащокин, который всюду вмешивался, подобно своему государю, и имел обо всем наиболее правильное представление, предвидел этот результат. Не от него зависело, что Россия не получила к этому времени армии и даже флота, которые более соответствовали бы ее положению в мире.

IX. Создание флота

Петр Великий считается обыкновенно создателем русского флота. Как в большинстве случаев, где его гению суждено было напечатлеть такие глубокие следы, он между тем только следовал в этом смысле по пути, уже начертанному его предшественниками, и развивал лишь, часто неожиданно и неумеренно, ту программу, которая до него была намечена и даже частью приведена в исполнение. Ему суждено было стать великим выполнителем, а его темперамент вносил в эту задачу больше излишнего увлечения, чем мудрой предусмотрительности.

В царствование Алексея Москва, отодвинутая от Балтийского моря Столбовским миром (1617 год) и оставшаяся лишь при обледеневшем береге северных морей, казалось, должна была отказаться от всякого честолюбия в этой области. Но, в силу парадоксального характера ее исторической эволюции, она совершенно неожиданным образом избежала такого исхода и уничтожила всю прозорливость Густава Адольфа. У швейцарского адмирала были предки в этой стране.

В эпоху новых конфликтов со Швецией, когда армия Алексея заняла большую часть Ливонии, Ордын-Нащокин, управлявший покоренными областями, задумал построить на Двине целую флотилию плоскодонных судов для подвоза подкреплений и провианта. Это нововведение оказало большие услуги в этом отношении, и после задуманного плана взятия Риги оно должно было дать основание флоту на Балтийском море. Но Рига не была взята и, после того как Швеции был отдан, вопреки желанию Нащокина, весь соседний берег, Кардисский мир (в 1661 г.) рассеял этот прекрасный сон.

Алексей однако не пришел от этого в замешательство. В общих взглядах, если не в мелочах, он владел в высокой степени тою чертою нравственного характера, которую мы встречали уже среди качеств его расы, – огромною добродетелью, или страшным недостатком смотря по обстоятельствам: он был упрям. Раз задуманная идея развернуть русский флаг где-нибудь на соленых водах не уходила уже из его ума. За недостатком собственного порта, он задумал воспользоваться иностранным, заведя по этому поводу переговоры с герцогом Курляндии. Потерпев неудачу, он кинулся к Каспийскому морю, задумав обратить во флот суда, которые охраняли бы торговлю его подданных с Персией, и открыли бы им рынки Малой Азии и Индии, предмет отъявленного соперничества между англичанами и голландцами.

Эта мысль явилась у него не впервые. В царствование Михаила Феодоровича, в 1635 году,

один голштинский мастер, употребив в дело московских плотников, построил уже в Нижнем Новгороде целое судно – Фридрих, – которое по Волге добралось до южного моря, но тотчас же затонуло у берегов Дагестана. Этот опыт не обескуражил царя; неудачное судно должно было лишь послужить моделью для предположенных теперь построек. Ордын-Нащокину было поручено общее руководство предприятием, с Полуектовым в качестве главного техника. Так как голштинец оказался на высоте положения, обратились к Голландии, откуда в 1667 году Ван-Сведен привез с собою целую партию судовых рабочих с мастером Ван-Гольдтом во главе.

Село Дединово на Оке по соседству с Коломною, славившееся своими отличными плотниками, было намечено на этот раз для устройства там верфи. В ее распоряжении были отданы леса в вяземском и коломенском уездах и тульские литейни, и уже в сентябре 1668 года была готова к отправлению первая эскадра, состоявшая из одного корабля – Орла, о котором мы уже говорили, – из яхты, двух шлюпок и одного челнока. Орел имел в длину 80 футов, а в ширину 21 ф.; дно его было глубиною в 5 ф. На нем было 22 пушки. Прибыв из Амстердама с 14 человеками экипажа, капитан Давид Бутлер, принял главное начальство над новою эскадрою.

Между прочим отправка ее в путь задержалась из-за непогоды, и только в конце 1669 года, ценою также огромных усилий, «царский флот» был доставлен к якорной стоянке на Астраханском рейде. Он стоил 9021 рубль. Это было очень дешево, но, увы, имея целью уничтожить пиратов, эта попытка как раз совпала с выступлением на сцену Стеньки Разина, и в следующем году «Орел» и его эскадра были сожжены по приказу атамана. Алексей в этом отношении смог завещать своему сыну лишь память и пример такого предприятия. Мы знаем, что это оказалось достаточным, и самая попытка, хотя и несчастливо окончившаяся при самом ее начале, покрыла бы славою второго Романова, если бы по своему авантюристскому и химерическому характеру она не создала в итоге обманчивую иллюзию, в силу которой русский флот и был основан отчасти несколько лет спустя и которой он не перестает жить с тех пор.

Алексей однако оставил в наследство и другие залоги будущего, менее случайные, о которых частью уже упоминалось в этом томе и на которые будет еще обращено в дальнейшем внимание читателя.

Глава седьмая

Внешняя политика

I. Московская дипломатия

Внешняя политика первых Романовых была еще главным образом направлена на восток, на поле действия, где она приобретает совершенно особенный характер. Вековые распри с ее непосредственными соседями европейского запада, с Польшей и Швецией, составляют исключение. Они приобретают в эту эпоху такое важное значение, что нам показалось необходимым посвятить им несколько отдельных глав во второй части этой книги. Представляя собой лишь рекогносцировку неизвестных земель, смелые попытки или робкие нащупывания почвы, другие сношения Москвы семнадцатого века с западом требуют только общего обозрения, для которого совершенно достаточно этой главы.

С середины предшествующего века московские дипломаты объехали все столицы западного континента, и англомания стала в Москве играть значительную роль, вторгаясь даже в частную жизнь Грозного. Но из этого не создалось однако никакой близости. Этому мешали различные препятствия, среди которых следует поставить в первую голову обоюдное незнание взаимного положения. Сведения, собранные в Москве по поводу иноземных стран и совершавшихся в них событий, печатались в газете, носившей название Куранты, – от латинского слова currens, – общее и для многих газет, издававшихся в Германии, Голландии и Польше. Но, издаваясь в департаменте иностранных дел (Посольском приказе или в канцелярии посланников) в количестве двадцати номеров в год, бюллетень этот оставлял желать много как по точности, так и по быстроте сообщений.

Посланный в 1656 году в Италию стольник Чемоданов узнал, прибыв по назначению, что «герцог Франциск», к которому были адресованы его верительные грамоты, уже имел третьего преемника! Через десять лет Потемкин, отправляясь в Испанию, узнал, что собирался также обратиться к королю Филиппу IV, который умер два года тому назад!

Эти посланцы были, впрочем, по большей части новички, совсем не знавшие ни обычаев, ни приличий тех стран, которые они посещали, но очень старавшиеся ввести там чисто кремлевский ритуал. Очень пунктуальные в области этикета, они расточают излишние проявления почтения, требуя при этом выполнения таковых и с другой стороны, что им удается с трудом. Во Флоренции Чемоданов и его помощник, дьяк Постников, падают ниц перед государем и целуют ему ноги, после чего они считают себя обиженными когда, при произнесении имени царя, герцог не отвечает никаким жестом, который имел бы такое же значение.

Беря с собою чрезмерно большую свиту, все они попадают в затруднительное положение, не зная, чем им ее содержать. Так как в Москве был обычай содержать иностранные посольства, они требовали того же от иностранцев. Если же им это удавалось, они никогда не оставались довольны. В Кенигсберге в 1656 году Нестеров был близок к тому, чтобы швырнуть под стол стоявший на нем сервис, так как он не казался ему достаточно объемистым. Эти путешественники не берут даже с собою никакого запаса карманных

денег, ничего кроме товаров. Они должны были продавать их для царя, беря себе жалованье из барышей. В Ливорно Чемоданов выкрутился, продав выгодно шестьдесят окороков! Но потом покупатели заупрямились, так как флорентийцам пришлись не по вкусу произведения «veramente bruttissime» иноземного колбасника, ввиду чего Чемоданову пришлось выпрашивать у герцога милостыню в 100 дукатов, которые были ему даны с обязательством воздержаться от нового выпрашивания на итальянской территории.

Никто из этих посланцев не знал языка, на котором говорили в странах ими посещаемых, но при посещениях этих господ такая неловкость являлась еще наименьшим злом. Великолепно одетые, покрытые золотой парчой, они в то же время были отвратительно грязны. В наши дни русские мужики ходят в баню всякую субботу, но меняют рубаху лишь раз в год. Посланцы Алексея следовали тому же правилу, прибавляя к тому другие привычки, еще более отталкивающие для утонченного уже вкуса тогдашних итальянцев. В Ливорно после отъезда Чемоданова и его спутников пришлось дезинфицировать комнаты, которые они занимали в доме губернатора, и все же в них долго оставался отвратительный запах гостей, несмотря на всю кратковременность их пребывании. Губернатор счел поэтому своей обязанностью попросить своих гостей явиться во Флоренции con manco cattivo odore che sia possibile.

Этим посетителям приходилось оставлять после себя еще более неприятные воспоминания. В Кенигсберге Нестеров не останавливался перед тем, чтобы насильно хватать дочек рыбаков для танцев и для других гораздо менее невинных удовольствий. Нескольким евреям было поручено доставить ему «прачек», которых он не употреблял конечно для заполнения отсутствующей прачечной. Очень привязанный к приютившей его стране, склонный к снисходительности, хорват Крыжанич удостоверяет, какое плачевное впечатление производили заграницей эти горе-дипломаты.

Только в 1672 году в Берлине и Дрездене, в Вене и в Риме московская дипломатия приняла другой облик, благодаря появлению на сцене первого представителя блестящей плеяды, среди которой должны были позже прославиться Нессельроде и Капо Д'Истрия. Для того чтобы поднять эту службу до европейского уровня, великая северная империя должна была прибегнуть к тому же способу, каким рекрутировалось ее войско. Человек высокой культуры и изящных манер, говорящий бегло по-латыни и по-французски, одетый по последней моде, т. е. по-французски, шотландец Павел Менциес де Питфодельс придал наконец поручениям, которые были ему доверены, достойный тон и корректный стиль.

Между тем, по крайнем мере, для сношений с Польшей и Швецией, Алексею удалось найти среди окружавших его соотечественников человека, способного померяться и не без успеха с противниками, придать больше гибкости и размаха самому органу, так плохо до сих пор обслуживавшему внешние интересы своей страны. Этот орган было необходимо пересоздать во всех отношениях. Афанасию Леонтьевичу Ордын-Нащокину принадлежит честь указания по крайней мере плана этой реорганизации и доставления ему первых ее элементов.

II. «Первый русский канцлер»

Как и все приказы, посольский представлял собой также бесформенный механизм, в котором отсутствовали совершенно единство и связь. Функции выполнялись беспорядочно по многочисленным бюро, наполненным бесчисленным количеством чиновников, работой

которых никто не руководил. До Ордын-Нащокина не существовал пост главного директора. Он первый стал выполнять эту роль и только к концу своей службы, приняв также титул «хранителя большой печати», чем становился – и притом он первым – на практике канцлером. До тех пор эта обширная служба, казалось, носила коллегиальный характер, к которому чувствовал потом пристрастие даже сам Петр Великий. Но созданию этого поста предшествовало такое положение вещей, когда благодаря лишь одной интеллигентности и огромной энергии Афанасий Леонтьевич сумел взять в свои руки или по крайней мере подчинить своему контролю большую часть дел, доказав этим полезность и возможность централизующего и координирующего аппарата, в то время еще отсутствовавшего.

Этот энергичный человек не был знатного происхождения. Его семью считали позже выходцами из Италии, и некоторые люди объясняли этим его дипломатическую ловкость, доходившую до виртуозности, что не раз доказывал на деле этот творец Андрусовского перемирия. Но эта генеалогия не достоверна. Многим русским в эту эпоху нравилось искать заграницей своих проблематических предков и заходить даже в седую древность самых отдаленных стран. Фамилия Афанасия Леонтьевича во всяком случае занимала очень скромное положение. Имя состояло из двух частей, с честью, но скорее довольно темным образом приобретенных на полях битв, где один из предков псевдо-канцлера начальствовал вспомогательным отрядом татар (ордой), а другой получил шрам на щеке (нащока).

Простой псковский дворянин, будущий начальник департамента внешних дел принимал в 1650 году участие в событиях, волновавших этот город, причем ему удалось выдвинуться в них с выгодной стороны. Уполномоченный князем Хованским для переговоров с возмутившимися крестьянами, потом назначенный в 1676 г. воеводой Кокенгаузена, в соседней Ливонии, все время борясь с отчаянным мужеством на этом боевом посту против беды, он победил ее, утвердил управление этой спорной области и в то же время начертал для своей страны план реформ, который должен был позже осуществить Петр Великий: полную реорганизацию армии и замену милиции правильными отрядами пехоты и кавалерии, для получения необходимых средств на этот предмета развитие продуктивных сил страны, земледелия, торговли, промышленности, а как условие их прогресса – самую широкую автономию для производителей…

То была прекрасная мечта, и Ордын-Нащокин мог только отчасти, в качестве псковского воеводы, осуществить ее на деле. Главным полем его действий была дипломатия. Достигнув звания боярина и прикомандированный к князю Ивану Прозоровскому для переговоров со шведами, он овладевает всем делом, сносится непосредственно с царем и получает от него тайные инструкции, которые выполняет единолично. Он одновременно дает отпор своим противникам и своим начальникам. Последние обращаются с ним свысока и оспаривают все его действия. Не желая уступить, он просит и получает отставку, но его карьера уже сделана. Он не мог помешать гибельному исходу дипломатической кампании, в которой, из-за ненависти к нему, Прозоровский завел игру со шведами, занявшими к тому же более сильную военную позицию, но зато приобрел себе доверие государя и сумел сохранить его надолго.

Уполномоченный выполнять другие поручения и находясь очень часто далеко от Москвы, где его многочисленные враги пользовались его отсутствием, чтобы поколебать его положение, он однако мало-помалу сумел приобрести такое доверие, что оказался вне соперничества, а затем подчинил себе свое номинальное начальство. Это был горячо преданный и убежденный человек, что является хорошим средством и непременным

условием для достижения авторитета. Он был также человек авторитарный. В своей переписке с Алексеем, он преувеличивал унизительность выражений, называл себя уменьшительным народным именем «Афанаськи», подчеркивая по примеру большего числа соотечественников, занимавших даже более высокое положение, низость своего происхождения, он показывает вид, будто может действовать, даже думать только по указанию государя; говорит, что он является лишь послушным выразителем его высокой воли, или верным истолкователем его неизреченной мудрости, но под покровом этой притворной лести он неуклонно и упорно преследовал торжество своих идей и осуществление чисто личных планов.

Выставляя себя твердым и горячим защитником самодержавного принципа, Нащокин старается, – и ему часто удается это, – поставить самодержца в зависимое положение. Он заменяет его собою, стараясь при этом показать вид, что желает стушеваться. Причем каждый раз дает жестоко почувствовать своим противникам то бесспорное влияние, которым он обязан подобному маневру. В борьбе с ними он пользуется всяким орудием и умеет при этом даже использовать неизвестность своего происхождения. Сделав из него то, чем он стал, государь не мог ведь не защищать дело своих рук.

Ему везло таким образом до Андрусовского договора (1667 г.), покрывшего его славою, но поведшего однако к падению его карьеры. Когда положение стало трудным, благодаря новой удаче польской армии ему удалось добиться того, что в ключе к спорным пунктам Украины, в Киеве, хотя и уступленном полякам, оставался в течение двух лет московский гарнизон. Нащокин предвидел, что по истечении этого срока обстоятельства позволят не считаться с подписанным договором. Этот план был выполнен; но так как отсюда вытекали некоторые затруднения с Польшею, противники Нащокина удвоили интриги. Чувствуя, что из его рук ускользает нить переговоров, он просит в 1671 году отставки и годом позже мы видим его замещенным в департаменте внешних дел новым любимцем царя, Артамоном Матвеевым.

И это больше, чем немилость. Афанасий Леонтьевич не из тех людей, которые мирятся, с падением своего положения. Свергнутый с высоты, которой он достиг, он старается стушеваться. Проходит еще несколько месяцев, и мы его видим снова в Пскове в черной одежде монаха. Конец довольно неожиданный для дипломата семнадцатого века, даже в Москве. Но передовой в политическом отношении, по крайней мере, в своих замыслах и желаниях, – в нравственном отношении этот предшественник Петра Великого принадлежал прошедшему. Он сохранил еще его живую веру и его обычаи.

Внешние влияния также были, кажется, не чужды этому преждевременному концу. Ордын-Нащокин был приверженцем англичан против голландцев, которых преданный друг Матвеева, Богдан Хитрово, поддерживал своим довольно прочным положением в интимном кругу друзей Алексея. Эго соперничество, правда, скорее торговое, чем политическое, тем не менее играло немалую роль в истории изучаемой нами эпохи.

III. Англо-голландское соперничество

Революция 1648 года и особенно смерть Карла I не могли не внести некоторое охлаждение в отношениях Москвы с Англией. Этим охлаждением сумела очень искусно воспользоваться Голландия. Посланный в 1745 году в Лондон с вестью о вступлении на престол нового царя, курьер Герасим Дохтуров был немало удивлен, узнав, что короля нет в

столице и что «не известно, где он». По его возвращении было решено отнять у этих мало осведомленных островитян свободу торговли, которой они пользовались, и благодаря этому произошел форменный перерыв сношений на несколько лет. Москва вступала в сношения лишь с Карлом II и даже оказала ему некоторую денежную помощь.

Прибыв в 1654 году, чтобы объявить от имени Кромвеля о захвате им власти и просить о возобновлении прежних привилегий, дарованных его соотечественникам, Вильям Придо встретил самый нелюбезный прием, причем ему заявили, что польская война не дает возможности царю заниматься коммерческими делами. Посланец между тем узнал, что голландцы в это время от нее вовсе не страдали, а тем более Хитрово, прекрасно умевший ценить голландские экю.

Начиная с 1660 года, Москва имела в Нидерландах даже постоянного посла, причем первым на этом посту был англичанин Джон Гебдон, ревностный сторонник Карла II. Обычай постоянного представительства стал общим в это время в сношениях московского правительства со странами запада. Обмен агентами подобного рода с Польшею состоялся лишь в 1673 году, но уже с 1655 года Павел Алепский указывает на присутствие в Москве консулов Англии, Нидерландов и Швеции.

Посредничество Монка, как это показалось вначале, должно было распространить до отдаленного севера новое влияние в пользу английских интересов. Москва поспешно послала поздравление новому королю, причем ее представитель, князь Петр Прозоровский, был принят в Лондоне с большими почестями и вернул даже без труда все авансы, выданные Карлу II в период революционного кризиса. Но он потребовал большего, не менее «десяти тысяч пудов экю», причем обязался возвратить их московскими товарами. Карл извинился временной скудостью своей казны, обещал позже разделить с царем все, «что он будет иметь» и взамен потребовал со своей стороны того, чего не мог добиться Придо.

Сделка не состоялась, а попытка Прозоровского начать переговоры с английскими купцами о крупном займе не имела большего успеха. Поэтому в 1664 году граф Карлейль был уполномочен завязать с Москвою прерванное «полюбовное соглашение». Он сильно потратился, взяв с собою жену и детей с целью произвести лучшее впечатление на жителей московского государства, и сделал это довольно героически ввиду трудностей, даже опасностей, встречаемых еще западными путешественниками на пути из Архангельска в столицу царей.

Но голландцы, поддержанные Хитрово, были настороже. Продавая те же товары дешевле англичан, уплачивая в кассу государя пошлину в 15 % со всех ввозимых и вывозимых товаров, особенно же щедро вознаграждая влиятельных лиц при дворе, с тем, чтобы они работали им на руку, они сумели отлично устроиться. Карлейлю поставили на вид, что Английская компания, пользовавшаяся привилегиями, замешана была в революции, жертвою которой был Карл I; что через некоего Луку Найтингеля король сам выразил желание, чтобы ее лишили ее привилегий и что отказать людям в том, чего они просят, не есть лучшее средство заставить их сочувствовать себе.

Найтингель был, по-видимому, авантюристом и обманщиком и Карлейлю нетрудно было убедиться, что в нем сомневались даже в Кремле. «Десять тысяч пудов экю» была такая сумма, которую нельзя было и думать получить от какого-либо из европейских дворов, и благородный лорд легко убедился, что эти шаткие аргументы служат лишь для замаскирования настоящих мотивов встретившихся ему затруднений. Препятствия были не таковы, чтобы он не мог их победить, но, как большинство его соотечественников, этот

мужественный человек не отличался никакой гибкостью; он дал это заметить, ответив на некоторые нелюбезные поступки еще менее любезными, и уехал, не скрывая своего раздражения.

За ним послали стольника Дашкова с объяснениями, но ими не удовлетворились. В 1666 году Англия вела войну с Нидерландами. В это время было сообщено в Лондон, что голландцам запрещается вывозить из Архангельска военный провиант. Начиная тогда в Москве свою блестящую карьеру, шотландец Гордон оказался очень пригодным для этого поручения и, снова вступив на государственную службу, Джон Гебдон, в 1667 году принялся сглаживать дурное впечатление, оставленное Карлейлем. Наконец официальное назначение Нащокина на пост управляющего Посольским Приказом положило конец голландской гегемонии и влиянию Хитрово.

Но Афанасий Леонтьевич относился враждебно даже к самому принципу всякой коммерческой монополии для иностранцев, кто бы они ни были. Как в политическом, так и в экономическом отношении, он мечтал для своей страны об общей системе дипломатических комбинаций, которая позволила бы ей войти на равных правах в концерт европейских держав.

Под предлогом мирного трактата, подписанного с Польшею, и ряда извещений по поводу его более или менее заинтересованных в окончании конфликта дворов, он мечтал вырваться из этого заколдованного круга англо-голландских отношений, и 25 августа 1647 года стольник Петр Потемкин вместе с дьяком Румянцевым отплыли из Архангельска. На зафрахтованном по этому случаю судне был груз икры для портов Италии, но посольство должно было посетить Испанию и Францию и заключить с этими странами коммерческие договоры.

IV. Первые посольства во Франции

Эта миссия достигла Кадикса только в первых числах декабря и испытала ряд разочарований. В Мадриде Потемкину удалось лишь добиться обещания обмена послами, которым не суждено было никогда получить назначение. Прибыв в 1668 г. в июне на французскую границу, московские посланники взволновали население и привели в смущение местные власти: ими не было получено ровно никаких инструкций по поводу этих посетителей, которые претендовали на полное содержание. В Байонне, заказав обед в девять блюд, согласно приведенным нами выше обычаями во вкусе Пантагрюеля, Потемкин пришел в негодование, когда ему подали счет в 50 экю.

Его удивление и гнев еще более увеличились, когда ему сообщили, что он обязан заплатить за право провоза находившихся в его багаже товаров. Тогда еще не был изобретен дипломатически саквояж, и – заявили ему – так же обходятся с самим королем, когда он проезжает Байонну.

Посланник позже получил обратно все деньги, которые ему пришлось уплатить. Но, находя жизнь в гостинице очень дорогою, он решил жить на открытом поле, и его палатка из затканного шелка, по персидской моде, возбуждала всеобщее любопытство. Потом были получены инструкции от французского правительства, и в Бордо, Пуатье, Блуа и Орлеане его приняли уже с почестями, соответствовавшими его рангу. Но переводчики, сопровождавшие его, не знали ни слова по-французски, и пришлось прибегнуть к помощи одного поляка, Урбановского, встретившегося с ними очень кстати в Париже и имевшего раньше случай

познакомиться с Потемкиным в Польше.

В Париже посольство было помещено в доме, предназначенном для чрезвычайных миссий и 25 августа 1668 г. оно получило торжественную аудиенцию у короля в Сен-Жермене.

Прием со стороны Его Величества превзошел всякие ожидания москвитян, и королева, присутствуя инкогнито при приеме с большой свитой дам, возбудила их удивление тем, что показывалась иностранцам и совсем не пряталась от их взглядов. Поднеся Людовику XIV дорогую саблю и груз соболей и горностаев, все время пользуясь услугами неизбежного Урбановского, Потемкин виделся с Вильруа, Лионном и Кольбером, но не имел достаточно полномочий отвечать на все сделанные ему предложения.

Франция была склонна заключить договор на основании полной взаимной свободы торговли с оплатой обычных сборов; но, позволяя москвитянам свободно исповедывать свою веру и даже уступая им привилегию автономной юрисдикции, она требовала доступа на персидские рынки чрез московскую территорию и половинного обложения пошлинами, как это было раньше с англичанами. Так как инструкции, данные Нащокиным посланцам царя, не предвидели ничего подобного, то, как и из Испании, посольство должно было отправиться обратно в Москву, куда не спешили приехать и послы французского короля.

Совершив, по примеру своих товарищей, несколько неприличных выходок, Потемкин сам способствовал вероятно этой задержке. К его личности был прикомандирован один дворянин, по имени Кате, который красноречиво свидетельствует об этом в дополнении к дневнику посольства. Мы читаем у него следующее: «Вечером того же дня ужинали лишь наполовину, так как посланник разгневался на одного из своих дворян, ужинавших с ним и, чувствуя необходимость расправиться с ним на свободе ударами палки, поднялся со стола, пригласил всех выйти из комнаты и удовлетворил свое желание».

Потемкину пришлось однако вернуться во Францию. В 1681 году он опять увидел блеск двора великого короля, без сомнения показавшийся ему чрезвычайным, так как на этот раз до отправления в Сен-Жермен, в сопровождении маршала д'Эстрэ, он позвал своего духовника и стал молиться. У порога дворца он почувствовал опять необходимость призвать к себе на помощь небесные силы, повторяя громким голосом «Отче наш» и читая псалмы. Людовик XIV выказал во всем блеске свою вежливость, но Его Величество решило ограничить для нескольких лиц честь поцеловать ему руку, а посланник требовал это преимущество для всех москвитян, находившихся в его многочисленной свите. Дорогие соболи фигурировали, как и раньше, в обязательном обмене подарками, а щедрость Людовика XIV высказалась в поднесении своего портрета, уложенного в ящик, украшенного алмазами, вместе с двумя кусками златотканной материи и тремя коврами. Но отправление посольства в Москву все еще было отсрочено и инструкции, данная Кольбером де Круаси одному подчиненному агенту, долженствовавшему заменить его, передавала довольно точно, хотя и плохим языком, тайную мысль его правительства, которое не было склонно установить дружественные сношения между двумя странами.

«Нравы и традиции французов, говорилось в ней, настолько отличны от нравов и обычаев этой нации, что невозможно рассчитывать на продолжительность сношений между этими двумя народами и потому означенный торговый договор неизбежно исчез бы сам собою».

С этой стороны соотечественники Потемкина были осуждены, на довольно долгое время, на неблагодарную роль тех, кто стучится и кому не открывается дверь. В других

местах, впрочем, они встретили в это время гораздо менее нелюбезный прием. Предприимчивый и авантюристский дух великих итальянцев пятнадцатого и шестнадцатого веков, унаследованный и потомками, доставил подданным Алексея на берегах Средиземного и Адриатического морей более благоприятный прием, и в частности Венеция в своей борьбе с турками должна была искать на отдаленном северо-востоке большего, чем простой возможности прибыльной торговли.

V. Сношения с Италией

К несчастию, принципиально соглашаясь на коммерческий и политический союз, обе стороны не могли столковаться насчет условий. В 1656 году Венеция думала получить против своих страшных противников помощь донских казаков. В ответ на эти просьбы стольнику Чемоданову и дьяку Постникову было поручено просить у дожа ту финансовую помощь, которую государь тщетно искал в Англии. Они чуть не утонули, переплывая океан, в Средиземном море были захвачены турецкими корсарами и вернулись с пустыми руками. Да и война достаточно опустошила сундуки синьории.

Попытка, возобновленная в 1659 году в Ферраре, не имела большего успеха. Посланник Лихачев хвалился, будто он слыхал, как герцог Фердинанд Медичи называл себя «рабом царя», но не привез никаких звонких доказательств такого лестного для царя настроения.

Алексей однако не отчаивался. Победив и расчленив Польшу, он хотел играть роль ее протектора, но отказался поддерживать ее собственным войском против мусульманского вторжения, угрожавшего ей. Он решил только доставить ей помощь других христианских держав и обратился к Риму. Ватикан удостоился таким образом увидеть у себя ярого католика Павла Менциеса, явившегося туда в качестве представителя государя-схизматика! В сущности говоря, царь, поступая таким образом, просто лелеял мысль добиться признания своего титула, воображая не без некоторой наивности, что одного его рвения к общим интересам христианства достаточно для доставления ему подобной чести.

Ловкость Менциеса потерпела двойное крушение. Западные христиане имели другие заботы, кроме защиты Польши против Турции, а что касается вопроса о титуле, то Св. Престол лелеял не менее химерическую надежду сделать его предметом церковно-религиозного договора. Вопросы этикета постоянно еще увеличивали недоразумения. Будучи рьяным католиком, посол Алексея все же должен был подчиняться его инструкциям, запрещавшим ему не только целовать ногу, но и руку папы и терпеть, чтобы тот оставался сидеть во время чтения письма царя. Принятое после острых прений combinazione: коленопреклонение было заменено на практике взаимным рукопожатием. Менциес горько жаловался на это кардиналу Альиери и отказался принять письмо Климента X, который совершенно вопреки мемориалу, изданному по приказанию Его Святейшества и приписываемому аббату Скарлатти, не соглашался дать «герцогу Московии» просимого титула.

Словом, и в этом направлении московская дипломатия ровно ничего не добилась. После целого ряда драматических удач и неудач ей больше повезло на ее восточном поле действия.

VI. Успехи на востоке

О начала века, подвергаясь набегам со стороны Персии, страдая также от внутренних междоусобий, парализовавших ее силы, разделенная на целый ряд княжеств, готовых вызвать одно против другого внешнее вмешательство, Грузия казалась Москве соблазнительной добычею. Уже в царствование Михаила передался России кахетинский царь Теймураз, а в 1647 году он задумал отдаться со всею своею страною. Взамен он просил вспомогательного войска против персиян, большую сумму денег и руку царевны для своего внука. Великий царь был тогда очень занят внутренними делами своей империи: он заставил его ждать до 1650 г. и разбил его мечты, пожаловав ему лишь несколько соболей и прося для начала послать своего внука в Москву.

– Чтобы женить его на царевне?

– Я ничего не знаю об этом, – отвечал ему представитель Алексея, Никифор Толочанов.

В свою очередь и Теймураз не спешил, но в 1653 году, когда его зять, имеретинский царь Александр, сделал вид, будто хочет опередить его в этом отношении, Теймураз решился и, четыре года спустя, изгнанный персиянами из своего царства, последовал за своим внуком, все еще ожидавшим желанной супруги.

Алексей устроил несчастному царю пышный прием и, когда тот склонился поцеловать его руку, не допустил его до этого.

– Так как ты такой же христианин, как я, ты должен целовать меня в уста, – сказал он.

– Я только ваш смиренный раб!

– Ты мне подчинился по воле Бога, но так как ты государь и христианин, то я обязан обращаться с тобой, как с братом.

И Теймураз повиновался этому «с большим страхом», по выражению сообщающего о свидании официального документа.

Как самый характер Алексея, так и весь дух политики, призванной стяжать однажды в этой сфере отношений самый блестящий успех, просвечивают в этой сцене.

Иван Хилков, которому было дано поручение сговориться с венценосным изгнанником, выслушал трогательный рассказ о его несчастиях. Взяв в плен мать Теймураза, шах Аббас хотел ее принудить перейти в мусульманство, и после отказа замучил ужасными пытками, приказав отрубить у нее обе груди. Тело несчастной было принесено сыну одним французским торговцем. Плененные шахом, оба сына Теймураза были обращены в евнухов. Отец просил 30 000 человек, чтобы отомстить за такое жестокое поругание и снова завладеть своим наследием. Хилков вместо всего великодушно предложил ему 6 000 рублей. Грузин был поражен.

– Что же я буду делать с этими деньгами? Я лучше употреблю их тут на обедни!

Хилков стоял на своем и уверял, что царь напишет шаху, чтобы тот перестал беспокоить своего соседа. Теймураз печально покачал головою.

– Царь уже писал!

Он отправился, однако, чтобы предпринять безнадежную борьбу, и был в свою очередь взят в плен Аббасом.

Весьма желательное для Москвы вмешательство в дела Закавказья затруднялось дружественными отношениями, поддерживаемыми с Персией, которые она желала сохранить. Из этой страны Москва получала различные продукты, особенно селитру, потребляемую в Москве все в большем количестве. Конкуренция между английской и армянской компаниями, оспаривавшими персидские рынки, также давала казне царя значительные доходы. Таким образом разрешение грузинской проблемы было отложено на

далекое будущее.

Дальше на север, в обширных степях, населенных калмыками и башкирами, успехи московского влияния и колонизации встречали гораздо менее препятствий. В начале условия соглашения, и с той и с другой стороны, давали место некоторым спорам. «Покровительства!» – требовали начальники диких племен, понимая под этим, чтобы «белый царь» взял под свою защиту обычаи кочевой жизни и грабежи, от которых они не хотели отказаться. «Подчинения!» – отвечали им на их просьбу посланцы государя. Их встречали плохо, и с трудом им удавалось спасать свою жизнь. Отправляясь вдоль Яика (Урала) и его притоков, расходясь в уездах Уфимской области, доходя до Казани и Самары, эти просители представляли опасность для крайних областей империи, уже приобщенных культуре.

В 1657 году, однако, четыре калмыцких тайши предложили свои услуги против крымских татар и их союзников, башкир. С ними заключили договор после целого ряда затруднений, вызванных вопросом о жалованьи, и таким образом Москва, поставив их в качестве сторожей по берегу Черного моря против турецко-татарских племен и номадов монгольской расы, добилась временного спокойствия на своих границах.

Ее новые завоевания в Сибири также находились в опасности. Отступая перед монголами и киргиз-кайсаками, давившими их с двух сторон, калмыки и башкиры искали убежища на верхнем течении Иртыша, Ишима и Тобола, где стала твердою ногою в это время Москва. Покоренное, но переносившее очень нетерпимо иго своих новых господ, местное население принимало этих иммигрантов в качестве освободителей и с 1634 по 1664 год, среди постоянных восстаний, была осаждена Тюмень, Тобольску угрожала осада, в Пустозерске и Мангазее гарнизоны и сборщики ясака (податей) пали жертвами массовых избиений. Гарнизоны были слабы, а в руках осаждающих уже появилось огнестрельное оружие, купленное в Томске.

Между тем к концу этого периода башкиры и калмыки продолжали истреблять друг друга, и Москва, искусно пользуясь этими внутренними раздорами, достигла определенного прогресса в распространении цивилизации. Но в то же время покорители Сибири не переставали расширять захваченные ими границы.

VII. Покорение Сибири

При наличности все тех же незначительных сил, горсточками казаков, разбросанных на огромном пространстве, движение вперед не прерывалось здесь, однако, в двух направлениях – на восток и на север. Оно представляет собою одно из чудес истории и обнаруживает в народе, показавшем себя способным к нему, наличность совершенно своеобразных способностей и удивительной доблести. Начиная с конца царствования Михаила, атаман Колесников отправился из Енисейска для рекогносцировки озера Байкала; он выстроил форт на Ангаре, наложил ясак на бурятов и прибрежных тунгусов и узнал от них, что серебряные и золотые рудники, которые он надеялся открыть в этих областях, находятся… в Китае.

Енисейск был основан лишь в 1619 году. В 1661 году после Якутска (1632 г.) был основан Иркутск и тотчас же отряды русских, идя по берегу Байкала, по течению Витима, Шилки, Селенги и других рек, добрались до Ледовитого Океана на север, до Амура на юг и до Охотска на восток. Собственно основание Охотска относится к 1638 году, а оттуда

москвитяне достигли уже Колымы. В 1648 году некий Семен Дежнев, выйдя в море через устье этой реки, был унесен бурею и очутился в Анадырском заливе, т. е. он переплыл до Беринга тот пролив, который носит имя этого исследователя.

Открытию Анадыра предшествовало открытие Амура. В 1643 году, получив известие, что серебряные рудники находятся в бассейне Шилки, при устье Уры, воевода Якутска, Петр Головин, направил туда отряд в сто тридцать три человека под начальством Василия Пояркова. Это было славное имя среди других имен. Маленький отряд спустился по Лене, поднялся по Алдану, достиг Зеи по суше, прошел через горы, носящие теперь название Станового Хребта (с тех пор уже никто не совершал подобного перехода) и достиг моря, спустившись по реке, думая, что это Шилка, хотя на деле то был Амур.

Поярков провел зиму около устья Амура. Летом этот неустрашимый путешественник дошел по морю до устья Улы, потом по суше до Маи, притока Алдана, и только в 1646 году, после трех лет отсутствия, явился в Якутск, принеся с собою большую добычу из соболей, но потеряв восемьдесят человек, из которых двадцать пять было убито в сражениях с прибрежными жителями Амура, а остальные – умерли с голоду. Его спутники впрочем жаловались на своего начальника, рассказывая почти невероятные вещи о его жестокости и жадности. По их словам, он даже уничтожил часть провианта с тем, чтобы продавать подороже остаток своему отряду, и постоянно самым варварским образом обращался с туземцами, хотя они и оказывали ему самый радушный прием.

Это был, вероятно, грубый и жестокий человек, каким и следует быть для предприятий подобного рода и, считаясь с трудностями, с которыми им приходилось бороться, московское правительство тоже не выказывало себя слишком разборчивым в выборе средств для подобных начальников экспедиций. В инструкциях, данных сибирским воеводам, часто рекомендуется привлекать дарами и милостями самых влиятельных туземцев, а потом их уничтожать. И документы эти даже не были секретными.

Поярков между тем не был совсем дикарем. Грамотный, он оставил после себя описание своего путешествия, написанное на коре или на деревянных дощечках. Сохраняясь до недавнего времени в Якутске, они погибли во время пожара. Его попытка возобновлена в 1648–1650 годах другим смелым путешественником, Ерофеем (Ярко) Хабаровым, шедшим более коротким путем. С несколькими казаками, ста шестьюдесятью волонтерами и тремя пушками он занял Абазин, на Амуре, выдержав при этом против дауров, старых аборигенов этой местности, кровавую битву, стоившую ему двадцати человек. Он думал основаться в этой местности, когда в 1652 году увидел отряд, вооруженный также ружьями и пушками. То были маньчжурские солдаты, посланные одним китайским губернатором! Москва столкнулась с огромною азиатскою империей, сделавшись ее соседкою.

VIII. Первые столкновения с Китаем

Эта встреча сначала сопровождалась удачею европейцев: их артиллерия многим превосходила азиатскую. Вскоре после этого однако, когда этим неожиданным противником были предприняты наступательные действия, Хабаров счел за лучшее отступить. По дороге часть его казаков возмутилась и оставила его. Совершенно неизвестно, что сталось с этими дезертирами. С остальным своим отрядом Хабаров поднялся по Амуру до устья Камары и построил там форт, который должен был носить его имя и сделаться впоследствии главною стоянкою русских на большой реке. Разрушенный вскоре китайцами и вновь построенный

Онуфрием Степановым, он представлял сначала для московской колонизации довольно непрочный опорный пункт: в 1658 году Степанов был там убит с двумястами семьюдесятью человеками гарнизона, а двумстам двадцати семи удалось спастись на одной лодке. К тому времени из Москвы отдано было приказание укрепиться по возможности на Шилке и по верхнему течению Амура, где енисейский воевода, Афанасий Пашков, действительно занялся восстановлением целого ряда мест, оставленных туземцами: Нерчинска, при соединении Нерги и Шилки, Албазина и других. В 1685 году Албазин разделил участь Хабаровска, и русский флаг исчез на этот раз на некоторое время из всей области. Но к этому времени московское правительство уже стало стремиться завязать переговоры с Китаем.

Первая попытка, предпринятая в этом направлении в 1656 году, натолкнулась в Пекине, как и в Риме, на конфликт по поводу этикета: посланец царя, Феодор Байков, должен был взять обратно свои вверительные грамоты, так как он отказался передать их кому бы то ни было, кроме самого богдыхана. Его преемники воспользовались в третьей четверти семнадцатого века затруднениями, в которых находилась юная маньчжурская династия, представленная знаменитым Кганг-Ги (1662–1722 гг.), а в 1675 году грек Николай Спафарий сумел заинтересовать в успехах своей миссии иезуитов, находившихся в то время в Пекине. Богдыхан удостоил его двух аудиенций, расспрашивая с любопытством о летах Алексея, его внешнем виде, продолжительности его царствования, потом перешел к личным вопросам.

– Изучал ты философию, математику и тригонометрию?

Кганг-Ги хвалился, что его научили этим наукам отцы, присутствовавшие при аудиенции коленопреклонные. Они не без труда склонили посланника последовать их примеру. Удовлетворившись полученными ответами, Сын неба пригласил Спафарий откушать и великолепно его угостил не только чаем, приготовленным по-татарски с молоком и маслом, но и всяческими яствами, приправленными вином: фабрикуемое также иезуитами, оно, кажется, соперничало с лучшими рейнскими винами.

Результаты посольства однако не соответствовали явившимся благодаря этим любезностям ожиданиям. Спафарий вынужден был даже отказаться принять ответ Кганг-Ги на письмо Алексея: подарки царя были отожествлены в нем с данью, и «богдыхан» считал свои собственные чем-то вроде жалованья! Описание этого путешествия, составленное самим посланником и снабженное очень любопытными рисунками и планами, должно быть рассматриваемо, как единственный и самый ясный результат этого посольства.

Таким образом были однако поставлены уже вехи на пути, по которому, как по кровавой борозде, проложенной Поярковым и Хабаровым через сибирские равнины и горы, Россия приготовляла себе лучшее и грандиозное будущее. Реклю показал в красноречивых цифрах ее успехи, начавшиеся довольно скромно и закончившиеся чрезвычайным расширением границ в шестнадцатом веке до конца царствования Алексея.

Поверхность.

Конец царствования Ивана III (1505 г.) 40 000 кв. лье.

«„Ивана IV (1584 г.) 75 000 “«

1613 г……. 156 000 »«

Конец царствования Михаила…… 225 000 »«

«„Алексея…….. 264 000 “«

В настоящее время 400 000 кв. лье (22 000 000 кв. километров).

Приобретения во время царствования Алексия занимают на первый взгляд довольно мало места в этом списке, но значение этих приобретений огромно по их качеству; и в общем энергия, развитая в этом направлении, является настоящим чудом, настолько она не соответствует тем средствам, которые могли быть пущены в ход.

IX. Политика расширения

В царствование Алексея, как и при его непосредственных предшественниках, Москва, продолжая чрезвычайно быстро и во всех направлениях расширяться, была далека от закрепления даже в Европе неприкосновенности своих до того приобретенных границ. Ей не удавалось даже укрепить их прилично, потому что, расширяя их постоянно, смотря по обстоятельствам, то быстро, то медленно, она не могла даже думать об этом. На юге так называемая белгородская линия, имея опорным пунктом город того же названия по верхнему течению Донца, постоянно расширяла свои границы в соседнюю степь, разбрасывая по ней целый ряд других маленьких авангардных постов: на западе – Олешну, Вольный Хотмийск, Болхов; на востоке – Корочу, Яблонов, Новый Оскол, Усерд, Острогайск, Коротояк, Воронеж, Орлов, Козлов.

На юго-западе эта линия тянулась до Украйны, так называемой Украйны слобод, или автономных местечек. Это был центр сбора малорусских эмигрантов, переходивших из польского подданства в русское. На другой день после поражения Хмельницкого под Берестечком (1651 г.), это переселенчество вызвало возникновение важных поселений. В эту эпоху был основан Харьков среди целой группы быстро заселявшихся маленьких городков: Сум, Ахтырки, Лебедина, Изюма.

Прерванное несколько позже присоединением украинской Малороссии к Москве, это эмиграционное движение снова началось с той же интенсивностью, благодаря победам над поляками и происшедшему разделению Украйны, так что часть этой области, оставшаяся за Польшею, оказалась обращенною в пустыню.

В восточной области, за Волгою и Камою, линия укрепленных мест, создавшаяся в предшествующие царствования и предназначенная для сдерживания или подчинения себе башкир и других инородцев, соседних с Уралом, подвинулась также вперед в царствованье Алексея: после Уфы, она выдвинула Сергиевск и Кунгур. Но повсюду прогресс культуры отставал от этого процесса расширения, парализованный постоянными набегами разбойничьих шаек, которым не могла противостоять слишком слабая защита гарнизонов. Не будучи в состоянии предпринять решительный поход против татар, правительство Алексея не смогло даже, несмотря на некоторые попытки, сделанные в этом направлении, противопоставить им то орудие подвижной защиты, которое в наше время применяется с таким успехом Францией на алжирской границе и которое в то время само собой рекомендовалось вниманию московских завоевателей. Отряды легкой кавалерии были уже готовы к выполнению этой задачи, но тут потребовались все наличные силы для войны против Польши, имевшей целью возвращение Украйны и литовских областей, и она расстроила организацию этих формаций. А с другой стороны требовала своей доли внимания и Азия.

В таких условиях, оставаясь верной унаследованной ею программе, политика расширения, проводимая Алексеем, приняла характер настоящего парадокса. То обстоятельство, что его страна могла победоносно выдержать это второе испытание,

свидетельствует безусловно о чрезвычайно крепкой и прочной силе. Ей не удалось заняться в одно и то же время, как это следовало бы, двумя возложенными на нее задачами, из которых одна господствовала над другою: делом расширения и цивилизации. Она придала зданию своего могущества очень непрочное основание со всеми элементами слабости и беспорядка, до сих пор еще тормозящими ее развитие. Тем не менее страна эта проявила гигантскую энергию. Сравнивать ее, как это делает Ключевский с птицею, увлеченной ураганом, которому не могут противостоять ее слабые крылья, значит пожертвовать красивому образу исторической правдой. Сравнение это предполагает вмешательство какого-либо внешнего фактора, которого в данном случае нельзя ни открыть, ни представить себе. Как и политика предшественников, политика Алексея была и в этом отношении лишь выразительницей национальной тенденции. Первыми шагами своими покорение Сибири было обязано частной инициативе. Это сам народ при последних Рюриковичах и первых Романовых, соизмеряя «не предприятия с силами, а силы с предприятиями» по смелому совету, данному Мицкевичем своим соотечественникам, задумал, захотел, дерзнул и совершил все это.

Ценою каких жертв, благодаря каким разрушительным силам, разоружившим в ее пользу ее опасную соперницу на славянском западе, об этом мы будем говорить в следующих главах.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИИ

Глава восьмая

Польско-русская Украйна

I. Украйна

Украйна или Окраина означает собою пограничную страну. Еще теперь русские называют таким же образом различные окраинные части своей империи: польские губернии, Закавказье, Среднеазиатские владения. В старину такое название служило в частности для обозначения обширного пространства с неопределенными границами, которое, развернув свои равнины по нижнему течению Дуная до Днепра и Дона, касаясь с одной стороны Карпат, а с другой простираясь вдоль Черного моря, представляло в одно и то же время нечто вроде нейтральной почвы между соседними странами и связующий пункт между Европой и равнинами Средней Азии.

По этому пути некогда азиатская жизнь проникала в европейский мир и здесь-то именно два течения, цивилизации и варварство, явившись с того и с другого континента, встречались и сталкивались с ужасною силою. Этим путем с востока проникали на запад перелетные птицы, саранча, кочевые племена, монгольские армии и чума. С запада, с целью остановить варваров перед угрожаемыми очагами культуры, защитники цивилизации выходили на это поле битвы, где непрерывно встречались армии древности и современных эпох, начиная с Дария и Кира и до польских легионов. По словам одного поэта, «на этой ниве, вспаханной лошадиными копытами, унавоженной человеческими трупами, усеянной белыми костями, орошенной горячим дождем крови, выросла жатва печали».[44]

Будучи пограничной страною, Украйна часто меняла как свои границы, так и своих господ. Не имея исторически известных владетелей до водворения варяжских князей в Киеве, включенная позже, до Карпат и Дона, в состав русского государства Владимиром (980—1054 гг.) в первой половине четырнадцатого века (1319–1333 гг.) она вышла из этой агрегации и досталась Литве. В следующем веке новый поворот судьбы снова переменил ее участь, и до взятия Константинополя турками она, открывая им доступ в Молдавию, Валахию и даже на берега Днестра, на всю огромную территорию между этою рекою, Днепром и Черным морем, увеличила собою владения Польши в литовско-польской федерации, которую создало вступление Ягелло во владение наследием Пястов. Во второй половине пятнадцатого века, северо-восточная граница обеих стран находилась в 150 километрах от Москвы! На юго-востоке прибрежные города Белгород, Очаков, Кочубей являлись польскими портами. Отправляя отсюда огромные транспорты хлеба в Грецию, они создали состояние большого количества польских фамилий: Бучацких, Ясловецких, Сенявских, владевших обширными соседними областями.

Между тем, со второй половины того же века, победоносное и разрушительное вторжение оттоманской державы положило конец этому много обещавшему возрождению. Заставляя постоянно отступать польскую оккупацию, оно ограничило ее на юге окрестностями Киева, Брацлава и Бара. За ними и до моря оно оставило вне власти султана лишь обширные степи, отныне совершенно некультивированные, так называемые «дикие

поля» (dzikie pola), где только кое-где сохранились еще следы древних человеческих селений.

Еще позже во второй половине шестнадцатого века, подъем польского господства и польской культуры обнаружился снова в тех же местах, никогда уже не достигая, однако, прежних размеров и в это время название «Украина» прилагалось вообще поляками к этой части их владений, но всегда в довольно общей форме. Официально это название появляется впервые в «конституции» 1530 года (Volumina legum, II, 1320); но позже им еще пользовались довольно неопределенно, когда говорили о «бесконечном пространстве», по ту сторону Случи и Мурахвы, в бассейне Днепра и Буга, до разделения водных путей с Донцом и «Очаковскими степями». В одних палатинатах Киева и Брацлава насчитывалось 2 183 квадратных лье, но вместе с черниговским княжеством в эту цифру включались часто и другие области.

Происхождение и этнический характер населения этой страны не легко поддается определенно. Легенда открывает там великанов, viéletni, viélinianié (великанов по-русски, wielki – по-польски) и обров (olbrzym – великан по-польски и по-чешски). Шафарик находит тот же корень в названии Анты, которое дано было в Германии тому же населению.

В северной части страны, как менее дикой, это население, по-видимому, рано обнаруживало наклонность к промышленности, но в то же время черты изнеженности и сибаритства выступали в нем очень заметно. Киевские женщины слыли кокетками и щеголихами и Болеслав Польский, явившись в этот город в 1706 году на помощь русскому князю Изяславу, нашел там настоящую Капую. В царствование первых князей из дома Рюрика жизнь в этой стране производит впечатление постоянного праздника. В эпических песнях, относящихся к этой эпохе, воспеваются лишь пиры, за которыми восседал Владимир «Ясное Солнышко» и герои и героини этого эпоса отличаются не только храбростью, но и распутством; таков был Чурило Пленкович, настоящей тип воинственного Дон-Жуана, такова также жена Дуная, обнаруживающая удивительную ловкость в стрельбе из лука, и вместе с тем умеющая унизить мужа и другим способом. Глубоко демократический дух, кажется, был свойствен этому нарождающемуся обществу. Противопоставленные герцогам и королям любимцы легенды всегда темного происхождения, сыновья мужиков и бедняки. Единственным культом, царившим среди них до самого введения христианства, является культ силы. Позже, столкнувшись друг с другом, эти два принципа создают какую-то смешанную культуру и Киев, эта эфемерная столица империи, основанной на насилии, и очаг интенсивной религиозной жизни, любимое место для оргий, где победоносные казаки семнадцатого века будут соперничать с варяжскими победителями десятого века, и центр паломничества, отразил в себе все эти различные настроения. Но вместе с нормандскою победою, предшествующею польскому завоеванию, в эту среду проникли и другие элементы: греки, шведы, датчане, поляки, немцы, евреи, болгары, и их наплыв, шедший неудержимым потоком, никогда не превращался.

Каково же было местное коренное население, если таковое существовало, и какие отношения установились между ним и этими иммигрантами?

II. Смешение рас

Русские историки, весьма склонные признавать этническое единство этих областей с их отечеством, сами по большей части признают существование там в прошлом древнего

народа, который должен был предшествовать нормандскому завоеванию и который еще теперь ярко выделяется в им же созданной общине. Этот народ по-прежнему занимает большую часть древней «Украйны», половину Галиции и Буковины, Люблинскую губернию в царстве Польском, Волынскую, Подольскую и Киевскую губернии, часть губерний Ковенской и Минской, целые губернии: Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую и область Войска Донского. Он населяет также в значительной степени Воронежскую, Курскую и Херсонскую губернии. Институты этого народа встречаются, наконец, в губерниях Саратовской, Астраханской, Самарской и Оренбургской. Называясь теперь малороссами, украинцами, русинами, черкасами, русинскими хохлами или просто русскими, представители этой расы могли быть связаны своим происхождением с легендарными племенами девятого века, Vielinianié или с Обрами, о которых уже было упомянуто выше; они известны еще под именем дулебов в западной Волыни, бужан на берегах Буга, тиверцев на Днестре или улечей, угличей при впадении этой реки в море, хорватов по соседству с Галицией, древлян в теперешнем Полесье, полян на Днепре и т. д. И таким образом Россия разделена на две части.

По мнению историков школы Погодина, одно из этих племен, отброшенное с юга на отдаленный север, к озеру Ильменю, по всей вероятности восточного происхождения, основало Новгород, тогда как поляне выстроили Киев. С течением времени все племена того же происхождения разделились на три разные группы, хотя этнически и тождественные: русских юга, белоруссов и великороссов. Национальное единство должно было таким образом взять верх над видимой разноплеменностью. Но такой генезис является совершенно невероятным.

Название «русс» происходит несомненно от нормандского корня. Посланцы Олега в Константинополе – Имегальд, Руальд, Фарлов, Карн, Фрелав – не были, конечно, славянами. Норманны, победители Новгорода и Киева, назвались здесь русскими так же, как они назвались шведами, англичанами или готами, и только их победа на севере, как и на юге, соединила на время, путем насилия, распылившиеся подчиненные народы, как позже, в двенадцатом веке, разложение империи Мономаха вернуло их к их первоначальной гетероморфии.

Были ли эти народы, которым норманнский цемент придал эфемерную прочность, общего происхождения и была ли их общность славянскою? И это не менее проблематично. В эпоху, предшествующую норманнской победе, Нестор не знает славян в окрестностях Киева. Он указывает, что они почти всецело сосредоточились в области Двины и верхнего Днепра, Ильменя и Днестра, и последний историк, занявшийся этим вопросом, несмотря на крайне тщательное его изучение, Грушевский, не пришел ни к какому решительному выводу. Украйна была заселена еще до того, как в нее проникли норманны, и это коренное население принадлежало к индоевропейской расе, – вот все, что он осмеливается утверждать, принимая только, как нечто вероятное, разветвление этих народов от славянского элемента.

Не менее вероятно и то, что с самого начала та историческая индивидуальность, которая потом стала Россией Петра, нашла в этой области свой первый центр; она тут сформировалась, как нация, и тут же оставила славные воспоминания и глубокий след особенного героя. Ценность этих фактов не может быть оспариваема. Позднейшее литовское завоевание, сопровождавшееся расцветом польской культуры, создало и другие, которых нельзя игнорировать, но для развития их не было достаточно времени. Киев не

может отречься от своего русского прошлого, где блистали имена Владимира, Игоря и Ольги, являлось ли оно историческим или легендарным. Польская оккупация не дала ничего подобного этой чудесной эпопее и, если принять во внимание славные предшествовавшие события десятого века, победоносное возвращение русской власти в этот древний очаг должно было принять в семнадцатом веке характер реванша и законного возвращения своей собственности. Поляки могли бы согласиться с этим, нисколько не оскорбляя своего чувства гордости. Они в этой области сделали много, да и могут выставлять более основательные претензии в других местах. Что же касается вопроса, к какой семье принадлежали местные аборигены, деятельные или пассивные жертвы той долгой борьбы рас, которая продолжается еще и на наших глазах, – то это является проблемою, которая, вероятно, не будет разрешена никогда; ее важность, впрочем, очень преувеличена. Разве один польский ученый, профессор краковского университета, не выставил гипотезу, что общею колыбелью всех славянских рас был центр современной России? И разве его соотечественники побили его за это камнями? По этой гипотезе даже поляки берегов Вислы или Варты происходят оттуда же. На берегах Днепра русские и малороссы боролись веками против ненавистных им ляхов (поляков), видя в них ярых врагов своей национальности. А по словам Ростафинского, первые ляхи, известные нам, были русские.

В начале семнадцатого века, в ту эпоху, к которой следует обратиться, чтобы собрать об этой спорной стране менее проблематичные данные, Польша уже начала распространять в ней свое господство, причем юго-восточные границы ее владений обозначались рядом укрепленных городов: Остром, Киевом, Каневом, Черкассами, Белой Церковью, Брацлавом и Винницею, также как и военными пунктами в Василькове, Корсуни, Переяславле на месте прежних разрушенных крепостей. Дальше, в том же направлении, Бар и Хмельник представляли собой аванпосты в области вновь предпринятой колонизации. Еще дальше и до самого Черного моря, через теперешние губернии Полтавскую, Екатеринославскую, Херсонскую и южную часть губерний Черниговской, Киевской и Подольской, – простирались «дикие поля», область почти пустынная зимою или населенная одними медведями (ursi campestres), выдрами, зубрами, лосями, оленями, антилопами, кабанами, дикими лошадьми и волками. Последние во время больших холодов, часто являвшихся гибельными для их товарищей, становились царями этой заповедной области.

В это время года нигде не видно было следа дыма, который указывал бы на какое-либо человеческое жилище, за исключением древнего Переяславского округа и нескольких полян и островов, затерянных среди болот по берегам Сулы и Псела, где существовали и прятались остатки одного из древних туземных племен, севрюки.

С возвращением весны картина менялась. В степи снова появлялась жизнь и она покрывалась роскошною растительностью, которую так поэтически описал Гоголь, и в то же время начинали показываться люди. Какие люди? Сначала татары, великие скотоводы, которые покидали в апреле свои крымские улусы и приводили сюда огромные стада. За ними следовали турецкие, татарские и особенно армянские купцы, путешествовавшие караванами с произведениями Востока для рынков Польши, Литвы и Москвы, и встречавшиеся в пути с сольниками, или торговцами солью, направлявшимися в обратную сторону в Крым за товаром. Эти партии следовали проторенными с незапамятных времен путями, татары называли их «шляхами». За ними наконец появлялись казаки.

II. Украинские казаки

Являясь общим, как мы это видели (см. выше главу V) всем частям древней Польши и древней России, этот элемент принимал здесь различные названия, заимствованный ими обычно от мест их пребывания или от их стоянок: днепровских казаков, запорожских, т. е. прибрежных жителей по ту сторону знаменитых порогов, еще и теперь загораживающих течение реки; низовских, или обитателей низов, около Черного моря, или просто казаков киевских, каневских, черкасских.

Состав этих групп был самый разнородный. Регистр пятисот казаков, составленный в 1581 году в Черкассах, содержит в их числе: 20 москвичей, 4 молдаван, 1 серба, 1 немца и много поляков, из которых некоторые дворяне. Польские хроники той эпохи видят с другой стороны в этом космополитическом сброде преступников, вынужденных благодаря превратностям своей бурной жизни оставить свое отечество и спасаться в степь, чтобы жить там разбоем. Всякий, представлявший для них хорошую добычу, являлся их врагом, но так как между ними большинство были христиане, они нападали преимущественно на турок и татар.

Польские короли получают от них некоторые услуги, заставляя их оберегать окраинные места их владений и препятствовать вторжению «язычников».

Но в более древнее время литовско-русские казаки, появившиеся в этих областях, часто объединялись с татарами для общих предприятий; между христианами и «язычниками» продолжалось смешение, создавалась близость, которая должна была сыграть большую роль в будущем деле Хмельницкого и, благодаря этому, польза, которую могла извлечь Польша из этих помощников, являлась крайне сомнительною. В шестнадцатом веке действительно татарский элемент сильно уменьшился в большинстве шаек, благодаря чему укрепился там польский элемент, но последний внушал к себе мало доверия. Наделав ряд глупостей или потеряв свое состояние, молодые люди из хороших фамилий все чаще и чаще отправлялись искать приключений в украинской степи, если не предпочитали играть в казаков, т. е. исполнять ремесло бандита на своей собственной земле. У одного современного польского писателя мы находим такое выражение: «наши чаще ходили „казачить“ в татарскую землю, чем татары к нам». И следуют имена, принадлежавшие к высшей аристократии.

И тем не менее, разбойничество, особенно вначале, совсем не составляло единственного или даже главного источника существования этой части украинского населения. Казаки занимались им, одновременно прилагая свои силы и к более честному труду: к рыбной ловле, к охоте, к земледелию. Между пятнадцатым и шестнадцатым веками произошло глубокое изменение в политическом, социальном и экономическом положении древнего киевского княжества: феодальная система заменила древний коммунальный режим во владении землею. Поэтому присоединение этой страны к Литве, а потом к Польше имело своим последствием эмиграцию в соседнюю степь не только негодных элементов, но и землепашцев, искавших более подходящего образа жизни для их нарушенных привычек. Название атамана, даваемое казаками их начальникам, служило в древности для обозначения хозяина-рыбака. Кроме того, зима вынуждала и самих разбойников покидать степи, где нечем было бы питаться, и загоняла их в ближайшие города или местечки. Многие из них имели там семьи.

Набеги крымских татар, увеличиваясь, не давали возможности подвергнуть какой бы то ни было мирной эксплуатации степь, и они-то привели позже к типу военной организации. Полуартельщики, полупромышленники, наполовину грабительские шайки, эти группы развивались, таким образом приближаясь к типу своеобразного братства солдат-

разбойников. Их центром был один из островков Днепра ниже порогов.

Очень возможно, что, напоминая собою во многих чертах своих западное рыцарство, эта бытовая форма имела своими основателями польских дворян, вроде знаменитого Альберта Ласского, этого высокопоставленного лица, который употребил на подкладку своего плаща двести семьдесят три декрета об изгнании, которому он подвергся. Желая после того спастись от преследования, он принялся воевать в Молдавии, собрав вокруг себя случайных товарищей. Время возникновения этой бытовой формы неизвестно, так как на Днепре, как и на Дону, казаки не любили грамоты. Польские чиновники, старосты и воеводы соседних городов, без всякого сомнения, поощряли их, надеясь найти у них помощь против татар, и не обошлось, конечно, без участия и таких искателей приключений среди польско-русских вельмож, как например князь Димитрий Вишневецкий (или Висневецкий по польской орфографии), князь Богдан Рожинский, или ряда претендентов на трон Молдавии, постоянно появлявшихся в этих местах.

Впоследствии они снискали себе покровительство польских властей, выражавшееся, как и в отношениях Москвы с донскими казаками, в посылке лошадей, боевых припасов и провианта. Старосты и воеводы даже более или менее открыто поддерживали походы казаков в мусульманские страны, и в случае нужды давали им подкрепления, получая в обмен часть награбленной добычи, или отряды для отправления всякого рода службы: стражи, конвои, вспомогательные войска для кампаний, в которых участвовала польская армия. Казаки стали представлять собой таким образом постоянные личные отряды некоторых из польских царьков. Но у казаков того братства, которое основалось по нижнему течению Днепра, появились вскоре другие честолюбивые замыслы.

IV. Запорожские рыцари

Под именем Запорожья или Нижа в семнадцатом веке разумели самую дикую часть, dzikie pola, по обоим берегам Днепра, ниже устьев Орелы и Тясмины и по ту сторону порогов. Громадные леса росли там по берегам реки, доставляя дерево для постройки флотилий казакам, а французскому инженеру Боплану, принятому на службу Польшею, кроме того материал для плотничьих работ в форте, предназначенном для наблюдения над смелыми плавателями и для удержания их в определенных пределах.

Стан, возникший в этом месте, далеко не включал в себе всех украинских казаков. Оставив в стороне многочисленные группы, которые постепенно дошли до более или менее полного подчинения польской дисциплине и культуре, он отделился в особую дикую организацию, независимое военное братство под начальством и управлением выборных начальников. Столица или главный его пункт называлась Сечью или Кошью – этимология этого названия остается неизвестной – на одном из островов Днепра – той самой Хортице, где в 1557 году Дмитрий Висневецкий предложил свои услуги Грозному, думая поразить этим турок и мечтая в то же время о захвате Молдавии. Эта главная резиденция не была однако постоянной. Казаки любили перекочевывать с одного места на другое и после долгих споров между ними создались другие Сечи, но ни одна из них не пользовалась таким значением, как первая.

В самую блестящую эпоху своего существования, между 1600 и 1770 гг., братство, или Кравчина, как оно само себя называло, заняло более или менее прочно пространство между Бугом и Днестром. Эта территория была разделена на паланки, вначале на пять, а потом на

восемь, отвечая больше назначению стратегических пунктов, чем центров почти отсутствующей организации. Столица имела вид небольшого городка, укрепленного земляными насыпями и палисадами. Большие деревянные казармы без труб, называвшиеся куренями, служили казакам обиталищем. В каждом из них могло поместиться до ста человек в одном зале, меблированном только столами вдоль стен. Посредине спали казаки прямо на голой земли, причем каждому из них отдавалось пространство около трех аршин. Водворяя его здесь, казаку говорили: – это тебе при жизни, а после смерти тебе будет место покороче.

Все функции, и военные и гражданские, распределялись путем выборов, 1 января каждого года, в общем собрании, где рассматривались также самые важные вопросы. Для текущих дел собирались более мелкие собрания (сходки), составленные из одних важных чинов (старшин) и стариков. Внутренняя полиция куреней и администрация паланок, если таковая имелась, состояла из советов, правильно собиравшихся на местах, а во время походов военный совет соединял в себе все власти.

Избираясь, как все другие чины, только на один год, имея при этом право избираться каждый год, хотя и редко получая мандат несколько лет подряд, кошевой атаман представлял собой гражданского, военного и даже духовного главу коммуны. Он один управлял внешними сношениями дипломатического характера, утверждал выборы на все степени, руководил разделением между куренями земли, рыбной ловли, жалованья, провианта, доходов всякого рода и военной добычи.

В старшине находилось лишь четыре чиновника: атаман, судья, писарь и есаул. Главный начальник юстиции, гражданской и уголовной, судья заменял атамана в случае его отсутствия и в то же время занимал должность казначея. Есаул исполнял обязанности главного адъютанта атамана и министра полиции. Посланный в 1594 г. императором для союза с Сечью против турок, Эрик Лассота сообщает в своем дневнике, что его предложение обсуждалось последовательно в двух заседаниях старшины и на общем собрании всех казаков, и решение, как ему показалось, всецело зависело от последнего собрания. Решившись принять предлагаемые условия, члены собрания подбросили шапки в воздух, что служило у них знаком согласия, как у греков Гомера повязка, которою Калхас в таких случаях обвязывал свой шлем.

За исключением лошади, оружия и военной добычи все в Сечи принадлежало коммуне. Обиды были общие. Сотрапезники опускали деревянные ложки в большие чаши, наполненные кашею; они наполняли свои ковши, тоже деревянные, из огромных жбанов, где водка чередовалась с медом и брагою. Благодаря скудости доходов бедность являлась здесь законом, изгнав в принципе всякую роскошь в пище или в одежде. Случалось, что после какого-либо удачного набега какой-нибудь рыцарь Сечи, подобно Разину с его товарищами, появлялся в богатом турецком или польском костюме; но по обычаю, прежде чем явиться в курене, он должен был погрузиться в бочку дегтя, для того чтобы платье, одеваемое поверх грубой и грязной рубахи, потеряло всякое изящество.

В этой организации, созданной на демократических началах, корпоративной и коллективной, – некоторые историки думали найти черты древних русских группировок эпохи Веча, заключая отсюда к этническому родству обеих групп. Но следует заметить, что подобные частности обнаруживаются также в структуре большинства западных братств, и польское влияние чувствуется там с гораздо бóльшим вероятием.

Восхваляемая всячески и рекомендуемая, как модель, некоторыми специалистами,

военная организация Кравчины, кажется, не оправдала такого к ней отношения. Презрение к смерти, смелость, соединенная с хитростью, неутомимость и крайняя подвижность, – таковы были главные качества, обеспечившие успехи «запорожского войска». Заимствовав у поляков разные виды вооружения, казаки их постепенно оставляли, не зная, как с ними обращаться, удовольствовавшись саблею и мушкетом: несмотря на пресловутую известность, их артиллерия не сыграла ни разу решительной роли на поле битвы. До Хмельницкого они сражались по большей части ночью, особенно предпочитая неожиданные нападения, а днем шли форсированным маршем, причем появлялись внезапно там, где их менее всего ожидали. Захваченные в дороге в свою очередь, они прятались за импровизированными укреплениями, устроенными главным образом из находившихся у них многочисленных повозок. Но они еще более предпочитали плавать в море, «чтобы сшить огненную рубашку Стамбулу (Константинополю)», по гиперболическому выражению одной из их боевых песен, а более прозаически: «чтобы достать себе зипуны, разграбив базары на турецкой стороне».

Для этих экспедиций они садились в легкие челноки, так называемые «чайки», где могло поместиться от 40 до 60 человек и которые очень похожи на неаполитанские фелюги и на длинные испанские барки. Шесть недель было для них достаточно, чтобы экипировать такой челнок, на постройку его шло крепкое дерево, одетое липовою корою и вымазанное дегтем. Два руля, впереди и сзади судна, и от десяти до шестнадцати пар весел, придавали ему быстроту движения, с которой не могли сравниться турецкие галеры.

Эти экспедиции устраивались обычно ко дню Св. Иоанна. На восьмидесяти или на сотни чаек, вооруженных несколькими пушками, казаки выбирали темную ночь, чтобы обмануть турецкий караул у устья Днепра. Они выплывали бесшумно из густой и высокой чащи тростника, теперь еще покрывающего эту область; они достигали моря, скоростью превосходя преследующие их тяжелые суда, и в шестьдесят или даже в сорок часов достигали Анатолии. Оставив по два человека в каждой чайке, они проникали в какой-нибудь побережный город, зажигали его, собирали все, что им попадало под руку, и садились опять в лодки. Если при возвращении они находили отступление отрезанным, они маневрировали в море до приближения ночи, имея заходящее солнце позади себя: благодаря этому им удавалось сбить с толку своих ослепленных противников, взять на абордаж какое-либо их судно и обратить в бегство остальные.

Их подвиги в этом роде впрочем сильно преувеличены, и хотя они и вызывали восторженное отношение к своему геройству со стороны нескольких историков, все же легенда о султане, смотрящем из окна своего дворца на преданные запорожцами огню и мечу предместья Константинополя, не соответствует исторической правде. На деле казаки проникли в Босфор только один единственный раз, в 1627 году, и зажгли тогда деревню Усни-Киой, которая совсем не видна из Константинополя. В 1614 г. они подступили к Синопу, но потерпели полное поражение.

Подвиги их на суше подверглись подобным же преувеличениям. В качестве разведчиков или помощников в партизанской войне, они приобрели в семнадцатом веке европейскую известность, состоя на службе у императора Фердинанда II и способствуя поражению чехов, их братьев по расе, под Белой горой. Но в качестве военной силы они сделались страшными лишь благодаря народным бунтам, которые они поддерживали довольно существенно, в качестве относительно дисциплинированного и обученного ядра. Им недоставало обучения для достижения настоящего мастерства в военном искусстве. Они создали для себя принцип

жизни и долг чести из того состояния невежества и варварства, на которое их обрекало происхождение и образ их жизни. Честолюбие их было огромно, но оно руководилось крайне узкими и тривиальными понятиями. Одна из их *дум* свидетельствует об этом: казак, служивший при дворе Владислава IV, обратил на себя внимание польского государя своим воинственным видом. Тот предложил осыпать его почестями и даже обещал ему руку своей дочери, но не зная, что со всем этим делать, казак просит только разрешения воевать с турками, чтобы привезти кучу пиастров в Сечь и иметь там возможность досыта напиться.

Этот идеал, чуждый всякой интеллектуальной утонченности, как и всякой моральной деликатности, плохо влиял даже на развитие известных военных доблестей. Он слишком благоприятствовал инстинктам грубого разгула. Под влиянием идей монастырского «порядка», который глухо проникал в конституции братства, казаки обрекали себя на безбрачие и должны были сохранять целомудрие. Другая *дума* рисует их неспособными даже различать пол или не знающими, как создана женщина. Увидев аиста, атаман наивно принимает его за молодую девушку. У казака нет другой подруги жизни, кроме трубки или войны и смерти. История набегов, в которых принимали участие эти суровые «рыцари», постоянно дает картины дикой оргии. Несмотря на повышенный тон и некоторые черты, обнаруживающие более благородные чувства, – честь, веру, рыцарский героизм – поэтические произведения украинских *кобзарей* были посвящены, как и сельских бардов с Дона, главным образом прославлению самых гнусных эксцессов.

Индифферентность по отношению к полу означала устранение всякого семейного чувства из этой среды. Серко, Ахилл Запорожья, был женат и имел двух детей, но, так как женщин не принимали в Сечь, он виделся со своей женой лишь изредка. Казак по призванию должен был быть лишен очага и постоянного местожительства. «Он идет, куда хочет и никто не плачет по нем», говорит один поэт их вольницы. Коммунист, коллективист и особенно нигилист, он в сущности антисоциален. Довольно долго, хотя это и оспаривалось, он оставался безусловно чуждым также всякой идеи морали и религии. Если найдутся некоторые исключения в этом отношении, то они относятся не к индивидуумам, принадлежавшим к братству, а к лицам от него оторвавшимся. В семнадцатом веке в Сечи не было церкви, и там не терпели ни одного священника. Встреча с попом даже за казацким станом считалась скверным предзнаменованием, одна дума в очень непочтительных выражениях говорит о запорожцах, как о людях, которые так же неспособны отличить священника от козла, как церковь от скирды. Среди бури, угрожающей гибелью экипажу *чайки*, герой одной баллады так советует своим людям: «Исповедайтесь милосердному Богу, морю и вашему атаману».

Церковная служба появилась среди братства только в позднейшую эпоху и под влиянием больше политических, чем моральных соображений. В семнадцатом веке, ярый защитник православия, киевский митрополит Петр Могила, всенародно обзывал запорожцев неверующими, а самый красноречивый их защитник в польском лагере, Адам Кисель, признавался, что на них нужно смотреть, как на religionis nullius. Даже в Москве во время переговоров с Эриком Лассотою, дьяки Приказа внешних дел говорили: у этих людей совсем нет страха Божьего. Фактом наконец является и то, что в своих разбоях казаки также обходились с православными церквами, как и с католическими, а с другой стороны приняв на себя миссию проповедника и смешивая при этом дело православной веры с казацкою независимостью, Иов Борецкий не мог добиться от рыцарей «Запорожья» материала для постройки колокольни в монастыре св. Михаила, где он жил.

Таким образом организованная *Кравчина*, в отношении цивилизации и колонизации, преследуемой Польшею в этой части ее обширных владений, представляла собой фактор, с которым нельзя было не считаться и который между тем представлял собой несомненно тормоз в этом отношении.

V. Польская культура

Последняя задача осложнялась целым рядом различных трудностей, вытекавших как из этнического состава местного населения, так и из различия исторических пережитков и национальных или религиозных его черт. Колонизация главным образом поддерживалась концессиями земель, которые отдавались польским правительством десятками квадратных лье его слугам или любимцам, с обязательством заселять их и сделать ценными. Набор колонистов был еще обеспечен благодаря целой системе привилегий: полному освобождению от податей в течение двадцати до тридцати даже лет; очень умеренному дальнейшему оброку; полному иммунитету от юридической ответственности за преступления, совершенные в родной стране и т. п. В Польше в то время отсрочка податей допускалась, даже по отношению к подлежащей распашке земле, только на половинный предыдущему срок; барщина почти повсюду заменяла собою подати натурою или деньгами, а почва не была особенно плодородна. Наплыв эмигрантов был поэтому огромный. Боплан несомненно страдает какой-то галлюцинацией, когда говорит, по этому поводу, о волшебном нарастании деревень и городов среди этой пустыни. Он констатировал результаты последовавшей вековой работы. Польские писатели семнадцатого века пережили ту же иллюзию, говоря о сказочных богатствах, создавшихся в этих местах: чуть не в каждом поместье, по их словам, было до десяти тысяч голов скота, а медведи прямо объедались, разоряя многочисленные ульи. Отсюда получались также огромные состояния. В 1620 году, после смерти князя Януса Острожского, оставленное им наследство насчитывало 600 000 дукатов, 400 000 экю, 29 000 000 флоринов наличными деньгами и двадцать бочек серебра в слитках. Таковы были сбережения украинского майората, состоявшего из 80 городов и 2660 деревень.

Но, подобно этому богатому магнату, большинство крупных концессионеров в этом месте были или русского или русско-литовского происхождения и, смешиваясь с остатками туземного населения, привлеченные ими колонисты, даже если они прибывали из Польши, не принадлежали по большей части к польской национальности. Это были обыкновенно русины, т. е. другие представители той же этнической формации, с которой они снова смешивались после долгих мытарств.

Они принадлежали к древнему украинскому населению, русифицированному нормандским завоеванием и рассеянному потом, благодаря татарскому, а потом турецкому нашествиям с давних времен по всей славянской земле на север и на запад. Теперь благодаря превратностям их исторической судьбы они снова водворились на место первоначального жительства.

По берегам Вислы и Немана эти оторванные от своего корня люди сохранили еще черты своего происхождения. В 1491 году в Кракове еще печатались книги на славяно-русском языке; в Московском Румянцевском музее сохраняется экземпляр рукописи евангелия от четырнадцатого века за подписью одного горожанина чисто польского города Казимирца, по имени Ивана Шапника Леонтиевича, русского по происхождению, пожертвовавшего эту

книгу местной православной церкви.

До назначения, впрочем, Мячеславом I в 968 году латинского епископа, христианская Польша была подчинена моравскому архиепископству Мефодия, а следовательно, греческому ритуалу. В семнадцатом веке, кроме Украйны, она соединяла под своею властью другие части древней монархии Владимира, с населением того же происхождения; на левом берегу Днепра ее колонизаторские предприятия привлекли даже определенное число московских подданных, живших по бассейну Ворсклы, Сулы и Удая в согласии с дикими севрюками, о которых упоминалось выше, и не имевших в себе ничего польского. В эту помесь вмешался также и туранский элемент и, хотя и представленный довольно слабо в эту эпоху, он прежде играл довольно большую роль, судя по татарским именам большей части местности: Балаклея, Баладина, Берчады и т. д. Наконец несколько валахов и значительное число евреев и армян дополняли фонд, которым располагали для культурной работы носители польской цивилизации.

Без всякого преувеличения, результаты, полученные ими до середины семнадцатого века, свидетельствуют об усилиях, достойных большего внимания и являются прямо замечательными, особенно в западной части Волыни, где как раз сосредоточивались владения князя Острожского. Далее на восток жизнь прогрессировала значительно медленнее и в 1625 году на 2 812 квадратных лье, в палатинатах Киева и Брацлава, инвентари указывают лишь 1400 деревень с 545 280 жителями. Эта разница объясняется не только большей отдаленностью от очага культуры, но еще и особенно присутствием в этой части земли, предназначенной для культивирования, того непокорного элемента, который из глубины Сечи простирал на всю соседнюю область тень самой беспробудной дикости. Стоя между основателями деревень и городов и организаторами вооруженных банд, сконцентрированных в степи, Польша должна была таким образом с тройной точки зрения – политической, социальной и экономической – встретиться с проблемой, разрешение которой оказалось ей не по силам.

VI. Украинская проблема

Совершенно так же, как и московское правительство, в его сношениях с донскими казаками, так и польское правительство усмотрело сначала в Запорожье и в других казачьих группах Украины драгоценный материал, который мог быть пущен в ход против турок и татар, как подходящий источник военных сил, но потом нашло в них источник тяжелых забот.

В 1578 году, желая установить хорошие отношения с Портой, ценою похода в Москву, Баторий думал уничтожить эти «вертепы разбойников». Но это было легче сказать, чем сделать, и в конце концов королю пришлось ограничиться паллиативом, в котором хотели обнаружить грандиозный план организации, настоящая цель которого заключалась в том, чтобы смирить украинскую милицию, обратив ее в регулярное войско на службе у республики. Но такая мера была лишь временной. Нуждаясь в поддержке против Грозного и имея кампанию лишь в перспективе, Баторий хотел прибавить к своим наличным силам 500 казаков и дал им в виде обещанной платы свою украинскую вотчину в Трахтемирове, где должны были устроить для них казарму и где хотели найти начало новой казацкой столицы.

Но вот и все; сама по себе идея не была новой; крестьяне королевских вотчин в Украйне, уже с начала века, принимали участие во многих предприятиях, и этот новый опыт не был из

наиболее удачливых. Судя по дневнику одного секретаря Батория, казаки, приведенные королем в Московию, прославились лишь одним: покушением на изнасилование, смутившим сон государя. Эта горсть регулярных солдат совершенно не знала дисциплины, представляя собой простой сброд разбойников и, хотя король старался придать этой организации постоянный характер и самое широкое распространение, все же украинская проблема не была этим серьезно разрешена. Впоследствии, когда в дело вмешался знаменитый польский изгнанник, Самуил Зборовский, татары и турки направили в Варшаву столько жалоб и угроз репрессий, что пришлось самим прибегнуть к репрессии, и в 1584 году, когда Зборовский был обезглавлен в Кракове, кровь более тридцати казаков, казненных в Лемберте в присутствии чауша, должна была послужить средством успокоения Порты.

Но и этого было мало. Чтобы сделать что-нибудь побольше этого, упорядочить степь со всем тем, что было в ней противного порядку и миру, нужно было покрыть ее сетью крепостей, снабженных сильными гарнизонами. Необходимо было также уничтожить в соседнем Крыму этот очаг организованного разбоя, куда часто казаки переносили борьбу, но где еще чаще они изощрялись в самых гнусных своих проделках. Польша не была в состоянии вырваться из этого заколдованного круга, так как была ослаблена внутренними беспорядками. Но следует заметить, что сам Петр Великий не решался взяться за такое дело и завещал его таким образом Екатерине Великой. Республика употребляла лишь одни паллиативы и при этом обнаруживала печальную непоследовательность. «Регистрованным» казакам (так назывались казаки на службе у Республики) она не всегда платила обещанное жалованье и, запрещая им набеги в соседние страны и грабеж, она их только толкала на них, не умея заставить себе повиноваться. Одинаково недовольные и никому не покорные, и те и другие влияли самым гибельным образом на мирную часть населения, которую они посягали с ранних пор подчинить своей власти, игнорируя польские магистраты и оспаривая у концессионеров правительства владение некоторыми землями.

Республика решила тогда отделить доброе семя, посеянное ею в степи, от плевелов, выросших одновременно с ним, и задалась целью ограничить рост последних. Начиная с конца шестнадцатого века, был издан ряд циркуляров, имевших целью воспретить казакам доступ в города и деревни, даже для покупки там съестных припасов; и наоборот, обитатели городов и деревень должны были оставаться в зоне их становищ. Но это оказалось положительно невозможным и внесло в эту среду, уже и так достаточно возбужденную, новую причину недовольства. Даже трудящаяся часть населения этой местности была готова к восстанию.

В принципе и в самом начале участь поселян в этой местности была достаточно удовлетворительной. В глазах барщинных крестьян Польши в эту эпоху Украйна считалась Эльдорадо и не без причины. Обширные вольности и другие льготы, дарованные контрактами колонизации, давали колонистам большую свободу и широкую возможность наживы. Все обязанности, наложенные на них, сводились лишь к некоторой подати, натурою или деньгами, и к некоторым обязанностям военного характера. Барщины там не существовало, или она была крайне ограничена; в одном таком хозяйстве крестьяне обязаны были отработать три дня в году, а в другом восемнадцать деревушек показаны «не платящими ничего и свободными от всяких повинностей».

Общее для шестнадцатого века такое положение вещей, кажется, заметно не изменилось в следующем веке в коронных поместьях, в старостваx. Что касается частной собственности, то она держалась только в южной области, более недоступной для земледелия. На северо-

западе, напротив, после наплыва колонистов, сделавшего менее необходимыми меры предусмотрительности, начиная с 1620 года, мы видим в волынских имениях князя Острожского, что крестьяне обязаны были тремя или даже пятью днями работы в неделю, сверх разных натуральных повинностей. И, быстро развиваясь, эта система здесь, как и в Польше, довела до чудовищных размеров количество оброков и уплату податей натурою со стороны совершенно подавленных земледельцев; меры хлеба (osyp) и пары каплунов трижды в год; подати на ульи (oczkowe), на рогатый скот (rogate), на рыбную ловлю (stawszczyna), на пастбища (spasne) на сбор желудей (zolendne), на охоту (dziesiecina), на помол зерен (suhomielszczyna), и сверх того он должен был работать на собственника, так что крестьянину оставалось лишь урывками – не отдыхать, – но работать на собственном поле.

С другой стороны, свободная земля уменьшилась вместе с прогрессом колонизации, новые концессии захватили земли, уже отданные для свободной обработки, и распространили и на них режим барщины. Когда первые концессионеры заявляют о своем jus primi possidentis, им противопоставляют отсутствие документов, доказывающих их права. Напрасно они ссылаются на «конституцию», которая в 1659 году освободила владетелей от таких оправдательных бумаг: с того же года фаворит двора, палатин Брацлава, Ян Потоцкий, добыл себе привилегию требовать обратно kaduki, т. е. все вымороченные имения, за недостатком документов. И он пользуется этим правом.

С одной саблею в руке и с другими за спиной, казаки сопротивляются по большей части этому отобранию земель и новые затруднения прибавились теперь к прежним. Остается еще указать на большую язву – last but not least – в польской колонизации: это эксплуатация очень большего числа поместий посредниками, по большей части евреями. В силу своей беззаботности или неспособности управлять непосредственно своими огромными latifundia, крупные украинские собственники прибегли к системе общих или частичных аренд и можно себе представить, чем сделались в такой среде арендаторы израильского происхождения.

Нельзя даже приблизительно подсчитать число евреев, поселившихся в эту эпоху на обоих берегах Днепра. Нам приходится прибегнуть к указаниям, которые, однако, свидетельствуют о крайне быстром росте этого контингента: в Виннице, например, в Подолии, инвентари указывают пятнадцать подданных этой категории в 1569 г. и семьдесят семей в 1604 г. К середине семнадцатого века евреи, эти первые жертвы казацких набегов, как кажется, кишели повсюду.

Повсюду они возбуждают к себе ненависть. Являясь кабатчиками, ростовщиками, купцами, евреи безжалостно эксплуатируют местное население. Но особенно они стали ненавистными в качестве арендаторов. В качестве такового еврей заменяет собою собственника во всех его правах. В одном контракте указано на то, что «светлейший синьор Авраам Шмойлович (sic) и его жена Рыкла, дочь Иуды», имеют право действовать при всех обстоятельствах loco domini. Таким образом добытые ими права представляют собой на самом деле юрисдикцию без права апелляции, как в гражданских, так и в уголовных делах. Происходя от литовского статута, jus vitae и necis, правда, в Польше никогда не признавалось юридически, но оно было освящено обычаем. Закон 1768 года служит тому доказательством, ставя как раз своей целью положить конец этому злоупотреблению.

По благоразумию или просто благодаря инстинктивному отвращению «синьор Авраам Шмойлович» и его сородичи, кажется, не часто прибегали к мечу. Но они широко пользовались всеми остальными правами, доходя до эксцессов, которые должны были бы показаться невероятными, если бы они не были удостоверены многочисленными

документальными данными. Говоря «о церквах, арендованных по всей Украине евреями», одна дума лишь воспроизводит то, что совершалось на практике. Факты показывают, что евреи облагали податью браки и крестины своих подчиненных и для того, чтобы укрепить за собою это право, носившее название dudek или posemszczyzna, они хранили у себя ключи от церквей!

Ужас перед режимом, который евреи возлагали на подчиненных им хозяйственном и юридическом отношении людей, выражается даже в источниках польского происхождения и, конечно, не в Украйне, где совсем не умели говорить по-латыни, были составлены в эту эпоху следующие стихи:

Clarum regnum Polonorum
Est coelum Nobiliorum
Paradisum Iudeorum,
Et infernum Rusticorum.[45]

Тяжелая ответственность падает в этом отношении на польскую колонизацию. Тем не менее она нашла себе защитников, даже в Малороссии. Указывали на то, что сам Петр Великий не мог добиться порядка и благосостояния в этой стране, как только путем восстановления в ней власти польских сеньоров. Жестокость, отличавшая этих господ, являлась для украинского народа лишь отражением его собственного варварства, как и его попытки к восстанию являлись лишь следствием анархистского духа, вызывавшего и оправдывавшего неизбежные жестокости. Польша, по мнению этих апологистов, явилась напротив жертвою излишней мягкости и терпимости, доходившей почти до наивности.

Эти указания содержат долю истины. Положение украинских крестьян, как оно ни было плачевно, являлось в XVII в. в общем более сносным, чем положение их товарищей по несчастию в других странах, в то время, когда там царило рабство. Казаки, со своей стороны, пользовались здесь совершенно исключительным положением; как жалобы, так и мятежное движение всегда рождались в их среде. Наконец, как в области общественной, так и в частной, если не считать ряда случайных злоупотреблений и личных уклонений, польский темперамент никогда не обнаруживал ни большой строгости, ни уменья систематического применения какого-либо режима.

Несомненно, что политический и социальный кризис, в котором находилась Украйна с начала семнадцатого века, в котором потонуло польское владычество, имел своей причиной брожение казаков. Но во всех областях и при каждом режиме этот элемент положительно не подчинялся никакой дисциплине. Никогда его нельзя было приучить к полицейской организации. Повсюду, чтобы установить порядок и мир, приходилось его ограничивать или укрощать насильственными мерами и в общем самый сильный упрек Польши в этой части ее исторической жизни состоит в том, что она не сумела опередить свою северную соперницу в употреблении необходимых мер расправы.

Применение к этой стране общих правил является бессмысленным. По своему географическому положению и по своей исторической формации, она стояла вне всякого шаблона, и благодаря этому получились совершенно особые черты характера и нравов из этой смешанной амальгамы этнических индивидуальностей, сброшенных туда в одну кучу, как камни, приготовленные для постройки. К глубокой меланхолии, выраженной так ярко в его поэзии, и общей тенденции к безрассудным и отчаянным предприятиям присоединялись взрывы безумной веселости, в которой этот народ, находившейся в состоянии образования и

обреченный на постоянно тревожную жизнь, искал забвения от пережитых лишений и ожидавших его впереди опасностей. На темном фоне этой печальной судьбы, постоянно угрожаемой новыми бедствиями, казацкая фантазия рисовала пестрые узоры. Между двумя нашествиями, турецким и татарским, сопровождавшимися ежедневными битвами и непрестанной тревогой, крики печали и горя сменялись взрывами радостного и удалого веселья. Обычная бедная жизнь деревень и местечек уступала место внезапным взрывам диких оргий, в результате какой-нибудь очень богатой жатвы или исключительно прибыльного набега. Под руки с рыцарями, вчера одетыми в лохмотья, а теперь в шелк, появлялись на улицах их жены или любовницы, еще босиком, но с золотыми серьгами в ушах, отнятыми в каком-нибудь турецком гареме.

Все это создавало среду беспорядочно разнузданную, фантастическую, экстравагантную, в которой введение какого-либо порядка вещей, хотя бы только нормального, являлось чистым парадоксом и, представляя собой полную противоположность инстинктам, вкусам, привычкам и страстям населения, должно было натолкнуться на отчаянное сопротивление. Нет никакой необходимости объяснять это, как делают некоторые, воображаемым антагонизмом учреждений, противополагая польский индивидуализм туземному коммунизму. Принцип коллективизма очень слабо применялся всегда в Украйне, в Сечи, где, как это мы показали выше, она была вызвана иностранным влиянием. Что же касается республиканского радикализма народных масс по берегам Днепра, то он был обязан своим происхождением исключительно полетам фантазии историков, которые его открыли. Конфликт был неизбежен между этим хаотическим миром и всяким правительством, которое стремилось бы подчинить его закону, каков бы он ни был, но ни национальный вопрос, ни вопрос религиозный долго не играли никакой роли в этой борьбе, и когда эти вопросы оказались в ней замешанными, то лишь маскировали присутствие других интересов: честолюбивых замыслов и страстей, действовавших с гораздо более реальной силой. Эти вопросы только осложнили эту проблему и вот почему необходимо указать ясно то место, которое они в нем занимали.

VII. Национальный и религиозный вопросы

Остап Дашкович, каневский и черкасский староста в первой половине шестнадцатого века и один из самых храбрых поборников польской колонизации на восточных ее границах, происходивший из Овруча на Волыни, был православный и переписывался по-русски с королем Сигизмундом I. Польское правительство и польское общество того времени мирились безропотно с этими отношениями. Прибыв на Украйну, польские шляхтичи охотно допускали, чтобы их польский язык растворялся в обиходной речи местного населения. С другой стороны даже для самых решительных защитников местной независимости или соединения с Великоруссией, польский язык долго сохранял за собою исключительную привилегию литературного языка. Они употребляли его предпочтительно даже для составления памфлетов, направленных против польского же владычества. Приблизительно до середины семнадцатого века, возможность возникновения национального антагонизма между русскими и поляками, казалось, была исключена самим фактом состава польской империи, где оба элемента слились в силу добровольного соглашения. Врагом для этого конгломерата с федеративною основою было московское государство, беспокойный претендент на русскую часть составленной таким образом коммуны, но соперник во всяком

случае незначительный, как думали, в силу его исторического развития, вне славянского мира. Тем не менее между Варшавою даже и Москвою одна только вера могла служить препятствием к сближению, из которого могла бы получиться новая федеративная связь, и мои читатели уже видели,[46] что ценою одной только православной обедни, польский король, менее щепетильный, чем Сигизмунд III, мог бы без всякого труда устроиться в Кремле.

В Украйне большая часть колонистов принадлежала к греческому вероисповеданию; но, распространяясь на массу населения, индифферентность к религиозным делам или скорей вражда к ним казаков делала этот камень преткновения почти не имеющим значения или совершенно его уничтожала. Заговорив позже об этом, сам Хмельницкий выдал однажды тайную свою мысль в угаре винных паров, объявив, что для него поп и католический священник одно и то же, так как оба они не стоят веревки, на которой их следовало бы повесить. Нежизненная для того времени даже в самом московском очаге своем, православная церковь неизбежно страдала в Польше от соседства с другой религией, господствовавшей и получившей благодаря этому большие права для себя. Приблизительно до шестнадцатого века однако она пользовалась там самою широкою терпимостью. В 1584 г. Баторий разрешил своим православным подданным следовать старому календарю; в 1589 году Сигизмунд III сам предложил константинопольскому патриарху Иеремии распространить на них права своей юрисдикции. Находящееся в руках короля право назначения епископов распространялось и на православный клир и на религиозную общину, создавая им этим самую унизительную зависимость, но ни тот, ни другая не были этим задеты за живое. Необразованный и грубый, пьяный и грязный, по свидетельству даже самых выдающихся членов его, этот клир отказался в нравственном отношении от всяких предубеждений, а его прихожане подражали его распущенности и индифферентности. Религиозная жизнь сохранилась лишь среди некоторого количества братств, происхождение которых в Лемберге относится к тринадцатому веку, но развитие их на корпоративных началах было также делом польской культуры, обязанным в большей части своей влиянию магдебургского права, введенного Польшей в режим муниципалитетов. Родство их с коммунальными формациями древней России не менее проблематично, чем таковое военным коммун Запорожья. Долго польское правительство охраняло эти институты, которые между тем, присвоив себе самую широкую юридическую и административную автономию, стремились утвердить свой авторитет даже в противовес авторитету епископов им же назначенных. И оно не беспокоилось об этом, справедливо полагая, что время и обстоятельства действуют реальнее в его пользу.

Очень вероятно, что низшие слои населения последовали бы рано или поздно за движением, привлекавшим высшие классы к польской культуре и, как к естественному следствию, к католической религии. Но то был очень медленный процесс, и к несчастью с конца шестнадцатого века слишком ярые католики хотели его ускорить. Благодаря либеральному духу, а также, говоря правду, беспечности, свойственной национальному темпераменту, даже протестантство не придало в Польше особой суровости конфликту исповеданий, и эти ярые сторонники католицизма должны были перенести борьбу на совершенно другую почву.

Нетрудно догадаться, что то были иезуиты. Начиная с 1570 года, взяв базисом свой деятельности дома крупных украинских, польских или полонизированных вельмож, являясь к ним в виде учителей, секретарей, управляющих, милиция Лойолы выходить на поединок и

положение тотчас же меняется. В 1582 году католический клир и население Лемберга возмутились против православного духовенства по поводу введения греческого календаря. В 1588 году был получен циркуляр поставить в Киеве православного архиепископа по выбору ордена, Михаила Рагозу, его ученика, протеже и послушное в его руках орудие. И тогда была намечена к выполнению новая программа; та самая, на которую указывает в 1577 году отец Скарга, этот польский Боссюэ, опубликовавший свою знаменитую книгу о единстве церкви и превозносивший в ней открыто употребление в дело принудительных средств, энергичного применения compelle intrare.

Нападение было произведено по всей линии и, возбудив прекратившуюся уже деятельность православных братств, вызвало с их стороны неожиданное сопротивление. В Киеве, в Вильне и в других городах родились ассоциации того же типа. Лембергское братство, реорганизованное в 1586 году, получило от константинопольского патриарха Иеремии новые неограниченные права, включая сюда право контроля над всеми епархиями, вплоть до обвинения или отлучения всех членов клира, священников или епископов. Отказавшись признать подобную юрисдикцию, православный епископ Лемберга, Гедеон Балабан, вступает в спор со своим коллегою из Луцка, Кириллом Терлецким, который обвинялся тогда народною молвою во всевозможных преступлениях, грабежах, насилиях и даже в фабрикации фальшивой монеты.

То была ожесточенная, страстная, слепая борьба и из ее недр вскоре вылились две идеи, которые явились господствующими в поднятом споре и повлекли его к роковой развязке. И клир, и население, все верные православной церкви должны были искать точки опоры, надеяться в дальнейшем на помощь там, где они естественно думали ее найти, – вне польского владычества, отданного теперь в феод иезуитам. Они направили свои взоры на Москву. В то же время, заподозренные как креатуры польского правительства, преследуемые поэтому воинствующими братствами, отданные на их суд восточным патриархатом, некоторые православные епископы не видели уже никакой возможности поддерживать свой авторитет и защищать свои привилегии на лоне греческой церкви, и следовательно должны были обратиться к Риму.

Решенная в 1591 году под влиянием иезуитов Уния с Римом была осуществлена в 1595 году. Так как архиепископ Рагоза держался в стороне, как более всех подозреваемый, а епископ Пшемысля, Михаил Копыстинский, и даже лембергский епископ Балабан, несмотря на свои размолвки с братствами, выразили протест, хотя раньше и дали свое согласие на присоединение, то двое других, Кирилл Терлецкий луцкий и новый епископ Владимира, Игнатий Поцей, уже прежде обратившийся в католицизм, поехали в Рим, привезя с собой согласие некоторых своих коллег, и заявили о своем подчинении.

То была крупная ошибка как со стороны польского правительства, благоприятствовавшего этому движению, так и со стороны самих иезуитов, его главных инициаторов. Их намерения были несомненно чистые, и одно уже присутствие Скарги среди первых пионеров этого дела было достаточно, чтобы убедиться в благородстве руководивших ими чувств. Но результаты были пагубны. По проекту, выработанному Скаргою, здесь не было речи о полном слиянии двух церквей. Но на деле уж одно уважение к органической и ритуальной автономии присоединенной общины создавало какое-то ублюдочное тело, лишенное способности жизни и развития. Встав преждевременно между обоими элементами, уже и так склонными к сближению, этот новоорганизм послужил лишь препятствием к мирному их поглощению друг другом, вводя в то же время в среду, уже и так

насыщенную в этом отношении, антагонизм противоположных идей и интересов.

Под влиянием предубеждений, по большей части личного свойства, местные вельможи русского происхождения и православной веры, но связанные с Польшею, – Висневецкие, Сангушко, Сапега, Огинские, Ходкевичи, Пасы, Хребтовичи, Воловичи, Корсаки во главе с главным воротилой этой местной аристократии, с Константином Острожским, и сами оказывали противодействие. Уния отнимала у них право, которым они владели скорее благодаря обычаю, чем по закону, вмешиваться в церковные дела. Почти девяностолетний старик «герцог Острожский» являлся типичным представителем этой группы. В настоящем ее виде украинская «казачина» выросла с ним вместе, и он оставался казаком с ног до головы. В молодые свои годы он однажды ворвался силою в Острожский замок, где жила вдова его брата Ильи, похитил ее дочь и отдал ее своему другу, Димитрию Сангушко. Когда княгиня стала протестовать, он бросил ее на землю, заставил священника тотчас же совершить брачный обряд, произнес за свою племянницу слово согласия и принудил ее присутствовать на пиру, после которого был завершен брак с грубой помощью слуг Сангушко, которые превозмогли сопротивление невесты.

В 1569 году этот жестокий человек не оказал ровно никакого сопротивления союзу, соединявшему русские провинции древнего литовского государства с Польшею; он даже по-своему показал себя верноподданным республики, но при этом не платил налогов ее казне. Как большинство дворян, но более явно, он презирал ее законы, говорил грубости суверену и с миллионным доходом оставил совершенно разрушенным унаследованный им Острожский замок, совершенно не заботился оказать помощь киевским церквам поддержкою или реставрацией.

Православная религия не могла ожидать большой помощи от подобного защитника. Но она нашла себе других. С Афонской горы раздался голос галицийского монаха, Ивана Вишни, вызвавший в Вильне отзвук в словах и сочинениях Стефана Зизания, поднявшего жаркие полемики и возбудившего в народных массах новые чувства. Даже среди казаков уже указанная нами индифферентность сменилась другим настроением, в котором дело религии слилось неожиданно с национальным делом, до тех пор совсем не существовавшим. Угрожаемая в Польше, греческая вера должна была вызвать в умах идеал другой России, где бы она не переживала подобных немилостей.

Уже в 1622 году мы узнаем о путешествиях в Москву, предпринятых православными прелатами Польши для того, чтобы официально просить вспомоществования, но на деле, чтоб добиться покровительства царя против «общего врага».

Итак, несмотря на усилия иезуитов и польского правительства, которое само помогало им, прогресс Унии был очень медленный, а с другой стороны декларации о религиозной терпимости, много раз высказывавшейся польскими сеймами, не соответствовали истине. Гарантируя свободное исповедание греческой религии, оно не исполнялось католическим клиром и распростиралось только на знать. Таким образом православные дворяне могли выполнять на деле греческий ритуал, но это не мешало благородным католикам насиловать в этом волю своих православных крестьян.

На деле это был произвольный режим, в котором одержало верх все же насильственное вынуждение, хотя известная школа историков впала в этом отношении в странные преувеличения. Польша отдавала чистой химере то драгоценное, что добыла благодаря самой мудрой политике. Чрезвычайно трудная задача усложнялась особенно опасным фактором, а вмешательство Рима открывало дорогу другому внешнему вмешательству,

сделавшемуся гораздо более действительным и в конце концов приведшему, благодаря обстоятельствам, к решительному концу.

Глава девятая

Конфликт

I. Победа плуга и реванш сабли

Таким образом накопились причины ужасного кризиса, который должен был дать тело и душу этому украинскому союзу рассеянных и непостоянных элементов и в тяжелых муках произвести на свет сначала эфемерное государство, а потом, понемногу развиваясь, ту историческую индивидуальность, конечная участь которой еще теперь составляет тревожную загадку: «Малороссия». Отделенная от Польши, захваченная после недолгого опыта самостоятельной жизни другим политическим агломератом, она тем не менее сохранила в себе черты оригинальности и порой часто очень честолюбивые замыслы будущего. Первоначально, название «Малороссия» прилагалось к Волыни и к галицкой земли, а в наши дни существуют малороссы, составляющие карты, где географические границы государства, более или менее автономного, – предмет их, быть может, химерической мечты, а кто знает, быть может и реальной! – простираются от Дона до Вислы.

Такое видоизменение украинской проблемы явилось в семнадцатом веке следствием казацких восстаний. Вначале восстания эти не отвечали никакому требованию национального или религиозного характера. Первое из восстаний, в 1591 году, под начальством Христофора Козинского, польского дворянина, как кажется, родом из Подляхии, являлось лишь простым разбойничьим набегом на поместья князя Острожского, – произведенным следовательно во вред человеку, который лучше чем кто-либо другой в этот момент отожествлял в своей личности национальные и религиозные интересы, оспариваемые в стране. Вынужденный сдаться после неудачной битвы, во время которой тяжелые польские эскадроны прошли, как ураган, над его более легкой кавалерией, причем ее лошади буквально утопали в снегу, убитый вскоре после этого во время драки в кабаке, печальный герой этого предприятия уступил свое место более блестящему, если не более достойному борцу, «Алкивиаду казацкой республики», как его называет один историк, Северину Наливайко.

Последний был человеком более скромного происхождения, сыном скорняка в Гусятине, маленьком украинском местечке, и начал свою деятельность в милиции князя Острожского. Мы не знаем его настоящего имени, так как Наливайко было лишь его насмешливым прозвищем (от слова «наливать»). Большая часть казаков имела прозвища. Явившись в Сечь после спора из-за земли, как это потом случилось с Хмельницким, «Алкивиад» нашел там своего Перикла в лице атамана Григория Лободы.

Он, кажется, выступил в первый раз под начальством этого воина, безжалостно грабя Венгрию, которую «рыцари Запорожья» по приглашению императора Рудольфа II должны были защищать против турок. Он посетил потом Молдавию, все в качестве бандита, но отказался немного позже следовать за польскою армией, действовавшей против турок и татар. Нашелся один историк, который похвалил его за это доказательство его

«практического ума». Кажется однако, такое достоинство более относится к «Периклу», только что встретившему свою Аспазию в лице молодой девушки из благородной польской семьи, г-жи Оборской, захваченной в окрестностях Бара и выданной насильно замуж. Это приключение поссорило атамана с Польшею.

Но «Алкивиад» вскоре взлетел на своих собственных крыльях. Напав неожиданно на города Луцк и Пинск и разграбив совершенно в одном из них дом епископа Терлецкого, находившегося в то время в Риме по делу Унии (в январе 1596 г.), он сразу явился защитником православной веры. Республике пришлось послать самого лучшего из своих полководцев, Жолкевского, против этого импровизированного апостола и, окруженная на берегах Сулы в июне 1596 года, шайка Наливайко сдалась в свою очередь, но при этом совершенно оправдала украинскую пословицу, по которой нужно убить казака три раза, чтобы его душа вышла из тела. Выданный своими товарищами, Наливайко был привезен в Варшаву, где, говорили, его сожгли на медленном огне в медном быке Фалариса. Мы знаем совершенно точно, что его просто обезглавили, но Украйна была по преимуществу страною легенд, и в ней рассказывали также о «каменном мешке», полой колонне, где будто бы Козинский искупил свои подвиги.

Репрессия принесла свои плоды. Успокоенные и ободренные поляки стали энергично развивать колонизацию, создав в несколько лет большие поместья: Романове, Хвостово, Гайссыно, Гумано, Гостомлы, Сквиры, Таборовку, Лысянку, прибавив одиннадцать деревень к владениям Василькова, тридцать пять к старосту Белой Церкви. Но по тем же самым учреждениям, укрепившись на религиозной почве, и смутно обрисовываясь на национальной, пробегала часто струя сопротивления. Обратив Афонскую гору в Синай, Иван Вишня не переставал громить угнетателей истинной веры, и его страстные слова электризовали все более и более многочисленные группы попов, монахов, городских жителей, объединившихся в одном чувстве негодования и глухой злобы. За вспышкой вооруженных шаек последовала другая борьба, хотя и менее кровавая, но такая же страстная.

Потом еще раз, в первые годы семнадцатого века, взяло верх оружие, открыв казакам поле новой деятельности, Смутное время, созданное в большой соседней империи прекращением династии Рюриковичей, должно было дать большое развитие военным братствам Украйны. Следуя за звездою Лжедмитриев, или поступая на службу в польские войска, отправлявшиеся на завоевание вакантного наследства, привыкшие к войне, экзальтированные победою, обогащенные грабежом московских областей, «запорожские рыцари» показали такой пыл, такую стойкость и смелость, которых от них не ожидали. Черное море влечет их сильнее, чем когда-либо, а Днепр, который они олицетворяют, как некогда Баян в песне о Игоре олицетворял Донец в виде доверенного лица своего героя, а до него Гомер изображал Скамандр страшным и милосердным богом, Днепр – Славута, как они называли эту реку, становилась способной в их воображении повести их к покорению мира. Они, правда, не достигли этого, но в 1614 году они угрожают Синопу, а в 1616 г. сжигают Каффу. Война с Персией, в которую она ввязались, обезоружила на время Порту, а с другой стороны Польша также временно снискала себе уважение на Украйне. Благодаря неутомимой энергии и ловкости Жолкевского, ей удалось в 1617 году даже заключить с казаками договор, подписанный острием сабли, на Росе в окрестностях Ольшанки, номинально эта конвенция довела их до тысячи человек, состоящих на службе у республики.

Но это был лишь временный перерыв, обязанный по большей части авторитету единственного действительно ценного вождя, который находился тогда в распоряжении

Запорожья. Это был атаман Петр Конашевич, по прозвищу Сагайдачный. Родившись в окрестностях Самбора, в Краснорусии или Галицкой Руси (восточной части современной Галиции), произведшей в то же время Ивана Вишню и Иова Борецкого, дворянин, если судить по его оружию, на котором был вычеканен знак креста, чем он вызвал панегирик Саковича, этот человек являлся одним из последних украинцев, искренно преданных Польше и той программе, которая проводилась ею в этих областях. И в то же время это был очень ярый приверженец православия, горячий сторонник частичной местной автономии и по-своему казак в душе.

Его стремления были, без сомнения, самые лучшие, но идеал, которым они соответствовали, был неосуществим. Желая подвергнуть более строгой дисциплине подчиненные ему войска, Конашевич понимал необходимость связать их прочнее с военной организацией республики и изгнать из них мятежные и непокорные элементы. Но, периодически испытывая полный упадок и отсутствие средств, правительство республики разрушало одною рукою то, что оно создавало другою. Через два года после Ольшанского договора, желая помочь королевскому принцу ввиду опасности, которой он подвергался в самом сердце Московии, оно само призвало Украйну ко всеобщему восстанию.

Храбрый и искусный солдат, но очень простого ума человек, Конашевич с другой стороны ничего не понимал в выгодных и заманчивых сторонах польской культуры, которая к тому времени прониклась всеми утонченностями итальянского возрождения. В этом отношении он был на стороне того неисправимого блока, который противопоставлял казацкую дикость цивилизаторскому влиянию Польши. Некий Замойский только что основал на русской земле, в Заможе, академию и прекрасную библиотеку. Назначенный киевским палатином, его сын напрасно обращал в галантный двор местный замок, великолепно реставрированный, и в нем обращался humanissime с «рыцарями Запорожья»: его гости предпочитали всему этому грубые радости куреней и кабаков.

Проблема становилась все менее разрешимой. Польша не могла ужиться с казаками, а между тем она не была в состоянии обойтись без них. В 1620 году после удачной попытки снова рассеять мятежные шайки Конашевича, Жолкевский отказался призвать их к оружию для безнадежной кампании, предпринятой им в Молдавии с горстью людей. Окруженный у Цекори большой турецкой армией, он погиб, и казаки были склонны видеть в этом событии Божие наказание. Некоторые из них, из состава, находившегося на службе у республики, участвовали в этой битве, и в числе их чигиринский сотник, Михаил Хмельницкий, который был убит. Его сын, Зиновий Богдан, был вместе с ним, но спасся.

То был будущий вождь Украйны.

После этого поражения, которое обезоружило Польшу, Украйна была на некоторое время предоставлена самой себе. И в это самое время наряду с конфликтами социального и экономического характера, поддерживавшими в стране постоянное тревожное настроение, разгорелась религиозная война. Борясь с унией, православие попыталось перенести борьбу на почву, где она до сих пор не проявляла никакой жизни. Цивилизаторские стремления поляков вызвала против них другую культуру.

II. Две церкви и две культуры

Католическая пропаганда определенным образом и в одном, по крайней мере, направлении достигла некоторых успехов в этой среде. Вельможи один за другим оставляли

православие или оставались с ним внешним образом связанными, чтобы сохранить за собою право на распределение церковных бенефиций. Но добровольное обращение господ влекло за собою обычно вынужденное совращение их подданных. Католические священники могли таким образом свободно захватить православные церкви и имущество, назначенное для поддержки последних, причем пускали в ход самое гнусное насилие.

Такое посягательство вызвало впрочем живой протест. Стипендиаты православных школ (бурсаки) и служители монастырей выдержали для защиты угрожаемых храмов не одну кровавую битву. На огромных церковных поместьях, откуда очень часто нашествие татар или турок изгоняло из управителей, авторитет хозяев чувствовался с трудом. Украйна была велика, и преданные преследуемой религии всегда могли найти там для нее надежные приюты. Казаки сами предлагали их, когда некоторые из них успели сами сделаться крупными собственниками. Завещание Тышко Волевача, «гражданина и казака Чигирина», составленное в 1600 году, указывает на земельное имущество, занимавшее добрую половину теперешнего Александрийского уезда в Херсонской губернии, раскинувшееся на пространстве в несколько квадратных лье. И захваченные в силу военного права или обращенные в дворянские угодья, поместья этого рода не были подчинены юрисдикции польских старост; они были подчинены лишь казацкому самоуправлению, которое, несмотря на все усилия польского правительства, продолжало развиваться. Несмотря на всю свою верность республике, сам Конашевич благосклонно относился с этой стороны к автономным тенденциям своих сотоварищей по оружию, подобно тому как он старался не нарушать также незыблемость кадров их военной организации.

Православие находило для себя там все более прочную опору, а казаки все более стремились отожествить дело православной веры с их казацким делом. Уже в 1618 году они убили главного викария киевской митрополии, Антония Грековича, за акт совращения в унию. Через два года, когда Иерусалимский патриарх Феофан прибыл в Киев, они защищали оружием собрание, где было решено нечто вроде государственного переворота: восстановление православной иерархии, нарушенной унией. Тогда патриарх, игнорируя польские законы, рукоположил в большой церкви монастыря Киево-Печерской лавры одного митрополита и шесть епископов.

Проект состоял в том, чтобы поднять население, прогнать униатских епископов, вернуть отнятые церкви и заставить потом польское правительство признать совершившееся фактом. Передача киевской митрополии в руки архимандрита Киево-Печерской лавры, Иова Борецкого, доказавшего уже свою крайнюю ревность на почве защиты «истинной веры», и вступление Конашевича с товарищами в местное братство, придали событию грозный характер. Мистически настроенный монах-аскет с одной стороны, и суровый солдат с другой, объединились здесь в одном чисто-религиозном чувстве, хотя их политические идеалы и были различны. Борецкий на деле был решительным противником Польши и уже всецело был охвачен мыслью войти в соглашение с ее северною соперницею.

Эта разноголосица с одной стороны и слабость польского правительства с другой способствовали тому, что таким образом вызванный конфликт потерял тот острый характер, который он стал, по-видимому, принимать. Вначале польский сейм объявил все инвеституры, произвольно розданные православным прелатам, недействительными, но он не был в силах дать практическую санкцию своему решению, и в 1621 году Конашевич добился обещания пересмотра декрета. За это он выступил с 30 000 человек в новый поход против турок, окончившийся отступлением оттоманской армии. Но так как дела оставались

все в том же положении, православная церковь разделилась на две отдельные иерархии, одну официальную и подчиненную, другую революционную и военную. Но кризис был отсрочен ввиду вскоре за тем последовавшей смерти Конашевича; за отсутствием вождя, который мог бы его заменить, казаки вернулись к своей обычной анархии, и частностью к своей индифферентности в вопросах веры.

В Киеве между тем создался очаг анти-унионистской и анти-польской агитации, которому не суждено было угаснуть. Местное братство, школа при нем, Борецкий и несколько монахов, которым он передал свой жар, старались не сдаваться, даже в области литературы и науки, своим католическим противникам, иезуитам и доминиканцам. Задача была трудна. Среди учителей, которыми они располагали, члены образованные и непьющие встречались редко, «реже золота и алмаза», утверждал меланхолически сам Борецкий. Эта контрпропаганда насчитывала много приверженцев. Вне сферы аристократической польская культура и латинская церковь одинаково не пользовались моральным влиянием на массу населения, на крестьян и мещан, у которых уния напротив вызывала вспышки реакционного фанатизма. Но то был элемент, которым нельзя было почти пользоваться, как средством для интеллектуальной борьбы.

Сама уния со своей стороны – учреждение разнородное и приниженное, покинутое высшими классами, склонявшимися к католицизму, была не в лучшем положении. И таким образом силою вещей борющиеся перенеслись на узкую почву грубой полемики и чисто материального насилия. Об этом свидетельствует апостолат знаменитого униатского архиепископа Полоцкого, Иосафата Кунцевича, более энергичного, чем мудрого борца, которого обстоятельства обратили в мученика и которого в Риме причислили к лику святых. Но нельзя утверждать, что покушение на него, стоившее ему жизни, не было вызвано его поведением и не явилось результатом других крайне преступных эксцессов.

То был человек, одаренный героизмом, но совершенно лишенный всякой мягкости. Монахом он изгонял ударами палки искушения, которые находили на него в его келье, епископом, чтобы очистить церкви, взятые у схизматиков, он доходил до осквернения православных могил, факт, который не опровергают его защитники, и не совсем искусно оправдывают детскою легендою о явлениях, которые сделали необходимыми подобные меры. 12 ноября 1623 г. виновник этих мер был убит во время бунта и это убийство, тоже ничем не оправдываемое, имело огромное и роковое влияние на дальнейший ход событий. В такой кровавой расправе с обеих сторон как бы санкционировалась победа насильственных мер.

Желая победить Кунцевича совершенно другим оружием, Борецкий послал в Витебск, в качестве митрополита, лучшего из своих помощников, Мелетия Смотрицкого, воспитанника иезуитов и иностранных университетов, первого русского доктора медицины и автора очень ценимой в то время славянской грамматики.

Образованный и интеллигентный, деятельный и ловкий, этот борец проделывал чудеса, когда внезапно событие 12 ноября остановило и разрушило все его дело. Неизбежные репрессии прервали сначала созданное им движение и вскоре, после таинственного пребывания своего на востоке, он сам присоединился к унии, причем свое сенсационное обращение он оправдывал интеллектуальным и моральным убожеством оставленной им церкви. После некоторых колебаний и компромиссов, вознагражденный прибыльной синекурой и титулом архиепископа in partibus Гиераполиса, до своей смерти в 1633 г. он оставался верен на этот раз принятому на себя делу и заслужил, защищая его, имени

«польского Цицерона».

Это была для его старых соратников невознаградимая потеря. Но они нашли в это время другого защитника, не менее стойкого и еще более достойного, но вдохновленного совершенно другими идеями и тенденциями. Сначала в монастыре Киево-Печерской лавры, а потом в 1632 году и в Киевской метрополии, Борецкий уступил свое место Петру Могиле. Сын Симеона, палатина Молдавии, он имел первыми своими учителями монахов лембергского братства, а потом докторов парижского университета. Отправленный в изгнание, благодаря спорам между членами его семьи, нашедший себе после приют в доме Жолкевского, которого сопровождал в некоторых походах, он неизвестно по каким мотивам очутился в Украйне и постригся там в 1628 году, имея двадцать восемь лет от роду.

Это был очень любопытный тип монаха и в то же время честолюбца, непримиримого сторонника православия и убежденного западника, относившегося с одинаковою страстью к совершенно противоположным тенденциям. Ярый украинец, он между тем ненавидел казаков и, будучи решительным врагом Рима, в то же время не любил и Москвы. В глубине души своей интеллектуально он приемный сын Польши, и деятельность, которую он развивает на своей приемной родине, кажется плодом зрелости польской культуры, приложенной к этой стране. В бытность свою архимандритом Киево-Печерской лавры, Могила совершенно в польском духе начинает с посылки за границу для окончания образования нескольких учеников своей школы, между ними Иннокентия Гизеля, получившего позже большую известность; потом, вопреки желанию Борецкого, он создает коллегию, обратившуюся позже в академию, в которой методы обучения были скопированы с польских моделей. Латинский язык там пользовался особенным фавором, изучение изящной литературы чередовалось там с богословием, основанным больше на св. Фоме, чем на греческих отцах.

Этому учреждению суждено было сыграть значительную роль в общем развитии православной мысли, в самом лоне северной Славонии. Все позже установленные институты научного или религиозного воспитания вдохновлялись им и подчинялись действию польской культуры вплоть до некоторого уничтожения оригинальных местных элементов, ею заглушенных. Польша здесь использовала великолепно последние дни своего заката. Но политическая и социальная эволюция Украйны не претворилась в ней. Она неизменно держалась другого направления. Верхние и средние слои населения были охвачены польским движением, но масса, крестьяне и казаки, были ему враждебны, как и раньше, и печальная серия восстаний, возобновлявшихся периодически, но всегда с новой силой, так и не прерывалась.

Когда в 1625 году казаки предложили поддержать князя Александра Ахджия, предполагаемого сына Магомета III и претендента на турецкий трон, польскому правительству, угрожаемому оттоманским нашествием, пришлось сделать попытку новых репрессий. Строгие приказы, опиравшиеся на внушительную военную силу, предписывали неуклонное выполнение прежде изданных, но не исполнявшихся установлений. «Зарегистрированные» казаки, теперь в числе уже шести тысяч, были приглашены исключить из своей среды всех не записанных и подчиниться беспрекословно гражданским и военным властям республики. Принимая во внимание обстоятельства, нетрудно было предвидеть ответ заинтересованных в этом деле лиц: в них еще жива была душа Иова Борецкого.

III. Обращение к Москве

Уже в 1622 году, после смерти Конашевича, бывший тогда у власти архимандрит Киево-Печерской лавры, Исайя Копинский, послал в Путивль, пограничный московский город, попа с поручением переговорить с местными воеводами. Посланец должен был просить помощи у царя против поляков, преследователей «истинной веры», и просить также убежища для ста пятидесяти украинских монахов, которых должно было сопровождать большое число казаков. Эта попытка осталась без ответа, и ее инициаторы думали некоторое время обратиться к Турции, начав таким образом политику, в которую так виртуозно сыграл позже Хмельницкий. Потом в 1625 году сам киевский митрополит, Иов Борецкий, занялся организацией трех посольств, получивших мандаты от «казацкой армии», православных епископов Украйны и князя Александра, возобновить в Москве прерванные переговоры. У нас существуют по поводу этой миссии довольно смутные сведения, но, как кажется, она преследовала двойную цель: побудить царя взять Украйну под свое покровительство и помочь возвращению Константинополя в лоно христианства через посредство претендента, уже обращенного в православную веру. В одной своей части план этот явился из ряда вон выходящим, с другой стороны, он был преждевременным. Михаил Феодорович наградил посланцев хорошими словами и несколькими соболями, принц Александр был признан вскоре обманщиком, а казацкая армии, разбитая в Медвежьей Лозе под Кременчугом, вынуждена была подчиниться. Но уже были поставлены вехи на этом пути, и движение не могло миновать его.

Эта армия недолго оставалась подчиненною. Тайна начатых переговоров с Москвою была обнаружена, и «военная комиссия» уже занялась в Украйне розыском ответчиков и заговорщиков, и в то же время Польше пришлось встретиться с новым бунтом, управлявшимся главою незарегистрированных казаков или исключенных из списка выписчиков, как их называли. Известный под именем Тарас, этот атаман явился лишь орудием в руках еще жившего в то время Борецкого. В его шайке фигурировал один из сыновей архимандрита, Степан.

Восстание было подавлено, как и все предшествующие. Москва тоже не думала более вмешиваться, но казаки остались верны надежде на помощь извне, и по поводу ее уже создалась целая легенда заманчивых обещаний. И в этих надеждах они черпали новую смелость. В 1632 году, отправив депутатов в Варшаву, где только что умер Сигизмунд III, они заговорили тоном, каким до сих пор не привыкли говорить. Они требовали для себя участия в выборах нового короля, делали попытку войти в непосредственные переговоры с королевским принцем, назначенным кандидатом, и подкрепляли свои требования высокомерными угрозами. Разве они не составляют такую же часть республики, как и шляхта? Представители шляхты были этим глубоко оскорблены. «Эти люди составляют одну из частей республики, – сказал один из них, – это верно, но как волосы и ногти, которые необходимо стричь». Но республиканские ножницы уже слишком притупились, а с другой стороны, королевский принц, призванный наследовать своему отцу, был польщен доверием, оказанным ему «рыцарями Запорожья». Он дал им это понять и тем усилил еще их смелость.

Таким образом подготовлялось выступление на сцену человека, предназначенного к тому судьбою и, как прямой продукт вулканических сил, действовавших на его родине, он выступил в час, обозначенный прогрессом их работы, не для того, чтобы дать им

направление, что превосходило всякую меру человеческого ума, но чтобы просто в силу исключительной своей личности и благодаря действительному таланту организатора овладеть неизбежным и страшным взрывом.

IV. Хмельницкий

Этот сын сотника, убитого в Цекоре, еще ни чем в то время не обнаруживал признаков личности, призванной сыграть большую историческую роль. Он был просто такой же «зарегистрированный» казак, как и его отец, и, как последний, он занимал в военной иерархии низший ранг. Происхождение этой фамилии неизвестно, и генеалогия, приписывающая «герцогу Украйны» более или менее знаменитых предков, должна быть отнесена к области фантазии. То же следует сказать и о баснях, собранных некоторыми историками по поводу также плохо известного начала этой чрезвычайной карьеры. Два Хмельницких, или Chmielniçki, по польской орфографии, один низкого звания, другой благородного, но оба бедные «безместные» известны в 1637 году в палатинате Волыни, но, как кажется, они явились туда только недавно, быть может, из Мазовии, где, кажется, существовали мелкие дворяне того же имени. Корень этого имени, хмель по-русски, chmiel по-польски, не дает на этот счет никаких указаний, имея одинаковое значение на обоих языках: «хмель» и в переносном смысле «пьянство» по-русски.

Богдан Хмельницкий, или Chmielniçki, неоднократно сам указывал на низкое свое происхождение. Он этим даже хвастал. С находившимся у него на службе затем будущего герцога Адам Кисель обходился, как с «простым крестьянином». Позже вождь Украйны приписывал себе последовательно все гербы различных польских фамилий. Доказательством того, что он не принадлежал ни к одной из них, служит тот факт, что в 1661 году один из его потомков просил у польского правительства дворянской грамоты. Женатый на дочери молдавского господаря, собственный сын Богдана, Георгий, приписывал себе родство с Везык-Хмельницким, но и самое существование такой фамилии польских дворян остается в области гипотез. По поводу этого брака была даже подана господарем за своего зятя просьба правительству республики о польском подданстве. Факт этот исключает всякую мысль о принадлежности Хмельницкого к польской аристократии. Если, наконец, в эпоху своих побед Богдан имел бы благородных родичей в Польше, как понять, что ни один не постарался использовать такую связь? Мелкий чиновник канцелярии, Бюрен, ставший всемогущим любимцем императрицы Анны, ведь нашел себе кузена даже среди Бирона Франции!

Совсем другое указание по этому поводу дает нам очень известный в свое время украинский писатель, Фома Падурра. На основании одной заметки, сохранившейся в архивах фамилии Шереметьевых, и подтвержденной другими документами, он доказывает, что отцом «герцога Украйны» был еврей, мясник из города Хмельника в Подолии, по имени Берко, крещеный Михаилом. Поселившись в деревне Субботово и содержа там кабак, этот ренегат стал так ненавистен местным жителям, что те наняли татар, которые увезли его вместе с его сыном. Отсюда его пребывание в Крыму, указанное в биографии Хмельницкого, и близкое его знакомство с мусульманским миром, сыгравшее такую большую роль в его карьере. Однако эта версия имеет значение лишь постольку, поскольку она указывает на разность предположений по поводу происхождения этой личности. Ни по своей физической структуре, как это свидетельствуют, хотя и не совсем достоверные источники, ни по своему

темпераменту Хмельницкий, казалось, не имел ничего общего с семитизмом.

Более важными для разрешения этой загадки являются те обстоятельства, которые в первый раз выдвинули на арену истории будущего героя. В Субботове, в деревне, расположенной по левому берегу Тасмины, находилась его слобода, маленькое поместье, принадлежавшее к чигиринской старостии. Основываясь на законе, запрещавшем казакам плебейского происхождения создавать подобные угодья, управитель старостии, Чаплинский, стремился изгнать его оттуда. Отсюда возник процесс, в котором с успехом было пущено в ход неблагородное происхождение владельца слободы.

До этого случая все составляет загадку в жизни Богдана. Одно лишь его присутствие при Цекоре и плен у татар являются почти вероятными данными. Кажется также, что он служил потом в Бродах у Потоцкого. Подобно многим другим, он, без сомнения, оставил дом польского магната, чтобы на некоторое время предаться грабежам с казаками Запорожья, составить себе состояние и зажить в окрестностях Чигирина. Он получил некоторое образование, благодаря своему пребывание в школе лембергских иезуитов, но, кажется, он учился только в первых классах, и, если у Коховского он говорит по-латыни, – Костомаров и вслед за ним другие историки не считаются совершенно с этим, – то лишь потому, что тот сам писал на этом языке. Среди своих неграмотных сотоварищей ученик иезуитов мог безусловно сойти за ученого, и они посылали его несколько раз с депутациями в Варшаву, по поводу возникших в 1635 году споров о построении уже упомянутой Кодакской крепости. На почве этого факта возникли два других восстания, в течение которых крепость была взята и гарнизон под командою француза Мариона был вырезан. Главари восстания, Сулима и Павлюк, в свою очередь подверглись участи Наливайко, в 1637 году, под Кумейки, и новый трактат о подчинении временно обезоружил казаков. Хмельницкий при этом фигурировал в качестве писаря запорожского войска.

Он не долго выполнял эту функцию. Едва подсохли чернила на трактате, как лица, подписавшие его, возобновили борьбу под начальством Остранина или Остраницы, казака родом, вероятно, из города Остра на московской границе, и на этот раз борьба окончилась тем, что «рыцари Запорожья» потеряли право назначать своих атаманов и других начальников или чиновников, выбор которых, сохраненный теперь за правительством республики, должен был отныне падать лишь на подданных, принадлежавших к знати. Хмельницкий, будучи исключен по этому поводу или по какому-нибудь другому, теперь упоминается уже, как простой чигиринский сотник.

Созданный таким образом новый порядок был очень тягостен для побежденных, подчиняя их бесповоротно авторитету польского «комиссара» и сопровождаясь репрессиями, по всей вероятности преувеличенными местными летописями, но крайняя жестокость которых подтверждается даже польскими историками. Теперь уже королем был Владислав IV, и польское правительство должно было с сожалением прибегнуть к ним, за недостатком других средств прекратить эти восстания, так как они, учащаясь и усиливаясь, грозили страшным кризисом. Лично король склонялся к умеренности и даже к некоторой снисходительности по отношению к казакам, которую многие из его подданных считали неуместной. Одним из его первых начинаний явилось обнародование эдикта о религиозной терпимости, доходящей до признания православной иерархии, установленной патриархом Феофаном. Последнее вызвало в свое время протест Святого Престола и с тех пор не переставало наводить католических писателей на самые горькие размышления. Взяв пример с государя, польские власти Украйны также со своей стороны отказались от

злоупотреблений неизбежных в известных нам условиях. В 1647 году, несмотря на постигшую его немилость, Хмельницкий сам признал это, отправив жалобу к главному королевскому генералу, Николаю Потоцкому, по поводу несправедливости, жертвою которой он считал себя, и присоединив к своей просьбе ряд указаний на другие случаи, когда тот, к кому он обращался, неоднократно считал своим долгом вмешаться в пользу попранной справедливости. При этом бывший писарь уже льстил себя надеждою, что лучше успеет, если обратится с апелляцией к самому королю.

То начиналось дело Субботовской слободы.

Еврейский хронист эпохи, Натан Ганновер сам оговорился, что предал Хмельницкого жадности чигиринского старосты, Конецпольского, утверждая, что прежний казацкий писарь был очень богат. И эта подробность подтверждается также вариантом из другого источника. По другой версии, тяжба Хмельницкого с управляющим старосты Чаплинским имела поводом соперничество на почве любви. Верно лишь то, что владелец слободы был разорен, сын его подвергся тяжелым репрессиям, но, кажется, отец его уже слишком преувеличивал последние.

Споры подобного рода происходили ежедневно в этой стране. До тех пор, пока Хмельницкий поселился на этой земле, спорный участок, по всей вероятности, не принадлежал никому. Но, очевидно, он принадлежал к тем землям, которые были предоставлены колонистам благородного происхождения, которые одни имели jus primi occupantis. Хмельницкий представил со своей стороны акт концессии, но, не будучи зарегистрированным, этот документ уже не имел никакой юридической ценности. Получив отказ в судах, лишенный имения, он отправился в Варшаву и получил там от короля хартию, делавшую его наследственным владельцем этого поместья. Государь принял сторону казака против польского вельможи и против закона.

Хмельницкий с триумфом возвратился на родину, как вдруг узнал, что в его отсутствие Чаплинский не только захватил спорное владение, но даже увез другой предмет их спора, женщину, которую любили они оба и на которой управитель хотел жениться законным образом и по католическому обряду. Вдвойне уязвленный, сотник пустился в путь, чтобы попытать счастья у сейма, но там испытал новую неудачу. Можно себе представить, какую широкую известность получил этот странный процесс, явившийся в результате конфликта между казаком и поляком, и в то же время между двумя частями республиканского правительства: между собранием дворян и королем.

Поведение Владислава IV в этом деле объяснялось впрочем личными видами и частными планами, послужившими в то же время сюжетом для легенды, полной необычайных выдумок чисто авантюристского характера.

V. Великий проект Владислава IV

Храбрый солдат и принц, стремившийся к славе, сын Сигизмунда не мирился с неудачными попытками захватить московский трон. Уже давно неустанный воинский пыл и честолюбивое желание реванша тянули его на юго-запад, где кровь Жолкевского еще вопила о мести. На славной могиле побежденного при Цекоре он велел написать следующую эпитафию:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.[47]

И еще раз химера крестового похода вырисовывалась в уме этого наследника

героических преданий. В 1645 году прибытие в Варшаву посланника Венеции, Тьеполо, дало облик его мечте. Этот посланник прибыл в Польшу не только для того, чтобы заключить союз против турок. На завтра после появления оттоманов под стенами Кандии, синьория жаждала только мира, который не был бы слишком позорным. Она имела основание думать, что, разделив силы своего противника, она сделает его более покладистым, и только ради этой единственной диверсии она была готова, несмотря на истощение своих финансов, пожертвовать некоторой денежной суммой.

Владислав совершенно не проникал в эти тайные намерения, или не старался раскрыть блестящую фразеологию, в которую их облекали. Преследуя свою собственную цель, он видел в сделанных ему предложениях только средство овладеть тем, чего ему недоставало для осуществления своего плана: нервом войны. И с той и с другой стороны, не очень настаивая, хлопотали о составлении антиоттоманской лиги; более серьезно спорили о цифре субсидии, которая может понадобиться для этого, и кончили соглашением, но отнюдь не абсолютный государь Владислав не был в силах вовлечь в предприятие республиканское государство, участь которого была в его руках, или мог прибегнуть лишь к обходным средствам. Для этого ему была необходима помощь казаков. Напустив на турок или даже только на татар эту свору, всегда готовую укусить, он имел всевозможные шансы довести дело до конца.

Таким образом под давлением Тьеполо король не только должен был обласкать своих необходимых помощников, но и восстановить их военное могущество, которое правительство Республики так долго стремилось разбить. В январе 1646 года было даже решено, что запорожцы двинутся в море с сорока чайками. За это обещание венецианский посланец обязывался доставить в два года сумму в 600 000 экю.

И это было все; но на этой канве народное воображение нарисовало самые фантастические узоры. В Украйне говорили о хартии, которую будто бы король дал казакам и по которой они могли пользоваться старыми привилегиями. Иван Барабаш, простой полковник, обратившейся силою вещей в гетмана, считался укрывателем этого документа. Им позже воспользовался и Хмельницкий, хотя никогда его и не показывал. По всей вероятности эта басня была вызвана письмом короля, разрешавшим казакам строить чайки.

Таким же образом в Европе стали поговаривать об образовании армии из всех христианских держав, которые должны были войти в коалицию и предпринять поход против турок, причем ее начальником указывали уже маркиза Людовика де Северака, будущего герцога Арпажонского, а тогда французского посла в Польше. Позже говорили даже, что Хмельницкий ездил во Францию для предварительных переговоров, и этим объяснялось присутствие двух тысяч казаков под стенами Дюнкиркена, отнятого в 1646 году герцогом Енгиенским у испанцев. Никогда ни один казак не вступал на почву Франции, и эта другая выдумка имеет своим несомненным источником переговоры, которые были начаты раньше в Варшаве маркизом де Бреги, предшественником Северака, для рекрутского набора в Польше, хотя эти переговоры ничем не увенчались.

Не заботясь совершенно о тревоге, которая была им поднята в Украйне или в других местах, Владислав не терял ни минуты для того, чтобы привести в исполнение свой великий проект. Доверив эту тайну нескольким влиятельным лицам и заручившись поддержкою великого коронного генерала Конецпольского, отца чигиринского старосты, он произвел большой набор и собрал необходимый провиант. Он думал, что цель близка, но увы! в марте 1646 года смерть Конецпольского, женившегося шестидесяти лет от роду на молодой

красавице, перевернула вверх дном все эти планы. В это время, поднимая огромную шумиху на всем европейском континенте, эти приготовления вызвали уже в Польше довольно сильный протест. Крупные чиновники, не посвященные в тайну, возбуждали шляхту. А когда авторитет великого генерала перестал прикрывать действия короля, эти признаки недовольства обратились в целую бурю. Вооружения, производимые тайно и поддержка казаков приняли в возбужденных умах характер не нападения на турок, а заговора для уничтожения республиканских свобод и установления абсолютной власти.

Собравшись в ноябре 1646 года, Сейм разразился градом обвинений и потребовал от короля роспуска собранных войск, сохранения мира с Турцией и возобновления прежних приказов, воспрещавших казакам походы на море. Это было крушение всего дела, и Владиславу пришлось от него отказаться. Но он был обязан своему шведскому происхождению тем упорством, которое, соединясь со славянскою фантазией, мешало ему считаться, как следует, с препятствиями. Он не знал, кроме того, как освободиться от обязательств, принятых по отношению к казакам и чувствовал, что, вернувшись снова к тому, что уже было сделано, он рисковал вызвать новое восстание, для которого он сам же дал казакам оружие в руки. И он упрямился, придавая этому неудавшемуся предприятию все более и более химерический и опасный характер. Распределяя места, ввиду смерти Конецпольского, он всячески старался найти себе поддержку среди некоторых могущественных фамилий, и это заставило его отдать два главных места в начальствовании над армией двум явно ничтожным личностям. В то же время он привлек в Варшаву несколько известных казаков, прославившихся во время процесса Хмельницкого, и ночью сносился с ними, подав этим повод к созданию новых легенд. Распространился слух о второй хартии, доводящей число зарегистрированных до 20 000 человек, и запрещавшей польским войскам переходить линию Белой Церкви. Рассказывали также, что, когда Хмельницкий запрашивал его по поводу его слободы, король дал ему свою собственную саблю и поручил ему употреблять ее в защиту от всех неприятелей, которые встретятся казакам в Украйне.

«Запорожские рыцари» знали, что власть государя не в силах поколебать решений законодательного органа республики, и документ, в котором он так необычайно перешел границы своей власти, никогда не был воспроизведен. Что же касается до истории с саблею, то бывший тогда в Варшаве московский агент Кунаков упоминает об этом в своем рапорте, хотя эта история, при ее различных толкованиях, ни в какой версии не является приемлемой. В этом рапорте Владислав представлен рисующим саблю и передающим Хмельницкому это изображение в знак признательности, но тут мы имеем дело просто с отражением какого-либо незначительного обстоятельства.

Более серьезно, хотя и очень безрассудно, король вторично вмешался в это страшное приключение. В марте 1646 году московские посольство сделало ему предложение, несомненно согласовавшееся с его проектом: соединение днепровских казаков с донскими для нападения на Крым и общие действия соединенными армиями обеих стран в случае возникновения из-за этого войны. Хотя переговоры не были еще закончены, но Владислав думал обойтись без этой помощи. Теперь, в июне 1647 года, он поручил собственному посланнику в Москве, Адаму Киселю, подписать формальный союз с царем. Оставив для себя войну с Турцией, он надеялся, что москвитяне не дадут хода крымским татарам. Иннервированный затруднениями, которые ему встречались на пути, снедаемый болезнью, которая вскоре свела его в могилу, он отдался во власть форменных галлюцинаций, мечтая о

вмешательстве папы, императора, итальянских и германских принцев, Франции, Испании и Швеции. Доверясь звездам, обещавшим ему через его астролога полную победу, и благоприятной судьбе своей жены, Марии Гонзаго, которой кудесники предсказали наследство Палеологов, он продолжал витать в своих грезах.

На деле все эти события произвели страшный удар по всей Украйне, где, переходя от надежд, возбужденных в них государем, к суровому третированию со стороны сейма казаки доходили до пароксизма крайнего возбуждения и гнева. Прибыв в страну в августе 1647 г., великий канцлер Польши, Георгий Оссолинский, пытался успокоить умы. Но тотчас же распространился слух, будто бы он явился, чтобы призвать «Запорожских рыцарей» для нападения на турок во главе большой армии, которой будет командовать Хмельницкий!

Настоящая цель этого путешествия канцлера и та роль, которую он в нем играл, остаются довольно загадочными.

По всей вероятности, преданный Владиславу, Оссолинский просто ограничился уверением казаков в том, что король не оставил своего проекта, и это было верно. Смерть единственного сына, последовавшая в это время, только увеличила воинственный пыл несчастного монарха. «Если бы Бог взял его у меня раньше, говорил он, я бы не уступил сейму!» Не будучи в состоянии более собрать войска, он пытался получить хотя бы какие-нибудь отряды из Франции или Швеции и отказался ради этого от вмешательства в Вестфальский мир. Он завел переговоры с эмиссарами Греции и Болгарии, даже с марокканским посланником! Но обо всем этом ничего не знали на Украйне, и там напротив были уверены, будто бы, вступив в открытый конфликт с польскою знатью, король думает призвать под свои знамена до ста тысяч казаков – дошли уже до этой цифры! – в то время как шляхта только и думала о том, чтобы обратить их всех в крестьян, со всею тяжестью барщины. И следовательно, намерение государя состояло в том, чтобы его верноподданные в Украйне выступили против польских мятежников, которые шли наперекор его великодушным намерениям и великим проектам. Оттого он и выбрал Хмельницкого, который, побывав жертвою еще более жестокой несправедливости, сумеет, мстя за нее, защитить общее дело.

Вместе со своими товарищами и чигиринский сотник, без сомнения, пережил также момент опьянения этими заманчивыми представлениями, совершенно аналогичными тем, которые и в Москве послужили исходною точкою для некоторых народных движений, и он оказался назначенным принять на себя начальство не над громадной армией, которая не существовала, но над шайкою бунтовщиков, которых легко было соединить на берегах Днепра. Не совсем удачный исход последних восстаний может быть еще пока и удержал бы его от выступления, если бы одна мера репрессии, вызванная теми же ложными слухами, не заставила его выбирать между несомненною гибелью и смелою попыткою, на которую он бросился со всеми своими приверженцами.

По доносу, полученному новым коронным генералом, полковник Переяславля, Ян Кречковский получил приказание арестовать потерпевшего владельца слободы в Субботове и расстрелять его. Случайно или изменяя приказание, казацкий офицер упустил своего пленника, и Хмельницкий очутился в Сечи. Взрыв приближался.

VI. Катастрофа

Беглец, несмотря на уже приобретенную им популярность, встретил сначала в братстве

довольно холодный прием.

Близость его с Барабашем, известным своими польскими наклонностями, делала из Хмельницкого лицо подозрительное. Загладив это первое впечатление, он кажется не пришел тотчас же к решению, которое должно было привести его так далеко. Несмотря на целый ряд подделок, его корреспонденция с разными высокими лицами республики показывает, что он вначале был озабочен лишь тем, чтобы обеспечить себе милостивое отношение. Он защищается против обвинений в дурных намерениях, прося для себя и для своих товарищей лишь использования «королевской хартии», которая была передана Барабашу. Эта пресловутая хартия представляла собой, надо полагать, письмо Владислава с разрешением казакам строить чайки. Она находилась у Хмельницкого после кражи, о которой имеются разные версии. Имея на нижнем Днепре дело с людьми, не умевшими читать, он мог объяснять, как хотел, текст этого документа и придать ему такую важность, что беглеца стали вскоре считать владельцем необыкновенного сокровища. Престиж, полученный им благодаря этому, и искусство, с которым он умел им пользоваться, в конце концов доставили ему титул гетмана всего запорожского войска.

Но пока он все еще не думал поднять знамя восстания. Помимо того, что время было для того неподходящее, новый вождь делал оценку тем средствам, которые он мог найти на месте для подобного предприятия. Предоставленные своим собственным силам в течение двадцати лет, казаки достаточно ясно показали свою беспомощность. Ничто не подтверждает широко распространенного тогда мнения, будто бы Хмельницкий ездил за это время в Крым. Но он употребил несколько зимних месяцев на трудные переговоры, предметом которых являлась поддержка татар. Так как Порта в это время жила в мире с Польшею, хан должен был отказаться, не без сожаления от выступления в поход своей армии; но в это время несколько польских украинских вельмож устроили набег на его владения и угнали у него много скота, и в виде репрессии хан нашел возможным тогда дать казакам несколько тысяч своих всадников под начальством перекопского мурзы, Тухай-бея. Этого только и нужно было Хмельницкому. Он рассчитывал в данном случае не столько на количество этих помощников, сколько на моральный эффект, который должен был произвести самый факт присутствия крымцев как среди его товарищей, так и в рядах его противников. Он не ошибся в расчете, и уже одно это доказывает в нем наличность необходимых для войны данных, хотя он и не обладал большой опытностью и знаниями.

Оно указывает также на отсутствие разборчивости в средствах, и эта черта в дальнейшем только подтверждается начатой таким образом карьерою украинского героя. Но в этом отношении Хмельницкий мог привести пример не одного христианского принца, и на деле этот компрометирующий союз один лишь отличал его предприятие от предприятий, в которых пали Наливайко и Павлюк, и он обеспечивал ему совершенно другой успех. Он, конечно, беспокоил совесть тех, которые им пользовались. Одна украинская легенда говорит о татарине, ударившем в осквернённой церкви саблей образ Богоматери, откуда тотчас потекла ручьями кровь. Но как первые удачные шаги восстания, так и все его дальнейшие перипетии – находились в зависимости от этой помощи. Вначале, кроме того, успех восстания был обусловлен также невероятной неспособностью главного начальства польской армии, представленного в этот критический момент двумя новыми генералами; Николаем Потоцким и Мартином Калиновским.

Находясь на месте, Потоцкий был, конечно, хорошо осведомлен о подготовлявшемся событии. В противоположность Хмельницкому он имел за собою долгое военное прошлое.

В шестнадцать лет он уже командовал в 1611 году эскадроном под стенами Смоленска и с тех пор не переставал принимать участие против москвитян и шведов, турок и казаков во всех походах, в которых участвовала польская армия. Но человек ограниченного ума, распутник и пьяница, он вынес из этой школы одно только крайнее высокомерие. Повинуясь настоятельным советам короля, начавшего со своей стороны тревожиться, он должен был разрешить казакам, выйти в море, толкнуть их на это дело в случае необходимости. Многие соблазнились бы такой экспедицией, и татары тогда, по мнению короля, не осмелились бы соединиться с другими. Генерал хорошо сделал, что отказался от подобного предприятия. Он был против войны с Турцией, не видя тех средств, которыми можно было бы ее вести, но с имеющимися у него в наличности 15 000 человек он считал себя в силах подавить всякую попытку восстания, быстро двинувшись к устью Днепра.

Это было, конечно, самое разумное. Возмутившиеся казаки только тогда становились опасными, когда врывались в сердце Украйны, где к ним присоединялись народные массы. Но выполнение задуманного Потоцким плана явилось шедевром неспособности практического его применения. Вместо того чтобы сконцентрировать свои силы, Потоцкий их разбил на мелкие отряды. Пустив вперед, не сохраняя при этом с ним никакой связи, авангард в 6 000 человек, который он поручил своему сыну Стефану, совсем еще молодому человеку, он хотел еще, чтобы и тот шел двумя отдельными колоннами, одною – по реке, другою – по суше. Но еще большим безумством было составить этот отряд более чем на две трети из зарегистрированных казаков, или из драгун малорусского происхождения под командою того самого Кречковского, который дал убежать Хмельницкому!

В польских армиях, сражавшихся в Украйне, эти разнородные формации были обычным явлением; но всегда заботились о том, чтобы размещать особым образом подозрительных лиц. Отсутствие подобной элементарной предосторожности повело на этот раз к последствиям, которые было необходимо предвидеть: при первой же встрече с бандами Хмельницкого зарегистрированные казаки и драгуны той же национальности перешли на сторону неприятеля. Оставшись с несколькими эскадронами, среди которых дикие крики татар: Алла! Алла! возбуждали настоящую панику, молодой Потоцкий был окружен 5 мая 1648 года у притока Днепра, на Желтых Водах, и погиб, найдя свою смерть в битве.

Получив известие об этом поражении, расположившись лагерем у Черкасс с остатками войск, польские генералы стали спорить между собою. Искусно направляемое Хмельницким, татарское пугало дало восторжествовать мысли о быстром отступлении к Корсуни. Между тем со своим огромным лагерем, нагроможденным повозками, в которых начальники эскадронов таскали за собой свое имущество, состоявшее из золотой и серебряной посуды и богатой мебели, Потоцкий попал в настоящий капкан с оврагом позади и с горою впереди себя. При появлении казаков три тысячи драгун последовали примеру их братьев по оружию, и 16 мая на месте, до сих пор еще пользующемся печальною известностью в польских анналах под названием Крутая Балка, оба генерала, даже без сражения, очутились пленниками вместе со своими войсками.

Никогда еще страна их не подвергалась подобному унижению и не получала такого жестокого удара. В Цекоре Жолкевский погиб, сражаясь один против десяти, а его победители наводили теперь ужас на всю Европу. Ничто в прошлом гордой и славной в то время еще нации не могло сравниться с этим отступлением, перешедшим в настоящее бегство перед отрядом казаков и татар, и притом сдача, передавшая в руки победителей весь генеральный штаб республики, состоялась без боя. Вместе с ним пал и престиж страны к

ногам шайки проходимцев и разбойников!

Но это было еще далеко не все! Республика смогла бы найти другие войска, и для нее не представляло особого труда заменить взятых в плен генералов лучшими. Но страшная и непоправимая катастрофа придала совершенно новое значение, благодаря событиям 4 и 16 мая, только начинавшейся борьбе и человеку, начавшему свою карьеру такою беспримерною победою. До того Хмельницкий являлся лишь вторым Наливайко, вторым Павлюком, т. е. просто являлся в потенции будущей добычей для варшавских палачей. Он вырос, внезапно сделавшись существом сверхъестественным, отмеченным судьбою, призванным победою сыграть исключительную роль. А за ним, уже давно рвущаяся, но сдерживаемая ценою неустанных усилий, разве не должна была вся Украйна проявить себя неизбежно в обновленном виде, возбужденною до последней степени, толкаемая всеми своими революционными элементами, которых уже не в силах была сдержать никакая человеческая сила?

И это было еще не все. Как бы в довершение несчастия, нужно было еще кроме того, чтобы в этот момент несчастная Польша, очутившись перед этим страшным испытанием, оказалась без главы. Уже больной, глубоко опечаленный поражением при Желтых Водах, Владислав умер 20 мая. Наступило междуцарствие со всем тем беспорядком и сумбуром, какие эти кризисы вносили в хаотическое управление страною.

Если бы король пережил катастрофу, ему быть может удалось бы спасти страну от ее последствий. Он был король, а этот титул внушал еще некоторое уважение даже в Украйне. Хмельницкому с другой стороны было несколько трудно удержаться на уровне своей удивительной победы. Он, казалось, был подавлен ею. Отправившись в Белую Церковь, он опубликовал там манифест, подлинник его не был найден, но смысл его, поскольку он выясняется из более или менее неточной передачи его, сбил с толку самых его решительных защитников. Автор манифеста, призывая весь украинский народ присоединиться к его войску, вопреки всякой очевидности упрекает поляков в обращении в пустыню страны, которую они на деле колонизировали, и с большим успехом, как известно; желая показать свою эрудицию, атаман объявляет поляков происшедшими от русских, но отделившимися от них по злобе; он говорит о русских, поселившихся на острове Рюгене и победивших Рим под начальством не менее выдуманного вождя, по имени Одонацер: прецедент, который должен побудить казаков захватить хотя бы Варшаву!

Победитель при Желтых Водах и Крутой Балке, без сомнения, не самолично выдумал этот плод кропотливых трудов. В нем угадываешь работу какого-нибудь невежественного и глупого писаря из его свиты. Выдав его за свой собственный, Хмельницкий в нем, как и в дальнейших своих начинаниях, проявляет крайнюю спутанность мыслей: все дальнейшие действия его носят характер непоследовательности и крайней скудости ума. В своем письме от 13 и 14 мая к палатину Брацлава, Киселю, и к князю Доминику Заславскому, одному из местных крупных вельмож, он пишет, что сам удручен всем происшедшим, заявляет, что невинен в пролитой крови и сваливает всю ответственность на великого генерала Польши, напавшего на казаков. Но вскоре после этого он вступает также в переписку с немецким начальником польского гарнизона Замостья Вайгером, убеждая его сдать доверенную ему крепость, а 4 июня Хмельницкий пишет уже Алексею, сообщая ему о своих победах, и намекая на то, что казаки желают быть управляемыми таким государем, как он, и приглашая его также напасть на Польшу.

Таким ему пришлось остаться навсегда, нерешительным в выборе дороги, по которой он

должен был следовать, неспособным выполнить точно определенную программу действий, дать какой-либо идеал народу, отданному в его распоряжение благодаря победе. Подчиняясь грубому влиянию элементарных, возбужденных им сил, он был бессознательным работником в деле, ускользавшем из его рук, благодаря его колеблющейся воле и недостаточно ясному пониманию.

Глава десятая

Вмешательство Москвы

I. Страшный год

Какого же результата добивался Хмельницкий своим манифестом? Хорошо известная ему, без сомнения, история неоднократных призывов к оружию в стране с начала века не могла оставить его также в неведении по поводу ужасающего взрыва диких страстей, который должен был неизбежно возбудить его манифест. С начала года новости, получавшиеся из Польши, наполняли всю Европу ожиданием сенсационных событий, которые должны были, казалось, завтра разыграться. «В Торне… видно было даже в воздухе изображение двух больших армий», читаем мы в Gazette de France от 10 февраля 1648 года. Народное воображение воспроизводило таким образом столкновение одной части христианства с мусульманским миром. Отвечая на призыв своего нового вождя, Украйна противопоставила этому химерическому видению действительность более реальную и гораздо более страшную.

Казацкие восстания обычно сопровождались народными, хотя и местными; но на этот раз с одного конца страны до другого поднялись массою крестьяне и бродяги всякого рода, подобно огромной волне, захлестнувшей «Запорожских рыцарей» и самого их начальника. Уже повсюду польские колонны бежали пред бурею «с одною только душою», по выражению современника. Но и с этим несложным багажом бегство было не всегда возможно. Каждая деревня делалась западней, не было ни одной узкой тропинки, где бы не скрывалась засада. Оставив свои жилища, очень быстро разоренные или сожженные, мелкое дворянство искало убежища в крепких замках крупных вельмож, но восстание быстро захватывало и последние. Слуги, по большей части русинского происхождения, накладывали руки на своих господ, и начались убийства, сопровождавшиеся самою утонченною жестокостью. Несчастных раздавливали между двумя досками, выкалывали им глаза буравами, насиловали жен и дочерей на глазах у мужей и отцов, которых оставляли еще для других пыток. За убийством следовала оргия, мешавшая вино и водку с пролитою кровью, самое гнусное пьянство при агонии жертв. Задушив Януса Четвертинского, одного из редких магнатов, оставшихся верными православной церкви, глава шайки, Остап Павлюк, торжественно женился на княгине, которую он принудил потом отдаться заботам о его деревенском хозяйстве.

Из деревень ураган перенесся в города, захваченные в свою очередь, и хотя их граждане были по большей части русинами и православными, но и они не находили себе пощады. Польского костюма, принятого у большинства ремесленников, было достаточно, чтобы осудить на смерть. Низший православный клир лишь поощрял или помогал «мстителям», обращая их гнев главным образом на католические церкви, где они охотно работали, грабя священные сосуды и украшения, убивая священников, оскверняя монахинь у подножия алтарей. Но хуже всего досталось евреям. Брошюра того времени, написанная евреем Массулой, содержит на этот счет подробности, ужас которых, почти невероятный,

подтверждается другими достоверными документами. Сыновей Израиля сжигали живьем, их тела отдавали на съедение собакам, сдирали с них кожу и живыми зарывали в землю. Разрезали животы беременным женщинам и их недоношенные плоды бросали в нечистые места, или зашивали кошек в их разрезанный живот и если несчастные пытались прорвать шитье, чтобы положить конец своим мукам, им отрезали руки.

Среди общего смятения восстание распространилось до Бреста с одной стороны, до Лемберга с другой, из Варшавы даже вельможи уезжали по Висле, увозя в Данциг свое имущество. Лишь один из видных колонизаторов Украйны, владелец больших поместий по обоим берегам Днепра, князь Янус Висьневецкий, молодой человек двадцати трех лет, осмелился противостоять урагану. Соединив вокруг себя несколько других дворян, слабо ему впрочем помогавших, он все же не мог думать о том, чтобы напасть на Хмельницкого, но сражаясь с главами отдельных шаек, из которых особенно отличался своею храбростью и жестокостью Кривонос, проделывавший прямо чудеса храбрости, он только разменивался на бесполезные репрессии.

Что касается самого Хмельницкого, то он по-прежнему не знал, на что решиться, и уже начинал терять почву под собой в этом бурном потоке, им же возбужденном. Его положение становилось затруднительным во всех отношениях. Татары прежде всего стали угрожать ему изменой. Так как польская дипломатия делала свое дело лучше, чем армия, то Константинополь заставил хана отозвать отряд Тухай-бея. Хмельницкий одно время льстил себя надеждой, что он заменит его московским войском. Но Москва была связана союзным договором, подписанным в предыдущем году с Польшею. Тщетно, на самом деле, вступив в переписку с пограничными воеводами, брацлавский палатин Кисель просил у них помощи против казаков. Ему ответили, что трактат предусматривает только возможность войны с Турцией или Крымом. Казаки таким образом продолжали одни бороться с Польшею, которая далеко еще не сказала своего последнего слова.

Вооруженная сила республики состояла главным образом из многочисленной и опытной в военном отношении милиции, архаической и без сомнения плохой организации, но которая и в таком виде не раз показала себя способной противостоять победоносно более опасным испытаниям. Сначала в Варшаве потеряли голову до такой степени, что стали искать поддержки не только у Франции, которая не могла помочь ничем другим кроме соболезнований и советов, но даже у курфюрста Бранденбургского, который сам был вассалом республики, и мог бы помочь ей более существенно, но он совсем иначе был настроен по отношению к этому кризису и раздумывал только о том, как бы ему получше использовать создавшееся положение, чтобы избавиться от неприятного подчинения или округлить свою территорию. Когда прошел первый острый момент, Польша пришла однако в себя. Особенно в провинции вернувшаяся энергия вылилась в твердых решениях, в усиленном призыве новобранцев, в щедрой выдаче субсидий. В несколько месяцев республика оказалась способною, как она это доказала позже, выставить на поле битвы около ста тысяч человек отборного войска. Что мог им противопоставить Хмельницкий?

Он все еще начальствовал над горстью казаков, которые одни только были способны к серьезному военному делу. Массы народа, преданные убийствам и грабежам, совершенно не представляли собой армии. Враждебные всякой дисциплине, они думали только об удовлетворении своей жажды кровавой мести, легкой добычи и грубых наслаждений. Даже сам победитель при Крутой Балке, собравший в польских лагерях то, чем он мог вознаградить себя за потерю своей слободы, ловил уже на себе жадные и завистливые

взгляды, обращенные на него по поводу награбленных им богатств. На головокружительной высоте, куда он был поднят одним взмахом чудесной судьбы, под ним раскрывалась бездна, в которой погибло уже так много его предшественников. И внезапно он переменил тон.

Написав царю на другой день после победы, он разыгрывал из себя государя; но теперь он принял совершенно другой тон и совершенно другим языком обратился к польскому королю. Он знал о смерти Владислава и о том, что ему еще не назначили преемника, но, желая отделить государя от республики, которая одна только и давала казакам повод жаловаться, он обратился к этой уловке, чтобы обнаружить свои чувства. И он высказывал их очень смиренно, умоляя государя о прощении, заявляя о своей неизменной верности и называя себя только «временным главою» запорожского войска. В то же время он отправил в Варшаву депутацию, которой поручено было изложить там просьбы, очень умеренные: увеличение до 12 000 число зарегистрированных казаков, уплаты задержанного жалованья и восстановления казаков в их праве самим выбирать своих начальников. Он хотел добиться хорошего приема своим посланным, и обратился с мольбою ко многим польским вельможам. Он вернулся, наконец, из Белой Церкви в Чигирин и занялся подготовлением себе отступления к Нижнему Днепру и поговаривал даже о том, чтобы достигнуть Дона.

Этот маневр должен был, увы, стать более роковым для Польши, чем десять поражений, которым подверглась ее армия. В этот критический момент своей исторической эволюции республика погибала от необычайного парламентаризма. В этом очаге, где все более концентрировалась ее общественная жизнь, она стремилась стянуть различные элементы, наименее способные. Опьяненная чрезмерным потоком красноречия в своих многочисленных сеймах и сеймиках, шляхта убедила себя в том, что все проблемы могут быть разрешены исключительно при помощи слов. Когда Хмельницкий, казалось, вступал на этот путь, она без труда дала убедить себя в том, что обращение к оружию лишено уже смысла.

Кисель человек мало воинственный и краснобай, пользуясь своим авторитетом на посту, который он занимал в одном из украинских палатинатов, своим происхождением и своей религией сумел поддержать в ней это мнение.

Когда он начал по собственной инициативе переговоры с мятежниками через одного бродячего монаха, его стали считать ангелом мира, и его слезливое миролюбие вливалось смягчающими струйками в души его сограждан.

В Варшаве сейм вотировал однако выступление большой армии, но назначил в то же время комиссию для продолжения начатых переговоров и постановил парламентаризовать даже командование войсками посредством другой комиссии из тридцати пяти членов, назначенной руководить их движением, через посредство трех делегатов. Один из них был дряхлый старик, другой эфеб, а третий ученый лингвист. Казаки смеялись над ними, называя их периной, детиной и латиной.

Можно себе легко представить исход этой двойной кампании, дипломатической и военной, таким образом задуманной. Остановленные по дороге восставшими бандами, посланные для переговоров не могли даже добраться к назначенному месту свидания, и в то время как они продолжали вести переговоры о пропуске, успокоенный Хмельницкий снова проявлял свой организаторский талант, сгруппировав своих казаков в регулярные полки, назначенные для дисциплинирования крестьянских шаек, набранных в тех же местах. Он воспользовался также и другим благоприятным обстоятельством: дворцовая революция, происходившая в то время в Константинополе, возвратила ему его татар, и при их помощи

ему удалось более прочно захватить в свои руки таким образом создавшиеся элементы своего военного могущества.

Что же касается польских «военных делегатов», то они привели с собою к Украйну целую массу дворян, которые, все более убеждаясь в том, что сражаться не придется, явились туда, как на праздник, блистая роскошью и весельем, «принеся с собою больше золота, чем свинца», говорит один современник. При первой же тревоге они разбежались, оставив казакам, татарам и крестьянам огромную добычу и предоставив им совершенно беззащитными несколько тысяч регулярных войск.

После этого второго дня (20 сентября 1648 г. под Пилавцами), когда унижение Польши дошло до своего апогея, Хмельницкий снискал себе репутацию полубога, и в Украйне стали ждать от него чудес. Но что мог он сделать? На местах нечего было уже больше брать и почти некого было убивать. В своем манифесте из Белой Церкви гетман говорил, что пойдет на Варшаву, и, так как его приближенные напоминали ему об этом, то он показал вид, что принимается за это дело; по дороге он осадил Лемберг, но, хотя там не было ни хороших укреплений, ни сильного гарнизона, он удовлетворился лишь наложением контрибуции, лучшую часть из которой получили татары. Гетман двинулся потом на север, пытался захватить Замостье и на этот раз потерпел полное поражение. В это время произошло избрание на вакантный трон Яна Казимира, брата умершего государя, и Хмельницкий воспользовался этим фактом, чтобы вступить в переговоры с новым королем.

Он стал отдавать себе отчет в том, что, как ни блестящи были его победы, они не приводили его ни к чему. Мысль о том, чтобы объявить себя великим князем в Украйне, уже бродила в его уме, но она соединялась со смутно сознаваемым чувством, что по крайней мере временно эта страна, предоставленная самой себе, не может быть управляема. Среди военнопленных, взятых на Желтых Водах, победитель отличил среди других и отнял у татар, в обмен на лошадь, одного православного дворянина русинского происхождения Ивана Выховского, которого сделал своим советником и который склонял в эту сторону его нерешительность. Для начала, освобожденная Украйна должна была сохранить прежнюю политическую организацию, где она могла бы черпать необходимые элементы для своего существования. И вот, когда новый король потребовал прекращения враждебных действий, в целях попытки соглашения, казаки, татары и крестьяне не двинулись на Варшаву.

На деле, собственно говоря, им было бы трудно к ней добраться. События при Лемберге и при Замостье доказали это достаточно хорошо. Одна только численность делала страшной эту сбродную армию; причем, говоря о двадцати двух казацких полках по двадцати тысяч в каждом, находившихся в то время под знаменами Хмельницкого, украинские или польские летописцы преувеличивают вдвое это число. В июле 1648 года рапорт польских комиссаров указывает всего лишь 20 000 человек, способных носить оружие в восставшей армии. Что же касается татар, то Хмельницкий располагал одним лишь отрядом Тухай-бея в количестве нескольких тысяч всадников.

Он отступил и, в виде вознаграждения, устроил себе триумфальный въезд в Киев. Но там другие впечатления должны были направить в совершенно другую сторону его подвижную и беспокойную мысль.

Жители города, во главе с митрополитом Косовым, устроили ему восторженный прием. Находившийся там проездом в Москву иерусалимский патриарх Паисий расточал перед ним самые лестные изъявления своих чувств и в виде высшего реванша женил его на прежней его любовнице, ставшей женой Чаплинского. Великолепно одетая, г-жа Хмельницкая раздавала

водку казакам в золотых кубках и пьянствовала вместе с ними.

Для грубой натуры гетмана все это представляло необыкновенное наслаждение, но среди этих мелочей торжественность места и прием, встреченный им, поразили его не менее сильно. Он находился в Киеве, в этой древней колыбели русского владычества, первом русском очаге православного христианства и в этой столице св. Ольги и св. Владимира его принимали, как царя! Льстец Паисий, воспитанный на восточных гиперболах, сравнивал его в своей речи с Константином Великим и величал его «русским великим князем».

Русским великим князем? Почему же нет? Разве вместе с Киевом он не держал в руках столицу древней империи Мономаха? Но несомненно также, что Польша не согласилась бы с таким поворотом исторической судьбы без борьбы, из которой Хмельницкий не мог собственными средствами рассчитывать выйти победителем. Нет никакого сомнения, что он посвящал Паисия в те затруднения, которые эта уверенность вызывала в его уме, а «двуличный прелат, раб в Константинополе, нищий в Москве», как его назвал Кулиш, на этом перекрестке восточного мира, где запуталась среди многотрудных компромиссов его жалкая судьба, этот иерусалимский патриарх оказался более искусным руководителем, чем Выховский. Польша? Москва? Турция? До самого конца своего Хмельницкий попеременно или в одно и то же время обращал свои беспокойные взоры к этим трем точкам украинского горизонта, не зная, на какой из них остановить свой выбор.

II. Проект империи

До этого времени религиозные интересы не занимали никакого места в бунтовщичестве. Требования, представленные незадолго до того в Варшаве казацкими депутатами, имели в виду в одном из своих параграфов передачу отнятых в Украйне церквей православному культу, но лично Хмельницкий, казалось, совершенно не интересовался этим вопросом. В Киеве, на другой день после долгих разговоров с Паисием, «великий князь русский» был уже не «тем человеком». Он выставляет себя горячим защитником «истинной веры», он намерен предоставить ей на берегах Днепра самые обширные привилегии и таким образом поворачивается спиною к католической Польше. Прибыв в Переяславль в 1649 году, уполномоченные Польши тотчас же заметили происшедшую в нем перемену. Они думали, что будут иметь дело с раскаявшимся бунтовщиком, который по дороге в Варшаву «склонился перед величием новоизбранного короля», как любила выражаться по этому поводу шляхта, – теперь они очутились перед вторым государем, который третирует их с высоты своей власти, оставаясь тем не менее казаком, диким, грубым и почти постоянно пьяным.

Брацлавский палатин, неизменный Кисель, все еще находившийся на своем посту, никак не мог добиться даже переговоров об этом со свирепым повелителем. В тот день, когда аудиенция уже была назначена, она была отложена в последний момент; гетман занять, он принимает других иностранных послов. На другое утро Кисель заставляет дать себе пропуск, и его принимают, осыпая градом ругательств:

– Завтра! Приходите завтра! Сегодня я слишком много пил! Да эти переговоры не приведут ни к чему! Через три или четыре недели я выступлю в поход, и я всех вас вздерну! Я вас раздавлю и кончу тем, что передам вас султану!.. Король! Что мне до короля? Я сам больше значу, чем он, так как у меня нет шляхты, которая заставляла бы меня плясать по своей дудке. Я русский и самодержавный государь… Вы воображаете, что можете испугать

меня шведами? Я им наделаю хлопот… Пусть их будет 500 000, они не устоять перед моими казаками и татарами… Теперь не время для договоров. Делая раньше то, чего я не думал, я должен, наконец, сделать то, что я задумал. Я должен освободить весь русский народ от польского рабства… Я вынул саблю в виде мести за личное оскорбление, но вложу ее в ножны, лишь отомстив за православную веру… Чернь поможет мне дойти до Кракова, а Тухай-бей, мой брат, моя душа, мой бесподобный сокол меня не оставит… Я не буду воевать заграницею: с меня довольно Украйны, Подолии и Польши; я буду достаточно богат и силен в своем отечестве, границы которого я отодвину до Хельма, Лемберга и Галича и, разбив лагерь на Висле, я скажу полякам: Спокойно, ляхи! Замолчите, ляхи!

Было совершенно невозможно спорить с человеком, способным на такие уклонения мысли и говорившим подобным языком. Даже натощак Хмельницкий не умел придать своим честолюбивым замыслам благоразумную форму. Империя, которую он думал ввести в концерт европейских держав, представлялась ему лишь в результате счастливых битв, плодотворных грабежей и необузданных кутежей. Никакая идея организованного существования еще не появлялась в его уме среди этой военной оргии, которую он сделал непрерывной и в которой заключалась вся его деятельность. В остальном Украйна оставалась лишь развалиной польской культуры, поскольку ее пощадил этот вихрь, причем революционный поток успел вырыть пропасть между увлеченными им народными массами и верхними слоями, которые тем более были готовы подчиниться притягательной силе польской культуры.

Под влиянием обстоятельств гетман должен был снова прийти к мысли о соглашении с Польшею, но в этот момент влияние Паисия взяло верх над мнением Выховского и он последовал другому направлению. Он кончил тем, что вступил в разговор с Киселем и сообщил ему свои условия, думая, без всякого сомнения, что они явятся неприемлемыми. Он требовал именно уничтожения унии, желал, чтобы польские подданные не исполняли никаких функций в Украйне и требовал для киевского митрополита второго места в польском сенате после гнезненского архиепископа, примаса королевства. Но когда Казимир поспешил подписать эти требования, он объявил, что изменил свое намерение. Спустя несколько дней вместе со своими казаками и татарами, более многочисленными теперь под личною командою хана, Ислам-Гирея, он окружил и осадил в маленьком городе Збараже горсть польских дворян и солдат, собравшихся вокруг храброго начальника, которого мы уже знаем и который нашел там освящение своей нарождающейся славы, Иеремии Висьневецкого.

Известный романист Сенкевич пустил в ход все чары своего таланта, чтобы воспроизвести этот эпизод, который, даже в истории, дает обилие эпических черт почти сверхъестественного героизма, и показывает, какая сокровищница благородных порывов еще хранилась в недрах уже клонившейся к упадку Польши.

В течение шести недель, с 9 июля до 15 августа 1649 года, истощаясь в тщетных усилиях взять эту маленькую крепость, Хмельницкий увидел со своей стороны еще раз, что искусство Полиоркета ему чуждо. Когда явился польский король с силами, которые были по-прежнему до смешного незначительны, благодаря деморализации шляхты, едва доставившей 25 000 человек, – гетман пустил в дело настоящие ресурсы своего военного ума: не снимая осады с Збаража и не подавая осажденным даже вида, что окружающее их кольцо ослабло, он снялся с лагеря, уведя с собою свои лучшие войска, как и ядро татар, и окружив под Зборовом королевскую армию, запер ее в ловушку. После польских генералов он должен был

захватить самого государя! Но тщетная надежда! Это значило не считаться со своими союзниками. Татары того времени любили лишь мелкие победы, где можно было получить больше добычи, чем сабельных ударов. После целого дня ожесточенной битвы, в которой поляки не дали себя окружить, ночью Ислам-Гирей послушался советов канцлера Оссолинского, и Хмельницкий сам оказался пленником той страшной силы, которую он соединил со своею судьбою. Придя в ярость, но вынужденный согласиться, он должен был подписать договор, очень благоприятный для татар, но суливший ему очень скромные и проблематичные выгоды: увеличение числа зарегистрированных казаков до 40 000, запрещение королевским войскам стоять в одной части Украйны. Тут уже не было вопроса о «великом княжестве русском». Столь гордый несколько недель тому назад, «самодержец» выпросил для себя лишь пожизненное гетманство и, обманутый татарами, в свою очередь обманул ту чернь, которую приобщил к своему делу. Для нее он не выговорил ничего! За исключением казаков, взятых на службу республикою, трактат признавал лишь крестьян, которые должны были вернуться к прежнему своему положению. Ничего лучшего не выпало на долю и православной веры. В отношение ее договаривающиеся стороны приняли в расчет прежние решения сейма, который отдал греческому культу несколько церквей и монастырей, но не уничтожил унии и отказал киевскому митрополиту в каком бы то ни было месте в Сенате.

Соглашение носило заглавие, которое само по себе уже и особенно выразительно говорило против всяких претензий, некогда выраженных одним из подписавшихся. «Декларация милости Его величества в ответ на покорнейшую просьбу казаков». Казаки и их начальник имели все же меньше поводов жаловаться, если принять во внимание ту плачевную участь, которая была уготована толпе бродяг, так легко выброшенных за борт. Хмельницкий об этом не заботился. Присвоив себе тотчас же в областях, предоставленных его товарищам по оружию, обширные поместья, где он пользовался всеми правами старых польских вельмож, он, казалось, занялся созданием из других элементов той местной аристократии, против которой восставал. Забрав себе все наилучшее, он распределил между своими приближенными в наследственную собственность другие земли, населенные рабами, обязав их только выполнять военную службу. Неспособный к попытке устройства оригинальной организации, бессознательно относясь к религиозным, социальным, экономическим проблемам, которые составляли настоящую причину того кризиса, которому он был обязан своим успехом, он ограничился лишь простым перемещением привилегий. Вскоре он так проникся этим аристократическим идеалом, что упустил из виду тот принцип, которому хотел дать здесь приложение и не довольствуясь уже тем, что терпел в отведенных ему границах присутствие нескольких представителей старого режима, польских вельмож, спасшихся от общего погрома, он предоставил даже своих казаков в их распоряжение, чтобы привести в повиновение возмутившихся крестьян. Взамен этого, не забывая в то же время личных своих переживаний под Зборовым, окружив себя многочисленною гвардией, чеканя в Чигирине монеты со своим изображением, – он продолжал играть роль государя «великого князя» для льстецов, наполнявших его передние, и «самодержца», как и прежде.

Результатом этого явилось то, что возобновление враждебных действий с Польшею стало казаться неизбежным, а подписавший Зборовкий трактат вынужден был столкнуться в свою очередь с народным восстанием, которое инспирировалось и руководилось одним из прежних его подчиненных, брацлавским полковником Нечаем. Гетмана это не убедило в

том, что он до сих пор шел по ложному пути. Он никак не думал быть застигнутым врасплох Польшей и даже Украйной, если бы она не осталась ему верна. На другой день после прибытия в Киев, когда Паисий отправился в Москву, он отправил с ним вместе одного из своих офицеров, некоего Мужиловского, с несколькими казаками, которым поручено было просить помощи у царя. Получив как и раньше отказ, он обратился уже формально в 1649 г. с официальным предложением о подчинении, посланным с чигиринским полковником, Феодором Вишняком. Ответ Алексея все еще не казался удовлетворительным. В умышленно туманных выражениях царь соглашался взять казаков под свое покровительство, но под условием, чтобы Польша согласилась предварительно на их подчинение. Исправленный государем, подлинник этого документа носит на себе следы его колебаний и свидетельствует о тех мерах предосторожности, которыми царь считал нужным окружить свое решение. Слова «принять в подданство» заменены словами «принять под свое покровительство».

Тогда Хмельницкий рассердился, объявил московскому эмиссару, что пойдет на Москву, и вошел в переговоры с Портою. Он только что вел переговоры с Венецией по поводу похода против Турции и еще в мае 1650 года оказал торжественный прием посланному синьории, Михаилу Бианчи, венецианскому священнику, бежавшему в Польшу, и более известному под именем Альберта Вимины. Но в этот момент его собственный представитель, киевский полковник, Антоний Жданович, находился уже в Константинополе с предложением союза и с преднамерениями, заставлявшими предполагать, что «русский великий князь» готов был принять оттоманский протекторат. Порта и не желала ничего лучшего, и осенью посланцы великого генерала, выпущенного на свободу, Николая Потоцкого, встретились в Чигирине с турецким чаушем, Осман Агою, от которого Хмельницкий получил и тайно принял великолепные подарки, знамя с полумесяцем и предложение «герцогства Украйны», дарованное в наследственное пользование под владычеством султана. Когда польские послы узнали об этом, Хмельницкий, всегда пьяный, возразил по-своему:

– Я буду служить тому, кому мне захочется! Султан и царь оба мне помогут, если я того захочу. Я возьму и отдам, кому мне захочется, не только Польшу, но и римскую империю!

Он этим признал формально ту сделку, которую только что совершил; затем, заметив, что сказал уже слишком много, приказал повесить посланцев, снова запил и заснул. На другое утро, когда Выховский помешал исполнению приказания, он извинился, взял свои слова обратно, сваливая все на винные пары, но тем не менее написал султану письмо, в котором выставлял себя открыто его вассалом. Такою ценою он надеялся заполучить татар, которые обманут Польшу, как обманули его, но он не отказался и от переговоров с Москвою. Когда в октябре 1650 года в Чигирине явился посланец царя Унковский, гетман, как мог, обласкал его и заявил, что его переговоры с Портою имеют своею единственною целью поддержание мира. К несчастью, Унковскому удалось добыть копию с письма, которое новый вассал султана послал в Константинополь.

Хмельницкий этим не смутился. В следующем месяце, в разговоре с Арсением Сухановым, который в качестве представителя религиозной миссии на Восток проезжал через Украйну, он просил его передать царю новое предложение о подчинении, изложенное в крайне униженных выражениях. Он, правда, прибавлял, что, если оно не будет принято лучше, чем предшествующие, он соединится с турками, татарами, валахами, молдаванами и венгерцами, чтобы двинуться на Москву.

Пока с целью дать развлечение своим казакам, избавиться от затруднений, которым ему

создавали некоторые из украинских крестьян, снова преданных ужасам рабства, и создать почву для своих зарождающихся честолюбивых замыслов основателя династии, он организовал экспедицию в Молдавию, где хотел женить своего сына Тимофея. Господарь Лупул считался владетелем огромных богатств и славился особенно красотою своих дочерей. Старшая из них была замужем за Радзивилом, и отец предназначал младшую другому крупному польскому вельможе, Димитрию Висьневецкому и ни в каком случае не думал выдавать ее за казака. Хмельницкий получил, следовательно, отказ. Он ответил на него, объявляя Лупулю о посылке к нему всей армии в качестве сватов. Он сдержал слово и, опустошив вместе с татарами всю молдаванскую страну и предав Яссы огню, добился объявления Тимофея женихом.

То был новый и поразительный триумф, но в то же время и Польша пришла понемногу к сознанию своего положения и опять воспрянула духом. Ввиду внутренней сумятицы, препятствовавшей Алексею вмешаться в дела Украйны, она была уверена в его нейтралитете. Ей удалось выставить на поле битвы силы, более внушительные, чем те, с которыми приходилось мериться Хмельницкому, и наследник Мономаха должен был отдать себе отчет в своем настоящем величии.

III. Поражение казаков

Мотивов для возобновления военных действий было слишком много. Между тем Хмельницкий очень ловко выдвинул на первый план религиозный вопрос. Отказавшись уничтожить унию и дать киевскому митрополиту место в сенате, польское правительство придало этой иллюзии видимую действительность, и с той и с другой стороны начали этим проникаться. Когда папа послал королю саблю, а королеве им освященную розу, коринфский митрополит, Иосаф, находясь кстати в Украйне, опоясал в свою очередь Хмельницкого саблею, «освященною у Гроба Господня». От самого Кромвеля, думали тогда, «русский великий князь» получил послание, поощрявшее его к «уничтожению польской знати, римского клира, идолопоклонства и жидов». Но этот документ, по всей вероятности, апокрифический.

Обычно очень быстро переходя от слова к действию, Хмельницкий на этот раз потерял драгоценное время. Он поджидал татар, а те, мобилизуя всю свою кавалерию, медлили свиданием с ним. Его собственные войска сильно поредели. Разочаровавшаяся чернь нехотя отвечала на призыв своего главы, и многие казаки предпочитали грабить страну независимыми отрядами. Некоторые из них даже поступали на службу к полякам.

Указывая цифру в 100 000 человек, украинские хронисты, вероятно, удваивают число наличных сил, которыми мог располагать Хмельницкий и достоинство которых было неодинаково. Ислам-Гирей привел с собою лучших и наиболее дисциплинированных солдат, но их превосходство явилось впоследствии скорее роковым, чем полезным для его союзника.

Ян Казимир мог противопоставить им 36 000 человек регулярного войска, 6 000 наемников, ветеранов тридцатилетней войны, и столько же или больше кавалеристов, доставленных милицией. Сконцентрированная в конце мая 1650 года в Соколе на Волыни, эта армия быстро двинулась на Стир, который перешла в середине июня под Берестечком, и очутилась там в довольно затруднительном положении. Она, действительно, не имела точных сведений о неприятеле. Хмельницкий был мастером в деле маскирования своих

действий, и ему удалось бы еще на этот раз использовать быстроту натиска, которой отличались казаки. Но кроме медлительности татар, гетмана парализовали еще другие заботы. Мрачный, убитый и постоянно пьянствуя больше, чем обыкновенно, он заливал водкою свое домашнее горе. Госпожа Хмельницкая только что изменила ему с простым часовщиком, и он велел его повесить вместе с его сообщницею, причем виновные были связаны вместе sicut erant in actione adulterii.

Кампания закончилась таким образом 28 июня встречею, в которой победители и побежденные одинаково храбро сражались. Три дня длилась кровавая схватка, и ряд ценных передвижений, «как на шахматной доске», указанных польской армии прусским генералом Гувальдом, огонь артиллерии под управлением одного из учеников западных школ, Пшижемского, методическая стремительность эскадронов, во главе которых носился с непокрытой головой Иеремия Висьневецкий, взяли верх над численностью и храбростью противников. На третий день, вместо того чтобы поддерживать татар против общего натиска неприятельских сил, гетман слишком поздно и некстати устроил по-казацки «неожиданную атаку», замаскированную густым лесом и скомбинированную засадами. То была ошибка блестящего партизана, ясно показавшая, что он ничего не понимал в крупных военных действиях. Время было не для засад; участь борьбы решалась в это время на боевом фронте, где, увидя, что к нему подступают и, думая в свою очередь, что ему изменили, Ислам-Гирей обратился в бегство. Когда Хмельницкий бросился, чтобы удержать его, татарин схватил казака и увлек его за собою.

Украинская армия, таким образом лишенная своего главы, защищалась еще несколько дней под начальством импровизированных атаманов. Обстреливаемая без устали орудиями и отрезанная от линии отступления, она тщетно старалась добыть себе условия Зборовского договора. Некоторые банды успели вырваться, остальные были зарублены саблями или взяты в плен поляками. От военного могущества «русского великого князя» ничего не оставалось и немного позже, подавив мятеж в Белоруссии, литовский отряд польских войск под начальством Януса Радзивилла, раздраженного супруга одной из дочерей Лупуля, проник в свою очередь в Украйну и подошел к Киеву.

Отпущенный ханом за большой выкуп, если верить польским источникам, Хмельницкий снова очутился в Корсуни с одним полком в 3 000 человек и московским агентом, Георгием Богдановым, уполномоченным завязать сношения, которыми Алексей думал позже воспользоваться. Побежденный под Берестечком не показывал вида, что унывает, и в этом его заслуга. Он даже говорил, что отомстит царю, не пришедшему к нему на помощь, и опустошит Москву так, что последняя позавидует участи Польши. Гетман сделал призыв к оружию, послал казакам, избежавшим поражения, слова утешения и всяческие обещания и, желая еще более примирить их с собою, женился на сестре одного из них, Золотаренко, назначенного потом корсунским полковником. Но когда Радзивилл соединился с Потоцким под Киевом, он решил в свою очередь капитулировать, бросился в слезах в ноги великому генералу, прежнему своему пленнику, и стал просить пощады.

26 сентября (н. с.) 1651 года под Белою Церковью после бурных споров, в которые чернь врывалась с шумными протестами и даже делала попытки сопротивляться вооруженною силою, был заключен новый трактат. Польша не извлекла, по-видимому, всего того, что победа эта, казалось, обещала ей дать; из него не видно было, что казаки находятся в ее власти. Но на деле это было не совсем так, потому что для этого были необходимы еще продолжительные усилия, превосходившие меру моральных, если не материальных средств,

которыми располагала республика. Между тем она достигла серьезных выгод в сравнении с теми, какие она получила у Зборова. Число зарегистрированных было доведено до 20 000; сохраняя за собою титул гетмана, Хмельницкий подчинился всецело авторитету великого генерала и обязался порвать всякие сношения с татарами; евреи опять получили право брать в аренду в Украйне королевские и частные поместья, наконец, черта казацких поселений была ограничена лишь одним палатинатом Киева.

Чернь продолжала оставаться жертвой, и с этой стороны трактат вызвал двойной поток эмиграции, направлявшийся на восток, к левому берегу Днепра, и на север, к московской территории. Уже на другой день после события тысяча казаков, из острожского полка, просила у царя позволения поселиться в окрестностях Путивля и Белгорода. Стараясь в это время заселить берега, частью пустынные, Дона, Сосны и Оскола, Алексей хотел сначала направить на эти места наплыв явившихся к нему колонов; однако позже он уже позволил устраивать более к западу, или более к югу многочисленные слободы, из которых некоторые вскоре обратились в населенные местечки и города.

Хмельницкий завирался по обыкновению своему, говоря о том, будто он тоже направится на Москву со своими войсками, в то же время отправив к Потоцкому письмо с протестом против выраженной им преданности, а султану уверение в своей верности, не оставляя при этом ни химерических мечтаний о наследственном великокняжестве, ни своих проектов, относящихся к Молдавии. Так как казаки продолжали волноваться, он решил занять их в Молдавии, где Лупул медлил оказать честь его исканиям. Во второй раз уже Тимофей отправился в Яссы с многочисленным отрядом и, когда Калиновский, другой побежденный при Крутой Балке, пересек ему дорогу с маленьким отрядом, он истребил всех поляков.

Благодаря этому, он мог жениться на прекрасной «Домне Розанде», но принудил отца к новым отречениям. Хмельницкий притворился, будто бы он был чужд этому событию, послал извинительное письмо королю и занялся выкупом для татар поляков, взятых в плен благодаря поражению Калиновского. Армия Берестечка была уже распущена, Польше угрожал разрыв со Швецией, и король был вынужден послать в Украйну не войска, которые отомстили бы за это новое оскорбление, а комиссаров, которые должны были удовлетвориться извинениями гетмана. Но они даже не получили и этого удовлетворения: еще до приезда их гетман переменил свое решение. Когда поляки заговорили о милости, он поднес им обнаженную саблю под нос и сказал: «Вы милостивы! Это я был милостив по отношению к вам, так как мог бы загнать вас за Рим». В это время (6 декабря 1652 г.) казацкая депутация с военным судьею Самуилом Богдановым во главе уже находилась в Москве с предложениями, которым был оказан на этот раз лучший прием. Избавившись от забот о внутреннем порядке, Алексей уже мог теперь, померяться силами с Польшею.

IV. Подчинение Москве

Хмельницкий, правда, не остановился еще на мысли о безусловном подчинении, единственном условии, которого требовали в Кремле, и потому переговоры еще тянулись. Но обстоятельства послужили вскоре к тому, что последние колебания гетмана исчезли. Его сын, женившись на Домне Розанде, задумал покорить Валахию. Весною 1653 года гетман оказал ему поддержку. Но валахский господарь, Матфей Бессараба, добыл себе подмогу от князя Трансильвании, Ракочи, и предприятие потерпело неудачу. Тимофей вынужден был спасаться в Украйну, испытав полное поражение. В то же время прибыло 15 000 поляков под

начальством очень искусного полководца, успевшего себя уже проявить в прошлом, Стефана Чарнецкого, за которым следовал король. Со всех сторон получались предложения о помощи. Молдавия, Валахия, Трансильвания, Турция и даже татары хотели теперь содействовать поражение неутомимого воина, который, совершенно не зная окружавших его людей, наталкивался на крайнюю сложность интересов, неожиданно для него объединившихся против его страны.

Видя, что погибает, Хмельницкий в августе 1653 г. направил к царю, при посредстве патриарха Никона, слезную просьбу. Он почти отдавал себя в распоряжение царя. Забывая свои польские симпатии и кроме того уже давно подстрекаемый в этом направлении московскими агентами, Выховский сам поддерживал просьбу своего главы. С января 1652 года этот вопрос был передан Земскому Собору и потом поддерживаемый другими восточными прелатами, иерусалимский патриарх Паисий постоянно убеждал его принять решение, согласное с общими желаниями православного востока. При наличности побед Хмельницкого, при неудачах испытанных турками в их войне с Венецией, возникала надежда на полное освобождение христианских народов, порабощенных исламом. Средства, казалось, иссякали у казаков и у поляков, впереди была перспектива конфликта со Швецией, который сулил в будущем разделить силы республики, все это при закончившейся реорганизации московской армии создавало теперь ряд обстоятельств, одинаково благоприятных для вмешательства Москвы, которая так долго медлила.

Московская дипломатия со своей стороны заботилась о том, чтобы придумать мотивы для разрыва с Польшею, непрестанно изливаясь в жалобах, несколько впрочем по-детски, по поводу оскорбительных памфлетов, изданных в Варшаве, или по поводу некоторых упущений в обычном формуляре сношений между обеими странами. С начала этого 1653 года принципиально вмешательство было принято в царских советах, формально только был созван в октябре новый Земский Собор, и не ожидая его решений, Алексей послал уже в сентябре к Хмельницкому стольника Стрешнева и дьяка Бередкина для получения от казаков знаков подчинения и вручения им задатка в счет того жалованья, которое они должны были отныне получать.

Хмельницкий ответил изъявлениями благодарности и излиянием чувств. Он был далек еще между тем от того, чтобы приписывать создавшейся таким образом связи между Украйною и московским государством то значение, которое ей придавали в самой Москве. Гетман думал обойтись с царем так, как он обходился до сих пор с двумя другими номинальными государями, натравливая их друг на друга и играя всеми тремя. Ему не хотелось также упускать Молдавии. Но пора его побед уже миновала. Направляясь к Сочаве со своими казаками и с татарами, которых ему удалось убедить отправиться с ним, но которые, играя с ним также двойную игру, под шумок вели переговоры с поляками, он встретил по дороге тело своего сына Тимофея, только что умершего от ран. Продолжая свой путь, в октябре 1653 года он столкнулся под Звонецем (в окрестностях Каменца), с объединенной армией поляков, валахов и венгерцев, под личным предводительством польского короля, был еще раз выпущен ханом, и в декабре очутился в Чигирине, где встретился с посланными Алексея, Бутурлиным, Алферьевым и Лопухиным, прибывшими не для переговоров с ним, как он наивно воображал, но для того, чтобы взять в свое подданство Украйну.

Он показал вид, что всегда остается господином своего слова, созвал советы, организовал нечто вроде плебисцита, по вопросу о том, какому из государей, королю ли

Польши или султану, крымскому ли хану или царю отдадут казаки предпочтение, и прочитал даже «народу» проект предполагаемого договора с Москвою для защиты их общих свобод. Но посланные Алексея уже успели заручиться присягами самодержавному царю, который, как говорили они, не похож на польского короля в обращении со своими подданными. Самуил Богданов и переяславский полковник Тетеря отправились в Москву, и должны были в марте 1654 года удовольствоваться жалованною грамотою, показавшейся при данных обстоятельствах впрочем очень щедрой. Оригинал этого документа, кажется, потерян, но протокол прений предшествовавших редакции и последующая хартия, которая в 1659 году воспроизводила по-видимому ее сущность, дают нам достаточно полное о ней представление. Прежде чем будет покончено с поляками, Алексей считал нужным сохранить хорошие отношения с казаками; он им представил, по крайней мере на бумаге, подтверждение их старых прав и свобод, понимая под ними юридическую автономию, свободное избрание гетмана после смерти Хмельницкого и годовое жалованье в 1 800 000 флоринов зарегистрированным, число которых он соглашался довести до 60 000.

Это было много, сравнительно с тем, что было дано в последний раз Польшею побежденным при Берестечке. Но этого было мало для «великого князя России», который, хотя и получал вместе с содержанием значительное количество земли в окрестностях Гадяча, но увидел, что ему воспрещены всякие непосредственные сношения с иностранными державами. И здесь опять-таки ничего не было даровано массе новых подданных царя, которые должны были просто подчиниться общему праву, т. е. крестьян, обложенных теми же повинностями, которые тяготели над их собратьями в Москве. С этой стороны новый порядок вещей угрожал возбудить живые протесты, и Хмельницкий старался не дать событию какой-либо огласки.

У него для этого была еще и другая причина. Украинский клир казалось, не был лучше удовлетворен. Подчинение Москве значило также подчинение московскому патриархату, подчинение, гораздо более действительное, чем то, которое связывало украинскую церковь с восточными епархиями. Церковь сильно этому сопротивлялась и стала опасаться, только с другой точки зрения, такого переворота в ее вековых привычках. Четыре века якобы независимого существования, но близкого к очагу латинской цивилизации создали в ее недрах совокупность особых идей и преданий. Самый ее ритуал отражал в себе западное влияние, и Петр Могила поднял ее воспитательные учреждения, религиозные и научные, на такую высоту, что подчинение дикой Москве казалось для этого общества актом падения.

Могила уже умер; но его преемник в киевской митрополии, Сильверст Коссов, стремился идти по его стопам. Дворянин из польского палатината в Витебске, ученик польских школ и выдающийся польский писатель, он уживался со всемогущим Хмельницким, в то время как последний, казалось, был предназначен для предоставления Украйне свободного режима под польским протекторатом. Сделаться вместе с ним подданным царя ему улыбалось гораздо менее, и он не скрыл этого. Когда Бутурлин со спутниками прибыл в Киев, он, казалось, решил вначале отказаться вместе со своею паствою от присяги, которую у них требовали; он истощил все средства, чтобы избежать ее, и покорившись, но не примирившись, удалился в свое епископское помещение, выискивая поводов для ссоры с московскими воеводами, которые следовали за посланными и хотели выстроить крепость по соседству с церковью св. Софии.

Но помимо иллюзий, которые представляла казакам жалованная грамота, реальность нового режима выразилась в появлении в Украйне целой массы воевод и чиновников, с

приличной свитой и стремящихся захватить в свои руки всю страну по-московски, по-военному, бюрократически, деспотически. Польша никогда и не подумала бы действовать таким путем; поступая таким образом, путем некоторых формальных уступок и кое на каких относительных компромиссов, московское государство должно было впоследствии справиться со всяким сопротивлением.

Сам Хмельницкий старался еще спасти внешние приличия, не оставляя своей переписки с ханом и султаном, называя в ней лживыми те сведения, по которым он является подданным царя, отклоняя упорно честь быть представленным новому государю и обращаясь часто с его представителями так, как он привык обращаться с представителями польского короля. Все эти выходки были довольно безобидны, и Алексей не показывал, что он оскорбляется ими. Так как исход предприятия зависел от поединка с Польшею, то ему было необходимо во что бы то ни стало сохранить за собою для этой решительной борьбы казаков. Как он однако и предвидел, Польша в тот момент, когда он решился наконец бросить ей перчатку, была почти не в состоянии выступить в бой.

V. Разгром Польши

В ноябре 1653 года царь официально сообщил о своих намерениях различным европейским дворам, с которыми он поддерживал более или менее постоянные сношения. Его жалобы против западных соседей были, как мы это знаем, не особенно серьезны. Так, в послании, отправленном со специальным курьером в Сен-Жермен, он жаловался, что поляки называли его отца Михаилом Филаретовичем, вместо того чтобы называть его Михаилом Михайловичем! Ответ заставил себя долго ждать. Известны связи, соединявшие в это время Польшу с Францией. Выйдя вторично замуж за Яна Казимира, вдова Владислава IV, Мария Гонзаго, сделала их еще более интимными. Мазарини между тем совсем не думал принять активного участия в объявленном конфликте и, после года молчания, уже в ноябре 1654 года, он разразился упреками, порицая по мотивам религиозным спор, возникший между двумя христианскими державами, и предложил им свое посредничество.

Бранденбургский курфюрст имел более настоятельные мотивы высказаться. Следя со страстным интересом за событиями в Украйне, он даже не отказался целиком от своих обязанностей вассала, и предложил различным германским принцам помочь его сюзерену. Но сам он не спешил подать им пример. Теперь он только удовольствовался декларацией о нейтралитете, но предложил себя в то же время посредником. На деле Польша осталась изолированной. Но владение Украйной не было, по-видимому, единственным козырем в начатой партии. Алексей был намерен довести борьбу до конца, и его усилия были направлены сначала на Литву, это оспариваемое наследие Гедемина и Витовта.

В феврале 1654 года в Вязьме была собрана многочисленная артиллерия; в мае туда прислали образ Грузинской Божией Матери с Афонской горы; на нее особенно рассчитывал благочестивый государь, и тотчас же после этого царь выступил в поход. С польской стороны вся граница почти была лишена защиты. Украйна все поглотила. Дорогобуж сдался без битвы. Невель и Белая едва сопротивлялись, и 23 сентября, после тяжелой осады, капитулировал в свою очередь Смоленск, а польский гарнизон, насчитывавший в своих рядах не более нескольких сот человек, сложил свои знамена к ногам победителя, как это сделала в 1634 году в том же месте побежденная армия Шеина.

В этот момент явился на помощь полякам союзник, на которого они никак не могли

рассчитывать. В июле еще, по совету Никона, царица оставила столицу, убегая от приближавшейся чумы. Патриарх вскоре последовал за нею и искал убежища вместе с нею в Калязинском монастыре.

Для предохранения от чумы царя с его войсками были устроены сильные карантины по дорогам, ведущим к Смоленску. В Москве забивали наглухо ворота и окна Кремля; в домах, где уже появилась зараза, запирали их обитателей и повсюду жгли колдуний, подозревая их в том, что они «накликали смерть», тем более что несчастные признавались в своей вине. То были единственные известные в то время средства обеззараживания. Но их действие обнаружилось не раньше зимы, когда обычно распространение эпидемии останавливалось. Разрушение, произведенное чумою, было действительно ужасно в тех местах, где она свирепствовала. По собранным сведениям смертность от чумы колеблется между 85 % и 97 %.

Если не военная мощь Алексея, то воодушевление, которое он умел вложить в нее, не могло не ослабнуть под влиянием этого несчастия. Другой еще шанс явился у его противников. В июле 1654 года смерть Ислам-Гирея произвела в Крыму поворот в их пользу. Новый хан, Махмет-Гирей, ненавидел Хмельницкого. Он склонился к заключению союза против казаков и москвитян, и в январе 1655 года, когда гетман действовал в окрестностях Белой Церкви вместе с московским воеводою Шереметьевым, они были окружены под Ахматовым, и хотя спаслись благодаря обычной невыдержанности крымцев, но понесли большие потери.

Хмельницкий был этим совершенно обескуражен. Возвратившись в Чигирин, он не двинулся больше с места, парализуя скорее, чем поддерживая последующие действия московских войск, которым Алексей прислал подкрепление, и повел двусмысленные переговоры со шведами, трансильванцами и самими поляками.

Последним между тем судьба перестала уже улыбаться. Шведская королева, Христина, только что отказалась от трона в пользу своего двоюродного брата Карла Густава. Он был коронован под именем Карла X, и Ян Казимир нашел случай подходящим, чтобы предъявить хотя бы формально свои собственные права на шведский престол.

Новый король поспешил воспользоваться этим предлогом для осуществления давно намеченных агрессивных мер. Поссорившись еще в 1650 году с варшавским двором и убежав в Стокгольм, прежний доверенный Владислава IV, сделавшийся позже вице-канцлером, Радзеновский вмешался в это дело, заведя сношения с Ракочи и Хмельницким. Успехи Алексея усилили действие этих манипуляций, и в июле 1655 года шведский фельдмаршал Виттенберг двинулся из Померании в Великую Польшу.

Повинуясь советам изменника, провинциальная милиция, объединенная палатином Христофором Опалинским, капитулировала, открыв Карлу X, следовавшему за своим военачальником, дорогу в Варшаву и Краков. То был настоящий разгром. Вызванная из Украйны часть польской армии, находившаяся под начальством храброго Чарнецкого, не могла прикрыть обеих столиц и в сентябре почти вся Польша оказалась в руках новых победителей. В то же время Алексей, выступив в поход и не встретив никого на своем пути, занял вместе с Вильно, Ковно и Гродно всю северную Литву. Шведы явились туда в свою очередь под начальством Магнуса Делагарди. Вынужденный выбирать между обоими завоевателями, имея в распоряжении лишь пять тысяч солдат, великий генерал княжества, Янус Радзивилл, решил в пользу Карла X, подписав 18 августа в Кайданах договор о подчинении.

Ян Казимир сохранил на деле в этой части своих владений горсточку преданных ему людей, которые под командою витебского палатина, Павла Сапеги, осадили Радзивилла в Тыкоцине, где великий генерал, чуть не взятый в плен, умер от удара. Обе знаменитые фамилии, Сапеги и Радзивиллы, постоянно враждовали между собою. Но дела несчастного короля Польши не улучшились от этого. В то же время Лемберг был осажден москвитянами и казаками, причем Бутурлин явился туда в сопровождении Хмельницкого. Вся Краснорусия была таким образом потеряна для Польши, и трудно было догадаться, кто будет владеть ею. Потребовав от города вторую контрибуцию, гетман снялся с лагеря, заставив московского генерала сделать то же самое, заняв крайне двусмысленное положение. Он продолжал свои таинственные переговоры с Польшею и, при посредстве Выховского и Тетери, предложил лемберцам, если они не хотят отдаться в руки казакам, противостоять также москвитянам. Так по крайней мере поняли его осажденные, и это было тем более правдоподобно, что в тот же момент в Белоруссии казацкий полковник Иван Нечай и другие украинские начальники действовали по приказу Хмельницкого, доходя даже до изгнания царских войск из занятых ими городов.

Такой образ действий угрожал распространиться на всю Украйну, а вмешательство шведов в дела Литвы расстраивали также планы Алексея. Тогда он довольно неловко пустил в ход дипломатию, которая явилась для Польши, в том отчаянном положении, в котором она находилась, якорем неожиданного спасения.

VI. Поворот счастья

Заняв Вильну, царь по настоянию Никона поспешил принять титул короля Польши. Он думал сначала удовольствоваться Литвою, но шведы оспаривали у него эту добычу и он не нашел ничего лучшего, как начать добиваться соглашения с поляками. Желая вырваться из затягивавшей их петли, последние естественно были расположены ко всякого рода соглашениям. Не имея к тому никаких ровно способностей, витебский палатин договаривался сначала о перерыве военных действий, причем обещал со своей стороны очистить Белоруссию и Украйну. Потом представители Яна Казимира, также совсем не уполномоченные на подобные условия, по договору, подписанному в Вильне в октябре 1656 года, приняли условия мира, окончательно предоставляя царю право наследования престолом Польши, после смерти ныне царствующего короля. По конституционным законам республики без санкции сейма это обещание ровно ничего не стоило, но взамен его Алексей оставил все свои завоевания и обязался соединиться с Польшею в общем походе против шведов!

Этот ловкий шаг был делом венского двора, который, по просьбе Яна Казимира и за недостатком другого средства пустил в ход двух своих лучших дипломатов, Аллегретти и Лорбаха, которые еще в прошлом году старались навести на ложный путь царя с его советниками. Подозрительные сношения казаков со шведами не были, действительно, чужды этому событию, но легко себе представить, какое действие это произвело на Хмельницкого и его товарищей. Тщетно гетман требовал допущения его к переговорам. При известии об их исходе общим мнением в Украйне было, что царь отдал страну полякам. Но император также был теперь, по-видимому, склонен им помочь, даже в военном отношении, чтобы восстановить их авторитет. Хан со своей стороны послал в Чигирин требование в том же духе, угрожая вмешательством для восстановления прежнего порядка вещей. К этому

моменту, судя по легенде, относится поэма Хмельницкого, в которой под видом чайки, на которую устремляются две хищные птицы, он представил тяжелую участь своего отечества.

Больной, истощенный своей лихорадочной деятельностью и пьянством, полусумасшедший, гетман употребил между тем совершенно иначе последние остатки своего ума.

В ноябре 1656 года он ответил на виленскую конвенцию, заключив в свою очередь договор со Швецией и с Георгием Ракочи. Оставаясь вассалом Турции, этот государь (больше в восточном, чем в европейском смысле этого слова) союзного государства, где, между Тиссом и Трансильванскими Альпами, соприкасались и дрались между собою до двадцати различных народов, – мадьяров, немцев, румын, славян, вечный враг Австрии, главы западной части Венгрии, союзник Швеции с Тридцатилетней войны, в которой принимал участие на стороне протестантской партии, Ракочи был тоже своего рода поэтом. Судьба и слава Батория не выходили из его головы, полной всяких фантазий, и польский трон стал объектом его химерического честолюбия.

Чтобы добиться его, он принял участие в разделении республики. На северо-востоке Европы уже давно носилась идея о разделении Польши, в виде различных проектов более или менее конкретных, выставляемых с обеих сторон, при всяком удобном случае. Таких случаев становилось все больше и больше. На этот раз Карл X сохранил за собою Великую Польшу, Померанию с Данцигом и Ливонию, Ракочи получил Малороссию, Мазовию и Литву, с титулом короля. Казаки оставили себе Украйну. Подляхия наконец, обратившаяся в наследственное княжество, была отдана одному из Радзивиллов, Богуславу, взамен обещанной им и его подданными поддержки этому делу.

Курфюрст Бранденбурга по некоторым сведениям тоже вмешался позже в дело раздела и, если документы, которыми мы владеем, и не дают тому доказательств, то этот факт является тем не менее вполне возможным. История этого времени рисует нам его всегда настороже, ловким и гибким, лишенным щепетильности и быстро приспособляющимся ко всем обстоятельствам, дающим какой-либо шанс его огромному честолюбию. Но он не ожидал этого шанса, а прямо вмешался в игру и хотел урвать лучший кусок. Этот эпизод стоит, чтобы им заняться. То был решительный поворот, благодаря которому должна была получиться держава, господствующая теперь над всей Европою. Роль Пруссии в этом событии не кажется ни славною в военном отношении, ни даже очень блестящею в дипломатическом. Что же касается моральной стороны, то она стремится, без сомнения, подражать героям этой исторической главы, абстрагируя их. Дом Гогенцоллернов в этом деле выказал один элемент превосходства, который вызвал, без сомнения, его процветание, – непоколебимый практический дух.

Сознание преследуемой цели и нахождение необходимых средств являлись личными свойствами Фридриха-Вильгельма, или по крайней мере были инспирированы ему одним из его советников, графом Вальдеком. Другие единодушно высказывались за соблюдение обязательств, соединивших участь их страны с Польшею. Курфюрст, как кажется, действовал вначале таким образом, чтобы казалось, будто он подчиняется давлению со стороны шведов. Собрав армию в 15 000 человек, после кампании, которая по свидетельству германских историков, являлась лишь «чистой комедией», он добился, хотя и слишком своей цели. В январе 1656 г., на своей собственной территории в Кенигсберге, он был вынужден принять договор, освобождавший его действительно от польской зависимости, но отдававший его под шведскую, и без всякого вознаграждения. Несколькими месяцами позже, когда Карл X

очутился в затруднительном положении, среди своих побед, у которых оказалась и обратная сторона, его новый вассал поспешил этим воспользоваться. 25 июня 1656 года в Мариенбурге он выговорил себе четыре палатината из владений своих прежних господ. Но он оставался по-прежнему данником, и в этом отношении он скорее потерял при этой перемене.

Разделение Польши, законченное в 1771 году, нашло себе здесь первый и значительный прецедент. Но в то время делившие добычу продавали шкуру медведя, не убитого еще, и Фридрих-Вильгельм не дошел еще до конца в своих стараниях.

Соединившись с Карлом X в одном общем деле, он рисковал сначала вступить в конфликт с Москвою. В мае к нему даже явился князь Мышецкий от имени Алексея, угрожая ему, что армия в 700 000 человек готовится разгромить его территорию, если он не перейдет на сторону царя. Курфюрст, конечно, не верил этой цифре, но, не имея возможности узнать ее точно, он искусно провел Мышецкого, очень плохого дипломата, послав со своей стороны графа Эйленбурга с изъявлениями дружбы и объяснениями по поводу необходимости, вынудившей его подчиниться союзу со Швецией. В то же время в мариенбургском трактате он очень осторожно вставил статью, исключавшую из операций, в которые он мог быть замешан, Литву и восточные провинции, единственные точки его возможного соприкосновения с московским соседом.

Эйленбургу пришлось поработать много. Так как Хмельницкий и Ракочи выполняли заключенный ими договор, и казаки соединились с войсками Карла X, то Алексей со своей стороны оказал честь договору, заключенному в Вильне и, послав шведскому королю через стольника Алфимова нечто вроде декларации войны, вступил в Ливонию, занял Динабург и Кокенгаузен и послал к курфюрсту нового посланца, Георгия Богданова с поручением, которое долго сбивало с толку историков, так невероятен казался им предмет его.

Дойдя почти до безумной гордости в своей претензии на то, чтобы Фридрих Вильгельм принял его стоя и снял пред ним шляпу, этот необыкновенный посланник, грубо запрашивая его по поводу отказа и сам не снимая шляпы, предложил курфюрсту еще раз переменить государя, сделавшись вассалом царя.

Предполагали, что Богданов преувеличил данные ему инструкции. Но они, помеченные 16 августа 1656 года в лагере при Дубене между Динабургом и Кокенгаузеном, теперь уже принадлежат истории и освобождают посланника от подобного подозрения. Курфюрст вышел из затруднения, сославшись на необходимость апелляции к ландтагу, а следующие затем перемены в ливонской кампании, где царь испытал поражение под Ригою, а также обещание Нидерландов оказать свою помощь Пруссии, дали возможность Эйленбургу получить в ноябре 1656 года простой трактат о нейтралитете и дружбе. Алексей все же отказался принять посредничество Фридриха Вильгельма между ним и Швецией. То был первый дипломатический акт, в котором обменялись подписями обе северо-восточные державы.

Осаду Риги пришлось снять, и в 1657 году новая серия неудач убедила Алексея в том, что преемство Яну Казимиру в том виде, в каком оно было ему предложено, не стоило того, что он заплатил за него. А шведы между тем уже пробрались к окрестностям Пскова, разграбив там Печерский монастырь. В апреле 1658 года Алексей завел переговоры с этими противниками, столь безрассудно ведущими себя, и Нащокин, прикомандированный к князю Прозоровскому, получил от царя тайные инструкции подкупить полномочных министров Карла X и добиться от них по крайней мере получения хотя бы одного пункта на берегу

Балтийского моря, того самого, где Петр Великий должен был построить позже С.-Петербург. Несмотря на положенные на них труды, эти переговоры привели в декабре 1658 года лишь к подписанию договора на три года, совсем не оправдавшего желаний царя, но этот договор, уничтожив надежды, осуществление которых было возможно, упрочил за царем все завоевания, сделанные в Ливонии.

Это было одним из последствий событий, продолжавших ослаблять положение шведов в Польше. В декабре 1655 года победоносная защита Ченстоховского монастыря, знаменитого места паломничества, осажденного ими, воодушевила поляков и создала мысль среди них сгруппироваться вокруг своего государя для освобождения родной земли. По обычаям страны, в Тишовце, в люблинском палатинате, образовалась «конфедерация» и она вызвала к жизни силы и средства, о которых до тех пор никто не подозревал. В конце 1657 года император Фердинанд решил заключить оборонительный союз, которого давно уже требовала энергичная Мария Гонзаго. Несколько позже его подписал Леопольд, изгнав шведов из Кракова. В то же время, умея быстро изворачиваться, курфюрст Бранденбурга также предложил свои услуги. В ноябре 1656 г., воспользовавшись замешательством Карла X, он освободился из-под его вассальства, доведя до одной только Вармии ту часть, которую он претендовал получить из польской земли. Потом, благодаря тому, что дела Швеции запутывались все более и более, двумя трактатами, заключенными в сентябре 1657 года в Велау и в следующем ноябре в Бромберге, воспользовавшись в свою очередь отказом Польши от своих сюзеренных прав и уступкой нескольких мест, – Эльбинга, Лауенбурга и Бутова – он отказался от союза со Швецией. И в итоге, не считаясь и теперь с моралью, он сыграл не плохую игру.

При всем том Польша должна была сама радоваться ходу дела. Таким образом облегченная с одной стороны, получив помощь с другой, она сейчас же освободилась от Ракочи, которому казаки испортили всю кампанию, вызванные в Украйну беспорядками, создавшимися на почве все более неустойчивой политики Хмельницкого. Немного спустя массовое восстание шляхты и местами самих крестьян начало утомлять войска Карла X. Как они ни были стойки, но и они не были в состоянии бесконечно выдерживать наступления всего вооружившегося народа. И удары, заставлявшие их поддаваться и уходить, являлись похоронным звоном для их украинского союзника. Оставшись без определенной идеи и без всяких ресурсов, среди различных веяний, оспаривавших его умирающую волю и в которых по самому ходу дела взяло перевес течение, враждебное Москве, т. е. той единственной державы, на которую он мог еще надеяться, Хмельницкий представлял уж собой всего лишь развалину; 27 июля 1656 г. (стар. ст.) он испустил дух.

По легенде, он был отравлен одним польским дворянином, прибывшим в Чигирин под предлогом получить руку одной из его дочерей. Обе его дочери были замужем. Если какой-либо яд и прекратил действительно его дни, то он был ему дан жестокою действительностью, заменившею для него его честолюбивые мечты. Москва, желая сделать себе послушным инструмент, сломавшийся в ее руках, также лелеяла до известной степени мечты, и опередила естественный ход вещей. Пробуждение должно было наступить сразу для всех, принимавших участие в этой исторической драме, и в Украйне особенно оно привело к жестоким разочарованиям.

Глава одиннадцатая

Раздел

I. Наследие Хмельницкого

Рискуя, быть может, слишком утомить внимание некоторых моих читателей, я должен был на предыдущих страницах войти в немного сухие, хотя и необходимые, как мне кажется, подробности для выяснения проблемы, которая во многих отношениях и теперь еще носит характер современности. Отныне мое изложение становится уже более кратким, но и тут я не могу похвалиться, что смог избавить мой рассказ от того тяжелого впечатления, которое он получает неизбежно от излагаемых им событий. Он передает всецело их физиономию. История Украйны в последней четверти семнадцатого века представляет собой картину хаоса. Основу его составляют непрекращающиеся удары слепых сил. Ценою огромных усилий Москва добилась хоть частичной победы своей программы национального восстановления, но она могла победить хаос лишь пустотой, т. е. в некоторых пунктах только систематическим разрушением, а в других бесконечными отсрочками наиболее важных решений. Затруднения, встречаемые ею еще и теперь в этой части ее владений, происходят от этой же отдаленной причины.

Соединяя в себе все ужасы войны и народных восстаний, кризис 1648–1658 годов только вернул эту страну к ее первоначальной участи служить полем битв и хранительницей человеческих костей. В ней не создалось ничего прочного. Даже самая могила Хмельницкого, место которой было выбрано им в его милом Субботове, не долго почиталась.

Гетман оставил после себя одного только сына Георгия, едва достигшего шестнадцати лет, калеку телом и душою. По словам летописца, он был «евнухом по природе». Отец, кажется, передал тяжелую наследственность этому печальному наследнику. Выховский не замедлил объявить себя адъютантом этого нового управителя, чем-то вроде опекуна, но тотчас же обокрал своего опекаемого, отослав его в школу и захватив богатства, спрятанные покойным в Гадяче. Когда представитель Алексея, Богдан Хитрово, переехал в Украйну следующею зимою, он должен был склониться перед совершившимся фактом. Ему достаточно было своей миссии, состоявшей в распределении московских гарнизонов по главным городам и лишении казаков управления приходами страны. Он не мог даже воспрепятствовать узурпатору в его стремлении следовать ошибкам своего предшественника, добывая себе подкрепление со стороны татар для подавления нового мятежа под командою полтавского полковника Пушкаря.

Между тем вступление Выховского в исполнение обязанности гетмана имело очень угрожающее значение для Москвы. Вместе с ним, еще при жизни Богдана Хмельницкого, самые влиятельные из казацких начальников воспитанные по большей части в Польше и разделявшие там политические взгляды шляхты, дали соблазнить себя проектом компромисса, которому доставляла ряд увлекательных примеров истории республики. Разве «Русское великокняжество» не могло последовать судьбе литовского, соединившись с

Польшею такою же федеративною связью и получив то же равенство привилегий и прав? Как ни был еще короток опыт московского режима и тяжелых повинностей, он усиливал тем не менее заманчивые стороны этого идеала. Царские чиновники и генералы, менее снисходительные и более грубые, заставляли сожалеть о прежних польских начальниках. Верховный клир, по известным уже нам причинам, буржуазия городов, в силу своей привязанности к своим муниципальным свободам, склонялись к тому же. Одни крестьяне, надеясь получить от царя хоть какую-либо помощь против польских или казацких господ, оставались еще в большинстве своем преданными новому порядку вещей.

Выховский 1 января 1658 года, в своих Чигиринских письмах к польскому королю и примасу, довольно недвусмысленно намекал на это: «легче бывает, говорил он между прочим, придти к соглашению свободным людям». Слишком смелая предприимчивость Хитрово, замена в Киеве Бутурлина Василием Шереметьевым, человеком в общем жестоким и грубым, ускорили неизбежную развязку, и 16 сентября (н. с.) 1658 г. под Гадячем дело закончилось трактатом, подписанным казаками вместе с посланными от Яна Казимира, Бенявским и Иевлашевским, к которому теперь еще стремятся вернуться украинские националисты. Около трети страны, а именно палатинаты Киева, Чернигова и Брацлава (теперешние губернии полтавская, черниговская и киевская), восточная часть волынского палатината и южная часть подольского были обращены в «русское великокняжество» по образцу литовского и должны были на тех же условиях войти в состав Республики. Равенство прав в Сейме и Сенате, отдельная и тождественная иерархия всех функций и должностей, назначение на те и другие одних только Украинских жителей, юридическая автономия, как и отдельная монета, уничтожение Унии, религиозная свобода для православной церкви без всякого вмешательства польских властей, основание двух академий по образцу краковской и неограниченная свобода в устройстве школ и типографий; в статуте крестьян ровно никаких изменений, но зато обещание прогрессивного приобщения всех казаков к привилегиям польской шляхты, немедленное получение дворянства для ста человек на полк, и наконец полная амнистия – каково было основание этого соглашения, неожиданно превзошедшего ценность концессии московского правительства и ратифицированного варшавским сеймом, несмотря на очень живые и энергичные возражения, которые оно встретило в нем.

Это политическое завещание Польши семнадцатого века для этой части ее исторического наследства, и в нем следует признать прекрасный памятник ей свойственного благородства, но увы, с другой стороны чистейшую химеру. Проведение в жизнь такой программы представляло огромные трудности, и добрая воля договаривавшихся сторон наталкивалась во всех ее деталях на эти трудности. Так, 17-я статья имела в виду частные польские и церковные фонды, целую массу земель и бенефиций, перешедших во время кризиса в руки казаков. Теперь приходилось их возвращать старым собственникам и несмотря на красоту порыва, что несомненно говорит в их пользу, наследники революционной традиции Хмельницкого обещали гораздо более, чем они могли выполнить. Но даже по самому существу своему соглашение было неосуществимо. Поляки и казаки вначале не заботились о правах, более или менее законно приобретенных в стране московским государством. Виленский договор передавал снова Польше во владение всю территорию, отнятую у нее московскою победою, но в это время эта конвенция была уже недействительной. Сейм отказался ее признать и, желая получить помощь от императора, Ян Казимир и сам не поколебался с такою же развязностью предложить ему то наследие

трона, которое он уступал, не имея на него ровно никакого права, Алексею. На севере вновь были открыты враждебные действия, и приходилось лишь ждать, что событие в Гадяче вызовет их также и на юге.

Но кроме того, и особенно общее положение Украйны не делало возможным такое разрешение вопроса. Ни политически, ни социально эта страна не могла найти в нем для себя залога сносного существования. Архитекторы, вдохновленные благородными чувствами, но абсолютно незнакомые с реальною стороною самого дела, воздвигали роскошное здание на песке, и оно должно было распасться при первом порыве ветра. И противные ветры не замедляли явиться.

Ромодановский, командовавший уже одним важным московским корпусом на украинской границе, действительно получил подкрепление с приказанием проникнуть в страну и вызвать в ней восстание против Выховского. Прерванные ввиду приближавшейся зимы, успешные действия были уничтожены в следующем году жестоким поражением. Выступив в свою очередь с избранной частью московской кавалерии, ветеранами польской войны, лучший генерал Алексея, Трубецкой, был окружен 4 июля 1659 года под Конотопом соединенными силами казаков, поляков и татар и потерпел полное поражение. Один из его помощников, князь Пожарский, был взят в плен и убит, осыпая самой грубой руганью хана в выражениях, которые невозможно передать. Из армии, доходившей, по преувеличенным, конечно, донесениям украинских и польских летописцев, до 150 000 человек, Трубецкой привел с собою в Путивль лишь несколько калек.

Но некоторое время спустя после этого побежденные в этот день были блестяще отомщены в том повстанческом движении, которое должен был подготовить Ромодановский, который действительно поднял самих казаков против ими же созданного дела. Один за другим переяславский полковник Цюцюра и нежинский, Золотаренко, подняли знамя восстания. Выховский был смещен и уступил свое место Георгию Хмельницкому. Поляков было очень немного в Конотопе, и они очутились в таком критическом положении, что их начальник Андрей Потоцкий решился на отчаянное дело. В рапортах к королю, он советовал оставить Москве левый берег Днепра и обратить правый в пустыню. «Польша должна уничтожить Украйну, писал он, если не хочет быть уничтожена ею». Вот к чему привел Гадячский трактат и, как мы увидим дальше, предложение это было в конце концов принято.

II. Два берега Днепра

Веяния переменились. Вернувшись в сентябре 1659 года с новыми силами, Трубецкой был принять на левом берегу, как освободитель. Повсюду звон колоколов и восторженные процессии встречали желанного гостя. На правом берегу казацкая старшина держалась еще за федеративную автономию, но думала теперь реализовать этот идеал сообща с Москвою. Трубецкой не долго оставлял ее в этом приятном заблуждении; уже 17 октября он вручил Георгию Хмельницкому новую грамоту, определявшую две основные черты ранее установленного режима: военную оккупацию и административное подчинение. Она относила, кроме того, на счет страны издержки на то и на другое.

Конечно, этим нельзя было удержать казаков от их агитации и, так как они с их обычною подвижностью обратились в сторону Польши, то та и воспользовалась этим. В мае 1660 года мирный трактат со Швецией, подписанный в Оливе благодаря содействию Франции, дал ей

опытные и воодушевленные победою войска для Украинской войны.

Ордын-Нащокин сделал все, чтобы помешать событиям. Родом из Пскова, где ненависть к шведам поддерживалась постоянными стычками на границе, и предшественник Петра Великого, он считал существенным захват берега Балтийского моря. В тесном же союзе с Польшею против Швеции он видел с другой стороны залог общей федерации славянских народов – мечта Крыжанича! – и для этого он был готов не только пожертвовать Киевом на юге, но также и Полоцком и Витебском на севере. Алексей и остальные советники не отличались в отношении поставленных на карту национальных интересов этих двух стран такой дальнозоркостью, зато обладали большей практичностью. Став снова твердою ногою на древних владениях первых русских князей, которых она добивалась по праву наследства, Москва уже не могла отступить. Но она должна была выдержать еще сильное нападение.

Между тем, как в Москве и в Украйне любили повторять, что Польша открыта для всякого желающего, кому только угодно было войти, «причем ни одна собака не осмелиться лаять», эта страна вдруг показала себя способной к чрезвычайным усилиям. Ее войска под предводительством Чарнецкого и Павла Сапеги, в Лаховицах, Слониме, Полоцке, Белоруссии одержали ряд блестящих побед над войсками Хованского, пользовавшегося однако репутацией хорошего полководца, над Долгоруким и Золотаренко. Участвовавший к этой кампании лично, замечательный польский хронист Пасек говорит, что никогда прежде его соотечественники не сражались подобным образом. В то же время Шереметьев и Георгий Хмельницкий натолкнулись в октябре 1660 г. под Чудновым, в Волыни, на другую коалицию, состоявшую из поляков, татар и казаков, соединенных Выховским, и здесь повторилась конотопская катастрофа, еще более страшная, чем та. Московский генерал капитулировал и остался в плену у татар. Москва потеряла на этот раз вместе со своим лучшим полководцем все лучшие силы своей реорганизованной армии. Войска новой формации, экипированные и обученные по-европейски, под командою офицеров иностранного происхождения, Гордона, Ван Сведена, Ван Говена, Крафорда, потерпели поражение.

Эффект от поражения был таков, что в Кремле проектировался даже отъезд царя в Ярославль, где он был бы в большей безопасности.

Ничто не угрожало впрочем Алексею и его столице, но после новой кровопролитной неудачи, которую потерпел Хованский в Литве, Яну Казимиру уже не представляло особого труда вернуть себе обратно Вильну, где в распоряжении князя Мышецкого находилось только семьдесят восемь человек. В Украйне Георгий Хмельницкий передал правый берег Днепра полякам, которым был там оказан восторженный прием. По левому берегу Москва имела еще своих приверженцев, сгруппировавшихся вокруг наказного гетмана Самко. Таким образом произошло разделение Украйны, рекомендованное в свое время Потоцким, и продолжалось оно до тех пор, пока не исчезли последние следы политической автономии в обеих частях страны. Но Польша временно удержала за собою лучшую часть. Ей не удалось однако долго извлекать выгоду из своих побед.

Соотечественники Пасека отлично сражались; но, описывая свои впечатления с грубою откровенностью солдата, хронист заявлял, «что пасти свиней было бы гораздо приятнее, чем водиться с подобною компанией». Одержав последнюю победу под Глухим, Чарнецкий встретил восстание своих собственных войск, которые, возмутившись, вскоре умертвили и главу организованной ими же военной «конфедерации», Жеромского и малого генерала Литвы, Госевского, пытавшихся призвать их к долгу. Они пользовались парламентаризмом

по-своему.

Москва получила таким образом возможность передохнуть, и она воспользовалась этой передышкою, чтобы завести переговоры в свою очередь со Швецией, в Кардисе, в июне 1661 г., о вечном мире. И против желания Нащокина, не присутствовавшего при его подписании, замененного князьями Прозоровским и Барятинским, Алексей отдал все свои ливонские завоевания, но взамен этого он получил возможность сконцентрировать все свои силы против другого своего противника. Обе стороны, правда, истощились в средствах почти одинаково. Плохо оплачиваемый медною монетою, или даже совсем неоплачиваемые войска царя также не отличались образцовою дисциплиною. В Волыни Мышецкий был выдан полякам своими же солдатами. Повсюду встречавшиеся войска с трудом прокармливались, благодаря систематическому разгрому страны, обе армии, полагая голодом взять неприятеля, страдали от него первыми. В самой Украйне казаки, разбившись теперь на два лагеря, пожирали друг друга. Но тут-то и проявилось превосходство той крепкой организации, которую представляла собой Москва.

В январе 1663 года, после смены побед и поражений, блуждая по Днепру и ведя борьбу с Ромодановским, Георгий Хмельницкий, тщетно прождав помощи от поляков, сложил гетманскую булаву и поступил в монахи под именем Гедеона. Ему наследовал Павел Тетеря, родом из Переяславля, сын простого казака, женатый на дочери Богдана Хмельницкого. Быстрый его переход к власти совпал с последней попыткой соглашения между казацким миром и Польшею. В октябре того же года, Ян Казимир, прибыв в Украйну со своими лучшими генералами, участвовал в последней попытке поляков встать твердою ногою на левом берегу Днепра, где Самко уже уступил место гетману, который оказался более покорным Москве, Ивану Брюховецкому, покрытому почестями и милостями, и хотя сам он был простым казаком, получившему звание боярина и женатому на Долгорукой. Казаки были очень чувствительны ко всем этим событиям, и Польша, хотя и была республиканскою, но не сумела подражать своей сопернице и восстание, вспыхнувшее на правом берегу, принудило короля отступить назад.

Выховского стали подозревать в участии в этом движении. Его заманили в засаду, и один польский полковник приказал его расстрелять. Один из его предполагаемых сообщников, Нужный, приговоренный к повешению, просил, чтобы его посадили на кол, чтобы умереть, как умер когда-то его отец.

Украйна потерпела страшные потери в людях и в средствах. Взяв Субботово, где по легенде была разрушена могила Богдана Хмельницкого и даже останки героя были выброшены из нее; подвергнув сожжению Ставич в окрестностях Белой Церкви и истребив всех жителей в наказание за рецидив восстания, славный Чарнецкий пал жертвою этой отчаянной борьбы, и его смерть вновь возбудила сопротивление, подавленное его энергией. Тетере пришлось спасаться в Польше, где он и пропал бесследно.

В 1665 году несчастная Польша была снова лишена защиты. Теперь в ней вспыхнула гражданская война, вынудившая короля собрать все свои силы против одного из героев победоносных кампаний предшествующих годов, Георгия Любомирского, просившего помощи из Москвы! Украйна правого берега на некоторое время была предоставлена самой себе, и это не послужило ей на благо. Казацкие шайки оспаривали друг у друга владение ею под начальством выбранных ими вождей, причем один из них, Петр Дорошенко, хвастал, что пойдет по стопам великого Богдана.

Обладая меньшими талантами, но тем же духом лихорадочной интриги, грубой хитрости

и постоянной изменчивости, предлагая свои услуги одновременно Польше и Москве, пытаясь заполучить на свою сторону татар, оставаясь верным султану и вскоре завязав сношения с самим Стенькою Разиным, он думал распространить свою власть и на правый берег, где грубость Брюховецкого и московских воевод вызывала уже некоторое недовольство.

В конце 1666 года он, казалось, окончательно остановился на оттоманском протекторате против Польши, но такое положение послужило лишь к тому, что в Москве было отдано предпочтение политике Нащокина, неизменно стоявшего за сближение с Польшею против Турции и казаков.

III. Раздел

Начиная с 1661 года обе стороны, не прекращая борьбы, продолжали в то же время пускать в ход дипломатию. Восстание Любомирского сделало Польшу более сговорчивою, и 30 января 1667 г. в деревне Андрусове (в теперешней Смоленской губернии) она заключила перемирие на тринадцать лет и шесть месяцев, получив в Литве Витебск, Подольск и Динабург и сохранив свои права над Ливонией, но взамен этого уступив Смоленск со всею северною областью и на ливонской границе шесть мест: Дорогобуж, Белую, Невель, Себеж, Красное, Вележ, когда-то покоренные Баторием. В Украйне она отдала Москве левый берег Днепра, сохранив за собою правый берег с Киевом, который однако должен был подвергнуться московской эвакуации лишь через два года.

Невероятно, чтобы заключившие договор поляки предавались иллюзии насчет последнего параграфа. Нащокин, конечно, полагал, что он никогда не будет выполнен. Для того чтобы ввести его в трактат, он с успехом, кажется, воспользовался даже подкупом, но Украйна правого берега, все продолжавшая восстание вместе с Дорошенко и его покровителями, прибавила более весу к золотым дукатам, тайно розданным. Во время переговоров московский уполномоченный не оставлял своей любимой идеи о соединении обеих стран, похваляясь не без некоторого наивного бесстыдства тою «свободою», которою пользовались подданные царя, и опираясь на то, что наследник Алексея говорил бегло по-польски. Но его предложения были вежливо отклонены. Польша приняла лишь перемирие.

Более или менее бессознательно она подписалась между тем под окончательным уже решением. От здания, сокрушенного Богданом Хмельницким и воздвигнутого на другой базе гадячским договором, теперь ничего не оставалось. Украинская община раскололась надвое и предполагаемая отдача Киева Польше угрожала создать для восточной части особенно неблагоприятное положение, с двойной точки зрения, как веры, так и культуры. Позже, когда обстоятельства позволили, как и думал Нащокин, не держаться в этом отношении принятых на себя обязательств, случай повернулся иначе. Оторванная от древней столицы, западная часть Украйны являлась телом без души и грозила разложением, в то время как ее киевский очаг, увлеченный московскою орбитою, потерял всякую возможность самобытно развиваться. То был первый акт разрушения, за которым последовали и другие.

А пока что, как и гетманат на обоих берегах Днепра, киевская митрополия сделалась предметом постоянных соисканий. Наследуя в ней Коссову, ни Балабан в 1658 году, ни Тухальский в 1663 не были признаны московским правительством. Не осмеливаясь явно порвать связи с патриархатом Константинополя назначением митрополита по своему выбору, оно прибегло к способу назначения временного управления, но администраторы,

противопоставленные таким образом избранным митрополитам, должны были бороться кроме того, как и их соперники, с епископами, поддерживаемыми Польшею или соединенными с нею казаками. В постоянных спорах за места с архимандритом Киево-Печерского монастыря, Гизелем, настаивавшим в Москве на назначении митрополита, в надежде, конечно, что он сам займет это место, – Тухальский получил из Константинополя через Дорошенко свое собственное назначение на оспариваемое место.

Москва между тем умела довольно искусно использовать все эти недоразумения для осуществления того дела, которое являлось в этой области наиболее интересным для нее. Разбив при помощи татар и турок несколько казацких полков на правом берегу, Дорошенко доставил ей этим предлог для отсрочки эвакуации Киева. Раздел, принятый в Андрусове, уверяла она, не получал таким образом осуществления. Находясь в постоянной нужде и оспаривая ее поддержку друг перед другом, украинские прелаты и даже простые попы, вовлеченные в свою очередь в борьбу, помогали ей управлять страной со стороны полицейской. Подчинив все функции избирательному принципу, древняя организация православного клира поставила себя в более близкие отношения с паствой и, всячески стараясь искоренить подобный демократический режим, московское правительство оказывало временно клиру некоторое уважение и пользовалось им в указанном смысле. Назначенный в 1661 году администратором киевской митрополии под именем Мефодия, старый нежинский протопоп, Максим Филимонович, установил тщательное наблюдение за Брюховецким и поднимал против него народные массы, когда гетман выходил из повиновения. Устраненный ввиду недостаточного усердия, предшественник Мефодия, Лазарь Баранович, выказал раскаянье, добился возвышения своего епископского поста в Чернигове до степени архиепископства и, полуподчинившись московскому патриархату, показал себя ревностным его рабом. Сам архимандрит Киево-Печерской лавры, Гизель, вмешивался лишь для того, чтобы подчинить Дорошенко московской власти.

Баранович, Гизель, – все это были старые ученики коллегии Могилы! И они не отвергали этого прошлого. Alma mater Kioviensis, вся пропитанная латинизмом и полонизмом, оставалась для них дорогою. Они отказывались предоставлять свои типографии для московских сочинений. Но подозрительная в их глазах с точки зрения религиозной и варварская с точки зрения интеллектуальной, политически Москва оказывала на них неотразимое влияние: она умела так хорошо платить за оказываемые ей услуги. Под влиянием новых внутренних бурь, возникших благодаря отречению Яна Казимира (1668 г.) и выбору ничтожного Михаила Висьневецкого, Польша перестала быть государством, которое могло заставить себя любить или бояться. Последние оставшиеся верными либеральному идеалу, который она одно время представляла в этой стране, были вынуждены представить на компромисс между Москвою и казаками Дорошенко то, что у них оставалось еще от веры и – преданности – этому благородному делу.

Но казаки уступали со всех сторон течению, которое влекло их к другим судьбам. Москва, показывая вид, будто бы принимает предложения Дорошенко, думала лишь поддержать на берегах Днепра то смутное положение, которое благоприятствовало ее видам на Киев. Гетман правого берега в конце концов понял это и, стараясь увильнуть подобно Богдану Хмельницкому, он завел переговоры с Брюховецким, своим соперником на левом берегу, который, ничего не понимая, полагал, будто бы он находится накануне смещения. Результатом подобного соглашения было общее истребление московских гарнизонов, сопровождавшееся обычными для этой страны жестокостями. Так, жену Гадячского воеводы

Огарева водили по улицам полураздетую, после чего ей отрубили одну грудь. Сам Брюховецкий был потом задушен по приказанию своего же сообщника! И это все происходило как раз в момент восстания Разина на юге и бунта в Соловках на севере!

Москва еще раз взяла верх над этими волнениями. Управитель киевскою митрополией, Мефодий, кажется, играл здесь какую-то подозрительную роль. Черниговский архиепископ, Баранович, завидуя ему, воспользовался этим случаем, чтобы выставить себя умиротворителем. Вызванный на правый берег бунтом казаков Запорожья под Суховеем, а также, опять-таки подобно Богдану Хмельницкому, – неверностью своей жены, Дорошенко оставил на левом берегу своего есаула Демьяна Многогрешного, который, предоставленный собственным силам, не замедлил подчиниться Ромодановскому. С этим новичком или с Дорошенко Баранович льстил себя надеждой всегда провести свою автономную программу и распространить ее на оба берега, но в то же самое время другой представитель украинского клира, новый нежинский протопоп, Симеон Адамович, развил в Кремле взгляды совершенно другого рода, которые были, естественно, лучше приняты.

Высший и низший клир разошлись по этому вопросу, причем первый разделял вкус казацких вождей к независимости, а второй держался общего дела с народными массами, предпочитавшими грубость московских воевод дикой фантазии Брюховецких и Дорошенко.

Ромодановский разыграл какие-то выборы, доставив титул гетмана Многогрешному; совет казаков, собранный в Глухове, послушно высказался за поддержку воевод в вновь утвержденный в качестве управителя киевской митрополии и заменивший собою Мефодия, заточенного в монастырь, Баранович, притворившись удовлетворенным и готовым к услугам, рассыпался в новых изъявлениях своей признательности. Вскоре ему пришлось доказать ее на деле. Многогрешный, хотя и находясь под бдительным надзором Адамовича, в свою очередь стал прислушиваться к предложениям Дорошенко и Тухальского. Когда его люди отказались следовать за ним в ночь на 13 марта 1692 г., гетман был сослан, благодаря государственному перевороту, в оковах, сначала в Москву, а оттуда в Сибирь. Он уступил свое место другой московской креатуре, Ивану Самойловичу, но власть последнего была уже значительно ограничена.

То был, собственно говоря, конец гетманства в том смысле, какой ему придавал Богдан Хмельницкий, и Барановичу стоило такого труда от него отказаться, что он не противостоял искушенно завязать сношения с Дорошенко. Москва тоже этому не противилась, так как ей всегда улыбалось держать Польшу в затруднительном положении. Во время этих переговоров управитель киевской митрополии и правительство, которому он якобы служил, преследовали совершенно различные цели. Сам Дорошенко выказывал себя расположенным к заключению трактата, так как Москва лишила его места на левой стороне, а Польша поставила ему на правой стороне соперника, Хаменко, – «схватить Украйну можно было таким образом только за хвост», по картинному выражению хрониста. Он между тем требовал выполнения гадячских условий, что исключало всякую возможность соглашения. Так как Польшу захватила в это время огромная турецкая армии, то Ромодановский, благодаря маневрам того же самого Дорошенки, выдвинул план соединения обоих берегов под московскою властью. Андрусовский трактат заставлял Москву помогать Польше против Турок. Она выполнит эту задачу, заняв для поляков ту самую часть Украйны, которую те не были в состоянии защищать сами!

В апреле 1674 года это стало фактом. С помощью турок и татар Дорошенко один некоторое время защищался в Чигирине, но в октябре 1676 года, получив ложные сведения о

состоявшемся будто бы соглашении между московитами и поляками, он решил перейти на сторону более сильного, сложить знаки своей власти и присягнуть сыну Алексея, Феодору, который только что (10 февраля 1676 году) наследовал своему отцу. Доставленный в Москву, он получил имение в Ярополче, в Волоколамском уезде Московской губернии), и жил там в неизвестности до 1698 г. Адамович и Баранович оставались чужды этому событию. Новый «гетман обоих берегов» Самойлович был против вмешательства клира в политику. Он добился устранения прелата, возбудив против него подозрения, приказал сослать попа в Сибирь, представив в дурном свете его интриги, и приготовил то подчинение киевской митрополии московскому патриархату, которого так боялись самые определенные сторонники московского правительства в этой стране и которое было наконец завершено в 1685 году. Таким образом осуществилось религиозное объединение «всех частей русского государства», и, захватив твердою рукою левый берег Днепра, Москва совершила большой шаг на пути политического объединения. Но способ, которым она достигла этого, грозил скомпрометировать этот результат. Благоприятствуя предприятиям Турции против Польши, она дала возможность их общему врагу стать твердою ногою в Украйне, которая, несмотря на блестящий титул, данный Самойловичу, оставалась на деле разделенной на две части. Более того, ее продолжали оспаривать турки, поляки, казаки и московиты, и западная часть страны была временно отдана в жертву, всецело подвергнута действию разрушительных сил, которые надолго еще продолжали свое дело уничтожения. Для этого периода украинской истории предание сохранило зловещее слово, которое и должно служить заглавием для заключительной главы моего рассказа.

IV. Падение

Богдан Хмельницкий мог безнаказанно вводить своих оттоманских покровителей в сложную игру своей дипломатии. Занятая войною с Венецией, Порта удовольствовалась лишь тем, что направила татар на предлагаемую ей таким образом добычу. Следуя этой тактике, Дорошенко совсем не учел изменившегося положения. С захватом Кандии (6 сентября 1669 года) оттоманская держава оказалась в силе придать своему вмешательству очень серьезный характер, и в то же время положение дел в Польше открывало с этой стороны соблазнительную перспективу ее честолюбию. Ян Казимир только что отказался от трона, завещав его преемнику, который не имел ровно никакого престижа, кроме имени, прославленного в войне с Украйною. Но сын Иеремии Висьневецкого ни в чем не походил на своего отца. Спеша покинуть Ханенко, Михаил ответил на полученный им из Константинополя ультиматум только униженными просьбами, и в августе 1772 года султан занял Подолию с огромною армией. Вскоре, взяв приступом Каменец, он торжественно вступил в город по ковру из священных изображений и знамен, взятых из разграбленных христианских церквей. В сентябре в свою очередь был осажден Лемберг и, чтобы остановить нашествие, Польша, заключая договор в Бучаче, уступила всю Подолию победителям, предоставив Украйну в распоряжение казаков Дорошенки, подданных султана.

Несмотря на Андрусовский трактат, Москва не трогалась с места. Теперь она встревожилась, но, приняв решение не помогать своей западной соседке, желая защититься от участи, угрожавшей ей самой, она вздумала сделать призыв к другим европейским державам. К концу 1672 года ее посланцы посетили Париж, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Гаагу, Берлин, Дрезден, Венецию и Рим. Любопытная перемена произошла в отношениях

великого северного государства к западу. В первый раз призыв к крестовому походу шел из того глухого и немого Кремля, где столько раз уже папство и другие христианские державы тщетно пытались пробудить отклик симпатии и солидарности к общему делу. Но в свою очередь и запад ничего не ответил. Московиты и поляки были предоставлены одни милости победоносного полумесяца. Блестящий успех, достигнутый Собесским под Шосимом, 11 ноября 1673 года, остался бесплодным. В это самое время Михаил умирал, и Польша была только занята им, чтобы посадить на трон храброго солдата, которому она была обязана этой победою. Тщетно Федор, поддерживаемый литовскою партией, оспаривал у него свое преемство.

Избранный таким образом (в мае 1674 г.), Собесский оправдал доверие своих сограждан; но даже чудеса героизма дали ему только возможность добиться лишь короткого перемирия, и кроме Подолии он предоставил Турции еще добрую треть Украйны от правого берега до Белой Церкви. Такою ценою Польша, уступая, правда, на деле лишь то, что ей уже больше не принадлежало, отбросила к Москве нашествие, которое она остановила по крайней мере со своей стороны. И Москва охотно вступала в конфликт. Осадив в Чигирине вассала Порты, Дорошенко, потом добившись подчинения гетмана, она открыла враждебные действия. Турция ответила на это назначением со своей стороны гетмана и поставила на этот пост Георгия Хмельницкого, который, сняв рясу, тайно вмешивался уже в интриги и в борьбу предшествующих лет, но кончил тем, что был брошен в Константинопольскую тюрьму. Освобожденный, он в вознаграждение был даже назван «великим князем Украйны», подобно своему отцу, и в 1677 и 1678 г., во главе сильной турецко-татарской армии осадил дважды в свою очередь в Чигирине сильный московский гарнизон под начальством Ивана Ржевского, которому помогал своею опытностью шотландец Гордон. Город был взят после храброго отпора и Ромодановский и Самойлович, тщетно пытаясь оказать ему помощь, должны были отступить на левый берег, где они едва могли удержаться, оставив всякую мысль о переходе через Днепр.

Укрепившись в свою очередь в Немирове, утвердив своих приверженцев в Корсуни и Кальнике, производя даже частые набеги на левый берег, чтобы вернуть оттуда эмигрантов, которые из ненависти к мусульманскому рабству переселялись сюда толпами, – новый «великий князь Украйны» мог продержаться в своем неожиданном положении до 1681, когда он исчез с горизонта истории, казненный, как думают, самими турками по причине слишком частых проявлений жестокости с его стороны. И в этот момент страна, которой он снова вернул мечты об эфемерной империи Богдана, западная Украйна представляла собой лишь пустыню. Хмельницкий и Самойлович оспаривали посредством набегов немногих оставшихся там жителей. Чигирин был превращен в груду развалин, и Черкассы, исключительно казацкий город, некогда такой населенный и оживленный, ничего не сохранил из своего славного прошлого.

В 1671 году трактат, положивший конец турецко-московской войне, подписанный в Бахчисарае и ратифицированный только спустя два года в Константинополе, определяет совершенно точно, что все пространство между Доном и Днестром останется пустым, т. е. будет находиться в том же состоянии, как после нашествия татар в 1233 году. На всем пространстве между Киевом и нижним Днепром нельзя было строить ни одного города или деревни, ни на том, ни на другом берегу реки, и в 1686 году окончательный мирный договор между Москвою и Польшею должен был заключать в себе подобную же статью.

Таков был конец казацкой Илиады. На левом берегу Самойлович и наследовавший ему в

июле 1687 года, сам Мазепа, находясь под строгим наблюдением московских командующих войсками и чиновников, видели себя обреченными покрывать тенью призрачной власти свое полное ничтожество и реальность полного своего подчинения. На правом берегу попытка Собесского восстановить военную организацию казацкого братства по плану, принятому Баторием, закончилась лишь новыми вспышками народных волнений, в которых знаменитый Палей предвосхищал позднейшие подвиги гайдамаков, этих украинских хулиганов восемнадцатого века.

Биография и легенда об этой личности уже принадлежит к истории Петра Великого, и если его защитники и приписывают ему ту заслугу, что он сыграл главную роль при возобновлении колонизации в окрестностях Белой Церкви, где у него были свои участки земли, – их уверения находятся в явном противоречии с единогласным свидетельством по этому поводу путешественников, которые посетили эту местность в конце семнадцатого и в начале восемнадцатого веков и нашли в ней повсюду только одну пустыню. Она вернулась к жизни уже после Карловицкого договора (1699 г.), который, вернув Польше Подолию, уничтожил также роковые статьи договоров 1680 и 1686 годов, продиктованных Турцией.

Но еще прежде, 3 мая 1686 г., подчинившись влиянию Австрии, желавшей сманить на службу своим интересам освободителей Вены, Польша должна была окончательно оставить свои претензии на Киев и для будущности Украйны, как и для позднейшего развития державы, оставшейся в нем госпожою положения, это являлось капитальным фактом. Москва окончательно взяла верх. За смутное обещание помощи против татар и вознаграждение в полтора миллиона экю ее соперница продала свое право старшинства. Таким образом была исчерпана вековая распря, в которой вместе с Украйной гегемония славянского мира служила ставкою между обеими империями и, если, преследуя совершенно другие цели, Петр Великий и его наследники мешкали пользоваться выгодами этой победы, то последствия ее сделались с тех пор неизбежными. Не будучи в состоянии защищать наследие литовских князей, как и возложенную на нее программу расширения владений на восток, отодвинутая с другой стороны благодаря этому от западных баз своего древнего могущества, отданного ею победоносному германизму, – Польша была осуждена на исчезновение. А в то же время, на тех же берегах Днепра, наполовину ею оставленных, – с лучшею частью наследия Рюрика, Москва получила залог той удивительной судьбы, которая готовилась для нее уже с пятнадцатого века кропотливыми «собирателями русской земли».

Но в будущем, которое таким образом обрисовывалось, приобщенный к цивилизации тою же умирающею теперь Польшею, поднятый ею на уровень культуры, не имевший себе равного во всем русском мире, «Русский Париж» Могилы и его учеников должен был еще сыграть роль, важность которой становится очевидной при изучении умственного развития внутри Москвы семнадцатого века.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Глава двенадцатая

Религиозный кризис

I. «Третий Рим»

Мы уже видели, что в свой борьбе с западноевропейскими соседями Москва не колебалась более, начиная с середины семнадцатого века, осаждать другие иностранные и западные державы не только просьбами о поддержке, но и заимствовать у них кое-какие элементы, дававшие им общепризнанное превосходство: научные методы войны и усовершенствованное оружие, обученных офицеров и опытных солдат. Такая эволюция была неизбежна. Если на самом деле, жестокие испытания заставили на минуту этот народ углубиться в себя, с единственным желанием защитить поруганные святыни его национальной жизни, то эта дикая изоляция, это noli me tangere, которые противополагались положению дел и идеям других стран, не могли ни оставаться абсолютными, ни продолжаться бесконечно. Выбросив за пределы своих очагов убитые и запуганные жертвы Смутного времени, создав им ряд столкновений с их соседями, – высший закон, царивший над их судьбами, непреоборимое стремление к расширению быстро вырвали их из одиночества.

Движение было медленное, зыбкое, шаткое, и выбор лиц, которых оно увлекало, пал вначале на область материальную, техническую, цивилизации, внутренний смысл которой еще ускользал от них. Вначале было обращено внимание на запад лишь как на магазин орудий, которым можно было воспользоваться, и довольно удовлетворительно, посредством покупок, давая хорошую цену. Вскоре между тем уже в установленных таким образом коммерческих сношениях дух успел оторваться от материи. Создалась невозможность использовать удовлетворительно таким образом приобретенные средства вне одновременного приспособления того самого умственного багажа, результатом которого они явились. Тогда в глазах по крайней мере более избранных интеллигентных лиц магазин принял значение школы, где можно добыть нечто лучшее, чем предметы необходимости или роскоши: умение ими пользоваться, находить им эквивалент в своих собственных способностях и главным образом новые способы жить и мыслить.

Если бы Москва семнадцатого века была совершенно дикою страною, тогда переход ее к новому миру руководящих идей совершился бы без страданий и борьбы. Но западное влияние встретило здесь другую культуру, также иностранного происхождения. Византийский восток опередил Запад. Отсюда неизбежный конфликт, позже принявший драматический характер в борьбе против реформ Петра Великого и продолжающийся еще и до сих пор в борьбе западников со славянофилами, с того момента не перестававший производить трения и крупные беспорядки.

Эта византийская культура имела особенный характер: очень поверхностная во многих отношениях, она по некоторым пунктам глубоко проникала в народное сознание. Она принципиально управляла религиозною и номинально моральною жизнью московского народа; она украшала и поддерживала туземный правительственный аппарат, но по

картинному и совершенно справедливому замечанию Ключевского, деятельность ее ограничивалась совершением обедни и не входила совершенно в область политической организации. Эта культура ввела несколько принципов в гражданское право, особенно с точки зрения семейных отношений, но проявлялась очень слабо в нравах, и еще слабее в экономической жизни народа. Она регулировала его жизнь в праздничные дни и пользование днями досуга, но не увеличивала суммы практических знаний народа, не создала ничего нового в его образе жизни и мысли, и в этой области предоставляла свободу его оригинальной созидательной деятельности, как и его первобытному невежеству. Посредственная она, при господстве в этой стране религиозных интересов, охватывала сверху донизу все это общество и придала ему вид крепко спаянной единицы.

И в этой сфере религиозных интересов прежде всего и разыгрался конфликт. Западный дух ввел, врываясь туда, главный принцип своей современной деятельности: ту мощь критики, которой он обязан всем своим прогрессом. Но это создало глубокую тревогу. Вдруг старая Москва должна была увидеть, что даже в ее sanctum sanctorum, в котором она сконцентрировала всю свою гордость, ее невежество доходило до крайности. И это открытие было для нее тем более тягостно, что оно разбивало все ее честолюбивые замыслы.

Мои читатели уже знают гордый тезис третьего Рима, связанный с обращением московского великокняжества в царство, наследие римской империи, и с установлением патриархата. Сильно возбужденная и политически и религиозно, стремясь к лишению Константинополя его древних привилегий, новая столица православного мира чувствовала необходимость подняться умственно до того уровня, который дал бы ей возможность выполнить столь блестящую миссию. Некоторое время она думала достигнуть этого с помощью средств, аналогичных тем, которые поставили ее войска на европейскую ногу. Она заботилась только о том, чтобы воспользоваться аксессуарами той роли, которую она думала играть. Одним из постоянных занятий Алексея после смерти Михаила было перенесение в Кремль различных мощей, увезенных из святилищ Востока. Как ни был экономен сын Филарета, он был однако готов затратить большие суммы на то, чтобы добыть «крест св. Константина», копию божественной модели, явившейся на разверстом небе победителю Максентия. После долгих переговоров, удовольствовавшись пока временным владением им, но надеясь получить его во владение постоянное, как это было с Киевом, за 20 000 рублей. Алексей добыл перед началом своих войн с Польшею главу св. Иоанна Златоуста. Он сохранил у себя оба эти сокровища, предложив взамен этого годовую ренту в 500 рублей, которую его преемники уменьшили наполовину. Но, недовольные таким торгом, монахи Афонской Горы отомстили ему, уверяя, что эти предметы были фальшивые. А они выдавали их за подлинные одураченным паломникам.

Но таким образом приобретенные сокровища оказались в один прекрасный день недостаточными для блеска и авторитета «третьего Рима». Восток продолжал сохранять превосходство над ним, и с ним менее чем когда-либо могла бороться Москва. С точки зрения интеллектуальной в ней с шестнадцатого века заметно было скорее падение, чем прогресс. Знаменитый собор 1551 года отметил исчезновение некоторого количества школ, существование которых подтверждается в предшествующем веке многочисленными документами. Он обнаружил также сильное понижение интеллектуального уровня внутри клира и развитие суеверий в народной среде. Одним из последствий такого положения вещей явилось распространение апокрифических или испорченных текстов.

Невежественные переписчики и глупые переводчики соперничали друг с другом в своем усердии, увеличивая количество самых неправильных переводов и фантастических вставок, часто дискредитировавших те оригиналы, на которых они изощрялись в своем невежестве. И компрометирующие последствия этого факта приняли в Москве очень серьезный характер.

Одною из самых древних и самых постоянных черт русского ума является тенденция придавать огромное значение внешней стороне вещей. Став христианами, Владимир и его спутники были слишком склонны видеть сущность принятой ими религии в мелочах ритуала и в благочестивых обрядах, которые к нему относились. Священные книги интересовали их очень мало, так как они не умели читать. В шестнадцатом веке во время указанного нами интеллектуального регресса индифферентность дошла до того, что чтение этих самых текстов считалось недоступным для массы верующих и даже преступным. Клир, имея на то свои основания, совсем не противился такому образу мыслей. Неспособные по большей части сами прочитать даже по складам псалтирь, попы сводили всю церковную службу к простым молитвам и коленопреклонениям, и, часто не будучи в состоянии сказать, сколько было евангелистов или апостолов, самые красноречивые из них заводили научные споры о том, на каком дереве повесился Иуда.

Вопрос о приурочении крестных ходов к положению солнца, о двойном или тройном повторении аллилуйи, о двуперстном или трехперстном кресте приняли, даже в сравнительно просвещенной среде, характер догматических проблем. Форма креста давала место страстным спорам и тем более беспорядочным, что за отсутствием верных преданий или документов отсутствовало также и самое основание для серьезного спора. Будущий раскол должен был тут найти один из своих исповедных постулатов, которые защищались им потом с наибольшей страстью.

Между тем и самый ритуал подвергся также сильным изменениям. Лишенный религиозного чувства, выразителем которого он являлся, он не устоял также в своих внешних формах против действия совращающего влияния. Отсутствие религиозного вдохновения прикрывалось крайнею растянутостью службы, но, уже испытывая довольно жестоко терпение церковнослужителей, долгая служба вызвала обычай, по которому служба исполнялась совместно, т. е. разделяя между собою части литургии, чтецы и певцы выполняли их одновременно. В постоянном чтении и пении различных стихов, в быстроте их произношения, в способности говорить их, не переводя дух, заключалось главное достоинство священнослужителя. Получавшаяся благодаря этому какофония еще более усиливалась привычкою виртуозов этого рода тянуть голос на определенных слогах и прибавлять гласные к концу слова. Это называлось «хомовым пением», от окончания «хом», обращенного в «хомо». Таким образом пели Христосо вместо Христос, Спасо вместо Спас.

Такая система исключала для присутствующих всякую возможность участия в службе и даже какую-либо сосредоточенность. Но не в этом было дело. К такому шуму и гаму при чтении молитв и пении их присоединялся в святом месте и общий гул от происходящих в то же время разговоров. Сюда же примешивались и другие звуки: по церкви бегали дети, играя непринужденно, расхаживали сборщики с кружками, кривлялись в судорогах идиоты, сопровождая свои конвульсии пронзительными криками, ругались нищие, «ханжи, босые и с длинными волосами» охали во всю мочь. При этом прихожане обменивались руганью, возбуждая громкий смех окружающих, часто тут же происходили драки.

Частые посетители Москвы, восточные монахи и прелаты постоянно осуждали подобную непристойность. Но между тем до середины семнадцатого века никто не обращал

внимания на их замечания. Они не были авторитетны еще по другим причинам.

II. Греческий клир в Москве

Почти неизменно все эти иностранцы являлись попрошайками. Прогнанные со своих епископских мест или с их игуменств турками, они надеялись получить в Москве почести и доходы, которые были бы равны потерянным. Особенно они стали подозрительны здесь своею критикою аскетических привычек, которыми «третий Рим» производил еще более неблагоприятное впечатление на их восточную изнеженность. Отличаясь, по-видимому, лично исключительно душевной чистотою, сам Павел Алепский стремился подражать в этом отношении своим соотечественникам. Его особенно раздражали строгость постов, которые ему пришлось разделять со своими московскими хозяевами и необходимость воздерживаться в их среде от курения опиума. Но характерные черты большинства из его соотечественников еще больше дискредитировали их.

Прибыв в Москву в 1649 году вместе с Паисием, уже известным нам иерусалимским патриархом, монах, доктор богословия Арсений был принят с распростертыми объятиями. Он изучал философию и медицину в западных школах, в Риме, Венеции и в Падуе и – качество еще более редкое, – он знал славянский язык. Его оставили в Москве, в качестве профессора риторики. Но Паисий, при возвращении своем в Иерусалим не успел еще перейти границу, как послал донос на своего товарища: Арсений, мол, негодяй и вдвойне ренегат, принявший обряд обрезания в Константинополе и приверженец Унии в Риме. И его поспешили отправить закованным в цепи в Соловки.

Противник Никона, Лигарид, был однажды обвинен подобным же образом. Священник, впавший в раскол и общепризнанный взяточник, лишенный своего места митрополита в Газе и отлученный от церкви, он также подвергся доносу, использовав предварительно то положение, которого он достиг раньше в Москве, чтобы заняться делом, близким к мошенничеству. Но, выступая обвинителями против дурных своих подданных, сами иерусалимские патриархи очень плохо зарекомендовали себя пред своими московскими единоверцами. Они знали, предметом каких искательств были восточные престолы; среди конкурентов, оспаривавших между собою милость визирей с помощью взяток и низких интриг, не останавливавшихся часто перед преступлением, лишь бы победить соперника, а затем победители вознаграждали себя за издержки и труды торговлею духовными должностями, продавая их с публичного торга.

Знания этих иностранцев тоже подлежали сомнению. Из какого источника они могли его черпать теперь? Лишенные благодаря турецкому владычеству большинства своих древних школ, они были вынуждены пользоваться западными, и если даже, как это сделали Арсений или Лигарид, они и не пошли в своей вере на преступный компромисс с латинизмом или протестантством, могли ли они поручиться, что она все-таки не подпала некоторым образом под влияние их нечистого прикосновения? Чего стоила, наконец, сокровищница священной литературы, которой они так гордились? Их древние рукописи? Они были большею частью уничтожены при взятии Константинополя! Их новые сочинения? Они выходили из венецианских или римских типографий, контролируемых иезуитами! Разве не в том именно состояло назначение «третьего Рима», чтобы хранить нерушимо, ввиду всех этих заблуждений и порчи нравов, запас святых истин, незыблемость доктрин и правильность ритуала?

Национальная гордость опиралась некоторое время не без удовлетворения на эти соображения, в которых нашел себе приложение консервативный инстинкт, так могущественно действующий в малоразвитой среде.

Между тем действовали и внешние влияния. Критический дух, пробужденный ими, делал свое дело. В идеализированной таким образом чистоте местных преданий он указал им несомненные недостатки, были констатированы, наконец, и болезненные наросты. Он показал настоятельную необходимость множества исправлений, восстановлений, реформ, обращенных собственно говоря на довольно незначительные детали, но здесь они не казались таковыми. Путь был ложный. Нужно было найти другой. Но как? Каким образом? С середины шестнадцатого века сделаны были попытки в этом направлении, без какого-либо плана и довольно случайные. В следующем веке они продолжались с теми же греками, как руководителями, за неимением лучших. Продолжая относиться к ним подозрительно, все же прибегали к их знаниям и шли наудачу.

Собор 1618 года осуждает и думает уничтожить дело, казавшееся безупречным год спустя, в ожидании, что новая перемена мнений даст ему другую оценку. Потом даже в тех слоях, где живо интересовались подобными вещами, обнаружились две тенденции: общий лозунг требовал возвращения к букве древнейших писаний и к соблюдению более древних обычаев. Разрыв должен был совершиться при разъяснении этой формулы.

III. Наука и традиция

К середине семнадцатого века, в то время когда патриархом был Иосиф, суровый и упорный консерватор, реформаторское движение сконцентрировалось в кружке, вдохновителями которого были украинские монахи, вызванные в Москву Ртищевым. Поставленные вместе с самым ученым из них, Епифанием Славеницким, исправлять священные книги, они привлекли на свою сторону царского духовника Степана Бонифатьева, протопопа Казанского собора, Ивана Неронова, а также будущего патриарха и творца великой реформы, Никона и одного из будущих руководителей раскола, попа Аввакума. Алексей увлекался тоже этим течением. Здесь вырабатывалась реформа, но ввиду различия идей и чувств, которое вскоре обнаружилось между членами группы, невозможно предположить, чтобы общая концепция могла существовать в ее инкубационном периоде.

Сначала все они были согласны видеть в Востоке неоспоримый источник великих истин, как и соответствующих им учений. И на деле Москва получила из этого резервуара все верования и все обряды, и продолжала еще черпать из него в то время. К несчастью, греческий канон не был ни неизменным, ни однообразным и, благодаря этому, постоянно возникали затруднения в его применении. В одном вопросе следовали по изолированному пути, в другом – отстали от общей эволюции восточных коммун. И там, и здесь, например, повторение аллилуйи приняло две формы: двойную или тройную, смотря по желанию, но вторая предпочиталась греками. Напротив, принятый последними трехперстный знак креста продолжали в московской обрядности быть двуперстным. И тот и другой знак были греческого происхождения, но об этом не задумывались. В принятых в древности обрядах время совершенно изгладило их происхождение. Они считались национальными.

Ценою некоторых взаимных жертв и определенных уступок, Епифаний Славеницкий с товарищами думал установить желанное единство между обеими церквами. Тщетная надежда! Плод их трудов, посланный на Афонскую гору для проведения в жизнь среди

находившихся там многочисленных монахов – славян, встретил среди них строгое осуждение. Предложенные исправления признаны были неприемлемыми на соборе, собранном в святом месте, и книги, вышедшие из московской типографии вместе с этими указаниями, были осуждены и подверглись уничтожению.

Сразу произошел раскол в этой компании, душою которой были украинские монахи. Никон примирился, Бонифатьев и Неронов еще колебались, а Аввакум в негодовании разразился протестами. Греческая наука этим действительно доказала свою крайнюю гордость, национальная традиция заслуживала совершенно другого отношения. Слишком мало образованные лица, принимавшие участие в этом споре, едва были в состоянии его поддерживать на археологической почве, где они ничего не понимали. Путем сильных аргументов они перенесли этот спор на почву догмы, понимая под ней то, во что верили и что исполняли на практике. Не углубляясь в смысл слов и не объясняя символическое значение ритуала, не находя даже большой ценности ни в том, ни в другом, они видели в них лишь собирателей божественной благодати, которых нельзя коснуться, не совершив преступлении против Св. Духа.

Когда спор разгорался, партии протестантов одержала в нем верх. Иосиф только что умер (1652 г.), полураспавшаяся группа назначила ему Бонифатьева в преемники против Никона, который успел заранее завербовать себе избирателей. Так как Алексей не хотел отказаться от своего выбора, то Бонифатьев и Неронов соединились в последний момент, надеясь еще сохранить за собою руководство реформаторским движением, в котором новый патриарх, заваленный другими работами, должен был играть довольно жалкую роль. Они настаивали на реформе, но по-своему. Это значило совсем не считаться с властным характером и темпераментом принятого ими нового главы.

Никон начал с того, что отставил своих друзей от исправления книг. Для того чтобы спорить с греками по поводу греческих текстов, ни у Бонифатьева, ни у Неронова, заметил он справедливо, нет самого необходимого: ни тот, ни другой не знают ни слова на языке св. Златоуста. Новый патриарх вызвал для этого из Соловок грека Арсения. В Новгороде, как мы это знаем, Никон уже установил унисонное пение, употреблявшееся на востоке, и ввел в ритуал различные видоизменения, указанные в 1649 году Паисием. Он занялся, не без некоторой жестокости и крайности, обобщением и распространением этих принципов. Его натура мало была приспособлена к тому, чтобы останавливаться на полумерах. Все в божественной службе должно было отныне стать греческим, начиная с формы и ритма церемоний и вплоть до состава священнослужителей. Амвоны и посохи, рясы и головные уборы, архитектура и иконы, – ничто не ускользнуло от нового порядка.

Одна надежда оставалась у прежних сотрудников патриарха, пораженных таким революционным актом. Они очень надеялись на результат миссии, порученной в 1649 году игумену Епифаньевского монастыря, Суханову. Этот монах получил приказ последовать за Паисием на Восток и проверить там его указания. Ярко выраженный тип старого московского ученого, он являлся сторонником национальной традиции. Вернувшись оттуда в 1653 году, он не обманул возложенных на него надежд. Изложенные в двух сочинениях, его путевые впечатления произвели страшный шум, и они были не в пользу восточной церкви. Не считаясь, быть может, в достаточной степени с теми затруднениями, среди которых она влачила свое существование, автор видел в ее религиозной жизни лишь упадок и испорченность. Он доставил противникам реформы сильные аргументы, и оттуда должны были черпать обильный материал первые раскольники.

Никон тем не менее не был сбит с позиции. У московских писателей этой эпохи мысль никогда не была настолько точно выражена, чтобы она не могла подвергнуться самым разнообразным толкованиям. Патриарх нашел или полагал, будто бы нашел, в рапортах Суханова совершенно противоположное тому, что открыли в них противники реформы и, отправив их автора на Афонскую гору, поручил ему собрать документы, которые могли бы послужить к торжеству греческой доктрины.

Сделавшись таким образом против собственной воли сотрудником в работе, которую он сам отвергал, путешественник привез в 1655 году пятьсот рукописей, из которых одной приписывали более тысячи лет существования, причем вся эта коллекция приняла характер грозного боевого арсенала против разрозненных националистов и сторонников традиции. На деле, для разгоревшейся борьбы греческая доктрина не получила здесь никакого серьезного подкрепления, так как она не одна была представлена в этом багаже. Представленная Гомером, Софоклом, Демосфеном, Феокритом, в привезенном багаже имелась в большом количестве языческая литература, и таким образом это был скорее классический эллинизм, который проник с триумфом в старую Москву. Никто однако не подумал составить инвентарь, который мог бы учесть эти богатства. Как это всегда бывает при спорах такого рода, за спором осмысленным и аргументированным последовал слепой взрыв страстей, и таким образом видоизмененная борьба приняла решительный оборот.

IV. Реформа

Московский Собор 1649 года высказался, и очень энергично, против изменений в ритуале, которые были предложены эллинистами, и в частности он высказался против унисонного пения. Только по последнему пункту Алексей заставил принять другое решение на Соборе 1651 года. Но это было еще до восшествия Никона. В феврале 1653 года, совершенно не считаясь с этими фактами, новый патриарх выпустил исправленное издание псалтири и послал его всем своим подчиненным вместе с указаниями, носившими характер приказаний. Тотчас же его сообщники взволновались. Неронову явилось видение, которое предупреждало его, что настало время страдать за истинную веру. Аввакум этому поверил и воспламенился. Был подан протест царю.

Алексей обнаружил беспокойство. Поставив Никона первосвященником, он полагал, без сомнения, найти в этом создании своих рук послушное себе орудие и обеспокоился, увидав, что он дает личное направление делу, предпринятому сообща. Но царь подчинился влиянию страшного деспота. Он, правда, отказался наказать авторов протеста, но игнорировал их протест, и в июле Никон, которому царь не посмел препятствовать, сам произвел суд: арестованный и жестоко избитый, Неронов исчез в отдаленном монастыре. Заступившись за своего друга, Аввакум разделил его участь.

В конце этого года или в начале 1654 гораздо более серьезный акт последовал за этой экзекуцией. Собрав собор и указав ему на ошибки переписки вплоть до символа веры, патриарх получил единогласную санкцию на новые исправления, причем уполномочивались на это дело Славеницний и грек Арсений. В то же время был отвергнут знак двуперстного креста с двойною аллилуйей и другими обрядами, споры о которых доходили до начала пятнадцатого столетия.

Мы едва теперь можем понять горячий интерес, связывавшийся тогда с этими спорами, пустыми, по нашему мнению, дрязгами певчих. Московиты этой эпохи думали совершенно

иначе. Самые смелые новаторы, самые решительные западники из приближенных Алексея испытывали в этой области постоянные угрызения совести. Разъезжая во французских экипажах, одеваясь в немецкое или английское платье, изучая даже свободные науки по книгам, блещущим своим атеизмом, они не уклонялись от определенных концепций, заставлявших их, например, содрогаться от ужаса, когда они нечаянно проглатывали каплю молока во время поста.

С другой стороны, научные основания реформы, предложенной Никоном, были всегда, в этом следует сознаться, довольно шаткими. В то время как собор в 1654 году живо обсуждал представленный на его рассмотрение вопрос, Суханов не вернулся еще из своего второго путешествия с научными целями, и тексты, осужденные Никоном, не могли быть сравнены с существовавшими оригиналами! На деле патриарх должен был основываться на книге, изданной в 1603 году в Венеции. И, опираясь на авторитет такого источника, Москва должна была отказаться от всего своего религиозного прошлого, признать, что независимость, которой она пользовалась в этой области с момента падения Константинополя, обрекала ее на ложные толкования, объявить себя отсталой и нуждающейся в опеке, отказаться, наконец, от тех идей и честолюбивых замыслов, на которых она строила свое настоящее и будущее, свою интимную жизнь и положение в мире!

Это было уже слишком, и ненависть к новшествам, а вместе с ним самое законное негодование национального чувства, и естественное возмущение религиозной совести вылились в общем отпоре страшных элементов реакции.

V. Бунт

Собор 1654 года вынес «единогласное» решение. Мы знаем уже, что эта формула обычно не соответствовала истине. Действительно, распространился слух, будто бы несколько членов Собора отказались подписать его протокол. Коломенский епископ, Павел, даже подал будто бы на него протест. Потом этот документ был опубликован, и в нем фигурировала подпись прелата с одной оговоркою по поводу числа поклонов, принятых в ритуале. Мотивы чисто личного характера могли кроме того внушить такое поведение прелату. Он был близким родственником одного из конкурентов Никона на патриарший престол. Между тем о нем сообщили, будто бы он энергично защищал мнения, противоположные принятым решениям, и через некоторое время Никон, поверив этой версии, сместил епископа с занимаемой им должности и заключил его в монастырь, где он и исчез бесследно.

Дело протестовавших получило своего первого мученика, и Неронов вскоре занял второе место в этом списке. В далекой ссылке он изменил свое поведение, обратившись к царю и к царице с письмами, в которых были выражены некоторые главные идеи подготовлявшегося раскола, а именно тезис о близком пришествии антихриста, возвещенного действиями Никона. Он проповедовал даже в этом направлении в церкви св. Софии в Вологде.

Переведенный за это в еще более отдаленный монастырь и содержащийся на этот раз в заточении, он убежал и, пробыв несколько месяцев в Соловках, которые в то время представляли собою центр полуполитической, полурелигиозной агитации, он тайком добрался до Москвы и нашел там убежище у Бонифатьева. Все еще любимый Алексеем и оставаясь по-прежнему его духовником, он в то же время сохранял также вежливые отношения с Никоном и играл в двойную игру. Но сам царь сделался его сообщником в этом

случае: извещенный о присутствии изгнанника, он скрыл это от патриарха. Здесь имело большое значение влияние царицы. Будучи нежным супругом, Алексей уважал убеждения и вкусы своей жены. Занятый кроме того в это время войною с Польшею, он мог уделять очень мало внимания ведению своих домашних дел. Но когда вмешалась в это дело Мария Ильинишна, там образовался новый очаг оппозиции. Старый Прокопий Соковнин, самый интимный советник государыни, управлявшей ее личным состоянием, очень влиятельный также сын этого боярина, его две дочери, интимные подруги, товарки по воспитанию царицы, из которых одна была замужем за воспитателем Алексея Морозовым, а другая за князем Урусовым, все родственники, наконец, Марии Ильинишны, – Милославские, Хованские – все были воодушевлены теми же чувствами.

Движение из августейшего терема, где оно нашло мощную поддержку, распространилось во всем высшем обществе, увлекая за собою самые значительные фамилии: Барятинских, Мышецких, Плещеевых, Львовых. Ртищев, заняв нейтральное положение, создал из своего дома замкнутую арену, на которой с яростью сражались сторонники и противники новшеств. Потом агитация вышла на улицу. Она распространилась за пределами столицы, в провинциальных городах и в деревнях. Находясь в ежовых рукавицах у Никона, клир оставался некоторое время чуждым этой агитации, по крайней мере внешним образом. Участь коломенского епископа пугала желавших ему подражать. В церквах и монастырях недовольство новым ритуалом выражалось лишь в глухом ропоте. Ритуальные книги нового стиля, послушно принятия, открыто клались рядом со старыми, но не открывались. Вскоре однако антиреформенная пропаганда, перейдя в эту среду, вызвала среди многочисленных своих приверженцев из попов и протопопов (Никита в Суздале, Лазарь в Романове, Даниил в Костроме, Логгин в Муроме, Никифор в Симбирске, Андрей в Коломне, Серапион в Смоленске, Варлаам в Пскове), уже менее двусмысленные манифестации. В северных областях, где раскол должен был встретить особенно благоприятные условия для своего развития, даже несколько епископов, Макарий Новгородский, Александр Вятский и преемник Павла в Коломне, Маркел, примкнули, казалось, к решениям последнего собора.

Но эти мятежные действия не встретили того отпора, который должны были бы вызвать. Обнаружив вначале крайнюю строгость, Никон в свою очередь стал колебаться. Он не чувствовал поддержки. Алексей ускользал из его рук, и конфликт, разыгравшийся между царем и патриархом, имел для религиозного кризиса, возникшего одновременно с этим, последствия, которые можно было легко предвидеть.

Москва знала уже достаточно разногласий по поводу догмы и церковной дисциплины. Более одной секты, даже из тех, которые подобно хлыстовщине или беспоповщине должны были фигурировать на первом плане в будущем расколе, уже зародились в недрах национальной церкви. Обыкновенно такие беспорядки подавлялись посредством строгостей или широкой терпимости. Темперамент Никона в связи с тем щекотливым положением, в которое он лично попал, повел к тому, что ни одно из этих средств не было принято. Натура его восставала против всяких компромиссов, но с другой стороны под давлением обстоятельств, он сознавал необходимость подчиниться им, – тогда он стал лавировать. Когда в мае 1656 года Неронов по совету Бонифатьева надел рясу, Никон представил его собору и добился на нем решения отлучения виновного от церкви, но в апреле следующего года, он его помиловал и пригласил даже к своему столу! В то же время, даже в стенах Кремля, допускались уклонения от официального ритуала; но тогда же распространился слух о трагической кончине прежнего коломенского епископа, умершего по версии одних в

сумасшествии, явившемся последствием телесного наказания, а по другим растерзанного хищными животными или сожженного живым. Легко понять влияние этих небылиц на неразвитые умы. Раздраженная и в то же время ободренная партия оппозиции черпала в них новую силу.

В августе 1657 года значительное количество исправленных книг было послано в Соловки для распределения их по решению общины между соседними церквами. Служа в одно и то же время местом изгнания и убежищем для осужденных и беглецов всякого рода, этот монастырь не имел ничего общего со спокойствием Фиваиды. Там постоянно веял мятежный дух. Никон только что сослал туда князя Михаила Львова, старого управляющего московской типографией при патриархе Иосифе и одного из активных вождей реакционного движения. Соловецкие монахи точили зубы также на патриарха за старое, помня еще то время, когда он, будучи новгородским митрополитом, держал монастырь под своею властью. Разве он не вмешивался тогда в проверку качества просфоры, которая там готовилась в большом количестве, и в которой частенько, по-видимому, отсутствовала пшеничная мука?

Лично принадлежа к партии, недавно принявшей сторону Неронова, архимандрита Илья созвал собор монахов и священников, так называемый черный или народный собор, и на нем было решено держаться старых книг и отправить в этом смысле прошение царю. Когда оно прибыло в Москву, там уже не было Никона, который ответил бы на него так, как оно этого заслуживало. В свою очередь он узнал всю горечь немилости и ссылки. Дело так и осталось нерешенным и, одержав видимую победу, знаменитый монастырь все более и более обращался в очаг агитации и пропаганды против реформы.

С 1657 по 1666 год гражданские и церковные власти имели еще неосторожность скопить в этом месте весь горючий материал, издавая все новые приказы о ссылках и направив туда до ста пятидесяти лиц. В 1660 году архимандрит монастыря Св. Саввы, любимого места уединения Алексея, Никанор фигурировал в их числе после того, как неразумно домогался наследовать Никону, и бунт получил вождя, которого ему недоставало.

В 1666 году был созван собор, который должен был судить Никона и решить в то же время участь его реформы. В этот момент, долго колеблясь между противоположными мнениями и влияниями, Алексей принял наконец решение. Желая избавиться от бывшего патриарха и от кризиса, в который этот второй бунтовщик вовлек церковь и государство, царь думал прибегнуть к помощи восточных патриархов. Но призыв к их дисциплинарному авторитету влек за собою принятие и их канонической власти. И следовательно, Никона пришлось отделить от дела: последнее должно было получить окончательную санкцию, в то время как бывший патриарх должен был получить то наказание, которого он заслуживал совсем по другим причинам. Такова была основная мысль, господствовавшая на собраниях большого собора 1666–1667 годов, и такова история и большой части человеческих предприятий.

Но в том религиозном споре, в который она была вовлечена Алексеем, эта комбинация еще осложнялась целым рядом очень беспокойных элементов. Она подчеркивала экзотический характер реформы и усилила против нее негодование национального чувства. Эта комбинация ввела кроме того в борьбу те насильственные меры, от которых она до сих пор была избавлена. Традиции страны склонялась к пощаде и компромиссам; восток, призванный в качестве третейского судьи, должен быть принести с собою совершенно иные стремления.

Решения Собора, продолжавшегося до 1667 года, могут быть разделены на две категории,

ясно определившиеся уже при появлении в заседании иностранных патриархов. До прибытия их, Собор принимал по отношению к антиреформенной оппозиции примиряющую точку зрения. Он старается привести отпавших к повиновению, и отчасти успевает в этом. Один за другим вятский епископ Александр, архимандрит монастыря Св. Спасителя в Муроме, Антоний, игумен монастыря Св. Иоанна Златоуста, Феоктист и сам Неронов заявляют о своем подчинении. Остальные отпавшие отлучаются от церкви; но Собор все же не отчаивается в их дальнейшем обращении и дает среди других попу Лазарю несколько месяцев на размышление. Он не произносит ни одной анафемы ни против людей, ни против дела; он не принимает никаких непоправимых мер, кроме как против некоторых индивидуумов, виновных в прямом его оскорблении и даже к ним он применяет только церковные наказания.

С появлением александрийского патриарха Паисия и антиохийского Макария картина меняется. Собор бьет двойными ударами, и они широко отзываются, предавая вечным проклятием, не допускавшим ни суда, ни апелляции, всех теперь или в будущем непокорных; принимается решение не только вооружиться божественною властью с ее духовными наказаниями, но также и светскою властью. Когда эти решения стали выполняться, раскол родился окончательно, крещенный кровью, к той интенсивной жизни, которая воодушевляет его еще и теперь.

VI. Крещение кровью

Противники Реформы подпали теперь под действие параграфов кодекса 1649 г., осуждавшего на смертную казнь в огне за всякое нарушение божественного или церковного закона. Ни церковные власти, ни гражданские не были вначале расположены применять это последствие принятых ими мер. Аввакума отправили в ссылку в Сибирь. То же произошло и с диаконом Феодором и с попом Лазарем, которым только отрубили языки. Никого между тем не сожгли, и кажется более надеялись на влияние книги, опубликованной в это время в пользу Реформы монахом, родом из Белоруссии, Симеоном Полоцким, начавшим ею свое блестящее будущее. Желая оправдать оказанное ему доверие, он много трудился, но плохо рассчитал свои силы. Представляя собой произведение ученой полемики, в которой схоластика, диалектика, риторика и поэтика, очень почитавшиеся тогда в польских школах, боролись путем тонких силлогизмов и мудреных просопопей, этот «Жезл правления» как назывался этот трудолюбивый трактат, не был предназначен управлять теми, к кому обращался. Но между тем ему верили, и патриарх Макарий, возвращаясь в Антиохию, должен был жаловаться на снисхождение к диссидентам, все более и более увеличивавшимся в числе.

Тут внесла также свою лепту царица Марии Ильинишна, и до ее смерти, в 1669 году, дела оставались в том же положении, хотя легенда, созданная позже в недрах раскола, и увеличила число жертв, прибавленных с этого времени к мартирологу «старой веры». Но кончина первой жены Алексея и появление пользовавшегося любовью приемного отца новой царицы, Матвеева, определенного западника и реформатора, привели к роковой развязке нонконформистов. Так как с другой стороны и раскол принял беспокоящие размеры, Алексей развязал руки сторонникам репрессии, нашедшим аргумент в этом факте, и казни начались.

В то же время бунт в Соловках, все продолжая разрастаться и связавшись с восстанием

Стеньки Разина, приближался к трагической развязке. С этой стороны были исчерпаны все мирные средства. На все обращенные к ним увещания монахи отвечали более или менее смелыми критическими сочинениями. Одно из последних должно было занять почетное место в литературе раскола. Как на главный мотив их оппозиции к реформе, авторы этого документа указывают на прибавку одной буквы в имени Иисус, настаивая на том, что нужно писать Исус, а не Иисус, по новому учению. И к этим жалобам они прибавляли еще и вызов: «Прикажи, царь, послать против нас твой меч, уже обагренный кровью; мы с радостью перенесемся из этой юдоли скорби к лону вечного мира».

В 1668 году перчатка была поднята, но маленький отряд войск, посланный Алексеем, должен был отступить. В монастыре имелся сильный гарнизон, многочисленная артиллерия и еще в 1854 году его стены устояли от огня английских пушек. Началась правильная осада, и она продолжалась до января 1676 года. Тогда измена открыла ворота крепости, остававшейся так долго недоступной для царских солдат, и сразу раскол насчитал значительное количество настоящих мучеников. Меч и огонь не пощадили никого.

Некоторым из осажденных, однако, удалось вырваться до разгрома. Они отправились проповедовать евангелие на берегах Онеги и явились основателями знаменитого убежища, – Выговской пустыни, при впадении Выга в Онежский залив, которое в продолжение двухсот лет служило главным местом для новой религии, окончательно установленной благодаря этому кровавому посвящению.

Глава тринадцатая

«Раскол»

I. Начало раскола и его причины

«Раскол» значит схизма. Диссиденты семнадцатого века не называли себя сами этим именем, которым официальная церковь окрестила все их секты и которое было санкционировано обычаем. Они себя называли, как называют себя и в настоящее время его последователи, староверами или старообрядцами, т. е. приверженцами старой веры или старых обрядов. Зародившись в среде людей по большей части невежественных и ограниченных, это движение представляет на первый взгляд такую бедность идей, что развитие его становится прямо непонятным. На западе великие религиозные конфликты противополагали обычно различные концепции, тезисы, основанные на некоторых важных пунктах догмы или дисциплины: троичность, божественность Христа, авторитета папы. Здесь же сражались и умирали за слова, буквы, за простые жесты! Но если между тем поближе подойти к этому явлению, то оно совершенно меняет свой вид. Под этой тривиальною внешностью скрываются более серьезные, более глубокие причины диссидентства, и религиозный кризис, заключенный таким образом в узких рамках, связывается уже с великими проблемами политического, социального и интеллектуального порядка, которые эта эпоха одновременно поставила в порядок дня.

С начала своего исторического существования славянский мир неизменно колебался между двумя противоположными течениями; между анархией или силой центробежной и между порядком и силой концентрации. Эта борьба продолжается еще и на наших глазах. Унаследовав традиции, выработанные династией Рюрика, политика Алексея явилась великой попыткой объединения административного, политического и религиозного. Она этим вооружила против себя все элементы, стремившиеся к беспорядку и разъединению. В попытках церковной реформы, предпринимавшихся еще до Никона, исправление ритуала и священных книг являлось лишь одною из деталей. Вся организация религии требовала многочисленных поправок. Плохое распределение епархий, недостаточность храмов, невежество и безнравственное поведение священнослужителей, монастыри, обращенные в притоны разврата – все ее здание кричало о своем ничтожестве. Хроники этого времени со всех сторон вопиют о скандальных фактах. В провинции епископы были, кажется, окружены целым двором светских и духовных чиновников, походившим на свиту короля Пето, хотя и не столь веселого характера. Казначей, дьяк, два секретаря, шесть регистраторов, делопроизводитель, метрдотель, эконом, ключник, хранитель даров, столяр, духовник с дьяконом, сторож канцелярии, привратник, протопоп с целым клиром, церковные сторожа, служки, дюжины звонарей – таков был личный состав, которым окружал себя самый последний из этих прелатов. Прибавьте сюда еще несколько женщин, официально значащихся в списке, хотя невозможно указать какую-либо их функцию. Все они практиковали симонию в огромных размерах и спорили между собою, чуть не разрывая друг друга на части и эксплуатируя при этом безжалостно свою паству. Они подавали пример

всевозможных пороков. Даже в самой столице, служащие при доме патриарха были явными взяточниками. У ворот Кремля пьяные попы спорят между собою, обмениваясь всяким сквернословием, или угощают друг друга ударами кулаков. Они рыщут по улицам, насилуя девушек, валяются под столами кабаков, когда не заняты в воровских и разбойничьих шайках. Назавтра после гнусных оргий, они служат обедню еще полупьяные и произносят всякие гнусности перед алтарем.

Постоянно расширяясь, часто нечестным путем, богатство некоторых церквей и общин оставляет большую часть священников в крайней нищете, без всяких средств. Многие обращаются к тайной продаже питей или к другим еще более подозрительным занятиям. Их даже не осуждают, потому что в Новгороде митрополит увеличивает свои доходы, назначив налог на детей, рожденных вне брака.

Престиж этого клира совершенно соответствует его поведению, и закон сам санкционирует его унизительное положение: подвергшись обиде, поп имел то же право на правосудие, как какой-нибудь инородец, черемис или мордвин, и за пять рублей можно было его колотить, сколько угодно, лишь бы не убить.

Недостаточное количество храмов и разврат священнослужителей приводят к тому, что задолго еще до отделения расколом огромное число православных оказываются исключенными фактически из официального прихода, никогда не слушая службы и умирая часто без исповеди.

Вот против этих-то беспорядков и вопиющих злоупотреблений и вооружился первый опыт реформы. Около 1644 года Никон опубликовал и послал по епархиям инструкцию, имевшую своей целью подчинить назначение клира более строгому выбору.

Открыв богатые библиотеки некоторых церквей и монастырей, стараясь пробудить в тех же местах умственную деятельность, заглохшую с шестнадцатого века; дав новый импульс школе Чудова монастыря, основанной в 1633 году, субсидируя школу св. Андрея, недавно созданную Ртищевым; улучшая и умножая типографии, он надеялся получить реальный прогресс на этом пути. Мы видели также, с какой суровостью он наказывал проступки своих подчиненных.

К несчастью, ему недоставало в этой роли судьи авторитета личного примера, а с другой стороны в реорганизацию такой распущенной церкви одновременно производимая реорганизация государства вносила в некоторых отношениях разноголосицу. Политическая эволюция семнадцатого века, как мы это знаем, имела тенденцию слить обе эти власти в одной иерархии, где, подчиняясь совершенно естественно светскому авторитету, духовный клонился к уничтожению. В то же время централизаторское течение закончилось с этой стороны полным переворотом в режиме приходов. Организмы, до сих пор автономные, основанные до того на принципе избрания священнослужителей прихожанами и разделения административной и юридической власти, выполняемой сообща, они стали простыми округами, подчиненными вместе с управляющей ими епархией главенству светской власти. Логическим последствием этого нового порядка вещей должно было явиться по крайней мере то, что, обращая членов клира всех степеней в чиновников, подчиненных его власти, государство приняло бы их содержание на свой счет. Но оно этого не сделало, и отсюда между этими приходами, лишенными права выбирать своих священников, и между священниками, которых они же продолжали кормить, образовалась глубокая вражда, следы которой заметны и до сих пор. Отсюда также и другая причина недоверия, всегда так тяжело отзывавшаяся на несчастных сельских священнослужителях, вдвойне приниженных, как

властью, так и теми, от кого они ждут хлеба.

Впрочем, нужно отметить, московское государство семнадцатого века не было еще само на высоте того положения, которое оно взялось выполнить. Как в церковных порядках, так и в политических, прибегнув к репрессии, чтобы уничтожить беспорядок, оно только заменило злоупотребление свободою злоупотреблением властью. И ему кроме того недоставало авторитета. В новой иерархии власти церковная и гражданская были представлены двумя индивидуальностями – династией Романовых и патриархатом, одинаково возникшими лишь со вчерашнего дня и старавшимися сообща пробить себе дорогу путем кропотливых нащупываний. Алексей разделял свои прерогативы государя с Никоном, так что часто трудно было понять, кому из них принадлежит инициатива.

Собор 1666 года незадолго до этого осудил в очень сильных выражениях решения Собора 1651 года, обвиняя их авторов в невежестве и безумии. Все это не могло создать уважение и повиновение. И вот, наконец, это государство и эта церковь, соединившись как-то нескладно в общем деле скупа и деспотизма, чтобы лучше подчинить себе волю и совесть мятежников, сообща апеллировали к иностранцам! После целой массы немцев, голландцев, англичан, взятых на жалованье для того, чтобы мучить дух и тело бедного московского народа, ему нужна была еще целая свора греческих или украинских монахов для управления верою! И это было сделано в тот момент, когда, следуя близко от тех проломов, которые были сделаны на границе страны польским нашествием, римская уния завладевала в свою очередь религиозною областью святого Владимира.

Перед этой двойной атакой дух беспорядка, инстинкт самосохранения и национальное чувство соединились в народных массах, и Раскол нужно рассматривать как неизбежное следствие такого соединения. В течение многих веков находивший себе последовательно подтверждение в анархической организации веча, в бурном режиме уделов и в антиполитическом и антисоциальном явлении казацких шаек и братств, дух независимости, мрачная обособленность и буйство, свойственное славянскому гению, снова появились под этою новою формою. То направление умов, которое было свойственно людям этой страны, требовало между тем, чтобы это движение приняло, особенно вначале, характер исключительно религиозный. В Москве все делалось под покровом религии, все к ней сводилось. И с другой стороны, обусловленный совокупностью сложных причин, смутных исторических воспоминаний, плохо проконтролированных впечатлений, поспешных концепций, предубеждений и сомнений – острый пароксизм латинофобии на религиозной почве сыграл, конечно, значительную роль в кризисе.

Порядок политический и моральный смешались тут в одном и том же осуждении. Будучи такого же экзотического происхождения, как и самодержавие царей, наука этих иностранных учителей казалось лишь одним приказом больше для того, чтобы увеличить тягость всеобщего рабства. Местами раскол должен был обнаружить сепаратистские тенденции, как это свидетельствует один из самых любопытных памятников его литературы: «Повесть о белом клобуке». Этот «белый клобук» – эмблема независимости Новгорода.

Большинство диссидентов повиновалось на самом деле лишь бессознательно этим главным импульсам. Они выставляли в споре с противниками совсем другие мотивы, которые, без сомнения, не были чужды образованию раскола, но играли в нем второстепенную роль. В их умах и в глазах современников, раскол получил в общем значение протеста, либо против новшеств, вводимых в то, что диссиденты называли «своею верою», либо против распущенных нравов официальной церкви. Мы не рискуем теперь

после близкого изучения фактов ошибиться на этот счет. Лазарь уличал дерзких исправителей священных книг, но чаще он направлял свои нападки против «философов», окружавших царя, тех святотатцев, «которые думали измерять аршином хвост звезд». Он отдавал предпочтение местным ученым, которые, как будущий апостол Раскола, исцеляли на больших дорогах больных с помощью порошка, приготовленного из сушеного сердца новорожденного ребенка. Неронов обличал в недостойных выражениях испорченность клира, но в то же время в своей переписка с Бонифатьевым, он наивно жаловался на то, что его сына преследовали за кражу драгоценной утвари в Казанском соборе. На деле также отказ подчиниться дисциплине испорченной церкви, которую они покидали, должен был у большинства раскольников закончиться другими и еще худшими уклонениями. Аввакум первый, как ни был он лично чист, сделался впоследствии защитником свободной любви, отожествленной с «любовью во Христе»; различные секты практиковали ее без всякого стыда, а знаменитая основательница одной из самых уважаемых диссидентских коммун, Акулина являлась в сущности лишь сводницею.

Вообще начало Раскола можно связать еще с особым движением, вызвавшим к жизни на всем пространстве европейского континента монашеские учреждения средних веков. Среди общей разрухи, которая явилась наследием Смутного времени, инстинкт диссоциации, так сильно свойственный славянскому темпераменту, не мог также не последовать по этой наклонной плоскости. И на деле мы видим, что это желание изолироваться, уйти из общества к независимому существованию значительно усилилось в течение семнадцатого века. При девяноста монастырях, основанных в этой стране между одиннадцатым и четырнадцатым веками и при сотне в пятнадцатом, эпоха первых Романовых насчитывает до двухсот пятидесяти новых учреждений. Они зарождались здесь и развивались самым простым способом. Соседи или прохожие узнавали о существовании схимника; они присоединялись к нему, строили вокруг его кельи свои, затем строили церковь во имя Богородицы или какого-либо прославленного святого; первый встречный игумен постригал основателя пустыни в монахи, ближайший епископ производил рукоположение и таким образом одним монастырем оказывалось больше.

Но еще чаще эти колонии схимников не имели средств или желания добиться официального признания. Это и не нужно было. Одежда делала монаха; соединяя вокруг себя около двадцати учеников, пришедший первым, – это был обыкновенно старик, – поучал их, как понимал сам, истинной вере, или правильному толкованию священных текстов; не будучи священником, он служил в построенной им церкви, говорил с горечью о местных духовных властях, с печалью вообще о православной церкви, как и об обществе и таким образом еще задолго до Никона раскол свил себе гнездо в тиши густых лесов, в глуши затерянных деревень, на отдаленных пустынных прогалинах северо-востока, под видом скромного протеста против всего, что делалось в других местах, в центре этого мира непрестанного разврата, от которого они оторвались.

В области Владимира, возле города Вязников, в глуши густых лесов по берегам Клязьмы, монах Капитон поселился таким образом в конце 1650 года. Он был уже очень стар, думают, что ему было почти сто лет. Он вел всегда бродячую жизнь, нигде не задерживаясь надолго. Много раз его заточали и в настоящих монастырях для покаяния; всегда ему удавалось уйти, благодаря своему красноречию, как и престижу, созданному упорным воздержанием. За ним числилась репутация святого и выдающегося защитника веры. Между тем его доктрина ограничивалась лишь соблюдением правил самого сурового аскетизма и отрицанием всякой

церковной иерархии.

Так родилась беспоповщина, причем идеи Капитона, толкуемые различно, породили множество и других сект. Сектантство, насчитывающее теперь в России многочисленных приверженцев, произошло из того же источника, и основатель секты хлыстов Даниил Филиппов, родом из Костромы, там же черпал свое вдохновение. Эти черты являются общими для большей части религиозных эволюций. Благодаря другим своим частностям, однако, раскол принимает особенный и совершенно своеобразный характер.

II. Характерные черты

В своем развитии эта схизма подчеркивает вначале неслыханным образом свой природный мизонеизм. Она воздвигает, наконец, в догму абсолютное уважение ко всему, что являлось старинным. Кроме того, она стремится подчинить раз установленному канону все элементы общественной жизни: государство, общество и семью. Осуждение всякого прогресса являлось отсюда естественным последствием.

Ничто не должно больше менять своего положения. Окончательный тип национального существования был объявлен отныне готовым: ne varietur раз и навсегда. Он соответствовал впрочем представлению о Москве в том виде, в каком она рисовалась умам в течение всего шестнадцатого и первой половины семнадцатого века. Благочестивый царь с бородой, одетый в золотую парчу и осыпанный драгоценными камнями, – по изображению, данному художниками того времени Феодору Иоанновичу, сыну Грозного. Он ходит по церквам, подолгу молится и не имеет никаких других забот, ни функций. Его сопровождают также бородатые и «некурящие» бояре, «поддерживающие его под руку», и в этом заключается все их занятие. В приказах другие бояре, также бородатые и суровые, отправляют дела, творят суд по канонам, но не манкируют церковной службой. Они строго соблюдают посты, ходят в баню по субботам, принимают участие в воскресенье в процессиях, совершают частые паломничества и главным их занятием служит запрещение народу диавольских игр и развлечений, уничтожение театров, запрещение танцев, музыки и маскарадов и они в особенности противятся вторжению иностранных наук, противных духу русского народа и учению св. отцов.

Таков был идеал, призванный вечно существовать.

Новшества осуждались не потому, что они по существу своему были плохи, но потому, что они были новы. Тремя веками позже в госпитале раскольничьей Рогожской общины по той же причине воспрещены железные кровати. Единственные священные книги, которые допускались расколом, были те, которые печатались при пяти первых патриархах: Иове, Гермогене, Филарете, Иосафате и Иосифе! В этих текстах каждое слово, каждая буква имели значение догмы. Они содержали в себе лишь ее одну! Главными пунктами доктрины являлись: орфография Исус, слово «истинный», уничтоженное Никоном в символе веры, двойное аллилуйя, служение обедни семью просфорами, восьмиконечный крест, шествие в ходах по солнцу и знак двуперстного креста.

Старинные обряды чисто местного характера таким образом считаются единственно точными толкованиями вечных истин, и Раскол им приписывает кроме того силу спасения, независимо от морального достоинства или от силы религиозного чувства тех, кто их соблюдает. То была доктрина спасения не по вере, а по обряду.

То было также отрицание внутреннего смысла, первоначально связанного с этими

формами религиозной жизни, в которых отмечался и укреплялся ряд моральных элементов, способных, думалось, склонить людей к лучшим делам и в которых церковь видела средство вновь воскресить в назидание верующим тот или другой важный момент их прежнего существования. Упуская из виду эту первоначальную мысль, Раскол брал на себя задачу переделать нелепым образом работу древних христианских коммун, чтобы наполнить пустой сосуд, оживить мертвую букву посредством совершенно произвольных толкований. И, следуя этому пути, он должен был с течением времени перестроить с помощью смелых дедукций всю священную историю, изобрести более новые и более смелые символы, чем все те новшества, которые он осуждал. Таково, например, было рассуждение, изобретенное толкователями раскола по поводу воскрешения Лазаря.

Лазарь никогда не существовал. Его смерть – это грехи, его сестры – олицетворяют собою тело и душу его, его могила это мирские дела, его воскресение, наконец, символизирует раскаяние.

Рационалистские или протестантские идеи не были чужды этой эволюции. В своей борьбе с католицизмом православные богословы польских провинций прибегали охотно к литературе реформированных церквей, заимствуя, например, у Лютера его тезис о папском Риме, в виде апокалипсического Вавилона, и отожествляя Антихриста с папою или скорее с принципом, представленным в папстве. Более или менее непосредственно Раскол воспользовался этим, заменяя одну гипостазу другою, папу патриархом.

Перенеся в то же время и по той же системе свою основную доктрину на политическую и социальную почву, он показал себя одинаково враждебным и обычаям и порядкам, в которых религия даже не была заинтересована, но в которые он ее впутал путем ряда уловок. Никаких переписей, так как Бог разгневался на Давида, когда он послал Якова сосчитать народ Израиля. Никакой подушной подати, по местной терминологии, так как душа сотворена по образу Божию. Никакой военной службы позже, ввиду огнестрельного оружия, неизвестного Священному Писанию, или ввиду того, что слово «солдат» имеет отталкивающее сходство с именем Сатаны. В пророчествах или Деяниях Апостолов раскольники даже находили аргументы против употребления бритвы, а ношение галстука возбуждало в них отвращение.

Дойдя до этого, раскол принимает вид окаменевшего сколка старой Москвы. Между тем в нем билась интенсивная жизнь и обнаруживала свою способность к силе сопротивления и пропаганды, к независимому развитию, на которое не могли воздействовать два века преследования.

Продолжая существовать и расширяясь при этом, раскол и сам эволюционирует, вопреки своему основному принципу, казалось, налагавшему на него неподвижность; он становится разнообразен до бесконечности; в его недрах зародятся позже крепкие организмы и будут стремиться осуществить многочисленные способы существования, в гармонии с различными способами веры. Наступит также день, когда революционеры, свободные от всяких исповеданий, а в то же время и реакционеры, одинаково индифферентные к догматическим спорам, будут оспаривать этого загадочного союзника, видя в нем, одни – орудие социалистической и даже антирелигиозной агитации, другие – элемент зародыша политического и социального возрождения. Таким образом некоторые историки, между ними Костомаров, а потом Милюков, видели в адептах дикого мизонеизма работников определенного прогресса. Осуждая современное им общество на вечную неподвижность, Лазари и Аввакумы тем не менее вводили в него, всегда бессознательно, принципы, самые

противоположные этому постулату. Остановившиеся в своем росте или ретрограды по отношению к интеллектуальному движению их страны по пути цивилизации, они тем не менее принимали участие в этом движении, прибавляя к пробуждению мысли пробуждение религиозного сознания.

Подчинение официальной церкви государству было возможно в эту эпоху лишь благодаря полной индифферентности заинтересованных в этом лиц. Привлекая к себе верующих, относительно наиболее ревностных к свободам, таким образом нарушенным, Раскол облегчил еще это подчинение, но он дал в то же время духу независимости приют, предназначенный для его сохранения и для развития в нем энергии. Во всех этих отношениях великий Раскол семнадцатого века был олицетворен до некоторой степени в личности и жизни самого деятельного и самого популярного из его вожаков, очень выразительную и привлекательную фигуру которого будет кстати нарисовать здесь.

III. Апостольство Аввакума

Перед нами один из последних представителей той эпической фаланги героев, которые, начиная с легендарных сподвижников Владимира, не переставали растрачивать с большой силой, и не без эксцессов, на дела самого различного свойства и часто мало достойные подобных усилий, свой бурный темперамент, в котором бродили ничем не сдерживаемые силы. Вокруг нового богатыря, как в киевской эпопее, группируются многочисленные статисты, но на этот раз совершенно иного рода. Это аскеты и юродивые, как их тогда называли. По-своему они возобновляют подвиги Ильи Муромца и Добрыни, борясь босыми ногами и в одной рубахе с самыми жестокими морозами или влезая без всякого колебания в истопленные хлебные печи. Предсказатели, ясновидцы и чудотворцы, они пробиваются чрез тройные ряды солдат и смело говорят с государем, подавляя его силою своего слова или ослепляя совершаемыми чудесами. Иногда однако им не удается заставить себя слушать, и их предают жестоким испытаниям. Ссылаемые в Сибирь, они сталкиваются там с другими героями, эксплуататорами и покорителями северных пустынь, московскими Кортесам и Писарро, борющимися в этой стране с жестокостью и дикостью зверей и людей. Так возникали страшные столкновения, в которые и те и другие вмешивались не менее страстно и сильно.

Родившись около 1620 года в Новгородской области, по его собственному свидетельству, от пьяницы попа и матери, исповедывавшей самый строгий аскетизм, Аввакум подпал с колыбели влиянию двух нравственных типов, разделявших тогда большинство московских семей. В двадцать три года он женился на дочери кузнеца из своей деревни, Настасье Марковне, и тотчас же после этого получил скромный приход. Он вскоре вооружил против себя своих прихожан беспокойным рвением и крайней строгостью, вошел в распрю с местными властями, ревностными чиновниками, отвечавшими на его ругательства ударами. Избитый однажды почти до смерти в своей церкви, вытащенный на другое утро за волосы из своего дома, несмотря на священные облачения, в которые он был одет, изуродованный через неделю после этого одним изувером, который откусил у него палец своими зубами, он спасается в Москву, находит там покровителей, отсылается обратно в свой приход и начинает снова.

Он принимается за вожаков медведей, которых он прогоняет, убивая при этом одно из животных и освобождая другое, к великому неудовольствию зрителей. Затем он наносит

оскорбление могущественному воеводе Василию Шереметьеву, отказав в своем благословении сыну этого провинциального царька за то, что тот отрезал себе бороду. Отец приказывает бросить в Волгу дерзкого попа. Спасшись неизвестно каким образом из воды, Аввакум добивается перевода в Юрьевец, где получил повышение, получил также звание протопопа. Но через два месяца он снова возбудил против себя народ и клир, мужчин и женщин. Выведенная из себя толпа осаждает его в доме патриарха, куда призвали его обязанности службы. Аввакума вытащили наружу, били кнутом, топтали ногами, оставили почти мертвым на месте; ему едва удалось добраться до дому, но и там его окружили с криками: – смерть сыну б….! – И это кричали в один голос и священники и женщины.

Покинув свою жену и детей, он находит возможность сесть в лодку на Волге и пробраться в Кострому. Но там жители также выгнали своего протопопа Даниила, которого они обвиняли в участии в исправлении святых книг и обрядов и, заподозрив и Аввакума в том, что он разделяет подобные наклонности, они оказывают ему неприязненный прием.

Эти события происходят в 1651 году, и в этот момент, как помнят мои читатели, будущие раскольники были еще на стороне реформы.

Аввакум возвращается затем в Москву и входит в интимные отношения с Бонифатьевым и Нероновым. Он не принимает участия, как это предполагали, в их работах. Для этого он слишком мало знает. Но за неимением другого занятия он, вероятно, заведует типографией.

Поссорившись вскоре с Никоном, при уже известных нам обстоятельствах, он меняет лагерь и обращается в ярого защитника старого ритуала. Арестованный в 1653 году, еще раз подвергшись побоям и таскaнию за волосы, закованный в цепи, он проводит три дня в темной камере без питья и пищи. У него хотят отнять рясу, но царь вмешивается в дело, и его ссылают в Сибирь с женою и детьми.

Это путешествие, которое он вынужден делать сушею и водою, продолжалось тринадцать недель. Настасья Марковна рожает в дороге. В Тобольске изгнанник сначала был хорошо принять архиепископом Симеоном, тайным приверженцем рождающегося раскола, и воеводою, князем Василием Хилковым. Но в отсутствие архиепископа у его протеже происходят страшные распри с дьяком Иваном Струною, которого он хотел побить кожаным поясом. Он рискует снова быть зарубленным или брошенным в воду. Желая его спасти, жена воеводы думает его спрятать, как второго Фальстафа, в большом чемодане. Перед этим взрывом гнева он на некоторое время успокаивается, сохраняя непримиримость своего взгляда и невоздержанность своего усердия. Но одно видение заставляет его сожалеть об этой полукапитуляции и, когда пропаганда, которую он ведет с новым жаром, начинает становиться беспокоящей, его отправляют подальше, в Енисейск. И вот он в качестве священника назначен в отряд Афанасия Пашкова, занятого в то время покорением для царя новых земель и новых подданных.

Пашков не похож на добродушного воеводу Тобольского. Аввакум на этот раз имеет дело с другим богатырем и между этими людьми, одинаково деятельными и предприимчивыми, в различных сферах, трудно установиться пониманию. Тот вынужден был ввести в отношении к своим людям железную дисциплину и, пытаясь смягчить строгости, Аввакум не обладал при этом ровно никакою мягкостью и умеренностью. У него не было авторитета, и потому он в глазах сибирского колонизатора являлся лишь преступником и почти раскольником. Несомненно кроме того, что, исполняя свою миссию, Пашков обнаруживал страшную грубость и тот дух чрезмерного произвола, который был столь свойствен его соотечественникам, и носит у них название «самодурства».

Первая ссора, по рассказу Аввакума, вышла из-за двух женщин, из которых одной было шестьдесят лет, а другая была еще старше: оно находились в шайке казаков, встреченных экспедиционным отрядом. Они были вдовы и искали монастырь, где они могли бы постричься, по обычаю того времени. Но Пашкову вздумалось их выдать замуж. Аввакум запротестовал против этого. В это время шли вниз по Тунгуске. Воевода приказал высадить священника, велев ему следовать за ними пешком. Когда он стал протестовать, Пашков бросил его ударом кулака на землю и оставил его в таком положении. Лишенный своей одежды, избитый, Аввакум оставался всю ночь под холодным дождем.

Через несколько дней судно, на котором ехал Пашков, село на мель. Сын воеводы, Иеремия, вступился за священника. Он усмотрел в этом случае небесное наказание. Рыча, как дикий зверь, говорит Аввакум, Пашков схватил мушкет и три раза выстрелил в дерзкого. И три раза произошла осечка. Если этот факт и верен, то он доказывает лишь плохое качество боевого материала, которое употреблялось в то время покорителями Сибири. Нужно предполагать, что все это было рассказано Аввакумом не так, как оно происходило на самом деле. Если верить ему, то такое чудо вызвало в воеводе чувство раскаяния, однако не помешавшее ему употребить против чудотворца другие жестокие меры. Брошенный в подземную тюрьму, священник чуть не был съеден крысами и не каждый день имел там пищу. Содержимый в холоде зимою, он был весною переведен в слишком нагреваемую камеру, где чуть не задохся. Он не мог даже ходить за двумя своими больными детьми, которые умерли один за другим, и когда экспедиция тронулась в путь, ему пришлось сопровождать ее пешком, по крутым тропинкам, где несчастная Настасья Марковна часто падала.

Среди многочисленных противоречий большая доля сильного воображения легко угадывается в рассказе об этих испытаниях, сделанном их главною жертвою. «В продолжение десяти лет», говорит наивно автор, «Пашков, право не знаю, мучил ли меня или сам был замучен мною». Каждый из них, конечно, вкладывал свое, и «десять лет» указывают у одного из мучителей на решительную долю воображения. Изгнание Аввакума в Сибирь состоялось в 1653 году, а уже в 1661 протопоп был снова призван в Москву. Никон пал и, желая обеспечить немилость, в которую впал патриарх, бояре считали полезным вернуть одного из его самых ярых противников, к которому к тому же и Алексей сохранял большую симпатию.

По свидетельству историков Раскола, Аввакум должен был быть принят в столице, как «посланец неба». Один из князей Хованских, может быть, Иван Никитич, тот самый, который никак не мог простить Никону, что он заставлял его поститься во время путешествия в Соловки в 1652 году, предложил апостолу гостеприимство в своем доме, и мы видели уже, что в этот момент Раскол находил себе действительно приверженцев в одной части местной аристократии. Но было еще далеко до того, чтобы Аввакум, как он без сомнения воображал, явился в Москву в качестве триумфатора. Осложненное различными перипетиями, его возвратное путешествие продолжалось около трех лет, и в это время обстоятельства изменились. Никона уже нечего было бояться, так как дело реформы взяло верх в официальных сферах. Возвращенный из Сибири явился лишь помехою и теперь уже казался человеком неудобным.

В Тобольске он свиделся с другим знаменитым изгнанником, Крыжаничем и дал в этом случае доказательство крайней узости своих идей. Крыжанич описал последовательно все детали этой короткой встречи. Решившись отдать визит протопопу, он был остановлен им на

лестнице.

– Не двигайся вперед! Останься тут! Какую религию ты исповедуешь?

– Благословите меня, отец…

– Я не даю благословения, не зная за что. Исповедуй сначала твою веру!

– Почтенный отец, я верю во все истины, предписанные святою апостольскою церковью; я принимаю, как счастье, благословение всякого священника, и поэтому я и прошу вашего. В деле веры я готов объясниться с епископом, но не с путешественником, заподозренным по этому же поводу. Если вы не хотите меня благословить, то Бог с вами.

Между католическим аббатом Крыжаничем, готовым на компромисс, и суровым священником Раскола, какая большая разница.

Соблазны, ожидавшие Аввакума, были такого рода, что по его собственному признанию, искушение чуть не заставило его прекратить борьбу. Некоторые бояре его обласкали. Алексей сам дал ему аудиенцию и назначил ему помещение в одном из монастырей Кремля. Сблизившись таким образом, царь и апостол часто виделись друг с другом, и государь постоянно низко кланялся при проходе прежнему изгнаннику и просил его благословения; Аввакум по крайней мере это утверждает. Если верить ему, то ему даже предоставляли свободный выбор занять какое угодно место, хотя бы духовника государя, под одним условием отказа от раскола. В противном случае Стрешнев был уполномочен объявить ему решительно: уважая его убеждения, ему позволяют молиться, как он хочет, но требуют, чтобы он молчал.

Он обещал хранить молчание. В Сибири однажды его жена, обессиленная, измученная на скалистой дороге, спросила его:

– Долго ли еще мы будем так страдать?

– До самой смерти, Марковна, – ответил Аввакум сурово.

Он дрожал теперь, но не за себя, конечно, а за своих при одном воспоминании об этой скорбной Голгофе. Это можно предположить по его исповеди, и этому можно поверить. Под грубою оболочкою вечного борца у него было чувствительное и сострадательное сердце.

– Ты и наши дети связывают мне язык! – говорил он своей спутнице.

Но храбрая женщина вскричала:

– Как можешь ты так говорить, Петрович! Иди в церковь и обличи ошибки еретиков!

Он медлил ей повиноваться, сам, без сомнения, несколько утомленный. Сам пощаженный, он щадил в свою очередь других, стушевался и скрылся в тиши укромных монастырей и интимных кружков. Но обстоятельства выдвигали его на первый план. Бонифатьев был мертв, Неронов примирился с официальною церковью. Аввакум сделался главою. Окружив попа ореолом мученичества, женщины выдвигали его вперед своими демонстрациями. Все более входя в ту роль, которую они ему намечали, уступая все более своей природной наклонности, он мог еще некоторое время укрыться от проявления слишком заметной деятельности. Он влиял на терема, революционизировал монахинь Вознесенского монастыря и, подпав его влиянию, игуменья их, Елена Хрущева, принудила сестер этого монастыря отказаться от официальной литургии. В ожидании Собора, который должен был решить окончательно вопрос о реформе, и среди работ, созданных выходками Никона, диссиденты пользовались временно довольно большою свободою. В различных частных домах они безнаказанно устраивали собрания, часто очень воодушевленные. На них обыкновенно председательствовал Аввакум, причем горячий его темперамент находил себе там опасное возбуждение.

Вернувшись однажды от Ртищева, после бурных диспутов, с которыми он едва мог справиться, он обрушил свой гнев на протопопицу и на одну вдову, Фетинью, которую он приютил у себя. Обе женщины также заспорили. Он избил их, но потом, когда подошел к эпилептику Филиппу, который был его вторым гостем в доме и которого он считал одержимым сатаною и держал в цепях, в надежде, что изгонит беса, этот человек, обычно тихий, встретил его ужасною бранью и ударами, хотел его задушить и закричал ему:

– Я тебя не боюсь!

Аввакум понял, говорит он, что божественная милость оставила его по причине той вспышки, которой он поддался, и сейчас же, собрав своих слуг, он потребовал, чтобы каждый из них, – а их было двадцать, – дал ему по пяти ударов кнутом по голой спине. Его жена, у которой он предварительно просил прощения, и дети его тоже должны были принять участие в этом исправлении, и били его со слезами, как он это приказывал. И вот тогда демон оставил Филиппа.

К концу шести месяцев, проведенных таким образом, апостол уже не был в состоянии сдерживаться. «Он стал снова ругаться», по его собственному выражению. Он обратился к царю с жалобой, текст которой не дошел до нас, но смысл ее довольно точно установлен рядом показаний. Аввакум в ней говорил как власть имущий, указывая на кандидатов по своему выбору на разные епископские должности, метал громы против новых духовных и умственных вождей, поставленных Москвою, и называл их «собачьими сыновьями». Результат был таков, какого и следовало ожидать: по новому приказу он был изгнан 29 августа 1664 года в Пустозерск, в самое ужасное место той Сибири, которую Аввакум так боялся увидеть снова.

Он не отправился туда тотчас же. Эта мера, кажется, вызвала протест даже со стороны близких к Алексею лиц и послужила поводом к тяжелой размолвке между ним и его женою. Принимая во внимание то, что нам известно о Марье Ильинишне, это свидетельство Аввакума вполне допустимо. До 1667 года его таскали из монастыря в монастырь, отдавая его под суд, но все отсрочивая заключение, видимо, не зная, что делать с этою неприятною личностью. Наконец его процесс был соединен с таковым его единоверцев, представших в это время перед Собором, и его поведение перед высоким собранием еще усугубило его вину. Поэтому он был отправлен в Пустозерск, лишенный предварительно священнического звания и преданный анафеме.

Он разделил там свое заключение с Лазарем и о другими московскими видными раскольниками; принял участие вместе с ними, как мы это увидим, в выработке свода доктрин, являющихся еще и до сих пор основанием Раскола, и затем вместе с ними был сожжен живым в 1681 году, став окончательно, таким образом, проповедником и мучеником новой церкви.

Аввакум ученик Домостроя. Даже на свободе его жизнь проходила среди лишений и всякого умерщвления плоти. Он почти не спал и все ночи напролет молился. Вечером, прочитав свой требник и потушив огонь, он еще пятьсот раз простирался впотьмах перед святыми образами, читал шестьсот раз Отче Наш и сто раз Богородицу. Так как он сводил благочестие к строгому соблюдению старых обрядов, то видел мораль в отказе от мира, от всякой земной радости. Он только не понимал, что в религиозной области уважение к догме совершенно поглощает дух верующих; вне же этой сферы он не допускал никакой области умственной работы. «Ритор или философ не могут стать христианами», объявлял он решительно.

Суровый по отношению к другим, когда в дело вмешивались религия или мораль, как он их понимал, он не менее того был суров по отношению к себе. В деревне, в молодости он пленялся иногда красотою исповедуемой им молодой женщины. Немедленно же он зажигал три лампады, простирал одну из своих рук над огнем до тех пор, пока нечистое желание в нем не утихало. Еще позже он поддался подобному же искушенно. В Тобольске, когда одна девушка из его домашних близко подошла к нему, он быстро зашел за стол и принялся молиться, «боясь диавольского искушения».

Демократический инстинкт, так глубоко внедрившийся в народных массах его страны, толкает его больше, чем всякий другой импульс, взять на себя защиту, когда ему представлялся к тому случай, всех слабых и угнетенных, и мы видели, что способ, каким он это проделывал, был лишен всякого благодушия. Домострой хранит в себе гораздо более оснований языческих, чем христианских и, при ближайшем рассмотрении, раскол носит тот же характер. Все главари его насильники. Лишенный священнического сана еще до Аввакума, Доггин плюет в Никона и бросает ему в лицо свою одежду в присутствии царицы. В знаменитой пустыни Нила, когда один из священников стал служить на пяти просфорах, церковный сторож, преданный Расколу, пустил ему в голову кадильницу с горящими углями и вслед затем началась общая драка. Принимая однажды одного монаха и заметив, что он пьян, Аввакум живо его спросил:

– Чего ты хочешь?

– Царства Небесного… и так далее!

– Друг, по-моему, ты с утра пропустил уже более одного стакана. Не окажешь ли еще честь напитку, который я тебе предложу?

– Конечно!

Схватив своего гостя, он его растягивает на скамье, крепко к ней привязывает и вооружается толстою палкою. Затем он прочитывает заупокойные молитвы, приказывает монаху проститься с присутствующими и наносит ему страшный удар по затылку. Пациент моментально вытрезвился, но палач не оставил его в покое. Дав ему четки в руки, он заставил его сделать пятьсот поклонов, потом приказал ему раздеться, оставил на нем одну лишь рубаху и принялся молиться около него вместе с церковным сторожем, сопровождая каждое чтение «Отче Наш» и Богородицы ударом кнута. Монаху удалось наконец спастись, еле живым и полуобнаженным.

Другой раз Аввакум становится случайно свидетелем прелюбодеяния. Сцена эта рассказана им со всеми деталями крайнего реализма. Застигнутый врасплох, мужчина поднимается и бормочет протопопу слова извинения. Гораздо более смелая, оправляя панталоны, женщина бесстыдно отрицает совершенный грех. «Женщины этого сорта носят панталоны» замечает Аввакум, случайно сообщая нам одну из тайн женского туалета той эпохи. Этот случай происходил в Сибири, и виновная была отдана священнику на исправление. Аввакум посадил ее в погреб и выдержал в темноте и холоде в течение трех суток, лишив ее пищи. Когда она ночью принималась кричать, смущая его в его молитвах, он выводил ее из заключения и говорил ей:

– Хочешь водки и пива?

Дрожа, она отвечает ему:

– Что мне делать с этими напитками? Ради Бога, дайте мне кусок хлеба!

Невозмутимо он принимается не кормить ее, я поучать.

– Пойми, мое дитя, сущность вещей. Желание питает разврат, а желание рождается от

невоздержности, благодаря отсутствию разума и равнодушию к Богу. Пьянство и обжорство вызывают желание наслаждения, как телица, ты выжидаешь сильного быка, как кошка, ты караулишь котов в любовном блаженстве и забываешь о смерти!

«После этого, продолжает Аввакум, я ей дал в руки четки и приказал ей творить поклоны Богу. Не будучи в силах кланяться от большой слабости, она упала. Я приказал тогда церковному сторожу бить кнутом. Я плакал перед Господом и мучил ее».

Этот неисправимый катехизатор был в сущности добрым человеком, способным выказать бесконечную кротость, обнаружить бесконечную чувствительность. Но как только религия, т. е. то, что он считал религией, выступало на сцену, он становился свирепым. Во всех тех поступках, где, как ему кажется, затронута одна лишь мораль, он склоняется еще к снисходительности, особенно если имеет дело с женщинами, и его отношения к ним могли вызвать подозрения. Совершенно невинные, они между тем носили какой-то сантиментальный характер, где без всякого сомнения принимал участие и половой инстинкт. Так, накладывая покаяние на монахиню Елену, Аввакум обращается к ней со словами, где сострадание носит оттенок почти недвусмысленной нежности. Если же дело шло о том, что казалось ему с его точки зрения ересью, то здесь он становился неумолимым и полным ненависти. Истощив весь запас церковных проклятий, он обрушивался на виновных целым народным лексиконом самой грубой брани. Так, при разговоре с никонианцами у апостола всегда на языке такие слова, как «воры, разбойники, собаки», не говоря уже о других нецензурных эпитетах; он не лучше обходится даже со своими собственными товарищами, если находится с ними в малейшем противоречии. «Раскайся, трехголовый змей, исповедуй твою ошибку, вонючая собака, сын б….!» Вот его обычный стиль.

Уступки, которые сделаны были Никону, приводят его в ярость. «Хороший царь быстро бы и повыше его повесил», пишет он. Тот хороший царь, к которому он апеллирует, был, следует думать, «Грозный». Между тем Аввакум совершенно не походил на него.

Его ненависть не имела ничего общего с инстинктом жестокости. Она не была у него ни слепою, ни абсолютною. Среди тех, на которых она обрушивается, она отличает еретика, достойного самой ужасной казни, и человека, достойного сострадания и любви. Так, не впадая на этот раз в противоречие, в котором его обвинили некоторые из его биографов, Аввакум не перестает жалеть и любить всех и все. И он молится и хочет, чтобы его приверженцы молились за всех заблудших, и он не отчаивается в их обращении.

Но можно тут легко и ошибиться. В Сибири, послав на рекогносцировку маленький отряд казаков, Пашков решил посоветоваться с местным колдуном, шаманом, будет ли им удача. Само собою разумеется, этот человек обещает полный успех. Тогда Аввакум падает на колени в свином стойле, служившем ему помещением. Он просит у Бога, чтобы отряд был истреблен. Пусть ни один из них не вернется! И он не сомневается, что молитва его будет услышана. Совершенно искренно он верит в постоянное общение с божественным Владыкою и в то, что тот слышит его. Все время исповедуя полное смирение, веря в постоянно являвшиеся ему видения, которые не покидают его своею милостью, он говорит без всякого стыда о чудесах, которые он совершил. По примеру Спасителя он исцеляет больных, изгоняет демонов, получает чудесные уловы.

Когда его опровергают, это не оказывает на него никакого действия. Накануне своей второй отправки в Сибирь он хвастается, будто бы получил от неба обещание, что его не побеспокоят. И действительно, дьяк Башмаков потихоньку сказал ему от имени государя:

«не бойся ничего, доверяй мне». Противоположные события не сбивают Аввакума с толку. В одном из своих писем он говорит, будто бы предсказал Пашкову, что он однажды попросит у него позволения надеть рясу, «что и случилось». В 1682 году автор предсказания был уже мертв, а Пашков продолжал быть воеводой в Нерчинске, но пророк умер, не потеряв веры в свою сверхъестественную силу. «Святой Дух так говорил чрез меня, простого грешника». «Святой Дух и я, мы судим», повторял он до своего последнего воздыхания.

Пророк и чудотворец, – в этой двойной роли он лишь делал промах за промахом, благодаря узости своего ума и недостаточности образования. Он был начитан в узком кругу известной церковной литературы.

Обширная память, хотя и не очень твердая, давала ему возможность забрасывать противника текстами настолько, что ему удавалось сбить с толку менее начитанных противников. Он был страшен в качестве полемиста, замечательно одаренный природою, вдохновением, оригинальностью, умением картинно выражаться, ловко подбирать сравнения, обороты речи, яркие пословицы, языком страстным, колоритным, вибрирующим, всегда простым, часто блестевшим юмором, в одно и то же время нежным и приятным или сжатым и энергичным, всегда легко понятным, без всякой искусственности, без следа риторики, без всякой заботы о диалектике, без всякой задней мысли, – уменьем говорить народным языком, да притом с настоящею силою виртуоза слова.

В качестве догматического писателя он шел уже по пробитой дороге, причем ему приходилось воспроизводить лишь обычные обороты славянской литературы, – но повсюду, где он только затрагивал реальную жизнь, рассказывая о своей участи, беседуя со своими друзьями, он непосредственно черпал слова в источниках национальной речи. Он может поразить современного читателя грубостью некоторых выражений. Он часто тривиален, охотно обращается в циника и всегда называет вещи их именами. Но он одарен жизненной энергией и редкой силой возбудимости.

Монахиня Елена согрешила, внеся смуту в одну семью. Аввакум склоняет сестер избегать ее, как зачумленную. Она должна их сама избегать, как осквернённая. Но ничто не должно измениться между нею и им, так как и он также заражен. Был ли он тронут ее чарами? Или, может быть, она внушила ему, если не слабость, то по крайней мере тот трепет пробужденного желания, которого он так страшился и который умел смирять в себе так сурово? Неизвестно. Может быть в силу утонченной чувствительности и смирения он не опровергал те дурные толки, которые вызвали их невинное общение. Он ей писал: «Мне нечего бояться чумных язв, покрывающих твое тело, так как я покрыт ими сам. Пошли мне малины: я могу ее есть, так как если на тебя был донос, то донос был и на меня, в наших отношениях нет ничего постыдного, мы стоим друг друга!»

Вне области богословия, в истории, в географии, в естественных науках его невежество было грубо, и даже в избранной им области он делал множество ошибок, как в терминологии, которую он употребляет, так и в существенных пунктах той догмы, которую он защищал. Таким образом в своей полемике с дьяконом Феодором, увлеченный своею страстью в область самых нелепых глосс и тезисов, он не встречает сочувствия даже своих собственных соратников. И он не заботится об этом. После мук, которым подверглось его тело, настало время страданий его души, и он этому не противится. В его короне мученичества недоставало одной жемчужины: он ее принимает с радостью и ничего не боится. Держась Христа, он не боится ни царя, ни какого-либо князя, ни богатых, ни знатных, ни даже самого Сатаны.

Он всегда абсолютно верует. Его автобиография, смесь высоких религиозных вдохновений и самых вульгарных суеверий, деликатнейших чувств и самых постыдных тривиальностей, широкого понимания определенных христианских истин и большего количества пустяков, – свидетельствует об этом с начала до конца.

В качестве свода доктрины его писания не выдерживают никакой критики. Он считается главным участником в выработке принципов беспоповщины, и в общем его учение целиком направлено против официальной иерархии, против всякой иерархии, которую раскол не был в состоянии найти в своей среде. Аввакум не допускает даже молитвы иконе Христа в никонианской церкви. Если насильно тебя вводят в такое место, должно ему молиться, но стараясь не следить за службой. Принимая посещение никонианского священника, хозяин дома должен приказать детям спрятаться за печку; он должен избежать благословения приверженца сатаны, объявляя себя нечистым, и пытаться отделаться от него, предлагая ему водки и денег. Его жена должна сделать то же самое, сказав непрошеному гостю: «Отец, что ты за человек? Разве ты не можешь понять, по твоей попадье, что мне недосуг тебя теперь принять?» Оба они, наконец, после ухода посетителя должны хорошо вымести свое жилище.

Кажется ясно. А между тем в некоторых из своих писем апостол выражает мысль, что нельзя обходиться без священников, и что поп, исповедующий ненависть к никонианцам и любовь к старому, заслуживает презрения, хотя бы и был рукоположен официальною церковью. Кроме того, совершенно вопреки мнению одного из своих товарищей по изгнанию в Пустозерск, Феодора, которого мы уже знаем, он доходит до того, что признает брак, совершенный никонианским священником.

По правде говоря, в его литературном наследстве подобного рода тексты оспаривались, объявлялись апокрифическими. Но это заключение кажется голословным, да и сам Аввакум не обнаружил большей последовательности по многим пунктам. Предавая виселице Никона и его адептов, он сам обвинял их в нетерпимости! «Как? Чтоб дать восторжествовать вашей вере, вы прибегаете к костру и огню, к веревке и к кнуту! Какой апостол вам преподал подобное наставление? Где вы видели, чтобы Христос советовал обращать людей таким способом?»

Вся история раскола должна была пострадать от этих колебаний беспорядочной мысли. Людям этого времени было нетрудно к ней приспособиться, а большой процент женского элемента, участвовавшего в развитии раскола, вносил страстность вместо рассудительности.

IV. Женский элемент в расколе

Аввакум часто говорит о Троице совершенно не божественного происхождения. Этим именем он называет трех женщин, игравших важную роль внутри зарождавшейся коммуны. Он называет эту троицу также и святою, блаженною и мученическою» или символизирует их в трех драгоценных камнях: в яхонте, в изумруде и в яшме. Это были Федосья Морозова, урожденная Соковнина, ее сестра княжна Евдокия Урусова и жена одного стрелецкого полковника Мария Данилова. Все они подпали под влияние некоей Маланьи, монахини того Вознесенского монастыря, где Аввакум пользовался одно время влиянием, это была таинственная личность, о которой до нас не дошли точные сведения.

Выйдя замуж в семнадцать лет и овдовев в тридцать, боярыня Морозова познакомилась с Аввакумом двумя годами позже по его возвращении из Сибири, и уже вся преданная строгому соблюдение религиозных обрядов, при громадной религиозной экзальтации, она

была одной из самых горячих сторонниц «апостола». Морозовы были очень близки к трону. Зять царя, брат мужа Федосьи Прокопьевны, Борис Иванович покрывал свою семью блеском этого союза и престижем совершенно исключительного положения. Высокопоставленные при дворе, обладая значительным состоянием, ее родители пользовались самою завидною участью, но Федосья Прокопьевна никогда ею не пользовалась.

Удаленная от общественной жизни, московская женщина не имела, вне религии и нравственности, другой сферы, где бы она могла эволюционировать, проявить какую-либо деятельность. Домострой заключал ее в круг, откуда должно было ее вывести лишь новаторское течение семнадцатого века, проломив стену древней традиции. Но было неизбежно, что и она смутилась на пороге нового мира, который призывал ее, и что эмансипация сначала смутила, а затем вооружила против нее печальные затворы мрачных покоев.

Федосья Прокопьевна была убежденной сектанткой и горячей сторонницей аскетической жизни. После молитв и благочестивых чтений с самого раннего утра, она посвящала долгое время пунктуальному исполнение своих обязанностей хозяйки дома. Внимательно относясь как к нуждам, так и к проступкам своей многочисленной челяди или своих крестьян, она прибегала по отношению к ним к правам патриархальной юрисдикции, «наказывая одних палками», по свидетельству Аввакума, «побуждая других добротою и любовью к исполнению воли Божией». Остаток своего времени она посвящала благотворительности. Она пряла, ткала полотно и шила рубахи, раздавая их нищим на улицах Москвы. Тайком, сопровождаемая верною служанкою, она посещала по ночам тюрьмы и госпитали и распределяла помощь и натурою и деньгами.

Большая часть ее имущества оказалась поглощенною такою благотворительностью. Она разделила остаток его между огромною толпою своих гостей обоего пола, собравшихся в ее дворце, больных, увечных и идиотов, среди которых находилось два юродивых, Феодор и Киприан, призванные сыграть известную роль в истории Раскола. Федосья Прокопьевна ела вместе с ними из одной чаши. Она уделяла свои заботы всем, сама обмывала раны некоторых из них и кормила их из своих рук.

Она носила на себе власяницу, проводила часть ночи в молитве и даже отказалась прибавлять мед в свой квас. Аввакум в свое пребывание в Москве, а позже, переписываясь с нею из Пустозерска, в этом смысле направлял эти самостоятельный наклонности молодой женщины. «У нас тут иногда не бывает воды, а мы между тем живем, – писал он ей, – почему же вы лучше нас, хотя и боярыня? Бог разостлал одно небо над нашими головами». Это, однако, не мешало ему быть очень чувствительным к щедрой денежной помощи, которую боярыня оказывала его семье. Не переставая прославлять по этому поводу щедрость благотворительницы, он все-таки не воздерживался от грубостей, напоминая ей при случае, «что у бабы волос долог, да ум короток». Он был по-своему ловкий куртизан.

При таком образе жизни Федосья Прокопьевна мало-помалу была вынуждена порвать все другие связи дружбы или даже родства. Княгиня Урусова избегла такой немилости, лишь после того, как последовала примеру своей сестры; но та не могла простить своему двоюродному брату, Михаилу Ртищеву, его снисходительный отзыв о Никоне. Желая совратить ее с намеченного ею пути, он попробовал указать на интересы ее единственного сына, карьеру которого она рисковала скомпрометировать.

– Я люблю больше Христа, чем моего сына, – ответила она.

Когда этот сын вырос, его мать, в 1671 году, тайно постриглась в монахини под именем

Феодоры и оставила управление своим домом. Эта тайна не могла долго сохраняться. Через год, когда Алексей праздновал свой брак с Наталией Нарышкиной, боярыня Морозова отказалась принять участие в празднествах, и внимание государя было направлено на маленькую группу женщин, где до сих пор свободно производилось исповедание и распространение Раскола. Долго задерживаемая гроза наконец разразилась. Князь Петр Урусов, не зная о том, что и его жена принимает участие в опальной общине, сообщил ей, что Федосья Прокопьевна будет арестована. Княгиня попросила позволения пойти проститься со своею сестрою и уже более ее не покидала. Их обеих арестовали ночью, увезли в подземную тюрьму, потом разделили. Переходя из одной тюрьмы в другую, проходя мимо царского дворца и думая, что Алексей смотрит на нее, Федосья Прокопьевна подняла с усилием свою руку, отягченную цепями, и осенила себя двуперстным крестом.

Обе сестры жили около года, заключенные в двух монастырях, где строго охранялись, и несмотря на это находили средство видеться друг с другом. Более или менее преданные расколу, сторожа и монахини ухитрялись не выполнять приказов своих начальников. Некоторые священники из их лагеря даже посещали арестованных, и по легенде даже сам Алексей часто ездил в тот монастырь, где была заключена княгиня Урусова. Подолгу простаивая под окнами ее кельи, он сожалел по ней, говоря, что не знает, действительно ли она страдает за правду.

Из всех своих богатств боярыня Морозова не сохранила ровно ничего. Все было конфисковано. Сын ее умер с горя. Она же не слабела. Назначенный еще недавно патриархом, новгородский митрополит Питирим, вмешался в ее пользу и льстил себя надеждой, что приведет ее на добрый путь.

– Вы не знаете, что это за женщина, – сказал ему Алексей. Впрочем, попытайтесь!

Патриарх истощил все свое красноречие с Федосьей, мягко предлагая ей исповедаться и причаститься.

– Мне некому исповедаться, ни причаститься.

– Есть достаточно священников в Москве!

– Ни одного хорошего!

– Я вас сам исповедаю…

– Вы ничем не отличаетесь от других; у вас тиара римского папы.

Одев свои священные одежды, Питирим велел принести святое миро. Оно служило для исцеления людей, одержимых безумием. Боярыню Морозову пришлось внести в комнату патриарха. Она говорила, что не в состоянии держаться на ногах. Но она притворялась, потому что не хотела оставаться стоя перед никонианцами. В 1667 году во время собора, судившего его, Аввакум тоже сделал вид, что хочет лечь. Вдруг крутицкий митрополит в качестве ассистента патриарха подошел к ней с жезлом, омоченным в священное масло, и хотел с нее снять головной убор. Федосья Прокопьевна вскричала:

– Не трогайте меня! Не заставляйте погибнуть бедную грешницу!

Она так сильно отбивалась, что, согласившись с царем и уступая своему гневу, Питирим велел выгнать вон «бешеную». По словам Аввакума, стрельцы, караулившие несчастную, выполняя приказание, вытащили ее во двор, схватив ее за цепь, висевшую у нее на шее, «да так, что она пересчитала головою все ступени лестницы».

В свою очередь княгиня Урусова подверглась той же пытке, но, сорвав покрывало, покрывавшее ее голову, что считалось в то время бесстыдством, она вскричала:

– Что вы делаете, бесстыдные люди! Разве не видите, что я женщина?

На следующую ночь обе сестры, как и Мария Данилова, были подвергнуты допросу в присутствии князей Ивана Воротынского и Якова Одоевского и дьяка Думы, Иллариона Иванова. Раздетые до пояса, они подверглись вздергиванию на дыбу и испытанно огнем, но не проявили ни малейшей слабости. С вывихнутыми руками, со спинами, покрытыми ужасными ранами, они оставались три часа на снегу, не обратившись, по свидетельству Аввакума, ни с одной жалобой к своим мучителям.

Алексей был смущен, патриарх высказался за применение закона, и монахиня Маланья объявила своим сотоваркам, что они будут непременно сожжены. Но было не так легко применить к Морозовой такое наказание! Бояре взволновались, и Печерский монастырь, где была заключена Федосья Прокопьевна, стал предметом тревожных манифестаций. Перед его воротами ежедневно происходили бурные собрания. Сестра царя, особенно нежно любимая им Ирина, упрекала Алексея в жестокости, припоминала ему заслуги Бориса Морозова, в котором он видел второго отца. Судя по легенде, Алексей еще раз пытался перейти к увещаниям. Один стрелецкий капитан получил приказ предложить Федосье только поднять руку с тремя сложенными пальцами, обещая ей, что в таком случае царь пришлет ей свою собственную карету с великолепными лошадьми и свитою из бояр для возвращения домой.

– У меня были великолепные экипажи, – возразила она, – и я о них не сожалею. Велите меня сжечь: это единственная честь, которой я не испытала и которую сумею оценить.

Этот эпизод кажется сомнительным, по крайней мере в подробностях. Государь, без всякого сомнения, послал бы для выполнения поручения более достойного посредника. Но Федосья не была сожжена. Ее отправили в Боровск вместе с обеими подругами. Три эти женщины там жили изолированно в тюрьмах, вырытых в земле, в землянках и, так как они упорно держались своего, то им давали с каждым днем все меньше пищи. Страдания их возбудили общую симпатию, а в недрах Раскола Аввакум деятельно восхвалял их достоинства. Сравнивая их теперь со «стоглазыми херувимами», с «шестикрылыми серафимами» и еще с Афанасием Александрийским и св. Григорием, он почти дошел до их обоготворения. Особенно Федосья возбуждала в нем удивление и страстное поклонение. Уделяя ей особое место в «единстве божественной троицы», назвав ее благословенной среди всех женщин, он сравнивал ее с Христом и примешивал к этим крайним гиперболам более простые звуки, исходившие из глубины его сердца.

– «Милый друг, живы ли вы еще или вас сожгли, или задушили? Я ничего не знаю, я ничего не слышу! Жива ли она? Или она мертва?»

Он иногда начинал упрекать ее, когда она, как ему казалось, спускалась с высот, куда он хотел ее возвести. Разве она не должна была быть самою совершенною между всеми? Но в то же время он писал ее товаркам: она ангел, а вы только бабы.

Евдокия Урусова умерла в октябри 1675 года, а ее сестра месяцем позже. Один современник описал в трогательной форме последние минуты «святой», упоминая о величайшей просьбе, с которой она обратилась к своим стражам, прося их снять тайно и вымыть единственную рубашку, которая была на ней, так как она желала в чистом виде явиться перед лицом Господа.

Такие примеры со всеми теми трогательными и страстными чертами, которые были им приданы легендой, дали Расколу импульс, которого не могли уже остановить никакие меры строгости. Казалось, что первые века христианства ожили в истории новых исповедников истинной веры. Бунт нескольких фанатиков обряда принял характер большего народного

движения, предназначенного действительно распространиться с неудержимою силою.

V. Развитие раскола

Аввакум и его товарищи не оставались бездеятельными в их отдаленном пустозерском изгнании, не переставали привлекать к себе внимание своих единоверцев. Содержимые в мрачных тюрьмах, получая в день лишь по полутора фунта плохого хлеба с небольшим количеством квасу, они не теряли энергии. Аввакум и Лазарь писали царю послания, остававшиеся без ответа, но получившие огромную известность. В то же время в Москве распространился слух, будто бы у Лазаря и Епифания вновь чудесно отросли языки, отрубленные палачом, так что эти иноки могли говорить. Мы обязаны самому Аввакуму естественным объяснением этого чуда: может быть, преданный делу своих жертв, палач произвел лишь по виду экзекуцию. Но, если верить апостолу, то процесс отрубания был снова выполнен в Пустозерске и с тем же результатом; через три дня языки приняли их первоначальную форму. У Лазаря также была отрублена правая рука и, когда она упала на землю, то ее пальцы сложились в двуперстный крест.

Черты из биографии Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника не были, очевидно, чужды подобным выдумкам.

На деле когда усилилась агитация, распространяемая изгнанниками, в Пустозерск был послан в 1670 году стрелецкий капитан, присутствовавший там при новых казнях, которые не оказали никакого влияния. Лазарь, Епифаний и Феодор после того, как им действительно уже вырвали языки, оставались по-прежнему непоколебимыми в убеждениях, которые они исповедывали.

Аввакум был пощажен палачами, но разделил усиленные строгости общего заключения, увеличивая их еще добровольным умерщвлением плоти. Отказавшись от одежды, даже зимою, воздерживаясь от всякой пищи в продолжение целых недель, он так ослабел, что не мог уже громко молиться. Тогда он впал в экстаз, почувствовал, что он необыкновенно увеличился в размере, вообразил, что сам Бог «вложил в него землю, небо и все творение», и написал Алексею: «Живя на свободе, ты владеешь лишь одной Россией, а мне пленному Христос дал небо и всю землю».

Благодаря сообщникам, находившимся вокруг них, пленники могли переписываться и сообщаться почти свободно с внешним миром. Аввакум поддерживал переписку с Москвою, Мезенью, где жила его семья, и Боровском, где умирала бедная Морозова. На клочках бумаги, заботливо собираемых приверженцами раскола, он излагал продукты своих размышлений. Среди его сочинений автобиография, в двух собственноручных изданиях, некоторое количество комментариев на псалмы, различные труды по богословию и полемике и несколько десятков писем относятся к этой эпохе. Его товарищи подражали ему, обсуждая с ним различные проблемы доктрины или дисциплины и опубликовывая многочисленные послания, в которых они излагали свое мнение.

Таким образом Пустозерск становился центром религиозной пропаганды, горячим очагом, распространявшим далеко свои лучи.

Первые проповедники раскола, относительно самые образованные, следует заметить, и самые одаренные: Феоктист Неронов, Никита Пустосвят оставили сцену, мертвые или вынужденные молчать от ужаса. Некоторые из них должны были позже снова получить голос, но пока что «отцы Пустозерска», как их называли, одни пользовались авторитетом.

Их слова собирали, как слова какого-нибудь оракула, к ним обращались во всех затруднительных положениях.

Один из самых щекотливых и наиболее тяготевших над расколом вопросов был вопрос о священстве. Мы видели уже неуверенность, с которой Аввакум блуждал в этом вопросе; Пустозерские оракулы стремились установить различие среди членов клира, смотря по тому, получили ли они свою санкцию до или после Никона. Только к первым можно было прибегать в религиозных нуждах, хотя тоже с осторожностью и в случае абсолютной необходимости. Аввакум и его товарищи в то время совершенно не заботились о тех последствиях, которые вытекали из такого принципа. По примеру первых христиан они не думали о будущем, так как они не признавали его. Они верили в скорый конец мира. Мы еще возвратимся к этому пункту.

Их мнение в этом вопросе дошло до нас в трех редакциях, дающих разницу только в деталях. Оно должно было послужить базою для доктрины беспоповцев, проповедующих конец всякой иерархии, необходимость второго крещения и замену «духовным причастием» таинства евхаристии. Лично Аввакум однако не принял эти идеи, и вынужден был позже опровергать их очень энергично, но его голос, обыкновенно властями, совсем не был решительным в данном случае. Его товарищи по заключению занялись составлением раскольничьего credo, и разногласие между ними касалось самых существенных пунктов христианской догматики, но чаще предметов значительно меньшей важности.

Именно по поводу Троицы, не той, где фигурировали яхонт, изумруд и яшма, но другой, Аввакум дошел до того, что назвал Феодора «щенком», и проклинал его. Другой раз он упрекал его за то, что тот поддерживал недопустимое предположение, будто бы Христос вошел к Богоматери в ухо и вышел из бока, когда текст Иезекииля (XLIV, 2) устанавливает, напротив, вне всякого сомнения, что Он шел обыкновенным путем, «пробивая себе проход». На деле Феодор не говорил ничего подобного. Очень корректно он удовольствовался принятием материального воплощения тогда, как Аввакум учил простое вхождение божественной благодати, причем Сын остается безусловно нераздельным от Отца, – тезис противоположный общему учению всех христианских церквей и между тем принятый большею частью раскольников.

В деле полемики апостол меньше всего заботился о лояльности, а большинство его учеников совсем не были к ней приучены. Значительно умнее и образованнее своего противника, Феодор тем не менее дважды был осужден своими единоверцами и исключен из числа «отцов». Желая оправдаться, он написал маленькую книгу, но Аввакуму удалось ее захватить, он вырвал из нее и опубликовал несколько отрывков, компрометировавших в таком отрывочном виде автора. Остальное он уничтожил и наложил на несчастного дьякона жестокую епитимью, при которой он сам присутствовал.

Для торжества своих идей, воодушевленный абсолютной своей убежденностью, Аввакум не разбирался в средствах и еще менее в аргументах. Он черпал их широко в апокрифической литературе, как и в своем собственном воображении, обнаруживая при этом свою очень оригинальную, но временами довольно грубую фантазию. Этому способствовало прогрессивное изменение его умственных способностей. Менее устойчивый, чем его физическая структура, его дух не мог противостоять известному нам режиму. Обратясь в 1669 году к Алексею с жалобой, которую он называл последнею, хотя за ней последовало несколько других, путаясь в дебрях лиризма, не лишенного своеобразного красноречия, Аввакум, впрочем, соблюдал еще некоторую меру и пускал в ход некоторую

дипломатию.

«Теперь, – писал он, – из моей тюрьмы, как из могилы, в слезах я обращаю к тебе это последнее воззвание… Сжалься не надо мною, но над твоею душою! Скоро, не оказав нам справедливого суда с такими отступниками, ты предстанешь вместе с нами перед лицом Верховного Судьи. Там твое сердце в свою очередь будет сковано страхом, но мы не будем в состоянии помочь тебе. Ты отказал нам в гробницах у святых церквей, хвала тебе за это! Разве лучше был удел святых мучеников? Чем больше ты нас осуждаешь, мучаешь и заставляешь томиться, тем больше мы тебя любим, о, государь! решив молиться за тебя до смерти… Но на небе мы не сможем тебе больше помочь, так как ты отказался от спасения. Оставив твое призрачное царство, желая достигнуть вечного пристанища, ты унесешь с собою только гроб и саван. Что касается меня, то я обойдусь без того и другого. Мое тело будет растерзано собаками и хищными птицами. Что же из этого! Мне будет хорошо спать на голой земле, пользуясь светом в виде одежды и небом вместо крыши. И, несмотря на то, о, господин, что ты хотел этого, я тебя благословляю еще раз моим последним благословением».

В 1681 году наследовал своему отцу царевич Феодор. Аввакум решил, что может теперь изменить свой тон, и на этот раз обнаруживается уже очень явно смятение его ума. Обращаясь от отца к сыну, он говорил, будто бы ему было свыше сообщено, что умерший государь искупил ужасными мучениями преступления, в которые вовлекли его никонианцы и в наивных выражениях он требует своего освобождения, чтобы, наподобие Ильи, истребить все исчадия сатаны.

В ответ на это последовал приказ, осуждавший к сожжению на костре автора этого послания с тремя из его товарищей: Лазарем, Епифанием и Никифором. Дата казни (10 апреля 1681 г.) сомнительна и детали ее, дошедшие до нас только в литературе Раскола, становятся благодаря этому, подозрительны. Аввакум будто бы предвидел свой конец, распорядился кое-каким оставшимся у него имуществом и распределил свои книги. Уже на костре он обратился с речью к своим слушателям, подняв два пальца и говоря: «Молитесь и креститесь так, и божественная милость будет с вами; в противном случае песок покроет те места, где вы живете, и наступит конец мира». Когда пламя окружило его с его товарищами и один из них стал кричать, он будто бы наклонился к нему и стал его утешать.

Верно лишь то, что событие это произвело огромное впечатление и далеко не остановило движения, душою которого были эти жертвы; оно, наоборот, еще расширилось. Это аутодафе составляло только часть целого ряда репрессивных мер, которые были приняты на Соборе 1681 года: как-то создание новых епархий для укрепления влияния официального клира; организация специальной полиции; запрещение всем подданным царя давать у себя убежище диссидентам; уничтожение пустынь и церквей, принадлежавших расколу и суровое применение духовных и гражданских законов по отношению к схизме. Поражая, с одной стороны, ее вождей, думали, с другой стороны, сделать невозможной жизнь для их учеников. Всюду выслеживая их через массу агентов, гоня их из одной деревни в другую, раскрывая их убежища даже в лесах, думали, что они исчезнут совершенно.

Но они размножались. Строгости прежде всего начались слишком поздно. Как это и констатировал Собор 1681 года, раскольники до сих пор пользовались полною терпимостью и даже в Москве могли свободно заниматься деятельною пропагандою, причем публичная продажа их сочинений всюду распространяла учение Раскола. Кроме того, действие репрессивных мер, вновь принятых, парализовалось непослушностью пущенных в ход

орудий. На деле, в большинстве случаев, этот поход приводил лишь к широкой эксплуатации преследуемых преследователями. В одной деревни оставляли в покое диссидентов, потому что они уплатили карточный долг старосты. В другом месте шуба, поднесенная жене воеводы, служила выкупом для многих запрещенных общин. В первый момент раскольники переходили массами границу, находя себе убежище в Швеции, в Крыму, на Кавказе, особенно в Сибири или даже в Турции, в Молдавии, в Пруссии и в Австрии. Но исчезнувшие немедленно заменялись новыми прозелитами и в конце концов, благодаря преследованиям, раскол развивался не по дням, а по часам, по выражению одного историка.

Политическое, социальное и моральное положение страны, самое ее географическое положение помогали этому, расстраивая самое энергичное противодействие. Еще раз, после смерти Феодора, Москва впала в кризис, ставивший на карту самое существование империи. В мае 1682 года разыгрывается знаменитый Стрелецкий бунт, в котором Раскол играет значительную роль. Диссиденты собираются громадными массами на улицах столицы, всячески помогая восставшим.

Осужденный многократно и помилованный, наружно примирившийся с официальною церковью, но выжидая лишь момента порвать с нею, бывший суздальский поп, Никита Пустосвят, фигурирует во главе их. Одно время он и его приверженцы были хозяевами города. Расставив аналой со своими книгами на Красной площади, с зажженными свечами, они проповедуют свою веру, потом процессией входят в Кремль и завязывают там бурные споры. В присутствии патриарха и правящей царевны Никита бьет по лицу холмогорского архиепископа Афанасия.

Приведенные в повиновение путем убеждений и щедрости Софии, стрельцы оставили своих союзников, и 21 поля 1682 года Никите Пустосвяту отрубили голову.

Но раскол уже царил повсюду.

С 1667 года ученики Капитона проповедовали его по-своему в Костромской области; старый типограф Иван распространял его учение во Владимирской области; Ефрем Потемкин и иеромонах Авраам вербовали себе прозелитов в окрестностях Нижнего Новгорода, Ветлуги и Балахны. В Смоленске протопоп Серапион, дальше на север – отцы из монастыря св. Кирилла, дальше к югу, на Дону, монахи Досифей и Корнилий организовали другие центры пропаганды. Повсюду появлялись святые, пустынники, странствующие проповедники, постники, ясновидцы, предсказывавшие единодушно пришествие царства Антихриста и конец мира.

На обширном северном берегу, в частности, в области Олонеца и Каргополя, среди огромных лесов и пустынных земель, недоступных озер и болот, Раскол нашел себе неприступную крепость. То же и по тем же причинам в окрестностях Вологды, Владимира, Ярославля. В Вологде пропаганда нашла себе в ежегодной ярмарке благоприятное поле деятельности. Казаки открыли расколу свободный доступ в Саратовские степи, вдоль маленькой речки Кумишанки, соединяющей Дон с Волгою, – готовые быстро откликнуться на всякое революционное слово. Раскол вошел этим путем на востоке в сношение с областью Воронежа, где Москва еще не успела встать твердою ногою, а на западе с польскою Украйною, где власти республики тайно сочувствовали ему.

По берегам Днепра местное население держалось в стороне от движения, подчиняясь восточным патриархам, напротив того, великорусские эмигранты, очень многочисленные в этих местах, пристали к. нему с воодушевлением, и на Дону, в традиционном убежище всех бунтовщиков, диссиденты нашли себе вторую родину.

У нас почти отсутствуют сведения о первых проповедниках раскола в бассейне этой великой реки, – о Корнилие и Досифее. В этой местности раскол вступает в историю лишь с Иовом Тимофеевым, сыном одного литовского дворянина, старинным слугою Филарета, во время плена будущего патриарха в Польше, и основателем в 1672 году монастыря на берегу Чира, в 50 верстах от его соединения с Доном.

Уже очень старый, – он умер в 1680 году почти ста лет от роду, – Иов, по-видимому, не занимался прозелитизмом в этом убежище и искал лишь в нем уединения и личного покоя. Но в 1685 году, прибыв на Чир, другой Досифей, уже игумен монастыря, сожженного нижегородским митрополитом Питиримом, привлек к учению большое количество казаков. Появились еще пустыни на соседних течениях Хопра и Медведицы; размножились и новые секты. Известный Феодосий занимался вторым крещением своих приверженцев; основываясь на тексте, приписываемом Ездре, знаменитый поп Самойла проповедовал в Черкассах близкий конец мира и, основываясь на той же базе эсхатологических верований, Кузьма Ларионов, называемый Косым, насчитывал до двух тысяч учеников.

В этой среде политический элемент не замедлил взять верх над религиозным. Вызванная Стрелецким бунтом и поддерживаемая беспрестанными волнениями, следовавшими за этим во все время регентства Софии, – сильная агитация закончилась в 1688 году всеобщим восстанием. Но от этого не выиграло религиозное единство раскола.

Раскол существовал повсюду, но в виде маленьких общин, изолированных, часто рассеянных, связанных лишь смутною, полною шатаний и противоречий догмою, лишенный с исчезновением «отцов Пустозерска» центрального очага своего. Материальная разбросанность по огромной территории и моральная шаткость исповедующих его организмов, постоянно меняющих свою физиономию, создавали для русского раскола еще больше, чем для протестантства на западе, условия, при которых ему пришлось неизбежно подчиниться действию этих разлагающих сил.

VI. Секты

Вскоре должна была произойти первая распря между центром империи и южною Украйною, с одной стороны, и северным берегом и Сибирью с другой, по поводу щекотливого вопроса о церковной иерархии. Со смертью в 1656 году Павла Коломенского, единственного прелата, оставшегося до конца верным Расколу, у последнего уже не осталось ни одного епископа. Только получившие сан до реформы Никона допускались Аввакумом, но таких оставалось уже немного, и проблема становилась чрезвычайно острой. Она разрешалась различно не только в разных общинах, но давала место жестоким спорам в среде каждой из них. Одни из них утверждали возможность спасения вне обращения к правильно установленному церковному авторитету, другие думали, что неотложная нужда может заставить верующих принимать священников, поставленных никонианством, но порвавших потом связи с официальною церковью.

Первая доктрина господствовала на севере и в Сибири, как в стране, где недостаток церковной организации уже давно приучил большую часть жителей манкировать церковною службою и таинствами. Насчитывая несколько адептов в центре и на юте, хотя и связанная исторически с проповедью Капитона в Костроме и Вязниках, беспоповщина нашла себе тем не менее наибольшее развитие в менее населенной северо-восточной области. Влияние протестантства сыграло там определенную роль, хотя на деле беспоповцы просто заменяли

одну иерархию другою, свидетельствуя о своем крайнем уважении к тем духовным лицам, которых они сами себе назначали.

Аввакум однажды отождествил с прелюбодеянием брак, не заключенный официальным священником. Беспоповцы же решили, что за исключением крещения и исповедания, которые по некоторым произвольно толкуемым текстам могут быть производимы светскими людьми, для всех других таинств совсем не нужны священники. Отсюда произошел постулат и об общем безбрачии, породивший впоследствии много беспорядков. Вождя Раскола были искренни. Один из них, Семен Денисов, желая дать этому личный пример, дошел до того, что воздерживался от разговора наедине даже с собственною сестрою Саломеей, игуменьею одного монастыря. Но пример не имел подражателей. Опираясь на авторитет Аввакума, теория и практика свободного соединения имели более многочисленных приверженцев. В секте дьякона Степана, в Степановщине, монахи и монахини жили в одних кельях, т. е. «клали огонь возле леса», по выражению св. Димитрия Ростовского. Образовались новые обряды, где за неимением священников службу отправляли уже женщины.

На юге ценою целого ряда непоследовательностей поповщина избежала этих заблуждений, но оказалась в явном противоречии с общей точкою зрения на положении церкви, пришествие Антихриста и конец мира. Впрочем, в обоих центрах раскола никогда не состоялось соглашение, даже в том пункте, который их разделял на отдельные организмы. В принципе один из них крестил второй раз своих приверженцев, а другой объявлял эту церемонно излишнею; местами между тем второе крещение употреблялось и поповцами, а также бывали случаи, когда беспоповцы выбирали себе священников. В 1709 году уже насчитывалось до двадцати сект, следовавших обеим системам, каждая по-своему.

С течением времени поповщина должна была практически придти к созданию автономной иерархии, соперницы официальной. Теоретически она оставалась долго верной эсхатологическим верованиям, исключавшим эту организацию и составлявшим к концу семнадцатого века самую характерную черту раскола и почти единственный пункт доктрины, на котором объединялись диссидентские группы.

VII. «Конец мира»

Эти верования связывались, как мы это уже знаем, с тезисом «третьего Рима». Понятно, что, наследуя Константинополю, православная Москва сделалась в недрах христианства единственным убежищем истинной веры, и лишь она одна задерживала появление Антихриста. Следовательно, в деле Никона и его реформы русская церковь не была в состоянии выполнить этой высокой миссии, и Антихрист должен был появиться. И он пришел. Уже в 1596 году, под влиянием впечатления Брестской Унии, Стефан Зизаний в комментарии на пятнадцатую главу Св. Кирилла Иерусалимского отнес это событие к восьмитысячному году от сотворения мира. В 1648 году другая работа, обнародованная в Москве под названием Книги веры, очень популярная, воспроизводила ту же идею. Вспомнили, что, по Апокалипсису, Сатана скован пришествием Христа на тысячу лет и решили, что моральное падение Рима совпало с этим указанием. После этого надо было ждать и других более ясных знаков победоносной мощи проклятого. Посредством фантастических вычислений согласили дату, принятую прежде для пришествия Антихриста, с Собором 1666 года, на котором была окончательно решена реформа. Несколько апокалипсических данных и форма зверя объяснялись именно в этом смысле. Аввакум

утверждал, будто бы он видел чудовище и давал ему описание; его вид был ужасен; тело его распространяло отвратительное зловоние, из носа и ушей оно метало ядовитое пламя.

Большая часть раскольников отождествляла его сначала с Никоном и применяла к бывшему патриарху тексты Писания, приписывая ему родителей-язычников, окружая все события его жизни демонами и змеями. Но когда Никон умер, не получив власти над миром, эти выдумки были оставлены. Одни упорно держались того мнения, что он продолжает жить, скрываясь в Пскове, другие предполагали, что он воскреснет. Аввакум кончил тем, что утверждал, что бывший патриарх был лишь предтечею. Но тогда пришлось пересмотреть вычисления, относящиеся к концу мира. Выросшие из верований, общих первым христианам и тысячелетних верований средних веков, они ограничивали царствование Антихриста двумя годами с половиною, после чего все должно было быть уничтожено. К этому уже давно готовились в различных слоях. Когда в 1644 году протестантский духовник датского принца Вальдемара, Фельгабер, стал упрекать московитов в невежестве, старый священник Вознесенского собора, Иван Наседка, ответил ему, что близкий конец мира делает бесполезным всякое создание школ. В 1668 году многие крестьяне отказались засевать свои поля. Через год они оставили свои дома. Соединившись в группы, они молились, постились, исповедовали друг друга, приобщались св. даров, освященных еще до никоновских новшеств, и ожидали звуков трубы архангела.

По старому преданию это событие должно было произойти в полночь, в тот трагический момент, когда луна потухнет, а звезды попадают с неба, как дождь урагана. Когда день кончался, ожидавшие события надевали саваны, ложились в гробы и читали сами по себе заупокойные молитвы, которым, как траурное эхо, вторил жалобный рев скота, бродившего без корма.

Но прошел и 1669 год, а звезды все еще сияли на своем месте. Тогда исправили недавно сделанные вычисления. Явление Антихриста со всеми последствиями, которые оно влекло за собою, считалось теперь отсроченным жизнью Спасителя, который по новым представлениям одним своим рождением прервал все сатанинское дело. Но Никон был уже мертв, и вся работа воображения по поводу чудовища, которое являлось Аввакуму, перенеслась на другие предметы. Постепенно Алексей, или вообще самодержавие, а позже, минуя кроткого и безобидного Феодора Алексеевича, Петр Великий заняли место бывшего патриарха.

Между тем, так же, как некоторые израильские коммуны делают это по отношению Мессии, самые образованные раскольники кончили тем, что одухотворили это представление. Царствование Антихриста уже не имело в их глазах значения материального владычества. Они стали его считать положением вещей, абсолютно не соответствующим Царству Божью и добрых христиан на земле. И добрые христиане не должны были уже ждать такой катастрофы. Она уже осуществилась, и им оставалось одно средство для спасения: смерть.

VIII. Коллективное самоубийство

Почва уже была давно подготовлена для развития подобной идеи. Практика коллективного самоубийства, как кажется, родилась в Волосатовщине, одной из сект, создавшейся благодаря проповеди Капитона. Простой крестьянин без всякого образования, родом из маленького местечка Сокольска, в теперешней Владимирской губернии,

основатель этой общины Василий Волосатый лишь закрепил обычные формы аскетизма, столь почитаемого в пустынях. Он воздерживался даже от стрижки и расчесывания своих волос, оттуда и его прозвище – Волосатый. Но, доведя до последней крайности доктрину своего учителя, со своею неотразимою логикою он заменил умерщвление плоти полным ее разрушением.

Способ самоуничтожения, принятый почти всеми учениками этого «законодателя самоубийства», как его называют писатели раскола, состоял в посте до самой смерти, и первые случаи подобного рода, известные нам, относятся к 1660 году. Мы не знаем подробностей коллективных жертвоприношений, организованных на этом основании Волосатым в Вязниках, но зато знаем, что позже, в Ветлуте или в Выгозере, один старик, основал для этой цели специальное учреждение, правильно функционировавшее. Добровольных постников вводили через крышу в здание без дверей и окон. Их насчитывали сотнями. Мрачный жертвоприноситель закрывал отверстие после того, как туда входила последняя жертва, и для большей верности ставил вдоль стены пять или шесть сторожей, снабженных дубинами. После двух дней, проведенных в молитве, пленники обыкновенно просили есть. Тщетно. Ни просьбы, ни мольбы, ни крики, ни сама агония жертв не трогали молчаливого старика. Большая часть запертых умирала между третьим и шестым днем, но некоторые держались гораздо дольше.

Однажды две родные сестры попали в эту башню Уголино, о которой нельзя вспомнить без содрогания; третья отправилась их спасти, она возмутила население соседних деревень, и жертвоприноситель должен был подвергнуться той самой казни, на которую он обрекал столько заблуждавшихся. Но ему все-таки удалось избежать гнева крестьян и найти даже подражателей, среди которых фигурировала одна женщина.

Впоследствии, развиваясь, это безумство приняло различные формы: кончали с собой в воде, резали себе горло ножом, погребали себя заживо и наконец сжигали себя. Последний способ взял потом верх, и этому особенно способствовали казни, совершенные в Пустозерске тем же путем. Костры, зажженные там для осужденных, обратились здесь в добровольные аутодафе. Однако, несмотря на крайне деятельную пропаганду и очень искусную организацию, эта эпидемия самоубийства не распространялась повсюду. Свирепствуя со страшною интенсивностью на севере и на северо-востоке, по верхней Волге до Нижнего, а также в окрестностях Новгорода, в области Онеги, на всем северном побережье и в Сибири, она почти пощадила центральные области, где царила поповщина.

Главный очаг этой эпидемии был сосредоточен в месте ее происхождения, в теперешних губерниях: Владимирской, Костромской и Ярославской, именно в Вязьниках, в Пошехонье и в Романове. Служа колыбелью московского государства, центром его самой деятельной промышленной и торговой жизни, эта область являлась вообще местом зарождения большинства политических, социальных и моральных ферментов. Но, исходя оттуда, это движение распространилось главным образом по окраинам.

Первая идея о самоубийстве посредством огня явилась у Волосатого; его ученики всегда любили ссылаться на авторитет Аввакума, одобрявшего действительно в некоторых из своих писаний этот обряд. Так в первом (или в третьем, по мнению некоторых критиков) из своих посланий к Симеону, он высказывался по поводу одного аутодафе в 1672 г., которое составило эпоху в Нижнем Новгороде. Но «апостол», кажется, по этому случаю впал в ошибку: Симеон убедил его, что раскольники Нижнего предали себя смерти, желая избавиться от материального насилия, угрожавшего их вере, тогда как на деле они

совершили это благодаря вспышке религиозной экзальтации.

Трудно уловить в этом отношении мысль Аввакума, так как защитники самоубийства осложнили эту проблему, распространяя за подписью «апостола» ими же составленные писания. Не одобряя по временам самоуничтожения в качестве орудия духовного спасения и рекомендуя его только, как крайнее средство сохранения чистоты веры, в другое время он говорит о нем, как о средстве, избираемом истинными верующими «для спасения души». Всегда при этом – может быть, намеренно – он выражается неточными терминами. Между тем он не признавал невозможным бороться с царством Сатаны, ни необходимости вследствие этого избавиться от его власти путем смерти. Сам Антихрист признался ему в своем бессилии подчинить себе энергичную волю. Но самоубийство было популярно, и «апостол» вначале даже не смел высказаться определенно против него. Это случалось со многими, подобными ему. Потом он, кажется, был увлечен общим течением и к концу своей жизни без всяких оговорок вдруг остановился на идее добровольного мученичества, подтверждая этот тезис историческими примерами. «Что делать, писал он тогда, для живущих нет могил». И он принял сам решение умереть с голоду, но потом позволил себя разубедить.

Подобно ему, защитники и организаторы самоубийства редко сами подавали тому пример. В 1687 году один из самых энергичных из них, Игнатий, был побужден к тому лишь силою. Признавая достоинство «очистительного огня», другие из них обольщали молодых девушек, которых они приговаривали к смерти. В Романове один из самых знаменитых соревнователей Волосатого считался даже содомитом. Другие из них были воодушевлены самым гнусным личным интересом, бесстыдно присваивая себе имущество своих жертв.

Аутодафе 1672 года в Нижнем Новгороде является первым известным в истории случаем коллективного самоубийства этого рода. Появление в соседних пустынях и болотах пророка Ефрема Потемкина, объявлявшего о пришествии Антихриста, сильный голод, опустошавший в то же время страну, создание новой епархии, предназначенной для борьбы с Расколом, и наконец казнь одного раскольника, сожженного по приказу нового митрополита, являлись причинами, побуждавшими к этому событию.

Считали, что Антихрист не только испортил церковь, государство и общество, но даже самые элементы, воду, воздух, землю. Поэтому было необходимо умереть, так как жизнь являлась невозможною! Эта идея потом эволюционировала. Образовались два течения, одно – вышедшее из общей доктрины староверов, другое – из частного учения Волосатого: здесь это был акт благочестия, заменивший собою другие религиозные обряды, которых нельзя было исполнять за недостатком священников. Второе крещение, как его тогда называли, это коллективное самоубийство было напротив понято в виде средства умереть, не поступаясь своими религиозными обязанностями и «не отказываясь от освящения крещением». И, доставляя удовлетворение самым различным чувствам этими тонкими различиями, страшный обряд распространился в самых различных кругах, закончив однако свое развитие на новой базе: на вере в близкий конец мира.

От 1672 до 1691 годов насчитывают тридцать семь коллективных самоубийств, причем число их жертв было более 20 000 человек. Пропагандисты иногда употребляли прямо преступные средства. Часто они изобретали преследования, чтобы довести до сумасшествия население. Они пускали в ход наркотические средства, самое гнусное насилие. Молодые люди прибегали к такому средству, желая избавиться от своих жен. Местные летописи сообщают при этом ужасающие подробности. Вот загорелся костер в загородке. Уже

охваченный огнем, один старик стремится перепрыгнуть через ограду, его собственные сыновья отрубают ему руки топором, и он падает в пламя. Ребенок десяти лет зовет свою мать, которой удалось спастись «из могилы», но его отец удерживает его силою. Прибежав посмотреть на это зрелище, какая-то женщина рожает со страху тут же на месте, церковный служитель, играющий роль надсмотрщика, бросает сначала в огонь родильницу, потом крестит ребенка и отправляет его за матерью.

Такие заблуждения, вероятно, неотделимы от всех движений, где выступают на сцену человеческие страсти. Во всех странах и во все эпохи религиозный фанатизм вызывал подобные факты. Пережив такие безумства, раскол в России доказал могучую жизненную силу, которая его воодушевляла. Но он был и является в настоящее время разрушительною силою, а в общем кризисе, который переживала Москва в конце этого века, он был для нее, хотя и в другом смысле, концом мира, который болезненно отразился на этой стране. Вскоре обнаружившаяся полная невозможность создать на основании прошлого новый порядок вещей, могущий удовлетворить законным желаниям всего населения, обязанность завещать отдаленному будущему столько беспокоящих проблем, все это создало для России внутренний перелом такой жестокий, что в течение нескольких лет раздавался только ужасный призыв к полному уничтожению.

Глава четырнадцатая

Моральный кризис

I. Нравы

В эволюции общества нравы обыкновенно составляют тот пункт, где новаторские и мизонеистические тенденции, стремление к прогрессу и консерватизм особенно живо борются друг против друга. И именно в эту эпоху, несмотря на все нападки, которые ему пришлось претерпеть, сопротивление старого московского духа проявилось с особенной силой. В вопросах веры религиозная реформа разделила всю страну на два лагеря, и в общем сторонники status quo не были в большинстве. В образе жизни до появления Петра Великого, за несколькими исключениями, царило полное единодушие, – если не принципиальное, то по крайней мере фактическое – в верности традиции. В сущности даже если религиозный кризис и достиг подобной интенсивности, то потому, что религия составляла часть нравов и потому, что реформа нападала еще больше, чем на элементы веры, на образ жизни.

Сравнивая наблюдения двух путешественников, собранные по этому поводу, одни в первой половине семнадцатого века, а другие в конце его, мы получаем впечатление, что образ жизни не изменился.

«Дурное воспитание, которое они (москвитяне) получают молодыми, доводит их до того, что они следуют слепо так называемому животному инстинкту. По природе своей испорченные и совращенные, они неизбежно делают свою жизнь полной постоянного ослепления и излишеств. Я совсем не говорю о фантазиях вельмож, но о самых обыкновенных расходах (sic…), где только слышишь о совершенных ими же гнусностях, или о том, что делали другие в их присутствии, причем они даже хвастают преступлениями, которые здесь были бы искуплены огнем. Более того, так как они предаются всякому разврату и даже противоестественным порокам, то тот, кто может рассказать больше об этом, считается у них самым умелым человеком. Их песенники слагают песни на эти темы, а их шарлатаны и скоморохи публично все это изображают и не стыдятся……..

…… Вожаки медведей, сопровождаемые жонглерами и марионетками, устраивают театры в один миг из простыни и в них показывают свои куклы и заставляют их воспроизводить их скотство и содомию, представляя эти мерзкие зрелища перед детьми».

Таково сообщение Олеария, посетившего Москву в 1634 году, Стрюйс последовал за ним в 1669 году и вот некоторые из его заметок:

«У них (т. е. москвитян) вид грубый и животный и если они все сильны и крепки, то походят больше на животных, с которыми имеют много общего. Народ этот родился для рабства и так привык к усталости и к работе, что обыкновенным их ложем является скамья или стол, а изголовьем солома. Их образ жизни, как и все остальное, носит естественный характер, и вы увидите отца, мать, детей, слуг и служанок у одного очага, где они производят свою пачкотню, не заботясь ни о каком благоустройства. Они по природе так ленивы, что работают лишь в крайней необходимости, или когда их принуждают к тому силою. Как все

грязные душонки, они любят лишь рабство, и, становясь благодаря смерти или доброте своих господ свободными, немедленно продают себя снова, поступают в услужение, как и прежде. При всем своем труде они питаются так плохо, что берут, где могут то, в чем нуждаются. Они охотно крадут все, что попадается им под руку, и даже убивают тех, кто стоит на их дороге. Кроме того они очень неучтивы, дики и невежественны, изменники, задиры, жестокие и так грубы в своих страстях, что содомия даже не кажется им очень большим преступлением, и они предаются ей открыто».

Эти две картины совершенно совпадают, и другие иностранные путешественники повторяют все это слово в слово.

В 1696 году Перри замечает, – но в этом он ошибся, – будто бы русские не имеют на своем языке слова для обозначения понятия «честь». «Иностранцы, писал он, обыкновенно говорят, что для того чтобы узнать, честен ли русский, надо посмотреть, нет ли у него волос на ладони. Если их нет, то он, очевидно, мошенник. У них отсутствует всякий стыд по отношению к самым гнусным делам»…

Дневник Гордона приблизительно той же даты, и он представляет собой как бы репертуар всяких гнусностей: воровства, взяток, мотовства, подделки подписей. Люди всякого звания, чиновники всякого рода конкурировали между собою в бесчестии, и сам автор дневника стал им подражать, и этот факт вполне доказывает его искренность. Мейерберг, Нейгебауер, Тектандер, Петреюс, Коллинс, Ла Невиль, Авриль, Корб, Карлайль щеголяют такими же сведениями. Петреюс говорит о бедных дворянах, которые на улицах вербовали любовников для своих жен…

Это пишут иностранцы, которых могут заподозрить в недоброжелательстве. Пусть так. Но вот Котошихин, московит, говорит нам, что присутствовать на похоронах царя чистое горе, так как рискуешь там быть ограбленным или убитым. Хотя и иностранного происхождения, Крыжанич является более чем беспристрастным свидетелем, доходя до энтузиазма во всем, что касается его приемной страны, но и он дает почти те же сведения. Как на наиболее характерные черты местных нравов, он указывает на общую лживость, грубость и дикость жителей, на ужасающее развитие пьянства и содомии qui habetur pro joco. Этим пороком даже публично хвастают, предаются ему при свидетелях.

По этому частному пункту у нас имеются впрочем документы. В то время, когда патриархом был Никон, произведенная анкета сообщила об одном факте содомии, совершенной архимандритом над поддьяконом в церкви и во время церковной службы. Возмутившиеся монахи в Соловках предъявили против своего игумена Варфоломея обвинение в таком же роде.

По поводу общей нечестности мы видели выразительное доказательство в лице самого Алексея по случаю смерти патриарха Иосифа.

Умерший был со своей стороны довольно печальною личностью, а церковь ни в коем случае не давала лучшего примера. В 1642 году протопоп Вологодского собора, Феодор, подвергся преследованию за участие в шайке разбойников. В одном письме, адресованном в 1632 году архиепископу Сибирскому, патриарх Филарет обличает большое число священников в участии в самых гнусных проступках, противоестественных пороках, насилиях.

Пьянство царило одинаково во всех классах общества. «Водка служила утехою обоих полов, каково бы ни было их положение, пишет Олеарий; во всякий час и все время пьянствовали; пили даже дети, не морщась. Наконец они к этому так привыкли, что по мере

увеличения холодов люди закладывали все свое состояние и готовы были скорее ходить нагишом, чем отказаться от вина. Женщины также не отличаются большею воздержанностью, и чтобы достать вина, они занимаются проституцией даже на виду у всех».

Секретарь посольства, посланного в Москву императором в 1676 году, Лисек, свидетель исключительный. Совершенно противореча впечатлениям всех иностранцев, он находит лишь льстивые речи по адресу официального мира и других сфер столицы: князей, бояр, чиновников, как и самого государя. Но люди из народа вызывают в нем совершенно другие воспоминания: он видел их грубыми и жестокими, ловкими и хитрыми в торговле, не возбуждающими никакого доверия: враждебными к иностранцам до того, что входили с ними в сношения крайне неохотно и предающимися пьянству до полной потери сознания. Ежедневно, читаем мы в его рапорте, мы видели на повозках трех или четырех мертвецки пьяных. Часто также мы наблюдали, как мужья лежали уже без всякого сознания, жены их снимали с себя одну одежду за другого, отдавая их за водку, и доводили себя до того, что падали совершенно нагими и мертвецки пьяными около своих мужей.

Тогда, как и теперь, этот порок являлся главного язвою страны и так же, как и теперь, по тем же причинам, показывая вид, что они борются против этого зла, ни духовные, ни гражданские власти не употребляли никаких серьезных средств для уничтожения его. В монастыри посылались циркуляры с запрещением употребления крепких напитков, но у епископов были прекрасные запасы в погребах и сам реформатор Никон напивался допьяна. Сам непьющий, Алексей любил иногда, чтобы бояре, окружающее его, напивались. С одной стороны, оказывали сопротивление старые привычки, а с другой стороны правительство не решалось ограничить потребление спиртных напитков, так как пользовалось от них большим доходом. Таким образом, шахматистов наказывали кнутом, а потребители водки пользовались на деле широкою терпимостью. Строго соблюдаемые приказы заставляли служащих во всех канцеляриях поститься на Страстной неделе и ходить в церковь ежедневно в пост. Воскресный отдых не претерпевал никаких уклонений, всякая работа должна была прекращаться в субботу вечером во время вечерни, и во все дни года было воспрещено развлекаться с паяцами и гадателями, играть с собаками, качаться на качелях и даже смотреть на луну с начала ее первой четверти или купаться во время грозы. Но и в воскресенья, и в другие дни можно было безнаказанно пьянствовать; мужчины и женщины купались вместе в общественных банях, или обменивались по выходе сквернословием с самыми неприличными жестами.

Жестокость нравов соответствовала их распущенности. Очень красноречивым указателем первой является большое число женщин, принявших монашество, чтобы избавиться от бесчеловечного обращения их мужей, запрягавших их в сохи или, избив их предварительно кнутом до крови, натиравших им раны солью! Но кроме этих варварств несчастные могли ожидать еще худшего. Убийство мужа женою навлекало на виновную страшное наказание, – погребение заживо, но закон совершенно не предвидел обратного случая. Юриспруденция впрочем иногда делала дополнения к этим установлениям, и в 1664 году мы сталкиваемся с таким случаем, когда муж наказан кнутом за то, что убил свою жену, хотя она и была уличена в прелюбодеянии. Но этот факт является исключительным.

Насилие царило повсюду. В течение всего царствования Алексея даже столица представляла собою разбойничий притон. Дома самых важных вельмож походили на притоны бандитов, так как многочисленная челядь, плоха питаемая и плохо одетая, мало

или даже совсем не получавшая жалованья, не имела другого выхода, как кормиться разбоем. Целый квартал, на Дмитровке, был почти непроходим благодаря людям Родиона Стрешнева, князей Голицина и Татьева, которые работали там, вооруженные, днем и ночью.

Зверские поступки свойственны даже лучшим, самым культурным и самым мягким людям того времени. Получив известие, что сын Ордын-Нащокина прошел через границу без разрешения, Алексей дал отцу инструкцию, предписывая ему истратить до 10 000 рублей, чтобы привести назад беглеца и, если это не удастся, то даже убить его. Человеческая жизнь ценилась крайне низко, и это презрение к жизни было общим, как для убивающих, так и для убиваемых. Один немец, Рингубер, присутствуя в 1684 году на одной из капитальных экзекуций, был поражен простотою, с которою ее производили «ohne viele compliments zu machen». Казни прямо ужасны. Продолжают допрашивать осужденных чуть не до эшафота, их снимают с колеса с переломанными уже членами, чтобы привести в комнату допросов, и все это не возмущало никого, даже самих осужденных на казнь.

Абсолютное подчинение индивидуума государству, одна из характерных черт эпохи, объясняет отчасти это явление. Индивидуум часто возмущается, вступает в борьбу с господствующей властью, но, побежденный, подчиняется своей участи и заботится лишь о том, чтобы умереть прилично и праведно, как если бы он был в своей избе. Часто осужденных приводят к эшафоту несвязанными, они спокойно кланяются присутствующим, повторяя: «простите, братцы»! Затем они сами помогают палачам. Зарытые в землю заживо, обвиненные в прелюбодеянии, женщины благодарят кивком головы тех милостивцев, которые бросали в колоду, специально предназначенные для этой цели, монеты на их погребение.

Такой же грубой и дикой является материальная жизнь народных масс, и даже более образованных классов, без следа какого бы то ни было изящества, или хотя бы самого элементарного комфорта, даже в жилищах вельмож. Крестьяне и рабочие живут подобно животным и едят не лучше последних. «Вся их кухонная утварь, говорит Стрюйс, состоит из нескольких горшков и глиняных или деревянных блюд, которые мылись один раз в неделю, из оловянной кружки, из которой они пили свою водку, и из деревянного кубка для меда, который они почти никогда не ополаскивали». Обыкновенно даже вельможи жили не иначе. Крыжанич замечает, что они правда начали заменять деревянные дома каменными или кирпичными постройками, но что внутренность их лишена по-прежнему всякого комфорта; серебряная посуда сводится лишь к нескольким чашам, глиняные горшки и деревянные блюда фигурируют исключительно на всех столах и редко чистятся. Нигде Крыжанич не мог открыть и следа той блестящей оловянной посуды, которая так часто встречалась в то время в Германии, даже в домах бюргеров. На стенах он не видел никаких украшений, кроме паутины. Перин не было, только шерсть или солома; дневная их одежда служила ночью простыней и одеялом; никакой тонкости в пище; каша, капуста, огурцы, соленая рыба, часто испорченная, служили обыкновенным меню, причем приправою им служил лук и чеснок, запах которых наполнял даже дворец царя. Крыжанич там присутствовал на парадном банкете и видел, что его посуда не была мыта по крайней мере в течение года.

На таких пирах угощение было обильное, количество яств и питий прямо огромное, но на Мейерберга это производит только отталкивающее впечатление.

«Одно опьянение кладет конец их манере пить, и никто из них не покидает стола, пока не свалится мертвецки пьяный. Во время обеда отрыжка, выходившая у них изо рта с запахом водки, лука, чесноку и репы, вместе с….. так портили воздух, что можно было

умереть, сидя вблизи них. Платки у них не в карманах, а в шапках, и так как они садятся за стол с непокрытыми головами и им лень тащиться за шапкою, то они сморкаются в руку и обтирают потом носы скатертью».

Картина, действительно, отталкивающая получается из всех этих свидетельств, полная тождественность которых исключает всякую возможность ошибки. Вдумчивый и вполне беспристрастный наблюдатель не только по свойствам своего ума, но и благодаря тягостным испытаниям, пережитым им в его приемной стране, – Крыжанич – не ограничился тем не менее одними мрачными красками, которые он сообщил своей кисти. И мы должны, без сомнения, последовать его примеру. У этого народа – дикарей, лентяев и пьяниц он прежде всего констатирует полезный дух строгой политической дисциплины. Она казалась, по его мнению, способной развить во всех классах общества чувство долга. Он заметил, что, хотя по природе склонные более грабить, чем сражаться, солдаты этой страны никогда между тем не убегали, если ими хорошо командовали, и, защищая крепости, скорее умирали с голоду, чем сдавались. Ему казалось также, что, налагая на тех же людей ряд других суровых принудительных мер, моральная дисциплина Домостроя охраняла их от сибаритства, которое наложило свой отпечаток на более свободную и более роскошную жизнь западных народов. Много путешествуя, Крыжанич не мог с другой стороны слишком пугаться некоторых черт распущенности, замеченной им в нравах этой страны, видеть в них действия исключительной испорченности. Другие страны оставили в нем на этот счет далеко не благоприятное впечатление. Посещенный в 1684 году Рингубером, европейский квартал Москвы далеко не показался этому немцу оазисом добродетели. Прибавим, что даже Париж в это время еще не был городом благоустроенным. Буало написал в 1660 году следующие стихи:

Le bois le plus funeste et le moins frequenté
Est auprès de Paris un lieu de sûreté.[48]

В Москве хорватский писатель получил тяжелое впечатление от других свойств, тормозивших развитие этого народа и причиной которых, по мнению этого автора, служат внутренние противоречия, в которых бьется его сознание. При великой простоте ума и сердца большинство москвитян отличалось чрезмерною, парадоксальною национальною гордостью. Они презирали всех иностранцев, а между тем покорно и послушно подчинялись их руководству. Ксенофобия и ксеномания доводят их поочередно до самых ужасных эксцессов. Они не знали ни в чем чувства меры, и это мешало им найти правильную середину между самой распущенной анархией и самым абсолютным деспотизмом.

Вместе с другими иностранцами Крыжанич констатировал различие уровня, очень мало заметное с материальной точки зрения, но очень чувствительное в интеллектуальной жизни, – между народными массами, предоставленными развращающему и гибельному влиянию невежества, суеверия и рабства, и аристократическим классом, уже затронутым отчасти освободительным движением цивилизации. Сам Алексей, и среди его приближенных такие люди, как Ртищев, не могли сойти за варваров, с какой угодно европейской точки зрения. Мейерберги и Карлейли едва ли могли указать на каком-либо из западных тронов государя, равного второму Романову, по величию и чистоте нравственной. Что касается Ртищева, то, будучи настоящим государственным человеком, он – этот неразлучный сотрудник царя, – был в то же время положительно святой. Конституциональный гиперболизм, констатированный Крыжаничем в темпераменте его

расы, нашел здесь поразительное подтверждение.

Этот справедливый человек один мог снискать прощение многим ужасам своей родины. Как в общественной, так и в частной жизни своей, за исключением кое-каких ошибочных суждений, это христианин, превосходивший даже евангельский идеал, так как, дойдя до полного самоотречения, его любовь к ближнему являлась в то же время деятельною и созидательною. Сопровождая государя на войну, Ртищев предоставляет свой экипаж для раненых и больных, несмотря на то, что сам больной, он с трудом держится на лошади; он устраивает военные госпитали; снедаемый болью, он председательствует при их организации, смотрит за их штатом, неизвестно каким образом находит медиков и хирургов, на которых тратит часть своего состояния. В Московии семнадцатого века он основывает Красный Крест! Потом, как следствие принятой им инициативы, он устраивает систему выкупа пленных с помощью кассы, собранной из специального налога, создает богадельню для нищих и прокаженных. Когда был голод в Вологде, он распродает свое платье, чтобы помочь голодающим! В своем завещании он рекомендует своим наследникам обращаться хорошо с крестьянами, «так как они наши братья», и уже на смертном одре в 1673 году требует, как последней радости, дать ему возможность из собственных рук раздать еще несколько подаяний! Умер он всего сорока семи лет и почти разоренный своими добрыми делами. А лучшая часть его наследства содержится в тех законодательных мерах, которые, вдохновленные им, явились после его смерти началом систематической организации благотворительности в тот момент, когда запад только вышел на эту дорогу.

Но и в этом отношении Москва семнадцатого века остается верной самой себе. Биография Ртищева является почти повторением другой, оставленной нам благочестием одного современника, описавшего в начале этой эпохи полную героической благотворительности жизнь одной придворной дамы, Ульяны Осориной, урожденной Лазаревской. Занятая целый день домашними заботами, помогая своим слугам в самой тяжелой работе и принимая их услуги лишь перед гостями, она по ночам шьет, продает свои работы, а деньги, вырученные за них, раздает бедным.

Но в начале этого века, – Ульяна умерла очень старой в 1604 г., – как и в конце его все эти высокие добродетели захватывали лишь верхушки. В низах масса, терзаемая барщиной и рабством, нищая и огрубевшая, только пассивно подчинялась невообразимой тирании действительных или воображаемых сил, тяготевших над ее судьбою. Среди насилий и лихоимства, в жертву которым она отдана своими хозяевами, среди бедствий, которые она приписывала воображаемым колдунам, существование ее представляло собою сплошной ужас. На западе процессы о колдовстве были еще часты в эту эпоху; но в 1670 году смертный приговор, произнесенный руанским парламентом по этому поводу, был кассирован по приказу короля. А тут, четырьмя годами позже, сожгли одну колдунью в Тотьме и обвинения подобного рода не щадили даже самых высокопоставленных лиц. Воспитатель матери Петра Великого явился жертвою такой подозрительности, и народное суеверие даже открыло диавола в одном бокале у чиновника департамента иностранных дел Иванова, который имел неосторожность сохранить в нем моллюска.

Возвышенный Ртищев хотел, чтобы с его крестьянами хорошо обращались, но, будучи сторонником развития образования, он не позаботился даже научить их грамоте. Вместе с ним самые преданные делу прогресса москвитяне полагали, что вообще эта роскошь является совершенно излишней. Сама аристократия владела этим искусством в довольно ограниченных размерах.

II. Просвещение

Как и пьянство, невежество было общее во всех классах до конца века, хотя уже и тогда стала прорываться пропасть, которая и теперь еще в России отделяет избранных от большой массы. Но тогда расстояние было огромно даже между этими избранниками и европейскою культурою. Иностранные наблюдатели объясняют это явление различно, указывая на корыстную роль клира, правительства и бояр. За исключением Павла Алепского, все они единогласно доказывают общее отсутствие самых элементарных знаний, даже в отношении религии. Главинич, принимавший участие в 1661–1664 гг. в посольстве барона Мейерберга, заметил, что в большинстве случаев жители этой страны знают только самые простые молитвы, удовольствуясь лишь повторением по двести раз в день: «Господи, прости нам наши прегрешения!» Спрошенные по этому поводу, они смело заявляли, что «Отче Наш» и «Богородица» дело высшей науки, которую знает лишь царь, патриарх и вельможи. В целой толпе Рейтенфельс нашел лишь одного москвитянина, знавшего, кто был Иуда.

Исчезновение в семнадцатом веке первоначальных основ школьной организации, ранее устроенной, является действительным фактом, как он ни покажется странным. В этих предоставленных самим себе учреждениях обучение также было, по-видимому, очень скудно. Там не учили даже катехизису. Ученики этих школ, впрочем, выносили оттуда некоторые обрывки из всеобщей истории, а готовившиеся стать священниками изучали кроме того Новый Завет, отцов церкви, а в частности св. Иоанна Златоуста. Но число и тех и других было крайне ограничено, так как в шестнадцатом веке по всем свидетельствам на 1000 москвитян едва один умел читать.

Эти школы были созданием приходского духовенства и были погребены в семнадцатом веке под развалинами автономных организаций, которые их создали. Некоторые историки полагают, что их воспитательную миссию взяли на себя в эту эпоху религиозные братства. Но эти братства проявляли жизненную силу лишь в тех русских областях, которые находились под властью Польши. В Москве же из научных учреждений, созданных по их инициативе, мы находим лишь школу св. Иоанна Богослова, существование которой, довольно проблематичное, было во всяком случае очень эфемерным, и школу монастыря св. Андрея, созданную Ртищевым с помощью монахов, вызванных из Польши.

Это не были, впрочем, первоначальные школы. Вместе с преподаванием риторики и философии они приняли программу школы Чудова монастыря, которая была основана Михаилом Феодоровичем и которая должна была их поглотить и послужить подготовкою к будущей Славяно-Греко-Латинской Академии, где по странному сочетанию обстоятельств должна была найти свою точку отправления к концу этого века законченная организация просвещения.

В России очень редко начинают что бы то ни было с начала. В течение этого века мы там видим математиков, из которых даже самые ученые знали лишь первые элементы. Заимствованные из Византии буквы алфавита для обозначения чисел создавали ряд трудностей в приложении их на практике. В общем употреблении приходилось ограничиваться лишь сложением и вычитанием, и Крыжанич совершенно справедливо видит в этом причину отсталости коммерческой жизни.

Заключавшиеся лишь в нескольких руководствах по арифметике, три действия, носившие название «золотой строки», считались последним словом науки. До восшествия на престол Петра Великого в Москве была напечатана лишь одна работа по элементарной математике, а

что касается геометрии, то элементы Евклида, проникшие на запад уже в начале двенадцатого века, являлись еще долго тайною для русских.

Под геометрией тут понимали точно и буквально лишь измерение земли. Способ ее приложения на основании самых элементарных принципов начальной геометрии, давал повод к самым грубым ошибкам. Смешивая самые различные поверхности, геометры того времени разрешали по-своему квадратуру круга.

Под астрономией тогда понимали только календарь. В космографии считали оракулом Козьму Индикоплавта, египетского монаха шестого века, который считал землю четырехугольной по образцу скинии Моисея. Максим Грек являлся его горячим поклонником. В царствование Алексея киевским монахам удалось разбить это учение, но они заменили его лишь астрологическими теориями средних веков, которые пользовались доверием в самой просвещенной московской среде в тот момент, когда на западе Ньютон дал системе Коперника, Кеплера и Галилея ту форму, в которой мы его теперь знаем.

Карамзин говорит, что у него в руках была московская рукопись второй половины семнадцатого столетия под заглавием: Геометрия или измерение земли, но он не дает никакого указания по поводу ее содержания. Олеарий упоминает со своей стороны о некоем Саввиче Романчикове, который, занимаясь изучением математики, пользовался астролябией. Но у нас нет ровно никаких сведений по поводу работ этого ученого, который умер преждевременной и очень трагической смертью. Встретив немилость царя по возвращении своем из путешествия в Персию, он отравился.

В области естественных наук их украинские адепты сильно боролись со знаниями византийского происхождения, относившимися к третьему веку, где серьезно рассуждали о физиологии «единорога», но они могли им противопоставить лишь тот научный багаж, который был ими собран в энциклопедиях тринадцатого и пятнадцатого веков.

Медицина, которой занимались почти исключительно иностранцы, находилась на том же уровне. Во второй половине семнадцатого века несколько аптек, устроенных теми же врачами в Москве, выпустили русских учеников и сделались очагами науки и свободной мысли. Но как их учителя, так и ученики, знали лишь очень отдаленно элементы анатомии и физиологии, приобретенные западною наукою с эпохи Везалия и Гарвея. Правда, книга Везалия была переведена в 1650 году Епифанием Славеницким, но только для личного употребления царя, и единственный ее экземпляр, кажется, так и не вышел из рук государя. Публика должна была ограничиваться руководством, переведенным с латинского в пятнадцатом веке, но составленным, вероятно, гораздо раньше, и передававшим ей те указания о лечебном свойстве драгоценных камней, в которое так верил Иван Грозный.

В 1647 году, заметив, что вода из колодцев становилась нездоровой, жители Карпова не представляли себе другого средства для предотвращения катастрофы, как добыть крест с мощами, а немного позже жители Курска обратились к Алексею с просьбою по тому же поводу.

Историография тоже совсем не двинулась вперед, пользуясь постоянно в виде источников старинными хронографами пятнадцатого века, несколько раз переделанными по «Луцидарию» и апокрифам. Киевские монахи создали более современные компиляции, хотя и проникнутые идеями средних веков. С этой целью они затронули самые древние эпохи национальной истории, прославляя их исторические события исключительно с точки зрения религии. Составленное и напечатанное в 1674 году самое древнее руководство по русской истории, названное Синопсисом, пропитано этими идеями. Эта тенденция встретилась с

другою, также развивавшейся в шестнадцатом веке под влиянием некоторых сербских ученых и имевшей предметом своим систематическое искажение фактов в политических целях. К герою христианской легенды, св. Владимиру, она присоединила, также в фантастическом апофеозе, героя имперской легенды, Владимира Великого, наследника Византии. В приказе внешних сношений занимались в то же время составлением экстрактов из иностранных сочинений, выдвигая на первое место генеалогию и дипломатию. Приложение этого метода к национальной истории создало позже Государственную Книгу, с биографиями великих князей и царей Москвы, иллюстрированную иконописцем Иваном Максимовым, и сборник, в котором в 1663 году дьяк Грибоедов пытался установить родство дома Романовых с царствующим домом в Пруссии, происходившим по прямой линии от римских цезарей.

Для того чтобы найти труд, лишенный этих странностей, нужно взять Историю России, составленную в 1727 г. князем Куракиным. Она напоминает собою Сен-Симона, но этот опыт так и остался единственным.

Главным предметом научной работы в семнадцатом веке и главным изданием того времени является грамматика. Православные ригористы не признавали почти ничего другого. Начиная с 1648 г. по 1651 г. азбука выдержала четыре издания. То был самый большой и даже единственный успех тогдашней книжной торговли. В 1648 году московская типография напечатала грамматику Смотрицкого, по оригиналу, напечатанному в Вильне в 1619 году, но это издание так и осталось единственным до 1721 года. Что касается двух других частей тривиума латинской школы, диалектики и риторики, то об этом даже не было вопроса.

Прибыв из Греции в 1685 г., братья Лихуды, Иоанникий и Софроний, первые сделали почин введения жителей Москвы в область философии. Они излагали логику и физику по Аристотелю, но учение показалось тотчас же слишком смелым, и потому навлекло на себя немилость начальников. Добрые москвитяне любили называть такие изыскания «измерением аршином хвоста звезд».

При первых Романовых особенное развитие получили старые азбуковники, ставшие из простых словариков энциклопедическими словарями и окончательно сместившие со сцены как Козьму Индикоплавта, так и византийских писателей. Они черпали преимущественно свой материал в латинской или польской литературе, пользуясь также авторитетами древности и средних веков, Плинием и Альбертом Великим.

С помощью образовательных очагов Афонской горы и Киева, это все, что старой Московии удалось получить из всего того, что она считает своим собственным фондом. Эти знания на деле получились с одной стороны из Византии, а с другой из средневековой Европы, но она действительно вновь обретает там первоначальные источники своей цивилизации и не перестает черпать их оттуда до появления Петра Великого, колеблясь, ввиду последовательного торжества то одного, то другого влияния, между этими полюсами своей эволюции: восточным и западным.

III. Две школы

Торжество церковной реформы и апелляция против Никона к юрисдикции восточных патриархов, казалось, должны были вначале утвердить главенство эллинизма. Он на самом деле надолго воцарился в религиозной области. Но греки этой эпохи, деморализованные и

огрубевшие от рабства, не были способны работать над моральным и интеллектуальным возрождением, которое давала чувствовать, как нечто необходимое, сама реформа и возбужденный ею раскол. Наука и дисциплина ученых, вроде Максима или Арсения, ограничивались мелочами в тексте или в форме, – тем, что родило раскол. Учителя этого рода главным образом старались, как мы это уже видели, по возможности дороже продать свои услуги или содействие, которое требовалось от них.

Обладая более современным знанием, киевские монахи показали себя более честными, и с первой половины семнадцатого века их отличают и в Москве, куда они переносят основание культуры, которую проводили неуклонно в своей стране Голятовские, Радивиловские и Барановичи. То была культура исключительно польская, начиная особенно с Могилы. Она пробивала дорогу более прямой ассимиляции с западом, откуда она и вышла. Алексей со своими приближенными вскоре подчинился ее все растущему влиянию. Духовник царя Андрей Савинов переписывает космографию поляка Бельского. У самого Никона были поляки среди его домашних, между ними Николай Ольшевский. С 1668 г. по 1670 г. Все работы по скульптуре, рисованию и позолоте во дворце государя производились поляками. Несколько позже роскошный отель Василия Голицина был выстроен и украшен артистами той же национальности. Польские кисти и резцы работали даже в московской иконографии. В больших московских домах, у Ордын-Нащокина, у Матвеева, воспитание детей сосредоточилось в тех же руках. Польское влияние чувствуется в эту эпоху даже в народной поэзии.

Начиная с 1649 года, школа грека Арсения нашла себе сильного конкурента в Преображенском монастыре, где завербованные Ртищевым Епифаний, Славенецкий и другие малороссы обрели большое количество учеников. Сохраняя характер исключительно духовный, ни то, ни другое из этих двух учреждений не соответствовало светским требованиям общества. Но в 1665 году белорусский беглец Симеон Полоцкий основывает школу Св. Спасителя, и там молодые чиновники департамента внешних сношений, получают светские знания, необходимые для их службы, получают потом среднее и даже высшее образование по некоторым предметам.

В 1672 году, когда Полоцкий сделался воспитателем царевича, школа эта исчезла и в этот момент опыты мирного разрешения этого вопроса вылились в проекте, который должен был в один прекрасный день создать Славяно-Греко-Латинскую Академию, а пока началом этого осуществления служила приходская школа Св. Иоанна Богослова.

Алексею не суждено было довести до прочного конца эти начатки. Обстоятельства мало способствовали этому. Консервативная партия сохраняла еще очень прочное положение, поддерживая будущий тезис славянофилов, выработанный в начале этого века Иваном Вишнею, воспрещая на основании этого принципа всякую светскую науку, как могущую уничтожить самое существование страны. Наука порождает лишь только гордость, от которой погиб первый Рим; третий должен поэтому держаться только одной веры.

Старший сын второго Романова, Феодор, не оказался более счастливым в этом отношении. В 1679 году его царствование знаменует собою скорее регресс, чем прогресс основанием новой типографии, которая, казалось, представляла собой зародыш все еще будущей Академии, в котором снова отражается влияние Греции. Вплоть до просвещенных кругов самые серьезные представители науки, малорусские или белорусские учителя, стали теперь предметом живейшей вражды. Можно при этом отметить, что они совершенно не владели той книжной традицией, которая составляла когда-то гордость московских ученых.

Самого Симеона Полоцкого считают невежественным человеком, так как он очень мало был знаком с литературою и языком греческих отцов.

Он и его соотечественники имеют, однако, право на более справедливую оценку. На деле они были, мы это знаем, лишь архаическими передатчиками устарелой культуры; они бродят в схоластических заблуждениях, почти недоступны новым течениям, совершенно переработавшим, начиная с протестантской реформы, европейский ум. У них даже нет собственного языка, так как пишут они по-церковнославянски, по-латыни и по-польски. Но части документов они остаются данниками польской литературы.

В своих богословских работах и в речах, как и в начинаниях светских, в прозе и в стихах, Полоцкий шокирует старых московитов не только употреблением форм и утилизированием источников чуждых их умственному кругозору: он берет цитаты из классической мифологии, из Св. Августина или из Беллармина. Он не только подрывает их веру католическими тенденциями, в чем его часто обвиняли. Даже с точки зрения Запада этот язык и эта эрудиция являлись уже вышедшими из моды. Малорусская группа, сорганизовавшись прочно с помощью братства Чудова Монастыря, где ей удалось создать центр интеллектуальной жизни, не была впрочем однообразна. Полоцкий представляет в ней Киевскую Академию с тем направлением, которое дал ей Могила, т. е. с ориентацией почти исключительно польскою и латинскою. Его ученик, Сильвестр Медведев, держится того же направления. Епифаний Славеницкий, напротив, предан по-прежнему более старым традициям той же Академии: эллинским и более строго православным. В этом направлении он развивает большую активность, переводя на славянский не только отрывки из Священного Писания, но также несколько светских произведений греческой литературы, трактаты по географии и истории, по политике и педагогики. Не забывая филологии, он обнародовал греко-латино-славянский словарь, другой словарь сравнительной литературы. Он безусловно более образован, чем его соперник, и некоторые из его оригинальных сочинений, как например его трактат о милостыне, с выдающимся проектом общественной помощи бедным, обнаруживают в нем благородство и большую проницательность.

После его смерти его ученик, монах Евфимий, следует тому же направленно, и еще подчеркивает в нем восточную тенденцию. Полоцкий, напротив, еще больше удаляется от нее. Учитель царских детей, поэт и драматург двора, стараясь ввести даже в литургию элементы поэзии и драматического искусства, напыщенный, наконец, проповедник, – он разменивается на занятия, которые должны в нем показаться фривольными. Он сеет в них прекрасные мысли, проповедуя необходимость образования, как главного орудия нравственного перерождения, указывая на невежество, как на главную причину раскола, нападая на самый Домострой, в той его части, где он слишком сурово трактует о домашней жизни, и особенно об отношении к женщине. Будучи священником, он на деле работает на пользу перехода к светской науки и литературе. Но к этому плодотворному семени, которое возрастет, дав полезный плод, он примешивает и довольно бесплодные и нелепые мысли, как например рассуждение о том, мог ли Христос говорить сразу же после своего рождения, или почему он был пригвожден к кресту тремя, а не четырьмя гвоздями. Он говорит о трех небесных сферах, из которых одна кристальная. Он спрашивает себя, возродимся ли мы при последнем суде с ногтями, и приходит к положительному выводу; но ногти будут обрезаны.

Во всем этом не было ничего достаточно заманчивого, достаточно захватывающего, чтобы побороть сопротивления, которые эта пропаганда латинского и польского происхождения, следовательно вдвойне подозрительная, должна была встретить в

православных и консервативных кругах. Патриарх Иоаким терпел Полоцкого лишь благодаря расположению, которым этот иностранец пользовался у государя. В 1673 году смерть украинофила Ртищева, а в 1675 крутицкого митрополита Павла, которому Полоцкий помогал в составлении речей, отняли у малорусской группы могущественных покровителей, и греческая партия взяла верх. Полоцкий вынужден был основать в Кремле частную типографию, где его издания ускользали от цензуры патриарха. Малороссами же продолжали пользоваться в качестве церковных певчих, но когда в 1681 году знаменитый проект академии стал приближаться к окончательному его осуществлению, Медведев стал думать, что не найдет себе места в этом учреждении и стал мечтать о создании другой, в которой он мог бы приложить к делу программу, принятую им в наследство от его учителя.

Вскоре между тем обе партии оказались перед лицом общего противника. То был профессор философии и богословия, Иван Белобродский, объединивший теперь вокруг себя всех непримиримых националистов, решительных врагов всякого иностранного влияния. Между ними произошло соглашение, и плодом его явилась построенная, наконец, Славяно-Греко-Латинская Академия. Там царили греки, и в статутах учреждения фигурировало даже формальное порицание уже умершему в 1680 г. Полоцкому и самому Медведеву. Но, тем не менее, программа проектируемых занятий была составлена в духи украинских идей, и Медведеву в 1685 году была предоставлена честь представить эти статуты на утверждение царевны Софии. Напротив, выбор профессоров был поручен константинопольскому патриарху Досифею, который рекомендовал братьев Лихудов.

Таким образом Москва, казалось, вернулась к традициям девятого века, возродила те отдаленные дни, когда другой иерусалимский патриарх послал ей «двух фессалоникийских братьев», чтобы приобщить ее к истинам веры. И, в общем, греческая партия господствовала в этом институте, владевшем огромными привилегиями и, между прочим, очень широким правом цензуры. Утверждение Академии стало необходимым хотя бы для того, чтобы иметь у себя на дому учителей иностранных языков. Изучение всех свободных наук было подчинено ее надзору и ее юрисдикции, которая пользовалась даже правом осудить виновных на ссылку в Сибирь или даже на костер! Эта школа обратилась в трибунал инквизиции, о чем замечает прибывший в Москву в 1689 году ученик Якова Бёме, Кольман. Завоевав себе нескольких адептов в немецком квартале, он был осужден Академией и сожжен.

С научной точки зрения это учреждение только прозябало. В старом разрушенном доме братья Лихуды нашли всего семь учеников и, несмотря на все их усилия применить Аристотеля к принципам самого чистого православия, они не избежали подозрений в ереси. То были впрочем очень посредственные ученые и, как большинство их соотечественников, главным образом искатели карьеры. Так как они учились в Падуе, то несмотря на все усилия с их стороны держаться подальше от латинизма, он вторгся в их лекции, незаметно возбудив против них законные подозрения. Чисто греческая программа высшего образования являлась в эту эпоху неосуществимой химерой. В своем возбуждении против своих противников, Медведев стал сам, чтобы погубить их, играть в игру старой московской партии. В 1694 году, наконец, константинопольский патриарх дезавуировал им же выбранных учителей. Они были отставлены, и Академия, предоставленная двум из их учеников, Николаю Семенову и Феодору Поликарпову, еще не окончившим своего ученья, доведенная до преподавания одной только грамматики, почти совсем не действовала несколько лет.

Так еще раз непримиримость защитников старого режима доказала свою бесплодность,

подготовив радикальную работу Петра Великого.

Являясь по происхождению своему греческими или латинскими, малорусскими или польскими, элементы науки и культуры, перенесенные в эту страну в тех условиях, в которых она находилась, не соответствовали самым настоятельным ее нуждам. Тут дело шло не о том, чтобы делать выбор между Аристотелем и св. Иоанном Златоустом, или Плинием и Беллармином, а чтобы завести у себя армию, флот, дипломатию, весь аппарат европейской державы; мануфактуру, фабрики, мастерские, все продуктивные ремесла Запада; жилища удобно или даже артистически устроенные как там, и поучительные или развлекающие зрелища, на подобие немецких, французских или итальянских театров, весь комфорт и роскошь цивилизованных народов. Даже такой националист, как Крыжанич, тоже хвалил преимущество западного костюма, со стороны его легкости, удобства и экономии.

Становилось ясно также, что в тех узких рамках, где так горячо боролись приверженцы Полоцкого и Славеницкого, латинисты и эллинисты, – они должны будут замениться в ближайшее время теми западниками нового типа, офицерами, инженерами, ремесленниками, коммерсантами, которыми окружил уже себя Алексей и которые сделались истинными воспитателями его родины.

IV. Приобщение к европейской жизни

Приобщение к европейской жизни должно было создаться здесь через их посредство, и прошло оно как-то плохо, вкривь и вкось, потому что старая Москва в них нашла только довольно посредственных в этом смысле учителей и людей с очень плохой репутацией во многих других отношениях. Какими мы их видим на работе, это были последние кондотьеры Европы, люди предприимчивые, деятельные, иногда очень одаренные, но всегда очень сомнительной нравственности.

Шотландец Патрик Гордон был одним из лучших, и уже по нему можно судить об остальных. Самый младший в младшей линии своей фамилии, воспитанник иезуитской коллегии в Браунсберге, он поступил в 1655 году на службу к Карлу X Шведскому и отправился на войну с Польшей. Взятый в плен поляками, он поступил к ним на службу, а когда его взяли в плен шведы, он без малейшего колебания вступил снова в их ряды. Очевидно, он был совершенно индифферентен в этом отношении и готов был продать свою шпагу кому угодно, так как в 1658 году мы его видим снова в польском лагере, а через два года он назначен майором московитов. Едва прибыв в Москву, он требует отставки, так как, по обычаю страны, вербовщик, который должен был выдать ему аванс из жалованья, вздумал удержать часть из него. Тогда вновь прибывшему объяснили, что, уходя, он рискует не попасть ни в Польшу, ни в Швецию, а добыть себе паспорт в Сибирь. Он решает тогда остаться, и в области пьянства и палочных ударов, раздаваемых своим высшим и низшим служащим, он вполне освоился с обычаями страны. В этом отношении он взял на себя роль инициатора, и его соотечественники усиливают скорее, чем ослабляют порчу местных нравов.

В других областях те, которые таким образом учат его жить, не много могут усвоить от этого иностранца. Он видел войну, и у шведов по крайней мере прошел хорошую школу, но ни приобретенная им опытность, ни его природные способности не сделали из него мастера этого искусства. Впрочем, бессильные понять его настоящие способности, его новые хозяева требуют от него других, ему несвойственных, как например инструкторской роли, поручая

ему обучать солдата управление копьем и мушкетом!

Результаты, полученные с помощью вывезенных из заграницы мануфактуристов, оказались не лучше, почти ничтожными в деле национального воспитания, по различным, но одинаково решительным причинам. Приток этих инициаторов увеличивается. По соседству с Олонецом, один голландец Денис Ховис, начинает эксплуатацию медной руды. Два предприятия того же рода поручаются очень предприимчивому и богатому Пьеру Марселису, датского происхождения, у которого были также железные кузницы в окрестностях Тулы, конкурировавшие с кузницами устроенными одним немцем Тильманем Акемой, в окрестностях Калуги. Таким же образом возникли фабрики пороха и селитры, стеклянные заводы.

Француз Миньо управлял стеклянною фабрикою, существовавшей на личные средства государя. Еще один немец, Ганс Фальк из Нюрнберга, организовал в Москве литейню пушек и колоколов. Но технический персонал их был, как и они сами, исключительно иностранного происхождения.

Если они и утилизируют кое-кого из туземных рабочих, они стараются скрыть от них самый процесс фабрикации. И довольно долго им это удавалось без особенного труда. Крыжанич, действительно, сделал такое наблюдение, что одаренные большою сметливостью и такой же способностью все быстро усваивать, русские, в их сношениях с иностранцами, колебались между почти суеверным уважением к знаниям этих своих учителей и таким же к ним недоверием, заставлявшим их быть с ними настороже. Они смотрели на них как на колдунов и были склонны думать, что могут больше потерять, чем выиграть от их выучки. Тут рискуешь прежде всего скомпрометировать ту чистоту веры, которой Москва сделалась ответственной хранительницею, и в глазах диакона Феодора различные попытки запада войти в сношения с третьим Римом граничат с усилиями злого духа установить свое царство в очаге истинной христианской веры!

Некоторые продукты западной литературы, широко распространенные в эту эпоху, способствуют сами распространенно подобных идей. Из чтения одной «космографии», переведенной для их обихода, – москвитяне узнают например, что в третьей части света отданной сыну Ноя, Иафету, называемому здесь Афетом, люди очень ученые и очень искусные во всех отраслях промышленности, устроили многочисленные школы, большая часть из которых находится в Галлии, в городе, называемом Парижем. Там долго изучали все науки, грамматику, философию и астрономию. Но однажды 80 000 учеников возмутились против государя, по подстрекательству папы, и все они были убиты в один час. И в то же время, верная некогда истинной православной вере, эта страна была охвачена всеми родами ересей, между прочим среди других ересью Кольвина (sic) и Мелентова (Меланхтона).

Способы, употребляемые для набирания экзотических воспитателей, способствуют такому направлению умов. Они не руководятся никаким методом, и серьезные занятия у них перемешиваются с самыми фривольными стремлениями. Посланный в 1675 году заграницу с миссией подобного рода, голландец Ван-Стаден был уполномочен привезти оттуда рудокопов, трубачей и комедиантов. И на деле западная цивилизация стала проникать и прививаться в центре старой Московии прежде всего и особенно при помощи развлечений. Если Петр Великий и мог хвалиться, что он ударом топора пробил окно в Европу, то слуховое окно было уже проделано в нее до него, и чрез него прошел европейский театр. Посредством этой первой бреши, проломив строгие рамки Домостроя, новые идеи и нравы проникли до нерушимой ограды терема, как струя свежего воздуха, как оживляющий и

будящий свет. В той парадоксальной кривой, которой следовала здесь интеллектуальная эволюция, Славяно-Греко-Латинская Академия предшествовала устройству первоначальных школ, но комедианты появились еще раньше, чем академики.

Они также пришли из заграницы. Под тяжестью режима, основывавшегося на беспощадном отрицании всякой независимости в области искусства, как и в области мысли, сам Табарин не мог найти в этой стране дерева для своего балагана. Шутки скоморохов, шуточные фарсы вожаков медведей заключали уже в себе некоторые элементы национальной комедии; принципиально запрещенные, часто преследуемые, находясь постоянно под строгим наблюдением, они не доставляли материала для оригинального искусства, способного развиваться.

V. Развитие литературы

С 1660 года, Алексей был живо заинтересован описаниями, которые, по возвращении из Италии и из Польши, делал ему обо всем виденном им при посещенных им дворах – его посланец Лихачев. Занявшись несколько позже и быть может под влиянием других впечатлений, полученных из этого же источника, украшением своей резиденции в Коломенском, государь, кажется, попытался воспроизвести там сценические феерии Флоренции и Варшавы. Присутствие при нем очень строгой Марьи Ильинишны между тем являлось препятствием для осуществления таких стремлений. Но в 1668 году Потемкин привез, на этот раз уже из Франции, еще более заманчивые сенсационные новинки. Он видел представление «Ударов любви и судьбы», с чудесною переменою декораций и поразительным балетом. Он присутствовал на представлении Амфитриона, данном Мольером с его труппой, и был охвачен полным восторгом, особенно, следует думать, благодаря некоторым интермедиям, о которых Рифмованная Газета упоминает таким образом:

La troupe où préside Molière
Par une chère toute entière
Leur donna son Amphitrion
Avec ample collation,
Pas de ballet et symphonie
Sans aucune cacophonie.

Амфитрион удостоился вскоре чести быть переведенным на русский язык и, хотя Лихачев в своем рапорте благоразумно не упоминает ни о Мольере, ни о его произведении, распространяясь только об упражнениях в вольтижировке, устроенных в его присутствии в Сен-Жерменском парке, но уже близок был момент, когда его государь мог свободно предаться своим давнишним желаниям. В январе 1672 года живая и веселая Наталия Нарышкина вошла в Кремль, и к концу того же года, за несколько месяцев до рождения Петра Великого, немецкие комедианты устроились уже в Москве.

Предполагают, что воспитатель Наталии Матвеев вызвал их, но он не посмел бы это сделать без согласия царя. Увидев их представление в доме своего любимца, Алексей пригласил комедиантов играть при его дворе. Их появление не возбуждало беспокойства, так как режиссер труппы, Иоганн Годфрид Грегори, соединял свои функции с должностью пастора в европейской слободе! Но государь все-таки еще несколько смущался на этот счет.

Пусть уж комедия, но музыка! Церковь особенно осуждала скрипки и флейты, считая их диавольской выдумкой. Комедия? Грегори вероятно еще не осмеливался поставить на сцену пьесы, сюжеты для которых были взяты из Священной Истории и которые он играл уже в Германии. Церковь считала бы это святотатством! Для начала у него были в программе лишь дивертисменты, между которыми фигурировал поющий и танцующий Орфей между двумя движущимися пирамидами. Но как танцевать или петь без музыки? Алексей кончил тем, что уступил, и Наталия сыграла в этом, конечно, некоторую роль. Она присутствовала на спектакле в ложе, закрытой решеткою, и уже это было целою революцией.

Такое событие произвело, конечно, скандал, но спустя немного великий пост прекратил все светские удовольствия. Этот дебют ничего не обещал. Но между тем то, что последовало за этим, трудно было предвидеть. В июне 1673 года, обрадованный рождением сына, царь приказал выстроить специальную залу, где давали Есфирь еще до появления пьесы Расина. Сюжет ее представлял некоторую аналогию с романической интригой, которая возвела на трон дочь Кирилла Нарышкина; следует допустить, что это сходство предопределило выбор, или даже служило главным мотивом составления пьесы, автором, которой мог быть Полоцкий, и отсюда видно, какие горизонты открывались зарождавшемуся искусству таким смелым вторжением в область современности. Эта страна всегда была родиной гипербол.

Из предосторожности новая зала была заложена в селе Преображенском, в будущей колыбели всех реформ Петра Великого; но в следующем году вторая зала была устроена уже в самом Кремле, и отныне спектакли сменялись в этих двух залах, смотря по сезону, с правильными промежутками. Переносили из одной в другую декорации, нарисованные Энгельсом; Грегори сформировал учеников, набранных сначала среди прихожан слободы, он не боялся больше воспроизводить здесь свой обычный репертуар, уже давно популяризированный в Польше: Товит следовал на сцене за Есфирью и Юдифью; возмущение национального или религиозного чувства понемногу затихало. Театр одержал верх.

В Польше представления этого рода, победоносно бравируя оппозицию клира, относятся к двенадцатому веку. В более близкую эпоху они приняли форму «диалогических сцен», составленных по образцу старинных немецких мистерий с тем же господством комического элемента. Когда иезуиты приняли этот репертуар для своих коллегий, он проскользнул этим путем в киевскую академию Могилы и был очень близок Полоцкому и его украинским собратьям. В Преображенском или в Кремле он сохранял тот же средневековый колорит, но подчеркивая комическую сторону для зрителей, которых расхолодил бы их прежний серьезный стиль. То был комизм довольно грубый, как и следовало ожидать: перед трупом, например, Олоферна, служанка рассуждает о затруднении, в котором должен был очутиться вождь, когда увидел, что Юдифь уносит его голову. Пораженный в затылок лисьим хвостом, как пьяный монах при допросе Аввакума, солдат воображает, что ему отрубили голову и поэтому начинает бесноваться. Язык этих глупых шуток пестрел тривиальными выражениями и обычно был так затемнен, что становился непонятным.

Ни по форме, с другой стороны, ни по существу своему этот репертуар не являлся здесь результатом национального духа; он даже не был связан с теми символами Священной Истории, которые вводила иногда в свою службу национальная церковь, сопровождая их диалогами и соответствующими песнопениями. Представляя собой некоторое сходство с западными мистериями, эти священные драмы отличались от них между тем и своим духом и своим стилем, сохраняя всегда ритуальный характер. Этот театр, в тех условиях, при

которых он был насажден на берегах Москвы-реки, не представлял собой ничего народного и не обращался к народу. В начале он являлся лишь развлечением для двора, привилегией царя, его семьи и его приближенных. Подражание иностранным образцам в них было абсолютно рабским, обнаруживая лишь в нескольких чертах влияние окружающей среды. Но это не могло долго продолжаться. Вскоре, – и очень быстро, если считаться с теми волнениями, которые после смерти Алексея временно уничтожили интерес, возбужденный к этой сфере в московской публике, – национальный дух завоевал себе в них место. К концу века уже попадаются типы, взятые из местной жизни, в драматических произведениях Св. Димитрия Ростовского, а несколько лет спустя появляется одна трагедия, берущая свой сюжет из самой истории страны.

На определенной ступени умственного развития народы подобны малым детям: их можно заинтересовать, научить чему-нибудь и возбудить в них работу ума лишь посредством образов. Театр в Преображенском и в Кремле и был именно такою книгою изображений, сначала открытого перед замкнутым кругом избранных лиц, но не преминувшей распространить дальше свое возбуждающее и воспитательное влияние. Об этом свидетельствуют в ту эпоху литература страны и тоже ее народная поэзия.

В семнадцатом веке народная поэзия занимает еще в русской жизни довольно значительное место. Она охватывает два отдела: один светский, связанный с эпическим циклом Киева и переносимый из одного места в другое странствующими скоморохами, и другой, религиозный, черпавший свое вдохновение в христианских легендах на почве апокрифической, привитой переводами с сербского или с болгарского; посредниками здесь являются нищие, слепые, калики, как их здесь называют. Церковь одинаково их преследует и, так как в конце этого века почти совершенно исчезают барды первого типа, то их соперники смешивают оба репертуара, делая из Ильи Муромца святого, а из Соломона героя былины.

Дружинник Владимира между тем продолжает оставаться любимцем публики и все более обращается в казака. Часто он именно так квалифицируется и, уже игнорируя хронологию, его определенно называют «донским казаком». Он принял даже все характерные черты последнего: так, разгневанный за то, что его не пригласили на пир, Илья стреляет из своего мушкета в чудотворные иконы; он хочет убить Владимира с женою, и всегда является представителем вековой борьбы между кочевым и воинственным населением степи и оседлым и трудолюбивым населением деревень и городов. Он меняет лишь свое имя, не изменяя своего характера, и как Ермака начинают считать племянником Владимира, Илью заставляют сражаться в качестве есаула в шайке Стеньки Разина.

Но вот, пройдя через горнило польской литературы, другие исторические фигуры входят в область народной фантазии. «История Трои» Гвидо Мессинского появляется в русском переводе: уже устарелый для Запада, рыцарский роман сделался предметом легкого чтения в высших московских сферах, и под названием Бовы Королевича, Буово д'Антона, нашел себе страстных поклонников.

Несмотря на господство византийского элемента, римское влияние всегда чувствовалось в литературе страны, но теперь оно взяло верх. Местный поэтический фонд был им обесценен в то самое время, как движение против суеверия в борьбе с расколом пробило брешь в эпопее на почве чудесного у национальных поэтов. Чувствуется необходимость ввести в нее историческую правду, реалистическое течение бродит в умах, поэзия теряет свое значение перед прозою, и роман наследует театру.

Несколько местных писателей уже пробовали им заняться. Со второй половины этого века всюду циркулировали анекдотические рассказы, фантастически обрисовывающие факты и личности, близкие к еще живой современности. Не достигая своего образца, эти сказки однако напоминают собою Декамерон. В них чаще всего выведен Иван Грозный. Странствуя по своему государству в переодетом виде, подобно второму Гаруну Аль-Рашиду, он получает в подарок от крестьянина, для которого он остается незнакомцем, пару грубых лаптей и брюкву. Царь надевает лапти и, заставив всех бояр носить такие же, богато одаряет находчивого мужика. После этого один из бояр думает снискать милость государя великолепною лошадью, надеясь получить награду, соответственно подарку, но царь дарит ему в обмен сохраненною им брюкву. В другой раз мы видим Ивана Грозного уже в обществе разбойников, которым он поручает ограбить одну из государственных касс, как это делают экспроприаторы нашего времени. Но эти личности в семнадцатом веке оказываются, однако, более совестливыми. Один из них ударяет царя по лицу, говоря, что бесчестно грабить государя, которым не нахвалятся бедняки. Совсем другое дело нападать на бояр, которые сами обогащаются, грабя своего государя.

Эта морализующая тенденция, таким образом выраженная, совершенно чужда Декамерону, и она связывает эти произведения с местной народной поэзией, где она всегда появлялась. Примером этому служит знаменитая Повесть о Горе-Злосчастьи, открытая в 1856 году Пыпиным и много раз издавшаяся с тех пор. Хотя и начиная с сотворения мира, эта поэма является лишь переделкой басни о моте, приспособленной к местным вкусам, благодаря символической фигуре Горя-Злосчастья, олицетворения духа зла, злого ангела или демона. Здесь следует отметить типичную черту: моральное падение и материальные лишения, в которые попадает герой рассказа, благодаря внушениям своего фатального товарища, имеет источником своим – пьянство. Здесь оно представляет собой главное зло, и Аввакум в своих опытах толкования Священной истории отождествлял даже первородный грех с пьянством. Не заключая в себе никакого указания ни на дату, ни на место, эта поэма по языку и по ходу рассказа, может быть отнесена ко второй половине семнадцатого века.

Как и сказки в прозе, относящиеся к тому же времени, она не дает места любви. Домострой не знал этой области наслаждений. По тем идеям, которыми он вдохновлялся, женщина являлась низшим существом во всех отношениях и по существу своему развращенной. Один из сборников этого времени Пчела, трактовавший об этой теме, ограничивается лишь обсуждением вопроса о том, на чем следует остановиться в своем выбор: на неприятностях, сопряженных с жизнью с дурной спутницею жизни или на трудностях, с которыми связала необходимость – от нее отвязаться. Автор ее, кажется, и не допускает, что можно встретить добрую и милую женщину. И чем, кроме того, женщина может нравиться? По духу Домостроя, самая ее красота, если она ею обладает, является ее главным недостатком. Уродливая, она менее соблазнительна, ее и следует предпочесть. Это одна из причин того, почему рыцарский роман, принявший на западе артистически утонченный вид у Боккаччо, Сервантеса и Шекспира, сохранил здесь самую примитивную и самую грубую форму.

Судя по некоторым мелочам, по прологу об Адаме и Еве, по заключительной молитве, Горе-Злосчастье входило, таким образом, само в репертуар калик. С другой стороны в нем можно найти черты сходства с Мейером Гельмбрехтом Wernher'a Gaertner'a – этой пасторалью четырнадцатого века; как в фигуре злого духа, тяготевшего над участью героя, выражаются здесь демонологические теории западного средневековья. Очень неискусная и

особенно устарелая копия! Но несколько позже тот же литературный фонд дает нам «историю Саввы Грудцына» и здесь мы неожиданно встречаемся с произведением, если не совсем оригинальным, то по крайней мере развитым очень свободно на заимствованной им канве и почти совершенно свободным от традиционных формул. Савва уж больше не миф и не экзотический герой. Он вырос на настоящей московской почве и, капитальная новость, он влюблен! Возлюбленный жены друга своего отца, он ее оставляет и за это наказан. Красавица дает ему сначала снадобье, которое вновь воспламеняет его любовью к ней, а потом выдает его обманутому мужу, так что герой является заодно и более влюбленным, чем когда-либо, и разлученным с предметом своей страсти. Желая обрести снова потерянное, он отдается диаволу, и Сатана, приняв вид его родственника, соглашается служить ему за расписку, по которой влюбленный должен заплатить значительную сумму, но отдает ему действительно свою душу. Как всякий истинный московит, Савва не умеет читать. Несмотря на все сходство положений, которые нетрудно тут узнать, в этом герое нет ничего общего с виртембергским доктором немецкой легенды. Он сын купца и солдат. Сопровождаемый своим Мефистофелем, сдержавшим слово и вернувшим ему его возлюбленную, Савва принимает участие в войне с поляками и покрывает себя славою под стенами Смоленска. Пули не могут пронзить его, и воды Днепра расходятся и дают ему возможность пройти. Но после того, как его узнают, его отсылает домой в Великий Устюг генерал, который не хочет, чтобы сын богатого купца собирал лавры, предназначенные для более бедных людей. Любопытная иллюстрация демократических идей, появившихся здесь в определенных кругах. Получив отставку, Савва заболевает от печали и зовет к себе священника. Но тотчас же комната, где он лежит в последней агонии, наполняется демонами, и среди них Мефистофель, сняв с себя маску, представляет умирающему документ, под которым он имел неосторожность поставить крест. Савва впадает в безумство и видит Богородицу, обещающую ему прощение под тем условием, что он сделается монахом. Придя в себя, Савва повинуется ей и находит себе спасение и мир душевный.

Старина захватывает снова свои права в этой развязке, но это уже последняя победа. От него не остается и следа в приключениях, сообщенных в 1680 году о русском дворянине Фроле Скобееве и Аннушке, дочери стольника Нардына. Нардын – это Ордын-Нащокин, и здесь мы имеем уже дело с законченным романом, без всякого аскетизма или дидактического направления. Этот рассказ скорее не моральный или вернее аморальный. Молодой дворянина из Новгорода, одаренный вместо всего иного большим талантом интриги, обращает свое внимание на дочь богатого стольника. Не добившись того, чтобы понравиться ей, он подкупает кормилицу, увозит наследницу и женится на ней. Желая утишить гнев отца, он старается перевести на свою сторону одного из приятелей последнего, и так отлично устраивает свои дела, что стольник, все еще считая его отъявленным негодяем, принимает его в свой дом, отдает ему одно из своих имений и кончает тем, что завещает ему все свое состояние.

Теперь мы уже далеки от Домостроя. Рассказанное с большим жаром, это галантное, и пикантное приключение отодвигает нас от него на сто верст. Аскетический принцип отречения от мира заменяется в нем радостью жизни, стремлением к материальным наслаждениям, практическим умом честолюбца. Но и этот второй идеал также не высокой пробы. И в силу постоянного гиперболизма, управляющего в этой стране всеми явлениями, мы попадаем с головокружительной высоты в пропасть. Как у Фрола Скобеева, так и у Саввы Грудцына, самая любовь, чисто чувственная, не облагорожена ни малейшим намеком

на чувства, а прекрасная Аннушка только рабыня или одалиска, вырвавшаяся из терема. Но во всяком случае эта крайняя тривиальность имеет все же больше значения, чем излишек противоположного, так как, будучи более близкой к человеческой природе, она является и более плодотворной. И действительно, первая четверть следующего века не прошла без того, чтобы из этого грубого натурализма не вырос более нежный цветок, и чтобы, введение в литературу лирического и сантиментального элемента, уже выраженного на западе Данте, реализованного Петраркою, не сделалось и здесь совершившимся фактом.

Под скрывавшею их старою и грязною оболочкою, Савва Грудцын и Фрол Скобеев уже объявляют и приготовляют расцвет, ибо тем способом, как они представлены были русской публике, они в виде мощного ростка дали ей образчик до того неведомого искусства. Эти рассказы отличаются живостью и составлены очень талантливо. Остальное должно было явиться в свое время.

VI. Искусство

Западное искусство стало теперь зарождаться под всякими формами, во всех направлениях на почве, так долго остававшейся бесплодной благодаря византийской культуре. Хотя Аввакум и обвинял Никона в том, что тот покровительствовал западной живописи, «так преступно сходной с природою», но этот последний направлял еще остатки своей энергии против новаторских тенденций, вторгавшихся даже в священную иконографию, и Собор 1667 года подписался сам под анафемою патриарха. Но все было тщетно! Вкусы публики одержали верх над постановлениями церкви и такие известные художники, как знаменитый Семен Ушаков, для удовлетворения вкусов своих заказчиков должны были разделить свою кисть между православными канонами и итальянскими моделями. Михаил Феодорович уже принял к своему двору немцев и поляков, живописцев светских картин и портретов. В царствование его сына, у них уже были русские ученики, которые гораздо смелее напали на незыблемую святыню византийских типов. В мастерской Семена Ушакова разгораются диспуты по поводу кающейся Магдалины, неотразимые прелести которой заставляют отплевываться от отвращения сербского архидиакона, Ивана Плесковича. На почве таких противоречий просыпается критический дух, и само религиозное чувство обновляется им. Новаторы блуждают еще в мелочах, но отвергнутое византийское влияние оказывало еще свое действие, – хотя они этого и не замечали, – от которого они не могли уберечься. Так, в традиционном изображении рождения Христа Богоматерь изображается в кровати. Разве это не ошибка, спрашивали они себя, раз родовой процесс у Богоматери должен был пройти совершенно безболезненно? Но один из друзей и соперников Ушакова, Иосиф Владимирович обращается к нему с посланием, в котором, защищая новую эстетику, осмеливается назвать варварским эстетический канон Стоглава. И итальянская школа снискала себе такое почетное место, что под руководством грека Николая Спафария была приготовлена к напечатанию в 1671 году по приказу Алексея «Книга Сивилл». Лица, даже наиболее преданные культу прошедшего, были возбуждены этими нововведениями.

Как спектакли, на которых присутствовали московские посланцы при иностранных дворах, их также поразил и привел в восторг виденный ими блеск западных дворцов. И таким образом другое искусство, пришедшее из Италии, развившееся во Франции, заявляет свое право на участие в переустройстве древней Москвы, Алексей и приближенные к нему

вельможи, не удовольствовавшись одним украшением и меблировкой своих жилищ на европейский манер, принялись еще украшать их роскошными цветниками. Они выписывают из заграницы садовников и получают за большие деньги редкие растения.

Все это движение увлекает за собою настоящим образом лишь очень небольшое число избранных лиц, а рядом с ними оставалась все еще нетронутою вся масса устаревших привычек и предрассудков. Для того чтобы их разрушить тем путем, каким это произошло на западе, между тринадцатым и четырнадцатым веками, не хватало религиозного чувства, которое могло бы развить здесь достаточную силу: оно было сильно лишь в недрах раскола, откуда всякая мысль об искусстве была изгнана. Оставаясь еще в рамках древности, благодаря близкой связи с нею, сторонники прогресса не могли сами совершенно освободиться от нее. После Книги Сивилл, Алексей отдает приказ в 1676 году сделать новый перевод Великого Зерцала, этой компиляции материалов, заимствованных из тринадцатого и четырнадцатого века, с яркой аскетическою тенденцией.

Этот расцвет искусства, экзотического по своему происхождению, аристократического в своих первых проявлениях, изолированного в кругу общества невежественного во всех отношениях, – представлял собой тепличное растение, заставлявшее лишь чувствовать сильнее общую дикость той среды, в которой оно возникло. Заводится театр, начинают писать романы, устраивают картинные галереи, а между тем остаются, как и прежде, оторванными во всех других отношениях от цивилизации, которая принесла всю эту роскошь. Желание более тесного сближения увеличивается благодаря этому, но нет еще никаких средств к его достижению, и отсюда получается жалкое впечатление.

Впечатление это еще усиливается в момент смерти Алексея перед очевидностью экономического и нравственного ничтожества, которое было замаскировано внешностью этого почетного царствования. Нужно было более радикально разделаться с вековой рутиной. Но как? Неизвестно. Для того чтобы взять на себя инициативу в этом направлении, социальные классы слишком слабы, слишком чужды один другому, слишком разделены радикальным антагонизмом идей, инстинктов, интересов. Правительство не менее смущено. Неспособное наметить путь или удержаться на нем, оно делало вид, будто просит народные массы сообщить руководящую линию поведения, которую оно будто бы хочет от них получить. Оно выслушивает все пожелания, собирает все петиции, показывает себя расположенным принять все рекомендованные им меры, но вызывает этим лишь полный хаос противоположных мнений. Оно созывает соборы, но ему не удается добыть на них какого-либо большинства за ту или иную определенную программу.

Таким образом создалось положение вещей, воспроизведение которого мы видели в более близкой к нам эпохе, заключавшее в себе настоятельную необходимость революции, при радикальной невозможности ее осуществить.

VII. Революционный дух

Крыжанич, русский по духу и убежденный, восторженный поклонник своей новой родины, может служить иллюстрацией к этому болезненному кризису. Родившись около 1618 года в очень благородной, но очень бедной хорватской семье, жертва бедствий, созданных в его родной земле чужеземным господством, он был доведен, как это и теперь бывает со многими его братьями по расе, до убеждения в необходимости соединения всех славян против общего врага, остающегося тем же и теперь, и ему казалось, что большое

северное государство призвано служить центром общего союза. Будучи первым апостолом панславизма, после посещения Москвы в 1647 и 1650 годах в качестве прикомандированного к посольству, он в 1659 году возвращается в нее для того, чтобы работать в том же направлении.

Подчинял ли он это дело, как это предполагали, какой-либо высшей цели религиозного порядка? Утверждать это, кажется, было бы слишком смело. Подробности, сообщенные им о его встрече с Аввакумом, не обнаруживают в нем очень горячего рвения к католическому прозелитизму. «Гениальный дилетант», как его назвал один из его биографов, богослов и полемист, но также и главным образом, грамматик, историк, географ, этнограф, социолог, экономист, финансист, музыкант, философ, – он занимался слишком многим и притом главным образом светскими делами, чтобы какая-либо господствующая мысль в этом роде могла руководить его делом.

После более продолжительного пребывания своего в Москве он должен был однако увидеть, что то доверие, которое он оказывал этой стране, даже в смысле защиты одного только славянского дела, было по крайней мере преждевременно. Он должен был убедиться, что еще до того, как играть роль первой скрипки в антигерманской конфедерации, России нужно было переждать подготовительный этап чисто революционный, в смысле ряда радикальных реформ в идейном и нравственном отношениях, в политической, социальной и экономической организациях.

Он не скрыл своих убеждений, и это прямодушие стоило ему ссылки в Сибирь. Большая часть из его сочинений была составлена в Тобольске, где он прожил пятнадцать лет. В том числе его Политические мысли, которые вместе с неосуществимой программой будущего заключают для настоящего итог полного банкротства. Актив в них заботливо выведен, но несмотря на все усилия защитить его, о чем мы уже имеем представление, пассив приводит его к констатированию ужасающей бедности.

– Как мы могли бы не быть жалкими, – пишет Крыжанич, храбро отождествляя себя со своими новыми соотечественниками, – когда даже язык наш недостаточно удовлетворителен, чтобы выражать идеи цивилизованного мира? Наш язык беден, как наша мысль, и так же мы чувствуем. В нас нет естественного мужества, ни законной гордости, ни благородных порывов, ни сознания своего достоинства. Благодаря нашим нравам мы служим позором для всей Европы, потому что мы обнаружили в себе склонность к воровству, к убийству, к бесчестию во всех наших отношениях, к распущенности во всех наших действиях. – Сделав такое плачевное признание, Крыжанич доискивался причины подобного положения вещей и находит ее в отсутствии всякой свободы. Он повсюду видит солдат, полицейских, доносчиков, приставов, – словом целую армию, занятую исключительно тем, чтобы препятствовать людям делать, что они хотят. Поэтому все привыкают жить скрытно, укрывать от нескромного взгляда свои поступки; и, не выгадывая от этого ни в отношении нравственности, ни в отношении чести, общество теряет от этого всякую возможность утилизировать самые благородные свои порывы. Недостаточно хорошо вознаграждаемые кроме того местные власти не имели других средств к жизни, как принимать самим участие в преступлениях, которые они призваны были искоренять, и грабить воров. Такая организация представляет собой лишь взаимный договор грабежа.

А лекарство? Необходимо перестроить до основания все политическое и социальное здание. Но кто возьмется за это? Хороший пророк во всем, что касается семнадцатого столетия, а быть может и более близкой нам эпохе, Крыжанич не полагается в данном

случае на самих москвитян. «Они не захотят сделать добро, пока их к тому не принудят». К счастью для них у них есть провиденциальное орудие необходимых реформ – это самодержавие. Без него и вне его нет спасения.

Но каковы должны быть эти необходимые реформы? Программа Крыжанича выдвигает четыре главные меры, которые, довольно плохо согласуясь между собою, довольно странно кроме того противоречат его руководящей идей об антигерманском панславизме. Он хочет развития просвещения, но, сам писатель, он питает странное презрение к «мертвой букве книги». Он стремится привить широкое техническое воспитание и, враг немцев, он считает лишь их, инженеров и ремесленников, годными быть учителями его соотечественников по родине, в которой он нашел себе приют, и надеется лишь на их капиталы для развития в московской стране промышленности и торговли. Он объявляет себя сторонником политической свободы, административной автономии классов, но в то же время видит в государе и его самодержавной власти источник и необходимое условие всякого прогресса, в самой педантической регламентации – единственное средство его реализовать и, наконец, в расширении права петиции, в прямом обращении к тому же государю – единственное средство против всех злоупотреблений.

В общем ее духе, если не в подробностях практического ее приложения – это почти программа другого панслависта, Ордына-Нащокина, т. е. та именно, которую Петр Великий употребил в дело, с ее парадоксальной идеологией и внутренними ее противоречиями. Но за исключением одной ее черты, обнаруживающей окончательное истощение социальных сил, это программа всех мятежей, известных в этой стране с XVI-го века: революция за царя, но на этот раз устроенная также царем против всех, кто разделял его авторитет.

И Крыжанич не один думал так, хотя он один осмелился написать это. Если присмотреться поближе, это общее чувство. Довольно ясно, хотя и не совсем понятно, оно выражается во всех коллективных или индивидуальных манифестациях московского ума на этом повороте национальной истории. Опрошенные об их положении, податные крестьяне заявляют себя «сиротами царя» и говорят, что они ожидают от него облегчения наложенных на них тягостей. Спрошенные о мерах, необходимых для улучшения состояния страны, служилые люди отвечают, что они «рабы царя» и ожидают лишь его приказаний. Здесь мы очутились в каком-то заколдованном кругу и до Петра Великого из него невозможно найти выход.

Что касается Крыжанича, помилованного в 1676 году сыном Алексея, после новой попытки не изменения условий местной жизни, но только приспособления к ним, он пришел в полное отчаяние и отправился в Польшу, чтобы поступить там в орден Братьев Рыбарей. Он добровольно на этот раз сам отправился в изгнание, и он не единственный, которого постигла такая участь.

Мы знаем уже о приключении сына Ордына-Нащокина. Как и этот молодой человек, вкусивший заграничного воздуха, не один русский с тех пор стал задыхаться в атмосфере своей страны. Таков был случай с Григорием Котошихиным, который, служа в приказе внешних сношений и стоя на пороге блестящей карьеры, отказывается от нее и в 1664 году переходит границу, желая избежать мести одного начальника, которому он отказал в соучастии в низкой интриге, или просто чтобы, развить свою сознательность. А может быть он скрылся, желая избежать риска быть вторично наказанным кнутом, как это случилось с ним в 1660 году из-за какого-то незначительного проступка.

В Польше, и позже в Швеции, где его ожидала трагическая смерть, он составляет в свою

очередь очерк политической и социальной среды, в которой он не мог жить, и приходит почти к тем же выводам. Сеть произвола, жадности и грубости, убивающая все жизненные функции, дикая роскошь в верхах, ужасная нищета в низах, одинаковая испорченность повсюду, все это создавало невыносимый режим.

Между всеми мыслящими людьми это было общее мнение. Одни бегут, другие ссылаются, все сходятся в одном, – что все это не может продолжаться таким образом. Некоторым придворным удается скрыть свое внутреннее возмущение под видом внешнего подчинения, как, например, князю Николаю Ивановичу Одоевскому. Увлекаясь всеми новшествами, не исключая самых смелых из них, ему удается, однако, без затруднения просуществовать, занимая высокие должности в течение трех царствований: Михаила, Алексея и Феодора. Он представлял собой характерный тип боярина этой эпохи, определенный продукт московской политики, материального и нравственного выродка без всякой связи ни с традициями своей семьи, уничтоженными иерархией рангов, ни с почвой, не бывшей уже больше его родиной, ни с маленьким мирком своих крестьян, представлявших для него лишь скот в образе человеческом, тип социального отброса, в котором олицетворяется полный разрыв между аристократией и народом на развалинах древней патриархальной организации этой страны, и в котором обнаружились первые результаты общего распадения органических элементов, являющегося еще и теперь существенным препятствием ко всякому гармоническому построению и всякой возможности не только прогресса, но сносной жизни.

Он скептик даже в деле религии. Между тем он вместе с фанатиками раскола верит в неизбежный конец того мира, в котором он живет. Может быть, вероятно даже, по их примеру, он представляет себе его в виде катастрофы, так как ввиду многочисленных проблем, с которыми столкнулась его страна, он уже не может представлять себе прогрессивную и мирную развязку. Может быть за недостатком другого исхода, который он мог бы увидеть, этот скачок в область неизвестного кажется ему, как и им, единственно желательным. Но он не решился бы пошевельнуть пальцем, чтобы ускорить это событие. Неверующий или почти неверующий, он уже говорит не о Провидении, а о фатальности. Провидение или судьба должны вмешаться в дело. И эта ожидаемая, желанная катастрофа уже подготовлялась – в колыбели младшего сына Алексея. Нужно было, чтобы в дело вмешался царь, государь, который при всем том всемогуществе, которым владел уже второй Романов, имел бы другое направление ума и другой темперамент. Но Провидение или судьба хотели, чтоб эта обязанность выпала на долю человека, неспособного работать иначе, как с помощью ураганов и землетрясений.

Дело Петра Великого являлось между тем лишь результатом прошлого. Разрушительный или созидательный гений мощного революционера состоял главным образом в замечательной способности связывать все вместе и переводить от отрицательного полюса к положительному всю ту массу коллективных сил, которую приготовила вся история семнадцатого века, направляя их даже в некоторых пунктах уже по проторенным дорогам. И это то, что хотел доказать автор этой книги.

В этой истории Алексей занимает столь значительное место, его фигура является настолько выразительной для своей эпохи и своей среды, он, наконец, до сих пор, даже в России, так мало обратил на себя внимания, по сравнению с тем интересом, который он внушает, с его заслугами и обаянием, – что необходимо посвятить ему здесь несколько дополнительных страниц.

Глава пятнадцатая

Второй Романов и его наследие

I. Темперамент и характер Алексея

Все современники рисуют отца Петра Великого очень красивым мужчиною, высокого роста, сильным, но немного тучным, не по летам, что умаляло несколько его величественную осанку, совершенно соответствуя, впрочем, тому миролюбивому и добродушному темпераменту, благодаря которому он получил прозвище «тишайшего царя». Румяный цвет лица, очень кроткие голубые глаза, улыбающееся лицо, с темною бородою несколько рыжеватого оттенка – таким рисуют его нам его портреты. Что касается его дородства, то оно явилось у него чертою атавизма, так как он не подражал, сидя на троне, священной неподвижности и физической лени большинства из его предшественников. Неутомимый путешественник и бесстрашный охотник, он был постоянно в движении и постоянно был в трезвом виде. Ревностно соблюдая столь частые и столь строгие посты православного канона, он, во время великого поста, если верить Коллинсу, обедал лишь три раза в неделю: в субботу, в воскресенье и в четверг. В другие дни он довольствовался куском ситного хлеба и несколькими солеными огурцами и грибами, запивая их небольшим стаканом меду. Обыкновенно он пьет только немного вина и иногда примешивает немного масла или корицевой воды к своему обычному напитку, т. е. этому самому меду, который представляет собой напиток очень мало хмельный. Между тем, по свидетельству английского путешественника, «желая угостить своих бояр, он садился в кресло и давал им из своих собственных рук маленький кубок с жидкостью такою тонкой и так много раз дистиллированною, что она могла причинить вред каждому, кто к ней не привык. Он иногда примешивал туда ртуть, и ему нравилось, когда его подчиненные пьянели».

Несмотря на свою мягкость и добродушие, являющиеся особыми чертами его характера и, несмотря на то, что ко всякому человеческому страданию он обнаруживал чувствительность, поразительную для того времени и для его среды, – Алексей любил злые шутки. К его веселости примешивались тут деспотические инстинкты его расы до того, что он часто вносил жестокость в забавы, которые сами по себе были невинны. В своем письме от 13 марта 1657 года из Коломенского к своему главному ловчему, Матюшкину, он сообщает ему, что главным его развлечением в этой любимой его резиденции является купать каждое утро приближенных к нему бояр. Если кто-либо из них опаздывал вставать к очень раннему часу, его окунали в прорубь в соседнем пруду. После этой процедуры его приглашали к царскому столу, и, прибавляет государь, эти плуты рискуют предварительным испытанием, чтобы хорошо поесть.

Но может быть мы должны здесь видеть ничто другое, чем насмешку и личную фантазию.

В одиннадцатом веке «баня» Болеслава Храброго славилась в Польше и славится еще и теперь на народном наречии страны, обозначая собою радикальное исправление. Король имел привычку, думают, наказывать банею собственноручно молодых людей, находившихся

при дворе. Некоторые историки между тем затруднялись определить эту привычку и не были далеки от того, чтобы вообразить, будто эта мера являлась знаком милости или отличия. На западе баня предшествовала обязательно церемония посвящения в рыцари, откуда в Англии и произошел орден Бани. Известно, что этот обычай встречался особенно в странах, подпавших под норманнское завоевание.

Во всяком случае, у Алексея если это и было подражанием или пережитком, то по всей вероятности очень бессознательным. Мы обязаны Павлу Алепскому анекдотом, в котором та же черта принимает уже другую форму. Во время одного паломничества, когда понадобилось перейти Москву-реку, вместо того чтобы поискать моста или брода, Алексей погнал свою лошадь в реку и приказал своей свите следовать за ним. Толстые и жирные по большей части бояре думали, что они погибнут там. Они должны были между тем повиноваться и присутствовать потом на обедне в одежде, с которой стекала вода. Но этот хронист знал также о коломенских банях, и, быть может, сочинил только новую вариацию на эту тему.

Доброта и человеколюбие Алексея вошли в России в пословицу. Тот же Павел Алепский рисует нам его посещающим основанный им госпиталь, где запах был так ужасен, что греческому монаху стало дурно. Государь между тем переходил из одной комнаты в другую, расспрашивал больных, целуя их в рот, утешая их и ведя за собою антиохийского патриарха, который не мог сдержаться, чтобы не выказать свое отвращение. Этот госпиталь находится в любимом монастыре царя под покровительством Св. Саввы, но Алексей устроил еще и другой в своем собственном дворце. Он там собирал множество стариков, с которыми любил беседовать. Монахи Св. Саввы его любимые дети, а Павел Алепский присутствовал еще на обеде, устроенном им в этой пустыни для нищих, причем он сам прислуживал своим гостям.

При случае однако тот же человек способен наказывать сурово и беспощадно даже невинные провинности. Он приказывает применять в дело кнут до смерти за простое упущение в охотничьей службе, особенно если оно повторяется. Но, сияя на его веселом лице, в его улыбающихся глазах, в обыкновенно любезном приеме, в шутках, которыми пестрит его корреспонденция, снисходительная доброта всегда берет у него верх. Она мешает ему даже применить достаточную строгость в отношении к некоторым близким к нему лицам, которых он лично знает за очень дурных подданных и которых он благодаря этому третирует иногда, но не решается ни удалить их от себя, ни согнать с занимаемых ими мест. Таков случай с его тестем, Ильею Милославским, неисправимым вором, интриганом самого низкого пошиба: к преступлениям его государь относится терпимо.

Он подвержен вспыльчивости. В 1661 году его войска, сражаясь с поляками, потерпели нисколько поражений. Тот же Илья Данилович, который ни с какой стороны не мог быть великим полководцем, предложил свои услуги главного начальника, обещая привести пленником польского короля. Это было уже слишком! Алексей отвечает пощечиной нахалу; он вырывает у него часть бороды и прогоняет ударом ноги. Но этим дело ограничилось, и на другой день уже все прошло. Алексей всегда раскаивался в своей вспыльчивости, заставлявшей его забываться и являвшейся лишь последствием его огромной впечатлительности. Ля Мартиньер вскользь замечает, что вынужденный однажды утвердить смертный приговор, произнесенный против дезертира, царь отказался это сделать, ссылаясь в своем решении на то, что «Бог не дает мужества всем людям».

Он легко раздражается, так как не может быть безразличным ни к чему. Все интересует

его почти одинаково, и польская война, и болезнь придворного и государственные дела, и домашние дела патриарха Иосифа, и вопросы церковного пения, и садоводство, и удовольствия соколиной охоты, и устроенные им во дворце театральные представления, и ссоры, возникшие в его любимом монастыре. Он постоянно смешивает все эти разнообразные занятия, как и соответствующие им ощущения. Сообщая Матюшкину об охоте, он входит в лирический пафос, рассказывая как «по милости Божией, по молитвам охотника и по его счастью» сокол, долго колеблясь, схватил наконец свою добычу.

В этой физиономии обнаруживается поразительное сходство с Петром Великим; та же любознательность ко всему, соединенная с постоянной необходимостью вмешиваться во все, хотя и более скромно и скрытно, всегда работать самому и никогда не оставаться спокойным. Алексей сам зажигает свечи в своей церкви до службы и часто делает то же в других, посещаемых им, церквах. Прибыв на освещение нового дворца Никона, он не позволяет никому отнести патриарху свои подарки, несмотря на то, что они были довольно объемисты.

В то время как Никон находился в глубине залы, царь вошел в дверь с целым ворохом драгоценных соболей, прошел через всю комнату и вернулся, чтобы взять дюжину пирогов. После подарков государя последовали подарки государыни, а потом их детей. Он ничего не упускает из виду, потеет, вытирает лоб и продолжает свое дало. «У него был совсем вид раба, производящего тяжелую работу», замечает Павел Алепский.

Прибавим сюда еще следующую интересную подробность: по обычаю, после Вербной процессии, в которой ему приходилось вести на поводу лошадь патриарха, – именно лошадь, а не осла, – царь в свою очередь получает подарок от патриарха в размер ста дукатов. Алексей приказывает отложить эти деньги на погребение, как «заработанные своим трудом».

В противоположность предшественникам, мы видели его также во главе своих войск во время первых польских кампаний, разделяющим со своими солдатами, если не опасности, то по крайней мере лишения. Между тем, когда счастье от него отвернулось после первой победы, он больше не участвовал в битве. Он снова вернулся тогда к традиции не столько героической здесь, сколько практической. Государь не должен подвергаться никакому риску, он должен присутствовать лишь при победах, и его следует предохранять от всяких материальных лишений и непосредственного унижения. Как и его предшественник, Алексей не был военным человеком. Нужно вернуться к Дмитрию Донскому (1363–1389), чтобы найти такого на русском троне. С тех пор московские государи совершенно не похожи на французских, которые, дойдя даже до такой женственности, как Генрих III, охотно обнажали свою шпагу, и более мужественные, умирали подобно Генриху II на турнире, или, как Франциск I, сражались пешими для спасения хотя бы чести. Никто из них не показывал в кровавых схватках белого султана Генриха IV.

Подобно Петру Великому, у Алексея была тоже деспотическая склонность заставлять всех вокруг него думать, чувствовать и делать по-своему. Подвергшись однажды кровопусканию, он потребовал, чтобы все присутствующие сделали себе то же самое. Когда же один из его любимцев, старик Родион Стрешнев, стал колебаться, он вскричал с негодованием: «разве твоя кровь драгоценнее моей?» Он разразился гневом: ругань и удары, вслед за которыми последовали впрочем ласки и щедрые даяния.

Как и умственный его горизонт, сфера его деятельности между тем гораздо более узка. Детство его было так же мирно, как бурно протекло оно у его сына. До пяти лет он рос в

тереме среди женщин. В этом возрасте порученный надзору Бориса Морозова, он начал учиться, т. е. он научился читать Часослов, Псалтирь и отцов церкви. С семи лет он занялся изучением письма, затем церковного пения, и на этом его воспитание, хотя и порученное светскому лицу Василию Прокопьеву, что представляло собой уже замечательное нововведение, считалось законченным!.. Предполагалось, что он уже знает все, что прилично было знать будущему государю, и кроме того у него была библиотека из 13 книг. Эти общие и очень специальные знания Алексей дополнил потом тщательным чтением; но его ум навсегда сохранил полученные таким образом черты.

II. Его ум

Хотя и обнаруживая в своей корреспонденции относительно даже обширную эрудицию, артистические вкусы и даже кое-какую научную любознательность, отец Петра Великого должен был навсегда остаться служителем церкви, особенно углубленным в вопросе литургии, вдохновлявшимся ими даже в вопросах, совершенно чуждых этой области идей. Павел Алепский рисует нам его еще в качестве руководителя церковной службы, чтеца, учителя певчих. Забыв о присутствии антиохийского патриарха, один из священнослужителей даже обратился к нему с обычною формулою: «благослови меня, отец!» Тотчас же голос царя раздался, подобно удару грому: «……., разве ты не видишь, с кем ты говоришь? Или же ты не знаешь, что нужно сказать: „благослови меня, государь?“

Глубокая религиозность, граничащая иногда с экстазом, но искренняя и служащая для развития самых благородных свойств его существа, соединялась с этим ребячеством. Альберт Вимина, полный недоброжелательства к государю говорящий о страшной жадности, которая делала его совсем неразборчивым в употребляемых средствах для пополнения своей казны, сам соглашается с этим. Весь проникнутый в качестве царя достоинством своего звания, Алексей в качестве христианина полон смирения. Он часто говорит о своих грехах, испытывает постоянно угрызения совести. Совсем не претендуя, подобно своему современнику, на сравнение себя с солнцем, он хотел быть лишь маленькой звездочкой «не здесь, но там». У него бывают видения. В 1656 г. в момент приступа Кокенгаузена он видит двух мучеников, Бориса и Глеба, приказавших ему посвятить этот день Св. Дмитрию.

Даже вне монастыря Св. Саввы, постоянно им посещаемого, жизнь его обыкновенно регулировалась так, как будто бы она происходила в религиозной коммуне. Вставая в 4 часа утра, он начинает молитвами святому данного дня, наносит только короткий и церемониальный визит царице и спешит на заутреню, в ожидании ежедневной службы. На пиру, данном им в честь антиохийского патриарха, греки немало были удивлены, услышав чтеца, который тотчас же после благословения принялся читать главу из жития Св. Алексия и продолжал ее читать в продолжение всего обеда.

Среди всех забот, волновавших его мысль, этого государя больше всего волновала забота о спасении своей души. Соответственно общему чувству этой эпохи в этой стране, он видит лучшее средство для достижения царствия Божия в полном выполнении ритуала и в определенной аскетической обрядности.

Его религиозное сознание не довольствуется уже однако одним этим, и с другой стороны оно не удерживает его от целого ряда светских удовольствий, даже из числа тех, которые подвергнуты церковью анафеме. В нем слишком ясная интеллигентность с слишком

большою долею здравого смысла для того, чтобы принять православную доктрину во всей ее строгости и вне ее не искать также в религии элемента нравственности, более широкой и более глубокой.

Его концепция мира была исключительно религиозная. Он судил обо всем с этой точки зрения. Но профильтрованный сквозь душу, до основания добрую, светлую и мягкую, даже самый аскетизм Домостроя смягчался и получал жизненную силу. Как у большинства страстных охотников, у Алексея была сильно развита наблюдательность, и из первых своих уроков он почерпнул вкус к размышлению, привычку сосредоточиваться. Отсюда та тонкость чувства, которую нельзя было бы ожидать от московита того времени. Его мораль и его философия принимают при случае очень симпатичный тон и характер. Этот толстяк являлся артистом в умении утешать. Людовик XIV считал себя проводником божественного милосердия. «Мы обязаны, пишет он, воздавать подчиненным нам народам те же знаки отеческой доброты, которые мы получаем от самого Бога. Мы ничего так не желаем, как подать нуждающимся в нем утешение в их горе». В письме Алексея к князю Одоевскому мы находим такую фразу: «Бог нас поставил на это место для того, чтобы помогать тем, у кого нет другой помощи». Это та же мысль, переданная почти в одинаковых выражениях. Только одни и те же слова прилагаются с той и с другой стороны к совершенно различным предметам. Алексей обращается к отцу, убитому горем по поводу смерти своего сына, пред ним горе, которого Король-Солнце не удостоил бы соответствующего сожаления.

В других случаях, желая высказать свое одобрение или свой гнев, корреспондент князя Одоевского умел также придать своему языку выразительную форму, часто очень образную или напротив полную сентенций, обыкновенно сильную и глубокую. Он чрезмерно любил писать письма. Простому казначею монастыря по поводу грешка, совершенного им в пьяном виде, он посылает целое послание, написанное им собственноручно на четырех страницах: в нем он призывает виновного к суду Божиему и св. Саввы, говоря о потоках слез, пролитых им по поводу этого случая, и призывая все громы небесные против этого пьянчужки.

Его обильная речь бывает иногда несвязной. Упрекая князя Георгия Ромодановского в дурном выполнении понятого им в противоположном смысле приказания, он его называет «врагом креста Христова и новым Ахитофелом» (?). Он его осыпает всеми проклятиями Израиля. «Да воздаст тебе Бог за твой дьявольский способ служить мне, как он это сделал Дафаву (?) и Авирону (Аарону?), Анании и Сапфире! Пусть твоя жена и дети плачут такими же жестокими слезами, как те, которых ты заставлял плакать!»

Помимо очень объемистой корреспонденции, Алексей оставил еще рассказ (неоконченный) о своих кампаниях и несколько тетрадей, заключающих в себе описание произведенных им осмотров, речей, произнесенных по этому случаю и т. д.; все это было написано его рукою и снабжено замечаниями и исправлениями. Пользуясь посредственно прозой, хотя и не зная тонкостей языка и стиля, он пробует свои силы также в поэзии. У нас имеется среди других его сочинений, послание в стихах тому же князю Ромодановскому. Стихи эти представляют собой еще только очень плохую прозу, где геометрически размеренные строфы заменяют собою отсутствующее расположение: в них нет никакого следа размера или рифмы и преобладает большая тривиальность. В общем, особенно принимая во внимание время и место, это литературное произведение не следует игнорировать.

Алексею удалось из своей философии создать очень ясную концепцию власти, которая ему завещана, как наместнику Божиему, причем он обязан судить людей по справедливости.

Но он допускал разделения этой власти с боярами и исключал из нее, – по крайней мере, в принципе – как фанатизм, так и нетерпимость. Когда Никон хотел принудить светских людей из своей свиты к крайней набожности, царь протестовал против этого в выражениях, которые бы одобрил сам Бодэн, хотя Алексей его не мог читать: «мы не должны никого принуждать молиться Богу». Известно однако, что он прибегал иногда к принудительным мерам в таком же роде. Заявляя себя истолкователем мудрости Бога и божественного правосудия, всегда рискуешь впасть в такую непоследовательность.

Не имея никакого понятия об искусстве, он тем не менее имел очень ясно выраженные артистические вкусы, даже известный источник поэтического вдохновения и притязания на эстетику. Он не переставал перестраивать и украшать свой деревянный дворец в Коломенском, где он наслаждался всеми прелестями его живописного вида, не величественного, но тихого и спокойного, как и его собственная натура, оставляющего, как большинство русских деревень, впечатление тишины и покоя. Он ввел отпечаток искусства и поэзии даже в организацию своей любимой охоты, составив целый кодекс ухода за соколами, обсуждая в нем красоту птиц, гармоничность их полета и драматический характер их борьбы. Последний великий соколиный охотник Франции, Людовик XIII даже не помышлял ни о чем подобном. Но эта свои вкусы и эту свою виртуозность, которою он так хорошо пользовался, Алексей умел удовлетворять, особенно величественно обставляя религиозные церемонии и придворные празднества. Он наслаждался, как тонкий любитель, службою с хорошим пением и восхищался строго обдуманной торжественностью при приемах посланников. В этом отношении он занимался мельчайшими подробностями и приписывал им огромную важность.

Его взгляды на жизнь и на свет были взглядами безусловного оптимиста и бессознательного детерминиста. В светских развлечениях, которые он себе позволял, в театре или в охоте, он видел лишь полезное и необходимое средство для разгона скуки, так как Бог, думал он, хочет, чтобы люди были веселы, и они его оскорбляют, если предаются неумеренной печали. То же толковал он князю Одоевскому, убеждая его не слишком плакать о своем сыне. Он отказывался признавать, что наша жизнь земная является тяжелым испытанием. Перемешивая в определенных дозах и в соответствующем порядке занятия и развлечения, религиозные обряды и удовольствия, мы должны при таком прохождении жизненного пути достигнуть без всякого страдания врат вечности. Гранича с рационализмом и приправленная эпикуреизмом, эта доктрина согласовалась с его очень твердою христианскою верою, так как в его душе царило главным образом примиряющее начало.

И таким образом, без всякой враждебности по отношению к западной культуре, откликаясь сочувственно на все призывы новой эры, открывавшейся для его страны, он не принимал ничего абсолютно. Осторожный эволюционист, он быть может избавил бы свою страну от ужасного толчка революции, если бы лучше умел согласовать свои чувства со своими поступками. Но здесь его дух соглашения терпел неудачу. Старая Москва могла удовлетворить тому усилию, которое требовалось от нее, только быстро европеизируясь.

Но довел ли Алексей свои мирные тенденции до желания религиозного соединения с Римом? Рейтенфельс утверждает это, но не дает никаких доказательств своему утверждению, которому, как кажется, противоречат все известные до сих пор факты.

Ни идеи, ни жизнь отца Петра Великого не дают впрочем примера полного единства. В первые годы своего царствования, подчиняясь влиянию Морозова, духовенства и своей

первой жены, он старался в общем поддерживать, за исключением некоторых мелких уклонений, старинный домашний и социальный идеал. Но тем не менее он приоткрыл терем, и в 1654 году, вопреки всем обычаям, он потребовал, чтобы царица присутствовала при отправлении войск в польский поход. Он заставил даже бедную Марию Ильинишну устраивать у себя вечера, нечто вроде салона. Но только выступление на сцену Матвеева и Натальи Нарышкиной должно было начать новую эру в этом отношении.

В домашней жизни как с первою, так и со второю женою Алексей был примерным супругом. Легенда дала ему любовницу, жену боярина Ивана Мусина-Пушкина, один из сыновей которой, Платон Иванович, считался вторым братом Петра Великого. Реформатор обращался с ним как с родным, потому что относился к таким вещам очень снисходительно. Платон Иванович обязан был, по-видимому, позже этому предполагаемому происхождению немилостью со стороны Бирона. Но эта легенда ни на чем не основана, и весь образ Алексея говорит абсолютно против нее. Он был по преимуществу человеком семейным. Во время вынужденных отлучек из дому вся его переписка с членами его семьи указывает на его чрезвычайно горячее к ним отношение. В ноябре 1654 года во время первой польской кампании, назначив свидание со своими в Вязьме, он пишет им: «Я радуюсь свиданью с вами, как слепой радуется увидеть свет».

От его первого брака у него было восемь дочерей, из которых шесть остались в живых, и пять сыновей. Создав ему уют и теплоту, эта многочисленная семья защищала его против любовных похождений, и его двор не имел никогда ничего общего со двором Людовика XV, ни даже со двором его современника, «Великого Короля».

III. Его двор

Отсутствие женского элемента, по крайней мере во внешнем представительстве, составляло именно для этой эпохи характерную значительной важности черту русского двора. Не соглашаясь с Мишле в его признании в исторической роли королевских метресс во Франции очень полезного и благодетельного влияния демократии, – можно однако допустить, что от Агнессы Сорель до мадам де Ментенон, сквозь всесовращающие и гибельные влияния, женская грация и чуткость не переставали оказывать в этом отношении выгодное действие на интеллектуальное и моральное развитие страны. И здесь были не одни только метрессы. Вокруг некоторых, по крайней мере, королев и некоторых принцесс, любезных, умных, блестящих, очень рано образовалось при французском дворе ядро вылощенного, элегантного общества, любознательного в вопросах умственных. И этот свет отразился на всей французской культуре.

Здесь ничего подобного. Терем, в котором заперта семья государя, не представляет собой части двора, и двор остается исключительно мужским, пышным, но холодным и мрачным, кроме того крайне населенным. В принципе все «служилые люди», находящиеся в Москве, составляют часть его и должны каждый день являться во дворец и отдавать себя в распоряжение государя. Таким образом, кроме чиновников первого ранга, обладавших высокими титулами, более трех или четырех тысяч лиц ежедневно по утрам осаждают Кремль. Приемные залы, довольно мало поместительные, могут вместить их, очевидно, в очень ограниченном количестве, и только некоторые избранные приглашались в покои царя. Менее счастливые остаются на улице, иногда в течение многих часов, под дождем и снегом. Устанавливается из покоев на улицу непрерывное хождение взад и вперед. В покоях все

время оставались стоя, и усталые старики выходят, чтобы присесть где-либо на ступеньках дворца или прямо на земле. Другие поспешно занимают их место, в надежде обратить на себя внимание государя, который обыкновенно обходил присутствующих. В этой компактной толпе обмениваются новостями, затеиваются интриги. Часто здесь даже происходят драки. Но никто не обнажает сабли, так как ношение оружия воспрещено при дворе, да и в других местах не назначаются рыцарские поединки. Рыцарства здесь никогда не существовало, тонкости фехтования еще неизвестны, и дуэль в ее западной форме еще не вошла в обычай. Ссоры решались на месте ударами кулака. Но как? Кровь течет, человек падает, хрипя. Это ничего. Разгорячившись в драке, противники не довольствуются потасовкой, и однажды у одного из них, у стольника, голова оказалась разбитой кирпичом.

Картина эта далеко уносит нас от Версаля.

Эти придворные, дерущиеся, как извозчики, между тем одеты, как важные короли. С этого времени, даже с точки зрения внешнего вида, самодержавие приняло свой окончательный вид. Вместе с духом умеренности, бережливости и благочестивого смирения, Алексей наследовал также большую страсть к пышности и внешнему блеску. Сохраняя во внутренней обстановке своего дома крайнюю скромность, как и все Романовы до последнего времени, он хотел, чтобы его публичные появления, как и празднества его двора были окружены наибольшим блеском. Вот почему ему было тесно во всех его резиденциях, которые он наследовал, и, расширяя их, он увеличивал их великолепие, независимо даже от своих артистических наклонностей. Внимание его было прежде всего обращено на внешний эффект. Эстетика следовала за этим. Но и религия не была забыта. Он примешивал ее ко всему и отдавал большое место среди новых и роскошных построек церквам для цариц, царевичей и царевен. Одна из этих церквей, названная «за золотой решеткой», получила даже значение «кафедрального собора». Решетка была само собой разумеется просто позолочена, а медь ее получилась из монет, изъятых из обращения после монетного кризиса.

Что касается убранства комнат, то Алексей отдавал предпочтение живописи, скульптуре и обоям из кожи или шелка. Украшение стен было поручено его иконописцам, в работах которых чувствовалось, как мы это знаем, и иностранное влияние. После первых польских кампаний, оказавшись победителем, но соблазнившись всем, что он видел в покоренной им стране, царь не брезгал ее художниками и рабочими, и потолок столовой с изображением двенадцати знаков зодиака носит на себе отпечаток их искусства.

В таком виде Кремль всегда – и чем дальше, тем больше – представлял собой хаотическую массу зданий различных эпох, неуклюже нагроможденных друг подле друга или соединенных открытыми и закрытыми галереями. Большая часть из них строилась теперь из кирпичей, но они сохраняли в своей постройке характерные черты прежних деревянных дворцов. Дерево употреблялось также исключительно и с сохранением того же типа в летних резиденциях царя. Заново перестроенная Алексеем, коломенская резиденция отличалась как размерами своими, так и оригинальностью своей архитектуры.

Расположенное на берегу Москвы, в семи только верстах от столицы, это село уже в предшествующем веке обратило на себя внимание Василия III. Михаилу оно тоже нравилось. С 1667 по 1671 год Алексей нанял для работы в нем белорусских архитекторов и плотников, приглашенных Никоном для постройки его Воскресенского монастыря, а также московских живописцев, которых вдохновляли книги, вероятно немецкие, взятые из библиотеки патриарха. Им помогал один армянский художник, Салтанов, выписанный из Персии, и в

новом дворце обнаружилось это сотрудничество в странной смеси западных и восточных, религиозных и светских мотивов. В большой зале царский трон, как и в Византии, был снабжен двумя львами, которых искусный механизм заставлял реветь. Увидев в 1673 году это образцовое произведение тогдашнего искусства, Рейтенфельс заявляет, что оно было похоже на милую детскую игрушку, но Симеон Полоцкий определяет его в очень дурных стихах, как восьмое чудо мира. И здесь мы еще далеки от Версаля.

Очень деятельный государь занялся также украшением и другого своего поместья, Измайлова, где рядом с местным менее великолепным дворцом он хотел создать образцовую ферму с научными культурами, плодовым садом, виноградниками и плантациями шелковичных деревьев. Коломенское между тем сохранило за собой привилегированное положение, благодаря особенно его обширным лугам, где весною появлялось много перелетных птиц, лебедей и диких гусей, уток и журавлей, открывая таким образом возможность соколиной охоты. Это была главная страсть Алексея и, представляя любимое занятие с самых отдаленных времен великих князей и царей, искусство соколиной охоты, пришедшее в упадок в то время на западе, получило в эту эпоху в Москве самое большее развитие. В одном Потешном Дворе столицы более ста сокольничих вместе с многочисленными помощниками занимались дрессировкою многих тысяч отборных птиц.

Напротив, второй Романов совсем не одобрял других развлечений, более свойственных традициям страны, хотя иногда и принимал в них участие, а именно: борьбы медведей, игры скоморохов, к тому же Матвеев, развив в царе вкус к театру, еще увеличил его отвращение к подобным зрелищам.

Алексей сделал хороший выбор, взяв себе в сотрудники, сделав своим другом и путеводителем воспитателя прекрасной Наталии. Этот старый стрелецкий капитан был так любим своими солдатами, что, по летописи того времени, когда ему недоставало камней для постройки своего дома, эти люди не поколебались вынуть их из могил своих родителей, чтобы доставить их ему! Супруг Наталии, окруженный слугами, друзьями или родственниками, не мог настолько похвалиться своими приближенными.

IV. Его приближенные

Дочери его от первого брака все отличались здоровым телосложением, и одна из них, Софья, должна была проявить, даже в политике, мощный темперамент. Сыновья напротив были все болезненны. Трое из них умерло при жизни их отца, из двух других, старший, Федор, болел скорбутом, а второй, Иван, соединял с сильною физическою слабостью недостаточное умственное развитие. В 1670 году царь, решив жениться снова, последовал только для формы обычаю, установленному при таких обстоятельствах, т. е. он только для видимости выбирал невесту из нескольких сотен молодых девушек, собранных на скорую руку со всех концов государства. На деле же он уже остановил свой выбор на очаровательной воспитаннице Матвеева. В последний однако момент интрига при дворе противопоставила ей довольно сильную соперницу, Беляеву. Но относительно ее доказали, что у нее «слишком худые руки» и благодаря этому инциденту уже решенный в принципе брак с Наталией принял только характер таинственности и галантного приключения. То был единственный роман в жизни Алексея.

Артамон Матвеев был сыном простого дьяка, и мы не знаем, каким образом ему удалось сделаться интимным другом государя. Без сомнения, в этом повинны Морозов вместе с

Ордын-Нащокиным, Ртищевым и другими parvenus такого же темного происхождения.

Матвеев показал себя решительным сторонником западных нововведений. Дом его был разукрашен и меблирован по-европейски, картинами, предметами искусства. Он не держал своей жены в тереме. Сын его получил тщательное воспитание. Решительный, но осторожный карьерист, даже после того, как он стал любимцем государя, его отец скромно стушевывался в незначительном ранге официальной иерархии; добившись преемства Ордын-Нащокину во внешних сношениях и в департаменте Малороссии, он фигурирует в Думе только в качестве простого дворянина, и только через два года после рождения Петра Великого он получает звание боярина.

Алексей по слабости своего характера, легко отдававшего его во власть всякого господствующего влияния, не мог похвалиться большинством своих других сотрудников. К счастью для него привычка ума, о которой мы уже знаем, создала такое положение, при котором царя никогда не обвиняли за ненависть, возбужденную его агентами. Для человека из народа виновным являлся «боярин». И бояре, всегда подозреваемые, тесно окружали государя, единственно способного оказать им покровительство. Этому была обязана молодая династия тем, что пережила безнаказанно ряд бунтов и страшных восстаний. Для того чтобы они стали для нее роковыми, необходимо было согласие между постоянно возбужденным народом и несколькими исключительно популярными вельможами, вроде Никиты Романова, или князя Якова Черкасского. Но ни тот, ни другой не были достаточно честолюбивы для такой крупной роли, да они и не были способны сыграть ее.

Вообще в эту эпоху высшая аристократия была очень бедно представлена. Она переживала последствия политической системы, которая, начиная с Ивана Грозного, постоянно стремилась ее одергивать и унижать. И кончила она тем, что стушевывалась среди горячих споров за «места» и все больше недоставало лиц, достойных занять их. При Алексее, среди Черкасских, кроме князя Якова, князь Григорий отличался лишь физическою силою и своей страстью к лошадям. Воротынские были представлены князем Иваном Алексеевичем, полным ничтожеством. Трубецкие похоронили при Конотопе вместе с князем Алексеем Никитичем остаток их славы. В фамилии Голициных, назначенных позже к высокой роли, князь Василий Васильевич лишь только начинал свою карьеру, обреченную на столь роковые несчастия. Некоторое время более выделялся глава второй линии Патрикеевых, князь Иван Андреевич Хованский, но его репутация великого воина была выдумана и обязана его умению врать. Об этом свидетельствует его прозвище Тараруй, в котором созвучие с именем «Тартарепа», вероятно, не случайность, и Алексей был совершенно прав, когда сказал ему однажды: «Кроме меня все считают тебя за дурака».

Среди Морозовых, фамилии уже теперь исчезнувшей, воспитатель Алексея был последним историческим лицом. Очень одаренные по общему признанию, и не без некоторого мужества, оба Шереметьевы, Василий Борисович и Петр Васильевич, имели несчастие исполнять в Украйне неблагодарные роли. Одоевские, уже успевшие обеднеть, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины не дали из своей среды ни одного выдающегося лица. Среди Хилковых князь Иван Андреевич считался неподкупным, но то было его единственным достоинством. Отодвинутые на второй план, благодаря превратностям политической жизни, Долгорукие, Ромодановские сами постарались еще больше стушеваться. «Места», единственный предмет их честолюбия, постепенно уходили от этих дегенератов. Силой вещей на них проходили выскочки, которые по крайней мере сумели быть полезными. Они, правда, не всегда были в состоянии удержать свое нравственное

достоинство на уровне своих талантов. Милославские, Илья Данилович, Иван Михайлович и Иван Богданович были искусные люди, но зато ужасные мошенники. Сильно хвалимый иностранцами за свою уступчивость и человечность, Богдан Матвеевич Хитрово, виновник инцидента, вызвавшего спор между Алексеем и Никоном, заставлял платить себе за оказанные им услуги даже тех, кто его хвалил. Его близкая родственница, кормилица наследника цесаревича, Анна Петровна Хитрово, вполне и с самой плохой стороны оправдывала свое прозвище Хитрой. В этом мире Родион Матвеевич Стрешнев, Ордын-Нащокин и Феодор Михайлович Ртищев являлись единицами. Нужно между тем отдать справедливость Алексею, что он ничего не жалел, чтобы дать им достойных сотрудников, не колеблясь, подобно Людовику XVI, спуститься в низы для поисков второго Кольбера.

Ошибкою его было неуменье подражать «великому королю» в поддержке тех, кого он возвышал. Он не смог создать министерских династий и, желая спастись с выбранными им сотрудниками от их титулованных соперников, он сумел лишь прибегнуть к той тайной канцелярии, где он играл втемную, не без ущерба для своего достоинства. Возвысив Ордын-Нащокина после Матвеева в звание боярина, он этим фактом преследовал то же дело демократической нивелировки, которую начал Грозный и которую завершил Петр Великий со своими преемниками.

Несмотря на свой внушительный вид, второй Романов обладал хрупким здоровьем, и при приближении пятидесятилетнего возраста его силы стали заметно падать. В 1674 году он занялся своим преемством, и около двух лет спустя, в ночь с 29 на 30 января 1676 года, он умер 47 лет от роду, оставив наследие, которое сильно оспаривалось.

V. Его наследие

Как в этом придется убедиться дальше в истории современной России, катаклизм, называемый реформою Петра Великого, не был безусловно необходимым, и неизбежное обновление великой империи в смысле западной цивилизации могло быть выполнено не революционным путем, если бы нашлись люди, более счастливо одаренные, чтобы суметь отдалить от нее такое испытание. Был момент, когда эта возможность казалась обеспеченной для старой Москвы. После смерти старшего сына Алексея, Димитрия ((1651 г.), его преемником был назначен царевич Алексей, который, родившись в 1654 г., достиг бы 22-летнего возраста в момент смерти своего отца. Одним из его воспитателей был Ртищев, он считался примерным учеником и почти чудом. Преждевременно развившись, слишком серьезный для своих лет, он десяти лет совершенно не интересовался игрушками, привезенными из Германии. Он предпочитал чтение. В его библиотеке грамматики, словари, книги по математике и географии, карты и земные глобусы чередовались с русскими летописями.

Иностранные хронисты, естественно ожидавшие чуда от этого соперника Пико делла Мирандолы, может быть немного и преувеличили такое раннее развитие его интеллекта. Двенадцати лет он будто в совершенстве владел латынью и составлял стихи. Он читал классиков и изучал философию. К несчастью, его учителя совершенно упустили физические упражнения в его воспитании и исключили из него всякое занятие искусством, но более разумно они внушали своему воспитаннику уважение к национальным обычаям. Комнаты молодого царевича отражали на себе эту смесь консервативного духа с прогрессивными стремлениями. Его спальня была загромождена иконами и физическими приборами, наряду

с европейскою меблировкою и целою массою светских безделушек.

Также очень рано царевич был приобщен к делам, и в 1666–1667 годах Крыжанич, сосланный в Сибирь, пытался войти в сношения с этим будущим государем, подававшим такие надежды. В ту же эпоху сын Алексея сделался кандидатом на трон Польши, и уже тринадцати лет произнес перед польскими посланцами пространную речь наполовину по-латыни, наполовину по-польски. Ей мог бы аплодировать Крыжанич. Увы! преждевременно открытая могила должна была поглотить все эти надежды. Царевич умер в январе 1670 года и 1 сентября 1674 года его младший брат Феодор, 14 лет, был объявлен наследником. В совокупность причин, вызвавших революционный кризис восемнадцатого века, вмешался еще один роковой случай.

Это событие было чревато последствиями. Феодору нельзя было отказать в интеллигентности и образовании, но он был больным человеком, ходил, лишь опираясь на палку, был вынужден просить помощи у придворного, чтоб снять свою шапку перед иностранным посланником, и совсем не мог управлять. Но он наследовал своему отцу по крайней мере без всякого затруднения и, кажется, на этот раз без всяких симулированных выборов.

VI. Восшествие на престол Феодора

Правление досталось на деле Матвееву, а оно могло попасть в худшие руки. К несчастью, этот заместитель нового государя был также приемным отцом мачехи царя, и между детьми от обоих браков загорались скоро во дворце споры, невиданные до тех пор. Вскоре без всякой метафоры возродилась Византия в третьем Риме. Дочь покойного государя от первого брака, Софья Алексеевна, командует целым батальоном царевен, пятью сестрами и тремя тетками, которых уже не запирали в терем по старинной моде, так как на этот счет Наталия приучила обитателей Кремля к новому духу. Власть Софии опиралась на прочное положение, созданное Милославскими во время долголетнего брака Алексея с его первою женою. Наталия умеет стоять на своем, но политика не была ее делом, а сын ее был слишком мал. Автор очень любопытного сообщения о стрелецком бунте, один польский хронист, говорит, что Матвеев сначала скрывал смерть Алексея и хотел воцарить Петра с помощью этого мятежного войска. Между тем это не вменялось ему в вину среди главных обвинений, предъявленных потом против предполагаемого творца этого заговора.

Во всяком случае, преданный Феодору, Матвеев сохранил еще некоторое время свое высокое положение, но власть постепенно ускользала из его рук. Постоянно болея, новый царь тем более легко отдавал себя на попечение своим близким и, наперерыв заботясь о нем, тетки и сестры сумели отставить ненавистную мачеху скромную дочь стрелецкого капитана, который в Смоленске носил еще лапти. Сам выскочка, и благодаря этому еще более ревниво наблюдая за всяким счастливым соперником, управитель двора Богдан Хитрово, хотя и был когда-то интимным другом Матвеева, деятельно помогал их усилиям, пользуясь влиянием управительницы двора, той самой Анны Петровны Хитрово, которая благодаря своей репутации постницы пользовалась большой любовью в маленьком женском мирке, хотя и эмансипированном, но все еще очень набожном, который теперь царил в Кремле.

Матвеев потерял сначала управление аптекарским приказом, очень важным учреждением в то время, так как лекарства играли большую роль в жизни царствующего

государя. Потом, грубый предлог, жалоба датского резидента на неоплаченную доставку рейнвейна, послужил поводом к смещению несчастного (в июле 1676 года) под рукоплескания черни, считавшей Матвеева колдуном. Сосланный вглубь Сибири, в плачевной памяти ужасный Пустозерск, он еще имел наивность забрасывать прошениями и оправдательными письмами царя и его приближенных, не забывая в них и бедную Наталию. Он не знал, что в это же время собственный брат второй жены Алексея, Иван Нарышкин, также подвергся пожизненному изгнанию после долгого пребывания в застенке.

В то же время патриарх Иоаким сводил свои личные счеты с духовником Алексея, Андреем Савиновым. Он лишил его священства и заключил в отдаленном монастыре. Но для старого злопамятного священнослужителя, нашедшего в этом свое удовлетворение, это было только началом других репрессий, предметом которых явились более крупные лица.

VII. Конец Никона

При известии о смерти «тишайшего» царя взволновался и другой изгнанник. В своей тюрьме Ферапонтовского монастыря Никон проливал слезы, но отказался прислать письменное свидетельство прощения, которое по обычаю просили у него для усопшего. Кроме того, обратившись с просьбою к новому государю по незначительному поводу, он даже подписал ее: Никон, патриарх. Правящий патриарх воспользовался этим, чтоб собрать новый реквизит против смелого соперника. Комиссар, назначенный для наблюдения за арестованным, князь Самуил Щайссунов, отдался этому делу с большим рвением. Излишества всякого рода, варварское обращение с различными членами общины, наложение наказания на одного служителя, повлекшего за собою его смерть: все эти преступления, в которых обвинялся неисправимый мятежник, сыпались, как из рога изобилия. После смерти Алексея Никон не переставал пить во время поста, позволяя себе в пьяном виде особенные выходки, соединенные с грубым развратом. Он напоил водкою одну молодую девушку двадцати лет до того, что она потеряла рассудок и даже жизнь. Его заточение сделалось иллюзорным. Так, например, он приказал выстроить себе дом в двадцать пять комнат и вел там жизнь, никоим образом не могущую быть терпимою. Очень редко отправляясь в церковь, по свидетельству прислуживавшего ему брата Ионы, он уже три года не говел, под предлогом советов врачей, водил к себе молодых женщин, запирался с ними с глазу на глаз и совершенно их раздевал. Он очень любил совершать свадьбы, водил молодых женщин после церемонии в свою келью, напаивал их и держал там у себя до полуночи. Один мирянин служил для него сводником, и многие из его почитателей приходили к нему ночью со своими женами и отдавали их ему.

Предполагаемое участие бывшего патриарха в бунте Стеньки Разина было поставлено на вид, и собор, созванный по этому поводу Иоакимом, кажется, признал очевидность всех фактов, отягчавших обвиняемого. Никон их энергично отрицал. Ухаживая за больными женщинами, он, как он утверждал, никогда не касался «срамных частей», а только предписывал употреблять для них подходящие мази. Исключая Ионы, все его приближенные его оправдывали. Но в мае 1676 года, по декрету Собора, он был тем не менее отправлен в монастырь Св. Кирилла, где тщательно выбранные два монаха должны были жить с ним в одной келье и внимательно наблюдать за ним.

Он однако нашел себе защитников даже в семье Феодора. Одна из сестер Алексея, Татьяна Михайловна, сохраняла с детства глубокую привязанность к старому другу своего

брата. В 1678 году она побудила своего племянника посетить Воскресенский монастырь. На Феодора произвела сильное впечатление красота этого учреждения. Он много раз ездил туда и в конце концов предложил общине подать ему просьбу в пользу его основателя.

Но для дарования ему прав, необходим был новый Собор, и Иоакиму было нетрудно повлиять на его решение. Феодор ограничился посылкою Никону собственноручного письма с изъявлением ему своего сочувствия. Несколько позже архимандрит монастыря Св. Кирилла, Никита послал заявление о близкой смерти бывшего патриарха, на что Иоаким ответил приказанием похоронить его, как простого монаха.

Феодор был слишком слаб, чтобы обуздать главу своей церкви. Между тем в 1681 году он вздумал подражать своему отцу, сделав призыв к восточным патриархам и после кропотливых переговоров, добился отмены приговора, произнесенного над бывшим патриархом в 1666 году. В то же время архимандрит Воскресенского монастыря Герман передал царю письмо, в котором Никон прощался с монахами основанной им обители и, прочитав его, Феодор так взволновался, что Иоаким счел за благоразумное уступить.

С большой поспешностью дьяк из конюшенного приказа, Иван Чепелев, был послан в монастырь Св. Кирилла, чтоб взять оттуда арестованного и перевезти его в Воскресенский. Судя по легенде, за несколько дней до прибытия этого агента, о котором не было еще ничего известно, Никон приготовился к отъезду, так что думали, что он потерял рассудок. Он сел на барку на Шексне в состоянии крайней слабости. Вместо того чтобы подняться вверх по Волге, как его уговаривал Чепелев, он спустился по реке до Ярославля и среди огромного стечения населения, жившего по берегам Волги и изъявлявшего ему знаки своей симпатии, 16 августа 1681 г. он достиг монастыря Св. Девы, по соседству с городом. Чувствуя себя плохо, он приказал там высадиться и на следующий день умер. Ему было около семидесяти пяти лет. Отложенный, благодаря слабости Феодора, приказ о помиловании, под которым молодой царь хотел подписать свое имя, пришел слишком поздно. Печальный наследник Алексея и сам недолго жил после этого, и после Матвеева фактическая власть продолжала ускользать из его рук, разделенная между фаворитами, которые, впрочем с большим достоинством, разыграли прелюдию к будущей роли Меньшикова, Бирона и Шувалова.

VIII. Правление фаворитов

Милославские теперь стушевались перед другими выскочками. Иван Максимович Языков, будучи, как и Адашев при Иване Грозном, первым камергером, достиг первого ранга вместе с Алексеем Тимофеевичем Лихачевым, старым наставником царевича Алексея, и своим братом, Михаилом. Эта троица устроила при дворе полный переворот, принудив Феодора к очень странному браку с молодой девушкой темного происхождения, Агафьей Грушецкой. Не обладая ни выдающеюся красотою, ни обаянием, которые могли бы ее рекомендовать выбору государя, очень плохо воспитанная своею теткою, женою простого думского дьяка Семена Заборовского, эта личность имела за собою лишь привилегию польского происхождения, как залог возможного желания оказывать свое влияние в пользу особого западничества, соблазнявшего временщиков.

Языков и Лихачев были полонофилами. Они думала приучить Москву к этой близкой цивилизации, уже привычной для этой страны. Она соблазняла их картинами культуры, открытой иностранным влияниям, но сохранявшей при том свою славянскую самобытность. Вокруг этого брака, в который они вовлекли свою предполагаемую сообщницу, оказавшуюся

бесплодной благодаря умирающему мужу, разгоралась борьба между тенденциями, которые они надеялись сделать господствующими, и всесторонней европеизацией, исповедуемой многочисленными сторонниками более радикальной перемены национальной жизни. Ее должно было решить восшествие на престол Петра Великого.

Уступив Алексею Лихачеву место первого камергера и перейдя на положение окольничего, Языков, ставили одно время всемогущим, был вынужден посчитаться с крупным человеком ближайшей эпохи, Василием Васильевичем Голициным, мощный дух которого и властный темперамент стали уже проявляться.

Между тем правление Феодора, отданное в руки этих людей, встало лицом к лицу со страшными проблемами внешнего и внутреннего порядка страны. Извне то были последствия долгой войны против Польши за обладание Украйной. Завоевание части этой провинции поставило новых владельцев в необходимость бороться с непослушанием казаков, а мир, наконец подписанный с Польшею, открывал грозные перспективы со стороны Турции. Перед смертью Алексея московский резидент в Варшаве, Тяпкин, указал на возможность польско-турецкого соглашения, начатого при посредстве Франции, и Собесскому улыбалась перспектива идти по следам Батория. Король просил напротив помощи московской армии против общего врага христианства: он осуждал интриги «французской партии», но Москва оставалась глухою. Тогда он дошел до того, что пригрозил палкой резиденту, и в октябре 1676 года подписал с Портою Зуравновский трактат.

И тотчас же, боясь столкновения с Турцией, Москва стала жаждать союза, который ей тщетно предлагали. Но старый Андрусовский договор ставил обеим странам непреоборимые трудности. Отказавшись от Киева, Польша требовала по крайней мере компенсации. 3 августа 1678 г. произошло соглашение, продолжившее Андрусовское перемирие, причем полякам было отдано несколько мелких мест и контрибуция в 200 000 рублей. Но тут совершенно отсутствовали соглашение желаний, объединение сил ради высшего и общего интереса, которые могли бы оправдать уступчивость одной из договаривавшихся сторон. Таким образом антиоттоманская лига, сближавшая обе половины славянского мира, осталась в области мечты. Предпринятые в 1678 и продолжавшиеся до 1680 года при помощи легата папы, Франческе Морелли, новые переговоры лишь обнаружили тот антагонизм, который разъединял их.

Когда позже Тяпкин был послан из Варшавы в Бахчисарай, то с ним при дворе хана обращались хуже, чем со свиньями и собаками обращаются в Москве. С крымским ханом в качестве посредника Москва приняла в 1681 году условия, продиктованные ей Портою: перемирие на двадцать лет, Днепр, как граница, продолжение обычных «подарков», считавшихся в Константинополе данью, и уплата им недоимок за два года.

От правительства фаворитов нельзя было и ожидать ничего лучшего, но должно ему отдать все же справедливость, что, не пожертвовав во внешних сношениях ни одним из существенных интересов страны, оно к концу, упрочив свой авторитет, выполнило во внутренней жизни несколько благодетельных и благотворных реформ. От 1679 до 1682 года оно участвовало в частичной переделке уголовного кодекса, стремясь при этом смягчить некоторую часть наказаний, а именно отменить изувечение, заменив его бичом, кнутом и ссылкою в Сибирь. Этой инициативой объясняются в 1677 и 1682 годах декреты, остановившие выполнение приговора над двумя женщинами, совершившими прелюбодеяние. Он состоял, как известно, в зарывании живьем в землю. Несчастных выкопали из земли и заперли в монастырь.

В различных пунктах деятельности законодательной или административной этих временных управителей, нельзя не отметить либеральной тенденции, как раз недостающей бурному и насильственному делу великого реформатора ближайшего будущего. Рядом указов, направленных против профессионального нищенства, но обращавших также внимание, как на главную его причину, на истощение от бедности, Языков со своими сотрудниками протянули руку помощи церкви для систематической организации благотворительности; они устроили всеобщую перепись бедняков, основали больницу и рабочий дом, проектировали устройство целого ряда благотворительных убежищ наподобие устроенных уже по инициативе Ртищева. Как и много других проектов, и этот остался под сукном, но у его инициаторов, может быть, лишь не хватило времени для проведения в жизнь по крайней мере, самого начала его выполнения. 1679 год был ознаменован крупной реформою в провинциальном управлении, имевшей целью уменьшение тягостей плательщиков налогов. Но на этот раз принятые меры плохо соответствовали имевшейся в виду цели. Они состояли главным образом в отмене избранных чиновников или комиссионеров, органов местной автономии или агентов центральной власти, оспаривавших у воевод, т. е. у «служилых людей», поставленных для управления провинцией, их администрацию, иначе говоря эксплуатацию добычи. От этой перемены управляемые не получили никакой выгоды.

Большой заботою этого правительства являлся фискальный порядок. Из года в год недоимки увеличивались при погашении всех оброков. Ни одна провинция, ни один уезд не доставляли целиком оброка. В 1679 году замена многочисленных податей назначенных для содержания стрельцов, одним налогом не помогла злу, как это полагали; созванные в Москве между 1680 и 1681 годами два собрания депутатов по поводу более общей реформы, пришли только к тому печальному заключению, что не платили, потому что нечем платить и что единый налог следует уменьшить.

С другой стороны неудовлетворительность самих стрельцов и всего военного состава, бывшего на лицо, становилась все более и более чувствительною ввиду новых, встретившихся на пути нужд; Василий Голицин, с помощью делегатов от «служилых людей» занимался в этой области выработкой проекта полной реорганизации, и пришел к тому убеждению, что точкою отправления в этом деле должна служить отмена местничества.

Но это значило нанести страшный удар мотыгою всему зданию старой Москвы. Предаваясь еще в это время играм детства, полного волнений и интересов, великий созидатель близкого будущего сам не решался на более смелые, чем этот. Но подрытое со всех сторон и шатающееся под собственною тяжестью, еще не тронутое его рукою, здание уже наклонилось на бок. И над сонным народом, только что пробудившимся к новой жизни, предвещаемая тысячью лучей заря великого дня, который он должен был принести с собой, уже поднялась в темных сумерках, где потухало хрупкое существование и меланхоличная судьба старшего брата Петра.

IX. Первый удар мотыгою

Как это уже было указано, с тех пор, как принцип договора уже не фигурировал в их отношениях к государю, институт местничества являлся для московских бояр последнею точкою опоры. Они знали это и когда в конце шестнадцатого века настоятельные требования службы побуждали их главу прекратить на время, для кампании или церемонии, применение

иерархической арифметики мест, заинтересованные лица не тотчас же замечали, что для них «быть без мест» значило совершенно не существовать. Конечно, этот последний остаток потерянных привилегий делал их лишь призрачной аристократией, но для них это было все, и вне этого им уже ничего не оставалось. Боярство совершенно уничтожилось.

Оно не остановилось перед бездной, оно даже не боролось на краю ее, так как не доставало уже кандидатов для защиты мест. До того, как быть убитым этой последнею немилостью, боярство уже умерло. Пережив его, Боярская дума сохранила в восемнадцатом веке тень существования. Несмотря на весьма явное противоречие между его организацией и социальным составом, оно продолжало функционировать в старом порядке и в старой форме, но с совершенно другим характером; это был теперь правящий институт, сохранявший за собою лишь имя правящего класса, от которого он происходил; собрание послушных правительству чиновников, заменивших в виде простых работников прежних дружинников государя.

Но местничество истощило также свою жизненную энергию, прежде чем умереть. С середины семнадцатого века оно стало разлагаться, выбрасывая в любопытном процессе свои составные элементы, т. е. старые фамилии, снова восстановленные в их прежнем положении, но при этом противопоставляя им новый агрегат, аристократию двора, и применяя к тем и другим специально аристократический принцип, абсолютно противоположный его собственному духу, почестей и прав, принадлежащих такому-то и такому-то по рождению.

Вначале это учреждение отличалось от всех аристократий древности и современного мира уже тем именно фактом, что ни одна фамилия и ни одно лицо там не пользовались никаким личным правом, им индивидуально присвоенным. Заинтересованные могли лишь сделать продуктивным то назначение определенного количества прав и обязанностей, которые составляли коллективную собственность всех «служилых людей», каковы бы они ни были, и распределять их между собою в определенном порядке. Но в таком виде этот организм пережил свою эволюцию, и обстоятельства постарались ввести в него разделение, вначале совершенно отсутствовавшее, на классы и категории, в то время как фамилии снова заняли в нем свое место, образуя уже совершенно отдельные единицы.

Этому способствовал кризис Смутного времени. После этого всеобщего переворота какая-то непреоборимая тенденция установилась, закреплять людей и порядок, в то самое время, как учреждение территориальной собственности в прикрепление крестьян к земле создавали привилегированное положение определенного класса. Мог ли этот класс доставить элементы новой аристократии? Некоторые историки так думали. Если феникс и не родился из этого горячего пепла, который между тем не переставал охлаждаться, то лишь благодаря тому, что он не заключал в себе никакого зародыша жизни. Потеряв единственную оригинальную черту, дающую ему историческую физиономию, местничество потеряло весь свой смысл, и новые классы, являясь продуктом механического распределения функций и привилегий, явились лишь канцелярскими формулами.

В ноябре 1681 года, когда вопрос о реорганизации армии принял характер настоятельной необходимости ввиду унизительного положения и денежной нужды, создавшихся благодаря последнему договору с Портою. Феодор созвал Собор. Это собрание состояло исключительно из одних «служилых людей», как единственно компетентных в таком деле, и оно же, по внушению Василия Голицына, единодушно высказалось за уничтожение местничества. Царь соединил тогда совет, бояр и высшее духовенство, создав нечто вроде

верхней палаты, которая в свою очередь высказалась в том же смысле, и в тот же день генеалогическая и иерархическая отчетность этого учреждения, разрядные книги, были сожжены.

Уничтожение местничества повлекло за собою окончательное оставление всякой идеи о дружине, лежавшей еще в основании организации «служилых людей», этих безразлично и заодно чиновников и солдат, занимавших гражданские должности, которые их кормили, и взамен этого обязанных сесть на коня по первому призыву. Необходимость регулярной армии требовала напротив специализации службы, и к тому времени был составлен проект в этом смысле. Еще до вмешательства в это дело Петра Великого, старая Москва вышла и в этом отношении из своей первоначальной формации, Предполагавшееся в проекте разделение всех служилых людей на тридцать четыре класса подготовило одну из главных реформ будущего царствования, которая главным образом и придала России ее современную физиономию. Любопытная черта: проект отдавал предпочтение гражданскому элементу. Он ставил на первое место одного боярина, который вместе с двадцатью коллегами того же ранга, как и он, членами Думы, был уполномочен контролировать юстицию. После него уже следовало военное лицо, являвшееся начальником гвардии и генерального штаба. Таким образом установленное чередование было проведено сверху донизу.

Но уже дни Феодора были сочтены. В июле 1681 года у него родился сын, царевич Илья; его мать умерла от родов, и дитя пережило ее только на несколько недель. Царица Агафия отвечала тем требованиям, которые к ней предъявлял Языков: при дворе польские кунтуши быстро заменили московские ферязи; у самых ворот Кремля увеличилось число польских и латинских школ, хотя они и вызывали собою неприятное воспоминание о Димитрии и Марине и возбуждали против себя недовольство. Но полонофильской партии не осталось времени для того, чтобы торжествовать. Послушный ее влиянию, Феодор в феврале 1682 года снова женился на родственнице покойной Марфе Апраксиной, такого же скромного происхождения, но не прошло и трех месяцев (27 апреля), как он умер двадцати одного года от роду.

Последовавшие за этим события уже выходят за рамки настоящего сочинения.

X. Общий взгляд

Отношение русских историков к семнадцатому веку очень различно. Одна школа видела в этой эпохе золотой век национального прошлого и хотела бы к нему вернуть будущее. Но у нее мало приверженцев. Противники ее напротив рисуют этот период самыми мрачными красками и дают ужасную картину политического и социального разложения. Они из него выводят атомическое распыление всех классов, растерянное бегство всех индивидуумов за пределы органической связи и отсюда их убеждение в необходимости подчинения единому существенному принципу объединения: абсолютной власти самодержавия. Крестьянин бежит от судьи, административного чиновника, воеводы и помещика, объединившихся, чтобы его эксплуатировать; горожанин бежит от чиновников всякого рода, специально существующих для того, чтобы выманивать у него взятки. Сгибаясь под общею тягостью, остатки разрозненных элементов потеряли всякое сознание своей солидарности: всюду конфликт частных интересов доходит до острого состояния; повсюду восторжествовал голый эгоизм, жадное стремление завладеть чужим добром, ревнивая ненависть к ближнему; даже религия не в состоянии их сдержать; социальное тело разлагается и

распространяет трупный запах.

Эти факты совершенно неоспоримы, и вместе с другими вышеуказанными причинами объясняют последовавший за ними катаклизм. Между тем Москва эпохи трех первых Романовых не была совсем разложившейся: в области политики она является даже укрепленной, расширившей свои размеры, благодаря значительным аннексиям.

Ушедшее на ликвидацию печального наследия Смутного времени, царствование Михаила оставило в наследие Алексею положение действительно тяжелое: страна, все еще измученная и истощенная, звала к новым жертвам для того, чтобы поддержать честолюбивые замыслы и содержать армию, обученную по-европейски.

Этим и объясняется восстание 1648 года. Новый кодекс, уничтожение закладничества, как средство более справедливого распределения повинностей и уничтожение привилегий, предоставленных иностранной торговле, служили с одной стороны для успокоения наиболее сильного недовольства, но с другой стороны вызывали новые мятежи. В Сольвычегодске и Устюге, в Новгороде и Пскове эти последние остались однако местными, как и разгоревшиеся в эту эпоху на французской почве, в Бретани и Гиенне, в Ренне и Бордо. Они и были подавлены, потому что оставались изолированными. Но в тот момент, когда Алексей занялся их подавлением, на юго-западной границе вспыхнула Украйна, и Хмельницкий просил вмешательства царя.

Там открывалась великолепная перспектива. Невозможно было ее игнорировать. Между тем она требовала и новых усилий. Не имея даже времени передохнуть, залечить свои раны, бедная Москва должна была выказать огромную силу энергии. Успех сначала соответствует ее мужеству, потом оставляет ее; чума, враждебные действия, совершенно неразумно начатые на другом боевом фронте со Швецией, возмущение диких племен на востоке, все это остановили завоеванные или почти завоеванные результаты. Средства истощаются. Нет больше и денег. Кредитом злоупотребляют самым противозаконным и безрассудным образом.

Попытка монетной реформы оказалась мертворожденной и повлекла за собою новые мятежи.

В 1667 году Андрусовский договор дал относительно выгодный мир, но в том же году выступает на сцену Стенька Разин, а через год отпадение Брюховецкого на юге, Соловецкий бунт на севере привели к новому критическому положению. Потом наступил религиозный кризис со всеми его последствиями политического и социального порядка. Страна еще держится однако, и в недрах провозглашенного раскола никем не подозреваемая сила идей и чувств поднимает массы.

Все это не дает абсолютного впечатления недостатка жизненных сил. Можно даже утверждать, что определенным образом эта эпоха является даже плодотворною или творческою уже в одном том крайнем напряжении энергии, которая сконцентрировалась на деле и утилизировалась лишь в одном направлении. Сквозь все беспорядки и среди всевозможного разрушения, грозный и творческий динамизм был отдан на служение единственного принципа, государства с его исключительными политическими, военными, финансовыми и династическими интересами, поглотившими все социальные функции. Законодательная или административная деятельность, которую оно возбуждало и поощряло, имела одну только цель: реализовать единство власти, укрепить авторитет, собрать богатую казну, создать мощную армию. Остальное, т. е. социальные интересы, как их теперь понимают, индивидуальные права, все то, с чем все более и более считаются в современных

коллективах, считалось тогда ничем перед увлекавшим всех единым делом: величия, безопасности, престижа всемогущего государства.

На этом пути, и с этим идеалом, который она послушно приняла и передала потомству, Москва семнадцатого века не только добилась большего приращения территории, но посредством законченного развития самодержавия, полного установления крепостничества, кодификации 1648 г., она определила на очень долгое время в некотором смысле эволюцию отечественной истории.

Разрушенное до основания с точки зрения социальной жизни, потрясенное в некоторых своих частях даже с точки зрения политической жизни, архаическое строение минувшей эпохи разваливалось, но лежавшая в основе его внутреннего строения, самодержавная и бюрократическая бастилия московских великих князей и царей поддерживалась и даже укреплялась среди этого разрушения, и перешла нерушимо от прошедшего к отдаленному будущему. Но ей не удалось охватить целиком всю национальную жизнь.

Преследуя единственную цель, поставленную общим усилиям, государство и его агенты не брезгали никакими средствами, уважая так же мало мораль, как и свободу. И та, и другая, между тем, имели несколько защитников, иногда героев, иногда разбойников, которые даже ценою эксцессов и одинаково преступного насилия против этого тиранического и всепожирающего духа государства, требовали прав личной или коллективной независимости и, жертвы настоящего, представляли со своей стороны залога будущего.

Таким образом задуманное и организованное правительство первых Романовых победоносно вышло из страшных испытаний и совершило значительную работу; оно не смогло выполнить невыполнимую задачу, взятую им на себя, желая постепенно возвести старую Москву на положение европейской державы. Западная цивилизация, введенная в слишком узкие социальные и умственные рамки, в которых ей пытались дать место, пробила их и ввиду того, что как Алексей, так и его наследники не были способны распространять ее постепенно, явилась необходимою быстрая и насильственная ломка. Ускоряя ее, Петр Великий в главных его чертах поддержал, даже укрепил унаследованный им политический аппарат и, завершив им совершенно архаическим путем постройку преобразованного общества, он создал тот отчаянный парадокс, в котором еще и сейчас бьется современная Россия.

Но преобразование, в своих существенных чертах подготовленное всею работою семнадцатого века, уже начатое в некоторых своих частях, в других начертанное в проектах и мечтах, в которых предшественники великого реформатора, Ордын-Нащокин, Ртищев, Крыжанич и Голицын, ушли даже дальше, чем сам Петр хотел или осмеливался идти – было неизбежно.

Примечания

См. «Смутное время».

n_1

Сергиевич в «Собрании политических наук» Безобразова, т. II, стр. 23–24, прим. n_2

3

Сергиевич. Соборы, указ. место, т. II, стр. 41; Чичерин. Народное представительство, стр. 557.

n_3

Смутное время.

n_4

5

Соловьев. История России, т. IX, стр. 72.
n_5

6

Geijer. Svenska Folkets historia, т. II, стр. 96–97. Сравн. Forsten. La Question de la Baltique, т. II, стр. 418 и сл., 134 и сл.

n_6

7

Соловьев. История России, т. IX, стр. 118. О трактате см. в полном Своде Законов, т. I, стр. № 19, Собрание государственных грамот и договоров, т. III, ст. 34, 35. Акты исторические, т. III, стр. 284. Добавления к Актам историческим, т. I. стр. 160, 162, 164, 166, т, III, стр. 3, 4, 11, 12, 14, 20, 21, 32, 42, 44. Ср. The present state of Russia. т. II, стр. 266—9. Соловьев, прив. место т. IX, стр. 114 и сл.

n_7

Fockerodt. Russland unter Peter dem grossen, стр. 23.
n_8

9

Письма русских государей, изд. Комиссии Государственного Архива, т. 1, п. 14, 17, 21, 36, 37, 40, 55, 185, 267, 369, 378.

n_9

10

Попов. Собрание, стр. 306 (летопись архиепископа Пахомия). Ср. Ключевского. Боярская дума, стр. 547.
n_10

11

Собрание государственных грамот и договоров, т. I, п. 25, 231, т, III, и 52, 55, 58, 64.

n_11

12

См. по поводу этой государыни очерк Милорадовича в «Русском Архиве», 1897 г., т. III и 1901 г., т. I.

n_12

13

Соловьев. История России, т. IV, стр. 179–184.
n_13

Соловьев, прив. место, т. IX, стр. 204.
n_14

Brix. Geschichte des alten russischen Heeres Einrichtungen, стр. 284, 287, 291.
n_15

Милюков. Государственное хозяйство, стр. 50 л., 64–65.

n_16

Смутное время, стр. 393 и сл.
n_17

I rix, прив. место, стр. 584.

n_18

См. Смутное время.

n_19

См. Валишевский. Иван Грозный.

n_20

Валишевский. Иван Грозный.

n_21

22

Соловьев. История России, т. IX, стр. 363, 364, 371. Зарнин в «Архиве исторических и юридических наук», т. III, 1 часть, стр. 21.
n_22

Соловьев, прив. место, т. IX, стр. 391.
n_23

См. Иван Грозный.

n_24

25

Платонов. Лекции, стр. 276; Лаппо-Данилевский. Организация прямых налогов, стр. 135 и след.

n_25

См. Валишевский. Смутное время.
n_26

Смутное время.

n_27

Смутное время.

n_28

Соловьев. История России, том IX, стр. 434 и след.

n_29

Котошихин. О России, стр. 4. Ср. Загоскин. Политическая история московского государства, т. I, стр. 281; Латкин. Соборы, стр. 206–207.
n_30

Акты археографической комиссии, т. IV, № 1.

n_31

32

Кубала. Исторические этюды, I серия, 4 изд., стр. 199–201. Ср. Библиотеку Оссолинского, рук. № 189, стр. 132 и 199.

n_32

Lavisse. Histoire de France, т. VII, часть I, стр. 38.
n_33

34

Главные источники: Официальный отчет в Регистрах двора (Дворцового Разряда), изд. Миллера, т. III, кол. 93–94. Olearius, Лейденское издание 1719 г., стр. 294 и след., короткая заметка в Хронике мятежей (Летопись о мятежах), 2 изд. Москва, 1788 г., стр. 357; более важные подробности в другом издании той же хроники, т. е. Новый Летописец, Москва, 1853 г. Прил. т. I, стр. 5–6; несколько указаний в Хронографе, собрание Попова, стр. 247–248; несколько других у Азарина. Памятники др. лит., т. LXX, стр. 123–125: рассказ очевидца, вероятно, члена голландского посольства, напечатанный в Лейдене в 1648 г. (русский перевод в «Историческом Вестнике», январь, 1860, стр. 68 и след.); разные документы, изданные Якубовым в Чтениях Общества истории и древностей, 1898 г. т. I; Акты археографической комиссии, т. IV, н. 29; Приложение к Актам историческим, т. III, № 45. Mémoires de Godefroy Bibliothèque nationale, manuscripts, fonds français, volume 20161, folio 323, несколько новых документов у Зерцалова. Бунты, стр. 4 и след.

n_34

35

Журнал Министерства Народного Просвещения, июнь 1888 года, стр. 288 и след.
n_35

См. еще Платонов. Лекции, стр. 289; ср. Соловьев. История России, т. X, стр. 154 и след. n_36

Шушерин. Биографические заметки, стр. 1 и след.
n_37

Lavisse. Histoire de France, т. VII, 1 часть, стр. 290–291.

n_38

39

В этом смысле Строев. Историческое исследование об уложении 1648 г., стр. 14–15, и Чичерин. О народном представительстве, стр. 558.
n_39

Платонов. Лекции, стр. 290. Латкин. Соборы, стр. 162.
n_40

Сергиевич в собрании Безобразова, т. II, стр. 20.
n_41

Сергиевич, прив. место. Лекции по истории русского права, стр. 738. Латкин. Лекции, стр. 104. Загоскин. Уложение 1648 года (Речь в университете). Ср. Мейчика, в Сборнике Археологического Института, кн. III и IV.

n_42

Мережковского.

n_43

Мицкевич.

n_44

Славное царство поляков – небо для знати, рай для иудеев и ад для крестьян.
n_45

Смутное время.

n_46

Родится мститель из наших костей.

n_47

48

Самый темный и наименее посещаемый лес является по сравнению с Парижем безопасным местом.

n_48